

Н О В Ы Й  
М И Р

2

---

1967

2

Н О В Ы Й  
М И Р

1967

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 2

Февраль, 1967 г.

---

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Продолжение	3	
ВЛАДИМИР ЛЬВОВ — Из военных стихов	59	
В. ЕМЕЛЬЯНОВ — О времени, о товарищах, о себе. Записки инженера. Окончание	61	
ДМ. КЕДРИН — Из неопубликованного, стихи	142	
АНАТОЛИИ ЖИГУЛИН — Воспоминание, стихи	143	
ВИКТОР ЛИХОНОСОВ — Родные, рассказ	145	
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>		
Г. ЛИСИЧКИН — Спустя два года	160	
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>		
И. ДУБИНСКИЙ — Колокол громкого боя	186	
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>		
ТИМУР ГАЙДАР — Из Гаваны по телефону (Репортаж о революции)	199	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>		
<i>Полвека советской литературы</i>		
НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ — Что я помню о Блоке	229	
И. ТРАВКИНА — Реклама и книга, или «Всем сестрам по серьгам»	238	
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>		
<i>Литература и искусство</i>		247
Ариадна Громова. Правда, только правда... — Вл. Лифшиц. Поэт-воин. — Л. Волинский. На карусели. — Г. Павлова. Путь мастера — Б. Герман. Кузь- мин — иллюстратор Тынянова. — Ц. Кин. Человек — вещь.		

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	265
<b>Е. Гнедин.</b> Закономерности движения.— <b>Г. Герасимов.</b> Демографические неожиданности.— <b>В. Ермаков.</b> История явная и тайная.— <b>Г. Федоров.</b> ...И сталь и камень...— <b>П. Трояновский.</b> Урок на Востоке.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>А. С. Бахов.</b> На заре советской дипломатии.— <b>Л. Котов.</b> Смоленское подполье.— <b>В. Боярский, М. Черток.</b> Недра, открытые солнцу.— <b>Н. Живейнов.</b> Операция Р. W.— <b>Е. Нилов.</b> Боткин.— <b>В. В. Строков, Ю. Д. Дмитриев.</b> Леса и их обитатели.— <b>Д. Славентантор.</b> На пороге атомного века.— <b>Тахави Ахтанов.</b> Исповедь степи.— <b>Герман Абрамов.</b> Высокая вода.— <b>Юрий Гончаров.</b> Дезертир.— <b>Глеб Горбовский.</b> Спасибо, земля. <b>Глеб Горбовский.</b> Косые сучья.— <b>И. П. Еремин.</b> Литература Древней Руси.— <b>И. Соловьева.</b> Спектакль идет сегодня.	280
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

КОНСТ. ФЕДИН

★

## КОСТЕР

Роман

*В феврале 1967 года Константину Александровичу Федину исполнилось семьдесят пять лет. В день своего юбилея он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.*

*С именем Конст. Федина вот уже почти полвека связана история отечественной культуры. Младший товарищ и сподвижник Горького, он по праву может считаться одним из основоположников советской литературы, прошедшим вместе с нею весь ее славный путь.*

*«Города и годы», «Братья», «Первые радости», «Необыкновенное лето» — эти книги давно и заслуженно пользуются репутацией советской классики. Но, войдя в хрестоматию и учебники, став объектом почтительного изучения историков литературы, Конст. Федин остается деятельным участником и сегодняшнего литературного движения, одним из любимых и желанных для читателя авторов-современников. Радостно сознавать, что талант Конст. Федина сохраняет животворную силу молодости, что перо его не ржавеет, а рука мастера, как прежде, тверда и искусна.*

*Есть ли лучший способ отметить юбилей писателя, чем познакомить читателей с новыми его страницами? «Новый мир», где Конст. Федин постоянно сотрудничает с первых лет основания журнала, продолжает публикацию главного труда писателя последних лет — романа «Костер».*

*Читатели, давно полюбившие героев «Костра» и с напряженным вниманием следившие за их судьбами, в своих письмах автору и в редакцию, случалось, сетовали на то, что большая работа писателя является в свет с перерывами, публикуясь отдельными частями и фрагментами. Такое нетерпение читателей Федина понятно, но понятна и огромная взыскательность художника, его ответственное отношение к своему замыслу, не позволяющее спешить, чтобы окончить работу до срока.*

*Книга автора близка ныне к завершению, и вскоре, когда все обширное здание романа будет достроено, читатель сможет по достоинству оценить весь в целом замысел художника. Но есть свое преимущество и у читателя журнальной публикации этих новых фединских страниц: на наших глазах как бы заполняются пробелы в повествовании о судьбах так хорошо знакомых героев и взоры постепенно открываются величественная фреска, охватывающая большую полосу народной жизни в дни мира и войны.*

*Конст. Федин — не только постоянный автор, но и один из старейших редакторов «Нового мира». Верный старым и добрым журнальным традициям, он читал недавно в стенах редакции только что написанные им новые страницы «Костра». Высокая культура повествовательной речи, значительность мыслей, живая сила выношенных слов ясно выступили в строгом и сдержанном чтении автора. Мы рады, что имеем теперь возможность разделить наше удовольствие с читателями*

*Коллектив редакции «Нового мира» сердечно, от души поздравляет Константина Александровича со славным юбилеем, высокой наградой, желает ему скорого завершения его большого труда и новых счастливых замыслов.*

## КНИГА ВТОРАЯ

## ЧАС НАСТАЛ\*

## Глава девятая

## I

**Ж** разгару июльской жары вся Смоленщина находилась в движении. Каждый час увеличивалось число деревень, каждый день — число поселков, городков, которые с уходом народа если не обезлюдевали вовсе, то пустели наполовину. Движение это звалось эвакуацией. Оно звалось так после того, как властям стало известно разосланное в самые первые дни войны правительственное предписание прифронтовым областям — как поступать в случае вынужденного отхода Красной Армии и оставления врагу советской территории.

Право безоружного человека бежать от напавшего разбойника приобрело с этого момента еще и силу закона. В постановлении об эвакуации на первом месте значилось оборудование предприятий. За предприятиями следовал скот, и (конец делу венец) фраза вершилась словами: «а также население». Предприятия занимали первое место не только потому, что — захваченные противником — могли бы принести ему пользу, но и потому, что они не могли убежать от противника сами, а требовали вагонов и автомашин, железных и шоссейных дорог. Скот мог обойтись любимыми дорогами — было бы кому погонять. Люди, на худой конец, могли передвигаться и без дорог. Они могли бежать, и они бежали от врага, очутиться под властью которого одним было страшно, другим мерзко.

С того дня, как бегство было названо эвакуацией, оно, подобно закону, становилось обязательным, но не утрачивало и вполне доброй воли. Стада нуждались в людях, люди — в них. Испокон века нераздельные, они оставались ими и на вынужденном, бог весть куда ведущем пути. Странно тесное соседство скота и населения в предписании об эвакуации, случайно или нет, только отразило собою эту нераздельность.

Если бы в те дни сразу охватить взглядом леса и просторы этого древнего русского края, не нашлось бы ни большака, ни проселка, по которому не ползли бы гурты скота, не тянулись бы обозы, не растягивались цепочками беженцы. Сторона, обильная водами рек и речушек, то равнинная, то холмистая, укрывала бредущий народ одеялами лесной прохлады, выводила из-под них на солнцепек, провожала полями, или пастбищами, или брошенными угожьями, желтевшими от сурепки, и снова, снова окутывала покровом еловой хвои, чтобы вдруг завести на какой-нибудь заболоченный кочкарник. Народ шел от восхода до заката, дорожа лишними минутами на роздых, не отсыпаясь за короткие ночи. Шел и ночами, где скорее надо было миновать лишнюю лесных укрытий землю. Шел день за днем, верный спасительному направлению — на восток, и редко иная партия откатывалась поуже, иная забирала к северу.

Об уходе людей с западносмоленских земель стало известно в Коржиках, едва только уход начался. Позже довелось увидеть беженцев уже из самого Смоленска, услышать о пережитых ими немецких бомбежках в пути. Все понимали, что над Коржиками беженская судьба нависает ниже и ниже. Но каждый в уме своем и в пересудах с односельцами еще называл беженцев — «о н и», пока не пришла минута переименовать «о н и» на «м ы».

\* Продолжение Начало см. «Новый мир», №№ 1, 5, 1965.

## 2

Семье Веригиных выпало на долю разделить участь многих своих земляков.

Первым принес новость в дом Антон. Он вбежал в избу, позвал:

— Маманя!

Изба была пуста. Он кинулся на двор. Мавра чистила коровник. Антон с бега выпалил:

— Дядя Прокоп сказать велел: Чернавку завтра в стадо не выгоняй. Колхоз поутру сымается.

— Ой! — вскрикнула мать. Вилы выпали у нее из рук. Она схватилась за косяк.

Антон был напуган пастухом Прокопом, но испуг матери нагнал на него куда больше страха. Никогда не видел он, чтобы мать что-нибудь выронила из рук. Он все не мог отдышаться, начинал что-то бормотать и срывался. По разговорам он знал, что деревня боится эвакуации пуще всякого лиха. Ему не терпелось сказать, как ребяташки пошли в лес — вырезать удилища — и не дошли, а увидали на выгоне пастуха и двоих дяденек на правленской лошади, и как дяденьки сразу умчались, а Прокоп поманил к себе ребяташек и сказал... Но рассказывать это было очень длинно, а коротко мать все поняла без рассказов, и глядеть на нее Антону было страшно.

Уже два дня назад Маврин муж, Илья Антоныч, слышал в сельпо, что, мол, если придется от немца уходить, то пускай служащие сами думают о своей скотине — с колхозными гуртами ее не погонят. Слух тогда же стал повторяться в Коржиках. Получалось, что служащие — те же единоличники, и веригинская соседка-колхозница выложила Мавре напрямик:

— С чего это взяли, гонять твою корову в стадо? Чье такое разрешение?

— Тебя не спросили! — отмахнулась Мавра.

Теперь уже не отмахнуться. Дело решилось и шло не об одной Чернавке. Страх, который она видела на лице Антона, и невнятное его бормотанье помогли ей опамятоваться от боли.

— Беги скорей за отцом. Чтобы сейчас шел домой, — наказала она негромко, точно наказ ее надо было от кого-то утаить.

Антон, подстегнутый таким приобщением к тайне, пустился бежать, а мать, оставив работу, пошла в избу.

Шла она ссутулившись и по ступеням крыльца поднимала ноги, как грузчик под непомерной кладью. В горнице огляделась, будто спрессонья, заправила выбившиеся волосы под платок, но тут же сдвинула его на затылок.

В семье вечно чего-нибудь недоставало — по дому либо по двору. А тут — откуда что взялось. Глянула Мавра на постели — подушки горою. Посмотрела на сундук — вспомнила: не сядешь на крышку — не закроется. И по углам — там короб, тут корчага, а то мешок, то кадка — все напихано каким-никаким добром. Куда теперь с этим? Одной посуды на полке наставлено — и-и! Примись-ка складывать — не увезешь на возу. Да и где взять его, воз-то? Взбрдет же на ум — всем домом сымайся, всем двором уходи. Сымись-ка, д-уйди!

Мавра как присела на лавку у самой двери, так и не шевельнулась. Руки ладонями кверху положены на раздвинутые колени. Недвижными свисают темные волосы. Одни глаза нет-нет обведут стены, словно не узнавая, и опустятся. Только было остановились они на книжной полочке Антона — он сам тут как тут. Вбежал и — прямо к ведру с водой и — за ковшик. Два глотка сделал, выдохнул:

— Сельпо грузится! Из магазина все подчистую увозят.

«Не мог же мальчонка одним духом слетать за добрых три версты от деревни»,— думает мать, наскоро подбирая волосы. А сынишка опять глотнул водицы, выкрикнул уже позвонче:

— Агафья-учетчица к себе домой бежала, говорит — папаню видела в правлении.

— Чего ж ты не побег в правление?

— Она говорит — может, его там уж и нету. Там, говорит, народ со всех деревень. Колхоз за трудодни авансы посулил.

— То-то, видать, и бегут теперя. От посулов. А нам чего?..

Мавра недосказала. Вместе с сыном расслышала она нескладные шаги по крыльцу, вместе с ним узнала их и только насторожилась, как Илья наотмашь растворил дверь и стал на пороге.

Вряд ли когда была так близка недобрая минута к веригинской избе. Муж знал, что встретит несогласие жены. Она знала, что муж не согласится с нею. Кто сейчас уступит — не рассчитывай потом взять верх. И они смотрели друг на друга, боясь проронить первое слово, точно это слово — жребий, а от жребия не уйдешь. Их лица гасли и бледностью своею стали схожи. Они молчали, ожидая, кто сдастся.

Антон вдруг перехватил в глазах отца блуждающий белый огонек и не вытерпел — кинулся к матери. Уткнувшись стриженной головой в ее грудь, замер. Мавра укрыла его торчащие худенькие лопатки своими растопыренными пятернями. Щеки ее затемнели.

Илья обошел обнявшихся, сел на другой край лавки и, наконец, разжал рот.

— Что волей, что неволей, а идти надо,— сказал он.— Народ уходит... Насчет скотины с председателем поладили. Отгоним одним гуртом с колхозом.

— В Коржиках, стало, не упасём?.. Угонять-то!

Илья будто не расслышал.

— Собирай чего из теплой одежды. Обувку тоже. Покрепче. Обещали забрать узлы с машиной.

— Дом-то в узел не завяжешь.

— В дом договорился кум перебраться.

— Этот усторожит! У него двор небом крыт, ветром обнёссн.

— Чужого он не возьмет.

— Не подпускали, вот и не брал.

— Болтай! На кого еще хату оставить?

— А почто оставлять?

Илья вскочил. Видно было — чуть не крикнул и через силу удержался. Ковыляя, перешел к стене напротив. Тронул пальцем по стеклышку, за которым в рамке равнялась разноголовая родня и он сам — еще с царской кокардой и на костылях.

— Соображаешь иль нет? — спросил он.— Кто такой воздушного флота советский лейтенант? Веригин Николай. Это раз. А другой? В Красной Армии, в моторизованной части — кто? Веригин Матвей.

— Казать, что ль, будешь фотокарточки? Спрячешь подале, и все!

— Молву как спрячешь? Придет немец — заставит языки говорить. До Матвея с Николаем не дотянется, да как бы на Антоне не отыгрался.

Антон уже не виснул на матери, но она опять прижала его к себе, когда отец назвал его по имени. Точно изготовляясь наступать, Илья выпятил грудь.

— А со мной будет как? Ранение, спросят, откуда? В Галиции дрался? Солдат? Ну, и каюк. Не посмотрят, что у нас сынок-малолеток.

Илья погладил Антона по острому плечу, переложил руку на же-

нино плечо, потеребил его. Оно показалось мягким, непохожим на то, к которому привык. Он вновь распрямился — хотелось быть повиднее.

— Две войны прошел, а в плену бывать — не был. Нынче, что же, по своей охоте сдатьсь?

— А куда теперь пойдешь-то? Подумал?

— Ты одна думаешь!

Илье послышалось — жена всхлинула. Было похоже на готовность примиренья, и он заговорил терпеливее:

— Насчет харчей, слушай-ка. Мясного надолго не возьмешь — стухнет. И не до стряпни. Пару кур сварить, и ладно... Крупу всю что есть — забирай... Мне теперь опять в магазин. Завмаг говорит: случае на продовольствие неостанет транспорта — распределим по рукам. Машинами только-только асортимент вывезти. Что другое, видно, поделим...

Мавра Ивановна нередко слышала от мужа мудреные слова с тех пор, как он поступил в сельпо. Скобяной товар он звал «асортиментом». Слово чудилось склеенным — серединка всегда смешила Мавру. Но тут оно обеспокоило. От «асортимента» вроде бы зависело — перепадет продовольствия из магазина или нет?

— А что как машины обернутся?

— Поспели бы уехать, — проворчал Илья и кивнул сыну: — Помогай, смотри, матери.

Он так проворно вышел за дверь, что Мавра только из сеней успела крикнуть ему:

— Кума-то когда ждать?

— А избу заколотит и — к нам! — тоже крикнул Илья, отворяя калитку, и тотчас она захлопнулась.

Неровно и все чаще затопал он по дороге — надо было что есть силы торопиться.

### 3

Вернувшись в горницу, Мавра взглядом ответила на взгляд Антоны и вздохнула: «Ну, сынок...» Больше ни слова не сказав, она с резким щелчком встряхнула платок и обвязала голову решительным движением, с которым привыкла браться за работу и которое тут же словно толкнуло ее к делу.

И Антон отозвался на знакомое движение матери: он затянул одной дыркой потуже ременной пояс, одернулся и, как котенок, с любопытством стал вливаться глазами во все, что мать ни делала. Она достала ключи из-под подушки, отперла сундук. Замок прозвенел колокольцем и занял. Нытье это Антоша любил. Задумываясь, он послушал, как оно таяло. Мать только на миг приостановилась, а потом рывком подняла и откинула к стене сундучную крышку.

В жизни своей не знавала она сборов в отъезд. Точно потеряв толк во всем, чем заняты были руки, она наваливала на лавку вынутое из сундука добро. Антон смотрел, как росла куча, пока с лавки не начали сползать на пол полушубки да полушалки, шапки, валенки, телогрейки, и тогда он кинулся перекидывать их на стол. Мать выбрасывала наружу все без разбора, когда вдруг руки ее повисли. Целым пластом в сундуке зардели ее головные платки. Были тут дареные мужем — золотой, лимонный, красный; выглядывал из-под них купленный самою Маврой в Вязме — лазоревый, по краям в венке алых маков, перевитых изумрудными листиками. Любимый этот плат увиделся ее памяти развернутым во всю ширь: висит он во дворе на веревочке и ветерок легонько играет с ним, как с паруском. В приотворенную калитку мимоходом заглядывают с улицы две товарки — не утерпелось дать глазу полюбо-



ваться,— и одна говорит: «Мавра Ивановна плохого не наденет!» Другая поддакивает ей, и они проходят. А Маврино сердце окунается в масло... Нет, где там! Воспоминание сдавило сердце. Мавра оглядывается на сына, видит — он опять задумался.

— Взгляни поди,— велит она,— как сборы-то на деревне.

Антону самому хотелось за ворота — давно не слышал он ничего с улицы,— да не пускала жалость к матери. Но тут он выскочил с двора пулей. А мать — ну что ж мать? — она послала, он и побежал. Не в ответе же он за то, какие новости соберет по соседним дворам, хоть иную весть лучше вовсе не доносить до дому: маманя не успеет услышать, как ободрет опять.

Только Антон выскочил на улицу — тетка Лена-соседка вышагивает на пруд, прижав к боку лохань с постиранным бельишком, а за нею — гуськом трое ее ребятишек враспояску, невытые. Спросил Антон: поедет тетя Лена поутру с колхозом или нет?

— Еще бы! — ответила та, мотнув головой на ребят. — Заложу в тачку свою тройку, сяду сама на козу — и поехали!..

То ли она со зла смеялась, то ли пошутила, но глянул Антон на тройку, подумал: куда, правда, девать тетке Лене своих голопузиков? А она перекатила круг себя на другой бок лохань с бельем да нараспев:

— Твоей мамоньке небось сельпо машину подаст?

От обиды Антон ей наставил было нос, но раздались голоса мальчишек, и он побежал.

Вместе с приятелями стоял он при дороге на краю деревни. По-стреливая выхлопами, медленно полз трактор с прицепом. Пыльца лениво кудрявилась следом. Две пожилых женщины, которых ребячий язык уж окрестил «баушками», в ряд с мальчишками молча пропускали поезд. Платформа прицепа была дополна набита поросятами и по-верх затянута старым дырявым бреднем. В дыря высовывались розовые пяточки, а то и рыльца целиком. На выбоинах прицеп подскакивал, и тогда треск трактора пронзали поросычьи взвизги.

В отгороженном спереди углу платформы сидела девушка и терла кулаком глаза. Ей закивали женщины, она стала помахивать в ответ, выпустив из кулака платочек. Антон глядел на этот мокрый, похожий на сосульку платочек, и ему было боязно, что мальчишки приметят, как он вдруг замигал, и он скорее начал, подражая им, трясти над головой руками.

Из ближнего двора выбежала молодуха, кинулась следом за трактором, крича:

— Таня! Мы нагоним! Нагоним, Таня!

Поравнявшись с прицепом, ухватила за борт, пошла рядом, без перерыва говоря. Шум стал удаляться, «баушкам» вернулась речь:

— Воем выла девка: «Не хочу ехать перьвой...»

— На то ударница. Остатный трактор, сказывали, наладят — от-правят всю бригаду.

— Всех не усадят. Жижкам и то тесно.

— Можя, раздадут по дворам?

— А чего не раздать? Своим ходом не утить. Что жижкам, что чушкам.

— О скотине хлопочут. А у которой семье хворые кто? Хоть бы у меня. Куды я с Микитой своим?

— Здеся умирать не тяжело, чем иде ишшо.

— Кому дело об нас?

— Свою волю иметь — оно верней...

— Небось нас нигде не ждут...

Мальчики шли за женщинами, помалкивая. Скажет чего одна «баушка» — послушают, мигнут. Заговорит другая — повернут к ней головы, опять мигнут. Все, что они узнавали, примерялось ими к родному дому. Своя вода, названная чужим языком, понималась яснее. То там, то тут они вострили уши. И уж совсем разойтись им по домам, когда они услышали, как колхозник спрашивал за свои ворота пришлого, вилать, человека:

— Совести нет — за телку давать, как за ягня!

— Завтра сторгуешься! — ухмылялся пришлый. — Уйдешь с эвакуацией — рад будешь квиток получить, за телку-то.

Не надо было догадки, чтобы понять — кто собирался уходить, кто оставался. Антон вспомнил отцовское словцо: «Мотай на ус!» Друг перед другом товарищи держались по-взрослому — не требовалось и усов.

Но вернувшись к себе на двор, Антон стал опять мальчуганом.

. . . . .

## 6

Все, кого они встречали последние дни своего странствия, жалели их, готовно растолковывая или вместе с ними разузнавая у людей дорогу на станцию Выползово. Уже близко от нее, выйдя к железнодорожной линии, набрали они на человека, который, поспрошав, куда лежит путь, сказал, что надо идти в другую сторону и сейчас будет тропа — она выведет к поезду через полотно, откуда веригинскую будку видеть как на ладони.

— Ты, похоже, знаешь Степана-то? — спросил Илья.

— Мне обходчики известны на всех здешних околodkaх, как сам я дорожный мастер.

— Дома ли он сейчас, не слыхал?

— Далеко не уйдет. Служба нынче военная.

Порадовались беженцы доброму человеку и, ожившие, двинулись бы скорее прежнего, да ноги плелись через силу.

Недолго спустя Илья начал признавать местность по недавней своей побывке у брата, и, когда вдали открылся на взлобочке яично-желтый домишко о двух оконцах, все трое остановились. Будки на железных дорогах одна как другая — может, эта все не веригинская? И Мавра глядела больше не на заманчиво светившийся домик, а на Илью. Антон тоже молча смотрел на отца, вытянув тоненькую шею.

— Он самый. Степанов, — сказал Илья облегченно.

Мавра перекрестилась, со всей мочи дернула, потянула Чернавку.

Казалось, конца не будет крошечному остатку пути. Цель была на глазах и все же не близилась, а будто шла далеко впереди Веригиных одним шагом с ними. Но вот они добрались до картофельного лапика, перерезанного на половинки узенькой стежкой. Миновали картофель, идут вдоль плетня. За плетнем — три старых яблони, полоска вишняка. К плетню впритык — глухая бревенчатая стена. Лает собака — первый голос, подающий сигнал: «Чу-жи-е!» И чужие огибают угол будки, появляются на лобовой ее стороне по очереди, в какой шли, — Антон, Мавра с Чернавкой, Илья с хворостиной.

Под приотворенными окошками сидела на скамейке девочка в пестром платице, с оранжевыми бантиками в куцых косичках и грызла подсолнечные семечки. Жевала она все медленнее по мере того, как выходили из-за угла пришельцы, и потом рот ее с прилипшими к губе кожурками разинулся.

Босоногие, запыленные, с мешками на горбах, трое путников, загордив собой корову, сгруппировались перед девочкой. Она озидала каждого, дичась.

— Здравствуй, Тоня,— сказал Илья.— Не узнала?

Она поднялась, вытерла губы, но промолчала, словно из боязни обознаться.

В это время ее мать откинула занавеску на окне, высунулась, на миг обмерла. Вдруг тяжело вздохнула — «о-ох!» — и спряталась за занавеской.

— Лида Харитоновна, милая! — жалостливо пропела Мавра.

Услышав мамашино «ох», Тоня посмелела — гости-то были незваные, — и язык ее ожил:

— А вы кто?

— Братец Степан Антоныч дома? — вместо ответа обиженно спросил Илья.

Тоня сразу и потупилась, и двинула глазками по сторонам, будто стесняясь своей запоздалой догадки:

— Дядя Илья?.. Папа вон идет с обхода.

В глубокой дорожной выемке шагал по шпалам Степан. Шел он неторопливо, нагнув голову, держа на плече свой тяжелый инструмент — гаечный ключ и кирку. Примедлил шаги, посмотрел назад вдоль линии и, повернув к откосу, стал подниматься.

Илья ждал на самом краю откоса. Степан заметил его с половины подъема, вскинул голову выше, остановился, вразмах отвел от себя свободную руку.

— Братеня,— выговорил он, не веря глазам.

Илья стоял, опустив руки ладонями к Степану, точно говоря неподвижным жестом: хочешь — казни, хочешь — милуй. Степан вдруг широким шагом поднялся к нему, бросил наземь инструмент, в испуге спросил:

— Что это ты? — Только сейчас увидел он остальных гостей и корову.— Неужто бросили дом?

— Умирать, брат, кому охота.

— Пришел немец?

— Теперь уж пришел наверно. Прощай наши Коржики...

Мавра бросилась к ним, ниже, ниже клонясь к земле, готовая упасть перед деверем на колени.

— Родной ты наш! Степан Антоныч! Будь милостив,— на ходу причитала она, и лицо ее дергалось от боли.— Приюти ты нас в углу каком! Упаси мальчонка нашего от гибели...

— Ладно, Мавра,— остановил Илья, удерживая ее, чтобы не повалилась брату в ноги.

Степан приветил ее по имени-отчеству, выждал, пока она стихла. Взваливая на плечо инструмент, он заключил не спеша, как человек, принявший неизбежное решение:

— Так, та-ак... Ну, айда в хату.

На крыльечке дожидалась Лидия. Высоко на груди скрещены были ее руки, узенькие губы сжаты. Мавра с Ильей поклонились. Она скупно опустила голову и молча первой пошла в дом, оставив двери настежь.

Заробелая Мавра все-таки успела шепнуть сыну, чтоб он потерпел немножко, пока хозяева распорядятся, куда пустить Чернавку на выпас, а его покличут в горницу.

Антон привалил свой заплечный мешок к другим мешкам, взялся перебирать в подойнике узелки, нащупывая засунутую поглубже горбушку хлеба. Тоня изучающе следила за всяким его движением и сно-

ва пощелкивала семечки. Когда он раскутывал из холщовой тряпицы хлеб. Тоня неожиданно спросила:

— Удрал от немца? Испугался?

Руки его застыли, он исподлобья уставился на девочку. Она спокойно поплеывала кожуру.

— А ты не удрала бы? — угрюмо сказал он.

— Ни за что!

— С отцом-матерью не пошла бы?

— А мои мама-папа никуда не пойдут.

— Под бомбежку попадешь — узнаешь!

— Зачем это мне попадать?

— Дура ты. Вот зачем.

— Сам дурак.

Они отвернулись друг от друга. Погодя Тоня вкрадчиво предложила:

— Хочешь подсолнушков? На.

Антон отломил кусок хлеба, запихал в рот.

— Чего стоишь? Садись, — сказала Тоня и подвинулась.

Антон спиной к ней попятился шага на два, присел.

— Чего нос воротить? — услышал он шепот за своим затылком и обернулся.

У его лица смеялись во всю ширь неожиданные глаза — желтые бантиков в косицах. Двигаться от девочки подальше было некуда. Она фыркнула и опять шепотком дыхнула ему в лицо:

— Я понарошке ведь! А ты взаправду?.. Дружить хочешь, а?

Этим кончилось первое знакомство двоюродных брата с сестрицей. Из будки вышли Степан и Мавра, велели перетаскать мешки в горницу, а Чернавку повели привязывать в ближнем березнячке над откосом.

## Глава десятая

### 1

В тот вечер Александр Владимирович Пастухов должен был поехать в Москву, чтобы выступить на дискуссии о советской комедии. Незадолго получил он, наконец, приглашение на эту дискуссию и удивился настойчивости организаторов вечера, задуманного еще до войны: одно название избранного предмета разговора казалось в эти дни странным. Впрочем, Пастухов сам же себе и возразил: «Название — одно, а предмет-то, конечно, будет другим. Знаем вашего брата!»

Днем у Александра Владимировича хорошо пошла работа — сатира его перестала упрямиться и поддалась искусственному перу. К обеду Мотя состряпала окрошку на молодом квасу своего изготовленья. «Пленительно», — только и сказал Пастухов на ее вопрос: «Какое откушали?»

Перед тем как идти на станцию, он на часок прилег. И тут напал на него кошмар.

Он видел, что стоит у окошечка вокзальной кассы. Поезд вот-вот уйдет. Кассир спрашивает: «Куда билет?» У Пастухова вдруг вылетело из головы название города, в который ему надо ехать. «Я возвращаюсь в...» — бормочет он в смятении. Кассир торопит его. Он достает бумажник, перебирает документы, ищет, ищет название. Нигде нет. Он раскладывает перед кассой портфель, роется в нем. Какие-то пачки, связки бумаг растут, растут под его руками. «Я возвращаюсь в...» Нет, он не может вспомнить. Пот выступает по всему его телу. С жаром работает память — десятки названий ведут в голове войну. Но нет, он не в силах

припомнить единственного, которое нужно, немедленно нужно сказать. «Я возвращаюсь в...» Кассир глядит из окошка со злобой, и он прочитывает в глазах его подозрение: «Слабоумный? Сумасшедший?»

Он делает тяжкое усилие полусна, чтобы совсем очнуться, но сон опять берет верх, и все повторяется сначала — трясущиеся руки роятся в бумагах, из-за вороха их глядят ненавистно-злые глаза, поезд сейчас уйдет, он силится перебороть муку тщетного припоминанья, и тут неожиданная догадка осеняет его: «Я возвращаюсь в небытие! Возвращаюсь, чтобы не быть, как не был, пока не зачала меня мать». Он только что хотел выпалить это открытие кассиру, но тот в страшном испуге захлопнул свое окошко.

Александр Владимирович пришел в себя от боли в груди — сердце то замирало, то колотилось, словно торопясь скорее нагнать упущенные удары. Но оно выправилось, когда в голове еще туманились нелепые слова — «возвращаюсь, возвращаюсь в небытие».

Умывшись холодной водой, Пастухов подумал освобожденно: «Историйка обернулась к лучшему: поезд ушел на этот раз без меня...» Человек физиологический, как в шутку (и вряд ли без основания) любил он себя называть, остроумец решил, что виною кошмара была крошка — квас, наверно, еще не перебродил...

К нему вернулось хорошее расположение духа. У станционной кассы он только усмехнулся: кассирша, как автомат, выбросила ему билет, не спрашивая, куда он едет, — все ехали отсюда в Москву. Сны, преследовавшие его, на то и были снами, чтоб утрашать. Действительность была разоблачением страхов.

Но в Москве ждала Пастухова незадача.

В подъезде дома, где назначена была дискуссия, встретил его инициатор вечера — тот пухлый, орденосный коротышка в белой паре, который во время случайного свидания в кафе «Националь» напомнил Пастухову уговор выступить с речью о природе комического. Как и тогда, с ним был художник Рагозин. Оба стояли в сторонке от публики, частью входившей, а частью тянувшейся назад к выходу, и Пастухову бросилось в глаза замешательство тех и других. Напыщенное привечание орденосца — «дорогой наш Александр Владимирович!» — заставило его тотчас понять, что дело неладно. И правда: дискуссию отменили.

Уже когда были разосланы приглашения, громом в ясном небе грянули неожиданности. Из объявленных в афише ораторов двое, в том числе докладчик, получили повестки военного комиссариата о явке. Третий — известный режиссер — опасно заболел. Четвертый — не менее известный театровед — уехал в срочную командировку. Оставался единственный — пятый, который молча и в крайнем недовольстве мигая выслушивал теперь объяснения и хотя он был (по высказанному убеждению объяснителя) известнейшим из известных, но не мог же все-таки он один заменить собою всех. Произошли эти неожиданности буквально накануне и в самый день объявленной дискуссии, так что известить об ее отмене не было возможности.

Чтобы чувствительнее выразить свое негодование, Пастухов, прослушав волновавшегося деятеля в белой паре, обратился не к нему, а к Ивану Рагозину.

— Вы-то как попались на эту затею?

— Я и не думал о дискуссии. Пришел получить за работенку. Старый должок. Завтра мне — в Дубки.

— Какие такие Дубки?

— А где ополчение стоит.

— А-а! Мечта достигнута?

— У-гму.

— Службу прежде не проходили?

— Нет.

— Видать орла по полету.

— Почему это?

— А потому что не положено называть местонахождение воинских частей.

— Да про Дубки вся Москва знает,— смущенно и все же посмеиваясь, сказал Рагозин.

— Мало ли что мы знаем. А помалкиваем,— отечески возразил Пастухов.

Сохраняя наставительность тона, вполуборот к надутому устрой-телю вечера он медленно выговорил:

— Приглашение оторвало меня от работы. Но остается порадоваться, что предприятие лопнуло. Я не собирался выступать. И, собственно, приехал сказать вам это. Темка, согласитесь, не ко времени... Помнится, я толковал с вами на этот счет.

Он не любопытствовал, какое впечатление произвели его слова — они были достаточно язвительны. Опять взглянув на Рагозина, он прищурился и вдруг компанейски предложил:

— Пивка дунем?

Художник мотнул головой. Они наскоро простились с орденосцем, оставив его отбиваться от недовольства публики.

Пивная на Пушкинской площади, куда они пошли, была любимицей среди понимавших толк в питейных заведениях. Если бы заурядные для таких мест скандалы случались здесь даже чаще, нежели в прочих пивных, все равно она оставалась бы своего рода мозговым центром. Сюда стекались актеры ближних театров, газетчики из соседних редакций, сотрудники радио, студенты Литинститута после семинаров и кинозрители после сеансов и просто ротозеи с бульваров. Окружавший площадь переплет старых улиц и переулков был похож на бредень, а пивная была мотней, куда набивалась рыбка на любой вкус и до отказа.

Когда Пастухов очутился в толкучке переднего зала, у него захватило дыхание от настоя кухонного чада с табаком и пивом. Этот коктейль ароматов туманом висел над головами. Гудение разговоров за столиками напоминало работу дизель-моторов на теплоходе. Рядом в большом зале туман стоял немного выше, моторы урчали словно бы умереннее, но также были заняты все места. Пастухов с Рагозиным долго пробирались по залу, напрасно озираясь вокруг, пока в самом конце не освободился столик, к счастью — как раз на двоих.

На первых порах они не проронили между собой ни слова, осваиваясь с шумом и выжидая, чтобы приняли и подали заказ. Жажда, когда уже знаешь, что близится ее утоление, мучит иссушающе. Перед ними не успели поставить бутылки, как — от нетерпенья — оба взялись за них и опрокинули друг другу в кружки. Лишь у самого рта придержал свою Александр Владимирович.

— Что ж? За Добровольческую? Счастливо вам вместе с нею!

Они выпили до дна. Вытирая бумажной салфеткой пену на пухлых своих губах, Пастухов вглядывался в художника с дружелюбным интересом и будто гадал — о чем же вести речь. Рагозин вдруг спросил:

— Вы правда не хотели выступать на дискуссии?

Пастухов не ждал такого начала. Сперва понимающе улыбнувшись, он исподволь менял улыбку на осудительную мину.

— По-вашему, я сказал неправду?

— Что вы! — воскликнул Рагозин. — Я подумал — стоило приезжать, чтобы заявить, что... не хотели!

Пастухов скатал в ладонях салфетку, бросил в полоскательницу, засмеялся.

— Действительно, глупо!

Рагозин взрывом захохотал, но тут же стихнул. На лице Пастухова водворялось неудовольствие.

— А вы задира! — полунасмешливо сказал он и опять повременил. — Правда вот в чем. Я ехал, хорошо представляя себе споры о комедии. Они бесцельны. Комедию может написать только тот, кто ее может написать.

— И кто хочет, — вставил Рагозин.

— Всякий хотел бы!.. Слепой хочет видеть. Ему можно только посоветовать.

— Сочувствовать — это умыть руки. Слепого сделать зрячим. Это надо. Научить... (Рагозин запнулся.) Учить видеть надо.

— Учит уменье.

— Вы умеете.

— Ну и пусть на моем умении учится, кто способен.

— Мало. Должно быть раскрыто. Все раскрыто.

— Разжевано?

— Объяснено.

— Ха! — отмахнулся Пастухов.

Он налил пива, взял ломтик сыра, показал его Рагозину, откусил с уголка. Не спеша пожевывая, заговорил:

— Я пишу: «Джон любил эмментальский сыр». Приходит критик с объяснением: «У Джона была слабость завтракать сыром буржуазного животноводческого молочного хозяйства горных лугов области Эмментальских Альп».

Лицо Рагозина расплылось. Он смотрел на Пастухова увлеченно и похлопывал себя по коленке.

— Может быть, я и ввязался бы в прения на этом... мероприятии, если бы меня рассердили. Сказал бы, что есть все-таки разница между воскресной школой для взрослых и театром. А то на днях читаю о педагогическом назначении положительного героя комедии. Он, видите ли, должен быть расположен к юмору. Он-то, может, расположен, а зритель храпит в кресле. Ну, рассердился бы я. Что вышло бы? Ополчились бы на мои комедии. И все.

— Спор! Хорошо, хорошо! — восхитился художник.

— Хорошо, кому внове Но сунься я с наставленьями — заранее известно, что из наставника меня превратят в ослушника.

— Пусть, пусть! Не поддавайтесь.

— У нас разный язык с объяснителем. И это уже означает, что я не поддаюсь. Не принимаю его языка. И это — ослушанье. Понимаете меня? На моем языке: «Темнеют тучи». На его: «Возрастает скопление продуктов конденсации водяного пара».

— Э, э! Повторяетесь... — подзадорил Рагозин.

— Повторяюсь? — грозно переспросил Пастухов и словно поставил точку: — Значит, дискуссия состоялась.

— То есть?

— То есть споры о театре и вообще об искусстве повторяют себя.

Потому бесцельны.

— Не согласен. Нет. Дают понять. Споры.

— Понять — что? Необъяснимое?

— А что необъяснимо?

— Талант.

— Ну-у,— протянул Рагозин.— До таланта уменью далеко. Я о чем? Ремесло в руках. Вот. Ремеслу учат? Так?

— Да.

— Уменье приходит из ремесла? Так? Где логика тогда?

Пастухов пожал плечами.

— Логика? Захотели!.. Всего только простое дискуссионное недоразумение.

Они уже улыбались друг другу. Можно было с тем же успехом продолжать разговор или остановиться. Они остановились. Потягивая из кружек, каждый оглядывал свое поле зрения. Разноликость людей была невелика, мало кто притягивал к себе наблюдающий взгляд, но у Александра Владимировича он вдруг замер.

— Посмотрите назад,— сказал он.

За столиком поодаль сидел пожилой мужчина с женщиной много моложе его. Ни одеждой, ни обликом они не выделялись. Но они вели неудержимо-страстный, испуленный спор — такой спор, который никем не мог бы остаться не замеченным, хотя и был безмолвным.

— Немые,— сказал Рагозин, едва обернувшись и сразу введаясь глазами в примечательную пару.

Мужчина с летящей быстротой рисовал в воздухе замысловатые изображенья пальцами, кистями рук и руками по самые плечи. Локти его раздвигались птичьими крыльями. Он вскидывал руки над головой и низводил их, вычерчивая в пространстве плавные линии. Лицо его сопровождало жесты мимической игрой. Казалось, его подстриженные усы послушны капризам пальцев, с которыми сотрудничал рот,— они оттопыривались, ершились, вскакивали кверху, ползли вниз.

Женщина милой улыбкой сдерживала собеседника, изящно строя краткие переплетенья из пальчиков у своих губ, вытягивая губы в дудочку, или, раскрыв их, показывала белозубый маленький рот. Жесты ее изредка тоже что-то живописали над головой. Было понятно, что она возражает, а партнер настойчиво выкладывает ей всю свою горячую убежденность.

— Смотрите, смотрите, о чем они,— сказал Рагозин.

— Вижу.

Нельзя было не увидеть, вокруг чего разгорелась и полыхала речь немых.

Зал оканчивался малиновой плюсовой драпировкой в виде ниши, в которой, на возвышении, стояло в человеческий рост изящное трехгрაცი. Как подобало, грации были обнажены. Гипсовая нагота была обмалевана эмалевой краской — порядка и красоты ради. На фоне ярко-малинового плиса кремовая обмалевка фигур плоско сияла глянцем колен, животов, груди и прямых римских переносиц меж бесчувственных теней глазниц. Оценке граций и посвящался захватывающий спор.

Немой негодовал, указывая на скульптуру. Он стремил на нее сосредоточенно-лютый взгляд, его лицо на один миг каменело. Потом он обращался к женщине, и лицо содрогалось от ожесточенья, и руки пускались в нешадную пляску.

Пастухов начал вслух расшифровывать жестикуляцию спорщиков.

— Он говорит, что щеки граций одинаковы, как булки... Она поддразнивает его: ему, поди, хотелось бы расцеловать их!.. Он кричит, что все шесть рук граций развешаны, будто колбасы в мясной лавке, а жесты похожи на окорока... «У тебя просто разыгрался аппетит»,— смеется она... Он вопит: «Ты ничего не смыслишь — это пошлость!..» Она не согласна: на ее вкус они все-таки грациозны, эти фигурки,— вон как высо-



ки их груди, вон, погляди, у той, что справа, какой волной стекает линия шеи к плечу... «Дешевка, базар!» — уже прямо орет он... Она как будто обиделась. Отвела глаза.. Он все наступает... Может быть, она в чем-то готова согласиться с ним?... У нее привлекательные черты, правда?..

— Они договорятся,— подтвердил Рагозин.

— Да, наверно... Вон они уже одинаково свысока улыбнулись чему-то вместе... Вон он махнул на скульптуру, как на нестоящую дрянь..

— А этот кто? — спросил Рагозин.— Еще один немой?

Пастухов подождал с ответом. Но и в беззвучном состязании немой пары наступила пауза. И мужчина и женщина — оба с неприязненным отчуждением смотрели на подошедшего к ним верзилу.

— Да это пьяный,— сказал Пастухов тоже вдруг с неприязнью.

Пьяный, покачиваясь, нависал несуразным туловищем над столиком, выламывал свои непослушные пальцы, корчил рожи, дурачки передразнивая немых. Сначала они, будто ооченев, разглядывали его, затем мужчина сделал быстрое движение кистью и стукнул себя по лбу. Женщина сразу повторила его жест. Оба привстали, передвинули свои стулья спинками к гримаснику, уселись и дружно рассмеялись. Официантка подтолкнула кривлявшегося пьяного, показала ему, чтоб он убирался. Он полпелся, все продолжая вывертывать пальцы у себя под носом.

— Обалдуй! — сказал Пастухов.

По-прежнему читывался он в свободный язык немых, такой независимый от мира слышащих и говорящих. Они теперь весело посмеивались, явно забавляясь выпровоженным кривлякой, и — наконец — мужчина протянул руки женщине, она вложила в них свои, и оба стали потряхивать ими, с нежностью глядя друг другу в глаза. Когда они чокнулись кружками, Рагозин одобрительно заключил:

— Поладили! — и тоже потянулся со своей кружкой к Пастухову.

— Счастливы,— сказал Пастухов, помолчав после нескольких глотков.— Как не столковаться на одном языке?

— Завидки взяли! — изумился Рагозин.— А ведь и у них спор! На всех языках без спора нет лада.

— Знаете ли вы,— точно не слыша его, каким-то новым голосом устало спросил Пастухов.— Знаете ли, что говорил Леонардо о немых? Внимательно изучайте их жесты, советовал он, движения их рук обладают редкой выразительностью... Мы убедились, что это так, а? — Он не дал Рагозину ответить, а перебил сам себя неожиданно брезгливо: — Но вон из этого вертепа! Нечем дышать.

Им стоило усилий дозваться официантку и расплатиться.

## 2

На площади они минуту стоят, глотают едва начавший остывать воздух. Дневной шум укладывается, зато острее слышатся редкие трамвайные звонки да вскрики автобусных сигналов. Ещелюдно, только шаг прохожих делается терпеливее — часы хлопот почти у всех позади.

— Вам, поди, надо собираться? Когда завтра должны явиться? — спросил Пастухов.

— Какие там сборы! Смена белья, карандаши, блок бумаги. Да фляжка с чаем.

— Не верю.

— Чему?

— Не верю, будто — с чаем.

— Для начала с чем другим неудобно,— улыбнулся Рагозин.

— Так если не торопитесь, часок подышим?

Они миновали площадь, пошли бульварами, и над этой прогулкой

за беседой не мог в конце концов не подшутить Александр Владимирович:

— Мы вроде античных философов. Московской отливки, конечно.

Он вел беседу охотно. Не признаваясь себе, он чувствовал, что начинал тяготиться одиночеством, несмотря на работу, с каждым днем больше возбуждавшую его. Рагозин казался ему почти идеальным собеседником: он был молод, с ним можно было говорить поучительно и в то же время он не соглашался с поучениями, хорошо знал себя и жестко стоял на своем. Пастухову почему-то рисовался таким же сын Алексей. За годы разлуки с отцом он, наверно, утратил прирожденную свою мягкость и тоже умеет постоять за себя. Они ровесники — Алексей с Иваном Рагозиным. Люди одного поколения, они неминуемо должны были приобрести общность даже в своих особенностях. Но открывается ли душа Алексея ключом искусства? Не замкнулась ли она навсегда для всех искусств с тех пор, как отец бросил его с матерью? Не говорят ли ему, инженеру, формулы техники больше всех звуков и красок мира? Рагозин — художник. Он не упустит в этом мире ни одной интонации, ни единого полутона. Вон с каким настороженным лукавством напомнил он Пастухову оборванную мысль:

— Вы почему вдруг — там, в пивной — о Леонардо? Хотели сказать, мы с вами наблюдательны не меньше его?

— Мы с вами! — немного грустно переговорил Пастухов. — Мы с вами — и Леонардо... Нет. Я хотел сказать, вряд ли узнать нам о человеческой душе больше того, что прежде нас знал о ней человечество. Знало до нас с вами и до Леонардо, разумеется.

— А! Любимый мотив? Все повторяется? Так? Леонардо — он тоже повторял?

— Он делал ясным то, что уже знали, может быть только угадывая, до него.

— Значит, разгадывал? Не повторял?

— Что разгадывается — существует сперва как загадка.

— Софизм! — выкрикнул Рагозин.

Пастухов засмеялся. Он терпеть не мог общих мест, и ему больше была по душе запальчивость спора, чем расчетливые цепочки суждений. Но он видел, что с Рагозиным мало перебрасываться, как игральным мячом, пришедшей на ум фразой. К тому же чувство старшинства щеко-тало его: одно дело лобоваться задором молодежи, другое — оставлять за нею преимущество атак.

— Я запомнил ваши этюды. И думаю — понимаю вас. (Пастухов особенно плотно замкнул свои губы, как бы обещая отмыкать их только для строго обдуманной мысли.) Вы говорили, слепых надо учить видеть. Это задача медицинская. Оставим ее врачевателям. Не отрицаю, что видению искусства... или лучше — восприятию всего художественного тоже можно учить. Но при этом гарантия успеха не больше, чем — скажем — в преподавании юмора. Юмор — не наука. Искусство — тоже. В чем я убежден, так это в одном: талант родится зрячим. Видит от природы. Как зрение, его можно развивать, портить. Его можно потерять. Но он прирожденно зряч... Хорошо так сказать? — спросил Пастухов, усмешливо заглянув в нахмуренное лицо Рагозина.

— Вам лучше знать.

— Талант зряч, — еще раз и упрямее сказал Пастухов. — Как это ни банально, возраст увеличивает обзор. Накапливает сравнения... Рядом со мной вы уже не второе, а третье поколение в искусстве. Я был моложе вас, когда сошелся с тогдашними новоселами в мире художников. И — бог ты мой! — никогда так не высмеивала молодежь всяческие каноны, как в твое пору.

Схватив художника за руку, Пастухов заставил его остановиться и, пока они стояли, сделал внушительную оговорку:

— Стариковские назидания — довольно противная штука. Вроде касторки. Я не лекарь и ничего не прописываю. Не собираюсь зазывать вас в лоно каких-нибудь канонов.

— А что ж каноны,— сказал Рагозин так безразлично, что Пастухов опешил: то ли молодой человек уже избрал себе некий канон, то ли давно расправился со всеми? Лучше было не мешкать, а держать взятый курс. Александр Владимирович только откашлялся,— бульвары пыльные.

— В дни моей юности от былых традиций, например — от академизма, оставались одни головешки. И они уже не тлели. Пьедесталы рушились под напором новых течений. Но разрушители вовсе не почивали на обломках. Они возводили новые пьедесталы — самим себе. Отрицание сменялось утверждением. Точно из лотоса, рождались новые традиции. Но только что их начинали канонизировать, как волны новейших течений подмывали пьедесталы и у этих традиций... Кстати, само понятие «традиция» пережило удивительную метаморфозу: нынче довольно в каком-нибудь районном садике повторить раз устроенное гулянье, чтобы тотчас появилось сообщение, что создалась «хорошая традиция» — гулять по этому саду... Традиции устанавливаются в искусстве пока еще не так скорострельно, как в садиках. Однако чем дальше, тем скорее. Не без помощи сочинений об искусстве, само собой. Посильных сочинений о нем больше, чем его образцов. Но если что-нибудь в искусстве достойно стать образцом, то единственно как плод таланта. И присмотритесь: в образце, будь он сколько угодно нов, непременно сохраняется нечто от предшествующей ему либо, чаще, от очень давней традиции. Прекрасным из прошлого талант никогда не пренебрежет. Он зряч, говорю я, и поэтому...

— Забавный какой, правда? — перебил Рагозин, показывая на старичка, который остановился посередине бульвара.

Во рту у старичка клыком торчала наполовину съеденная баранка. Под мышками он зажимал с одного бока тросточку, с другого сверток газет и, словно подвязанными руками, старался сложить развернутый газетный лист, флагом закрывавший его чуть не до ступней. Он насилу справился с непослушной газетой, аккуратно сложил ее в восьмую долю. Откусив от баранки, почитывая через очки, он двинулся, сопровождая изящные шажки вежливым притрогиванием к земле тросточкой. Он чувствовал себя дома и, наверно, принадлежал к породе районных старожил, которые проводят вечерний отдых на своем бульваре приятнее, чем дома.

Пастухова старичок несколько не забавил. Он и взглянул на него мимолетно. Он испытывал поднявшуюся в груди обиду и беспокойную растерянность. Неужели Рагозину не совестно было перебивать течение его мыслей? Не заскучал же молодой человек. И не мог Александр Владимирович наплевисти такого, чтобы и слушать не хотелось. Старался говорить ясно. Конечно, когда стараешься, получается хуже. Закон этот он прекрасно знал. Да и не умел он что-нибудь излагать. Не лектор. Не педагог он, нет.

— Материя, которую я жвачкал, не очень, вижу, любопытна,— сказал он после молчания.

— Наоборот! — весь как-то задвигался Рагозин. — Очень. Я согласен.

— А, собственно, с чем?

— Ну, там... борьба. Естественно. Старое, молодое...

— Только?

— Разве еще что?

— Вы разделяете мой взгляд, что старшее поколение искусства видит в новом свое преодоленное прошлое?

— Старшие сердятся,— сказал Рагозин мягко.— На нас.

— Я не сержусь.

— Вы, как это... про сочинения? Какие они?.. Да! Посильные!— вспомнил Рагозин и повеселел и заговорил быстрее:— У вас сочинение получается. Искусство вообще? Книжность! Не ощущаешь. Похоже на арифметику. Не слышишь материала. Два да два сложишь, а — скрипача с живописцем?.. Ну, оба водим, он — смычком, я — кистью. Да судьи требуются разные... Вы про образцы — верно. Почему тогда не назвали ни одного образца? Какие только есть рода искусств сложили в одно. Вышло — и с к у с т в о. Куча вышла!

— Явления уясняются по сходству или различию,— сказал Пастухов не столько чтобы возразить, сколько примирительно.— Нужны сопоставления.

— Нужны, нужны! А я о чем? — обрадованно ухватился Рагозин.— Из кучи вытянешь Миланский собор, за ним — туфельку Улановой. Сопоставимо?

— Милан — Уланова — недурной ассонанс,— заметил Пастухов, но Рагозин продолжал:

— У нас, в работе, назовешь образец — слышно, как на ощупь. С намек. Скажешь: Матисс. Понятно. Коровин — да. А наш Гривнин? Разве у вас по-другому, в театре?

— Так же. Но вы ведь не отвергаете поэтический образ? Он тоже сопоставление. Иной собор ничего легче уподобить балетным туфелькам. Не Миланский, само собой,— он слишком колюч, чтобы напоминать туфли. По-вашему, назвать образец искусства — значит донести мысль? Внутри одного цеха — пожалуй. Мастер называет инструмент — цех знает, о чем речь. Манера одного живописца может стать инструментом целого живописного цеха. Но в других цехах могут и не знать вашего инструмента. Где же способ понять друг друга, если мы разных цехов? Аналогии, сходства нигде так на месте, как в искусстве. Все его цеха объединяет однородное назначение каждого. Однородность в том, что искусство, без разделения на цеха, обращено к человеческой душе. Или к духу... если позволите. А вы говорите — куча!

Пастухов кончил, довольный собою. Уже не испытывал он обиды и опять с дружелюбием смотрел на художника.

— Душа? Так... А мне послышалось — хлопотать о душе нечего. Раз уж до нас о ней все было известно,— сказал Рагозин. Мальчишески покосившись на Пастухова, он невинно опустил глаза в землю, но не выдержал игры, засмеялся.— В пивной мы столковались бы скорее.

— Разве что помогли бы глухонемые,— сказал Пастухов.

— Верно! — почти крикнул Рагозин.— У них ни слова лишнего!

Пастухов чудаковато покрутил пальцами, точно на языке немых показывая, что тема исчерпана. Но, посмеиваясь, они продолжали перебрасываться репликами на ту же, может быть, самую запутанную в мире тему и шли, шли, медленно описывая незаметную дугу бульварного кольца. Пройдя Петровский и отдохнув на вздыбленном подъеме Трубного бульвара, они добрались до Чистых прудов, и тут Пастухов решил, что пора домой. Он начал прощаться, но Рагозину захотелось продлить свое расставанье с Москвой, ее сумеречно-тихими улицами, отдыхавшими от жары, и он вызвался проводить Пастухова до Красных ворот. Они вышли с бульвара, по-прежнему вразвалочку двинулись длинной излучиной переулка.

На первых же шагах нагнал их хоркающий отрывистый голос. Они обернулись. Кольцевой трамвай заглушил это хорканье и отгородил

от них вагонами бульвар. Сейчас же, едва вагоны промчались, стало видно, как через решетку бульвара перескакивают люди и бегут в переулок. В то же время и на тротуарах появились выбегающие из домов люди.

Через открытые темные окна, над самым ухом, слог за слогом, однотонно раздалось:

— Граждане. Воздушная тревога.

Только мгновенье Рагозин с Пастуховым постояли неподвижно. Как по одинаковой подсказке, глянули они друг другу в новые глаза и сразу пошли — непохожим на прежний шагом.

По дороге бежал длинноногий человек. Стараясь натянуть на рукав красную перевязь и все больше вместе с нею задирая кверху рукав, он выкрикивал:

— Направо за угол!.. Направо и через дорогу!.. За угол, граждане...

Пастухову хотелось идти скорее, но чем настойчивее делал он усилия, тем медленнее переставлялись ноги. Он дышал тяжело. Рагозин взял его под руку. Их обгоняли, и, пока они дошли до угла, бегущих оставалось в переулке меньше и меньше.

Кучка людей теснилась перед полуоткрытыми воротами мрачного дома. Кто-то, как командир, повторял во дворе:

— Соблюдайте... Спокойно...

Когда уже подходила очередь войти в ворота, Рагозин, оглянувшись, увидел женщину, перебежавшую через дорогу. Она мчалась, прижав к себе младенца с такой силой, что — казалось — маленькое тельце его втиснулось целиком в грудь матери. Ребенок был в ночной рубашонке. Короткое одеяльце, прихваченное женщиной с одного угла, плескалось на бегу в ее ногах.

Пастухов только что хотел шагнуть в ворота, как Рагозин потянул его назад. Оба они на миг столкнулись с огромными остановившимися глазами на белом лице женщины. Следом за нею и они очутились во дворе. Командирский голос послышался где-то рядом:

— Пропустите с ребенком, товарищи.

В темноте еле угадывалось слабое движение множества голов. Было очень тихо, и в тишине, отдаваясь под воротами, ясно прозвучал другой голос:

— Кто с ребенком — сюда.

Вдалеке над толпой чуть светился боязливый синий огонек. Это был вход в бомбоубежище.

## Глава одиннадцатая

### 1

Подвал, в котором устроено было убежище, вмещал много людей. Он лежал под старым домом. Каменные своды его были низки. Помещение делилось на секции. В первой, меньшей, находился единственный вход, в остальных — на высоте в рост человека — по небольшому окну. Проемы их уходили глубоко в стены. Было видно, что снаружи окна вплотную к стеклам заложены мешками с песком. По середине каждой секции свод подпирался деревянным столбом. На проводе свисала лампочка, скупо румянившая побеленные стены.

Народ старался разместиться ближе к дверям. Тут многие сидели на полу. Коренастая взволнованная дама деликатно требовала, чтобы проходили дальше. Ее, хоть неохотно, слушались: через плечо у нее висела на ремешке сумочка с маленьким красным крестом и к рукаву приколот был булавкой большой крест.

Пастухов и Рагозин прошли в самый конец подвала. Тут еще были места на скамьях, расставленных по стенам. Но становилось теснее — люди все шли.

Явился пожилой, кудлатый человек в старомодной тужурке. Он осмотрелся вокруг, поднял взгляд на лампочку. Можно еще было устроиться на скамье. Две девушки, пошептавшись, начали примериваться, как сесть, чтобы дать ему место. Но у него был раскладной стул-треножник, с какими ходят на этюды живописцы. Он раскрыл его, поставил под самой лампочкой, вытащил из-за пазухи книгу и сел читать, прислонившись спиной к столбу.

Было бы совсем тихо, если бы изредка не долетали от дверей голова распорядителей. Даже дети говорили чуть слышно, заражаясь полупешепотом взрослых. Пришла еще женщина с нарукавной перевязью красного креста. Вместе с первой они начали освобождать от людей проходы. Кто стоя приваливался к стене, кто, подложив пиджак, сидел на цементный пол. Запасливые приносили с собою чемоданчики, пледы, а то и подушки, — все это исподволь превращалось в сиденья.

Спустя какую-нибудь четверть часа подвал переполнился народом. Блюлись неписанные правила обхождения, как бы особая чинность. Она-то, эта чинность, наружно и отражала почти всеми скрываемую тревогу. Но и у тех, кто не мог скрыть своего беспокойства, оно было неподвижным — люди словно застывали, едва отыскав и заняв место.

В эту бесшумность вдруг стал вливаться, со страшною быстротой нарастая, вой моторов. И хотя тотчас захлопнулись двери — верхняя со двора, за ней внутренняя в подвале, — вой делался все слышнее, от мига к мигу накатываясь ближе, ближе. Рыдающими взревами — а-ы-ы, а-ы-ы, а-ы-ы — вой обрушился в подвал и поверх голов, поверх сводов, поверх двора и дома пронесся куда-то, еще быстрее затухая, чем нарастал. А-ы-ы, а-ы-ы...

Все ждали чего-то, будто главное еще должно было вот-вот последовать за исчезновением воя. Несколько секунд после того, как пронесся самолет, тишина упрямее прежнего держала убежище в своей власти, когда затем послышались женские всхлипы и побежал под сводами глухой говор. Кто-то громко сказал:

— Да это — наш!

Мужские голоса ожили, забурили, точно в котел с похлебкой пустили ходить мешалку. Чей самолет — наш или не наш? Спор кое-как сглаживал испуг, для которого словно и не было действительной причины.

Рагозин подтвердил убежденно:

— Самолет наш.

— Немец! — твердо сказал Пастухов. — Наши моторы без отрыжки. Мое ухо привыкло: живу недалеко от аэродрома.

Он заметил, что на него посмотрел со своего треножника человек в тужурке и как будто утвердительно повел бровями, прежде чем опять уткнуться в книгу.

Эта книга уже останавливала на себе взгляд Александра Владимировича. Увидав ее в руках странного человека, он подумал о Юлии Павловне, о своем дачном бомбоубежище, о том, что Юленька приладила там лампу с абажуром для чтения во время тревог. Тогда это ему казалось глупостью. Сейчас он жалел, что не сидит с книжкой у абажура, а примостился на узенькой, как нашест, скамейке, и тем сильнее подпирает Рагозина одним боком, чем старается меньше беспокоить с другого бока шупленькую, все время вздрагивающую девушку. На треножнике во всяком случае сидеть было бы свободнее. Человек с книгой напоминал Пастухову дсбряка Гренина за этюдником на пудру, с бере-

га которого сто раз перекочевывали на холстинки неизменные гривнинские ветлы.

«В какой щели сидит сейчас Гривнин? — думал Пастухов. — Судьба перехватывает человека где-нибудь посередине дороги и всегда — где он не ждет. Добеги-ка до своей лампочки под абажуром! Слава богу, Юленьке не надо куда бежать, — тетушкин домишко утопает в лесной глуши. Не разыщет никакой самолет. Да и кто станет искать? Германские цивилизаторы попусту сорить бомбами не будут. Им подай столицы. Что проку прикокошить тетушку? Другое дело — Москва. Средоточие, мозг страны...»

На этой точке размышлений Пастухов хотел задержаться. Сидеть в каменном мешке, набитом людьми, было томительно, и он надеялся на минуту высвободиться из томленья с помощью отвлеченной мысли. Но как только пришла на ум метафора — мозг страны, он еще нестерпимее почувствовал тоску. Если уж безумие войны взяло верх над человеком, то нет ничего практичнее, как загонять людей в каменные мешки и сыпать по мешкам бомбами. И что же может быть лучше прямых попаданий в мешки, доверху наполненные мозгом страны? Тетушка уцелеет, а Пастухова прикокошат. В мыслях его назвалось имя Пастухова, так сказать, фигурально, — просто потому, что он думал о нем больше, чем о каком еще. Но в сердце отозвались другие имена. Убьют, конечно, не одного Пастухова. Может быть, убьют Гривнина. Или Доросткову с ее рыцарем Торбиным (где прячется сейчас эта трогательная пара?). Или вот этого славного парня Рагозина (утешающего себя тем, что над самыми крышами Москвы зачем-то носятся советские самолеты — разве что вдогонку за немцами). Или вот этого чудака, уткнувшего нос в книгу (интересно все же, что его так увлекает, — не полагает ли он черпнуть мужества в священном писании?).

Пастухов медленно и, сколько допускало неудобное положение увесистого его торса, осторожно обернулся к девушке.

— Вы не знаете, кто такой там... с книжкой?

— Да так. Видаем его... С нами соседнего дома. Ученый будто.

— Что за ученый?

— Кто его знает, — сказала девушка и вздрогнула, насторожилась, шепотом спросила: — Слышите?

Очень далекий удар и за ним тающий гул слышаны были не всеми. Но те, кто не уловил удара, видели по лицам услышавших его, что нельзя шевелиться и надо слушать. Опять притихло в подвале, как первые секунды после воя самолета, когда все чего-то ждали.

Этот раз ждали недолго. Новый взрыв тягуче прорычал где-то поблизости. Его отголоски, нагоняя друг друга, врывались в убежище то глуше, то острее, точно грозовые раскаты. Люди отозвались на них по-разному. Одни вскакивали и тут же опять садились; другие, поднявшись, продолжали неподвижно стоять; кто спрятал лицо в согнутые руки; кто только зажмурился. По-прежнему натянутой держалась тишина, точно у каждого перехватило голос в эту минуту, которая требовала внимания единственно к тому, что происходило за пределами подвала.

И вот — еще не истекла эта долгая минута, — вот что произошло в самом подвале.

Глаза Пастухова успели схватить два впечатленья. Первое — это мигнула лампочка. Она погасла, зажглась и погасла опять. Когда она на миг зажглась, деревянный столб, подпиравший свод, явственно выгнулся и тут же распрямился вновь. Это было другое впечатленье, нераздельное с первым. Они слились: мигнул свет — дрогнул столб.

Но в том, что Пастухов успел зрительно схватить, он дал себе отчет только позже. В этот же момент его поразил гром, который — казалось — разорвал подвальные своды, и стены, и над ними весь дом. Пастухова притиснуло к стене. Он ощутил ее дрожь. Что-то сдавило ему шею. Треск и звон стекол смешались с общим человеческим стоном.

Очень ярко вспыхнул опять свет. Лампочка размашисто качалась на проводе. Тени кинувшихся к выходу людей метались по озаряемым ею стенам. Кинулись почти все сразу, кучей, и началась давка. Стон, исторженный в темноте, когда еще гудел удар взрывной волны, теперь расколосился на множество криков, и они ужасали не меньше, чем удар.

Вдруг, перекрывая крики, раздался высокий мужской голос:

— Граждане! Уж теперь-то никакой опасности! Садитесь по местам!

Высоко подняв книгу, ученый остановил ею качание лампочки. Не спеша начал он устраиваться опять у столба на своем треножнике. И не столько его голос, не столько тщательность, с какой он отряхивался от пыли после того, как волна повалила его на пол, не столько это самообладание подействовало на людей, сколько прекратившаяся качка теней по стенам и невозмутимая ровность электрического света. Крики упали. Но люди все продолжали кучиться в проходе, стремясь к выходу, где шум голосов не унимался.

Пастухов опомнился, услышав призыв — садиться по местам — и не поняв его. Он сидел на месте, как прикованный. Его шею все еще давило. Он попробовал высвободиться и тут понял, что крепко оцеплен руками девушки, прижавшейся к нему сбоку. Он насилу раздвинул ее руки.

— Ах, нет, — вскрикнула девушка и в каком-то беспомоществе забормотала: — Не уходите, не уходите, нет-нет...

Она вцепилась в его пиджак, и пальцы ее так сжались, что Пастухов не мог сразу вырваться. В это время поднялся Рагозин.

— Я узнать, что там.

— Я с вами, — вытолкнул из себя Пастухов, с жесткой досадой держа полу пиджака.

— Зачем? Я вернусь! — говорил Рагозин, успокаивая его, и вдруг мягко погладил содрогавшееся плечо девушки. — Мы вернемся, вернемся! Мы только узнаем. Сейчас.

Она выпустила пиджак и расслабленным движением согнулась, зарывая лицо в колени и туже, туже охватывая голову сведенными в локтях руками.

Со мгновенной ясностью увидел Пастухов жену: одинаково с этой девушкой она прятала лицо в колени — тогда, на даче, во время учебной тревоги. Как все-таки много в женщине от ребенка! И хорошо, что Юленька отправилась к тетушке — если колени там и понадобятся, то разве чтоб разложить на них вышивание крестиком.

Пастухов решил ни на шаг не отставать от Рагозина. Он заражался его потребностью действовать, которую чувствовал. Но он не знал, что предпринять, и делал то, что делали все — протискивался с людьми проходами из одной секции подвала в другую.

Народ уже во множестве успел выбежать во двор и хотя в дверях еще бессмысленно теснился, прежней давки здесь не было — она перенеслась под ворота, откуда люди рвались на улицу. Все больше появлялось в толпе распорядителей, слышнее раздавались их приказания. Одни кричали: «Молодежь, сюда!» Другие требовали: «Граждане, назад, назад!» Третьи подзывали к себе своих товарищей по именам.

Чтобы не отстать от Рагозина, Пастухов держался за него, и они вместе протискивались сквозь толпу, пока она сама не довлекла их до ворот.



Один створ стоял закрытым. Несколько человек силились притворить другой, оттесняя людей, громко командуя: «Отбоя не было! Назад!»

Рагозину пришлось уже силком пролезать щелью между створами. Он натолкнулся на подоспевшего с улицы милиционера, один вид которого (можно было подумать) обладал всевластьем; ворота наглухо затворились и отделили Рагозина от Пастухова.

## 2

Сила, влекшая людей на улицу, была прежде всего неодолимым стремлением бежать того места, где испытан страх. Она была внезапным чувством, что стены, которые дрожали, грозят рухнуть и под домом скорее найдешь могилу, чем под открытым небом. Она была сознанием, что все одинаково ищут спасения и, значит, каждому надо поступать так, как поступают все. Она была в то же время жгучим нетерпением узнать — куда, в какой дом попала бомба и что произошло там, где она разорвалась: большинство укrywшихся в убежище состояло из жильцов квартала. Первобытная страсть толкала избежавшего смерти увидеть, чего он избежал. И, наконец, сила была порывом тех, кто, ощутив себя невредимым и целым, подумал с состраданьем о неуцелевших и кинулся им на помощь.

Ворота закрылись. Улица стала недоступной. Сила, которая гнала туда людей, начала падать, потому что некуда было бежать. Но она падала и потому, что страх, испытанный в убежище, начал утихать, а на смену приходил страх перед улицей, опасность, таившаяся за воротами, была больше, чем в убежище, иначе зачем закрыли бы ворота? Зачем бы распорядители громче и громче требовали, чтобы все шли назад в убежище?

И когда, словно еще против воли, колеблясь и боясь, люди опять начали спускаться в подвал, тогда донесся издали новый взрыв. Устрашающе ожило значение слов — «отбоя не было», — и народ рванулся назад, толпясь у входа в убежище, как за минуту до того толпился у ворот.

Пастухов вернулся в подвал, когда там было еще не очень многолюдно. Несколько женщин с детьми рассаживались или уже сидели на скамье. Одну он вспомнил: это ее, большеглазую, пропустил Рагозин вперед, удержав Пастухова в воротах, и она с разбега влетела во двор. Сейчас она унимала кричащего ребенка, давая ему грудь. Он не брал, выплевывал мокрый сосок, вертел головенкой и, совсем выпростав из одеяльца ножки, сучил ими в воздухе. Мать в настойчивой сосредоточенности делала свое дело. Пастухов остановился. Его изумила любовная строгость ее лица, казавшегося прекрасным. Она будто не замечала ничего вокруг. И вид этой мадонны в бомбоубежище (как впечатлелась она мыслью Пастухова) внушил ему внезапное убеждение, что не чем иным, как только одною заботою о родном, либо близком, либо о каком другом, но непременно другом человеке усмирится гнетущий страх за себя.

Поодаль от матери стояли две женщины и, широко поводя руками, о чем-то рассуждали. Пастухов взглянул, куда они показывали. От удара волны мешки с песком, которыми снаружи заложено было окно, втиснулись в его проем, выдавив стекла, исковеркав раму. Один мешок разорванным углом свисал на стену. Из дыры текла струя песка. Мешок, рядом с другими, уже наполовину сплюснулся. Надо было его поднять и все мешки уложить как следует, наново, — об этом, видно, калякали женщины.

Пастухов только было огляделся — кого позвать на нелегкую работу, — как послышался гул взрыва, и снова всеми овладело волнение, и густо хлынул через двери людской приток. Он захватил, повлек Пастухова проходами в ту дальнюю секцию, где он сидел раньше.

Все еще с неугасшим желанием что-то предпринять Пастухов подумал, что и там, в дальнем помещении, окно тоже выломано мешками, и надо привести мешки в порядок, и он сейчас же этим займется, и это хорошо, что он проталкивается с народом туда, где у него есть свое место (думая так, он назвал место именно «своим»). Но, войдя туда, где находилось это место, он увидел, как со скамьи под окном прыгивают одна за другой женщины и отряхивают платья, а впереди них стоит и так же отряхивается человек в тужурке, которого щупленькая соседка Пастухова отрекомендовала ученым. Она была тут же и, торопясь, одергивала свою вязаную кофточку. Заметив Пастухова, она стала пробираться к нему.

— Пришли, — неуверенно сказала она. — А мы в окошке загражденные поправляли... вот с ними, — добавила она, взглядом указывая на ученого. Он уже устраивался на тренажерке.

— Местечко наше занято, — продолжала девушка разочарованно и точно еще с большей неловкостью. — А под окошком никто не хочет... Вон в углу разве еще пристроиться... Ничего, я около вас опять? — совсем робко спросила она.

Ее будто подменили — испуг ее прошел, а за стеснением выдвинулась сердечность, и она ласково улыбнулась, едва Пастухов с убеждением проговорил:

— Само собой, конечно!

Он чувствовал какое-то согласие в окружении, и ему казалось — он был участником этого согласия, как будто вместе с девушкой сам укладывал в окне мешки. Он хотел заговорить с ученым, но она спросила:

— А молодой человек, который с вами... он где же?

Пастухов не успел ответить. Резкий голос раздался в проходе:

— Освободите место раненому!

Началось неохотное топтание на месте среди тех, кому еще не удалось усесться.

— Скорей, скорей от прохода! — повторялся голос.

Постепенно народ раздвинулся на шеренги одна против другой, и в узком коридоре между ними появилась передняя пара с носилками в руках. Одним носаком был Рагозин, другим — коренастая дама с красным крестом на рукаве. Ей было тяжело — она кособочилась, пунцовое лицо ее жалко морщилось.

Пастухов протолкался вперед, к Рагозину — помочь ему, но тот качнул головой на свою измученную напарницу, и он сменил ее, неуклюже перехватив ручку носилок. Мельком он глянул на голову раненого, отвернулся: ему почудилось — это мертвец. Носилки понесли в дальний от окна угол, стали медленно опускать.

— Зачем же на пол? — фальцетом прозвенел возглас ученого. — Составьте скамейки. Пошире которые!

Кто очень дорожил местами на скамьях и оставался сидеть, когда вносили раненого, теперь поднимались, подгоняемые вдруг долетевшими из других секций криками: «Носилки требуют!», «Давай носилки!»

Скамьи были составлены. Раненого подняли с пола. Он застонал. Его уложили на скамьи. Носилки поплыли над головами, передаваемые к проходу и дальше к дверям.

— Так и будем стоять? — сказал ученый, оторвав глаза от раненого и строго оглядывая даму с красным крестом.

— Я? — испуганно спросила она.

— Вы.

— Наша медсестра, она... она сию минуту.

— А вы кто?

— Санитарка. Нашего домо... (она передохнула) домоуправления.

— Давайте ножницы.

— Ножницы?

— Да, что там у вас?

Ученый с нетерпением ткнул пальцем в ее сумку с крестиком. Она поспешно раскрыла сумку. Руки у нее дрожали. На дне сумки шуршало, звякало.

— Капли... валериановые... Потом вот...

— А! Ну, примите сами. Капель двадцать,— буркнул ученый.

Ощупав карманы тужурки, он вынул толстобокий складной ножик, стал выискивать в наборе лезвий и каких-то приборчиков понадобившийся инструмент, прикрикнул:

— Товарищи! От света! — и, опять взглянув на санитарку, вызывающе галантно наклонил кудлатую свою голову: — Займитесь... чтоб не заслоняли.

Она обернулась и, оживленная задачей по своим силам, принялась деликатно убеждать, чтобы безмолвным кольцом обступавшие раненого люди расступились.

Раненый лежал недвижимо. Одежда его была перемазана землей. На левой ноге штанина по всей голени чернела от крови, и кровь уже просочилась на скамью.

Ученый осмотрелся, сказал Рагозину: «Вот вы» — и дал ему держать штанину за грязный край в мохнах. Сам он тоже прихватил эти мохны почти вплотную с пальцами Рагозина и куцыми ножничками надрезал край. Забрав надрез в разинутый зев ножниц, он толкнул ими в материю, клейко пропитанную кровью, стараясь резать, как продавцы-мануфактурщики.

— Натягивайте, натягивайте крепче,— говорил он Рагозину.

Пастухов чуть издали старался вглядываться в их лица. Нависшие кудлы ученого закрывали лицо до седой щетины усов, и видно было, как она подергивается, отвечая вздрагиванию то стискиваемых, то разжимаемых челюстей. Лицо Рагозина не менялось — оно казалось злым. Видеть эти лица Пастухову все время мешали стоявшие впереди него люди. Но всякий раз, когда его взгляд, отыскав ученого или Рагозина, нечаянно падал на раненого, Пастухов быстро прятался за тех, кто мешал.

Нет, он не мог пересилить боязни смотреть на умирающего или — чего он боялся еще больше,— может быть, уже умершего человека. (Признаваясь в этом печальном качестве своей природы, он называл его не боязнь, а, в полшутку, безусловным инстинктом. «Лошади тоже боятся мертвых»,— говаривал он.)

Не один он, однако, отводил глаза от страданий. Когда открылось разможенное колено раненого с проглядывающей из крови розовато-белой тупой костью, многие отошли подальше и замкнулись, перемогая испуг и боль бессильного участия.

В тишине был слышан вновь нетерпеливый вопрос ученого:

— Бинт-то у вас есть?

— Да-да!

Санитарка закопошилась в своей сумке. Лишь бы не увидеть раненого, она, пятась, сунула, кому пришлось, катушку бинта и тут же с облегчением выдохнула:

— А вот сестрица!

Маленькая, круглолицая, в белой косынке женщина, перед которой

расступились, с хода посмотрела на рану пострадавшего, потом на перепачканные кровью ножик и бинт в руках ученого, уважительно спросила:

— Вы врач?

— С такими санитарями — да, — сказал он.

Она, будто не слыша ответа, считала пульс раненого. Потом коротким движением цепких кулачков разодрала на нем штанину до пояса. Ощупав и приподняв бедро одной рукой, протянула другую за бинтом. Едва приступила к перетяжке бедра, как раненый зашевелился. Вдруг вскидывая и роняя голову, он взвопил. Сестра подтянула к себе не отступавшего от скамьи Рагозина за рукав.

— Прижмите его, — говорила она отрывисто. — Навалитесь сильнее. Держите руки...

Рагозин исполнял все, как приказанья.

Двое широкоплечих молодцов-санитаров подоспели с носилками, когда сестра кончала перевязку. Она дала им знак — брать. Раненого унесли. Его стоны долго слышались и еще дольше стояли у всех в ушах.

Ученый сидел на своем стульчике. Носовым платком оттирал с пальцев присохшую кровь, поплеывая на платок.

Рагозина обступили с расспросами — он ведь был там и должен достоверно знать, что причинено взрывом. Он скупился на слова и сказал только, что раненого подобрали на улице — он был сбит камнями рухнувшей стены. Слух, что бомба попала в большое убежище, Рагозин назвал выдумкой — разбитый дом был невелик. Его спросили — а что под домом? Он смолчал. Расспросы были жадны, ответы встречались с недоверием: ждали услышать непременно очень страшное, наверно, по слову о глазах, которые у страха велики.

Повторил Рагозину тот же вопрос и Пастухов: что под домом? Дошел слух, будто под обломками осталось не то двенадцать, не то двадцать человек. Число обещало расти — таково свойство молвы, и это был ответ Рагозина. За раскопки взялась молодежь, и он заявил, что идет помогать.

— Вы смелый, — вдруг встрепенулась девушка, все время державшаясь поближе к Пастухову. Восхищенье боролось в ней с неодоленной робостью.

— Когда чем занят, то не очень боишься, — сказал Рагозин. — Видите? — качнул он головой на ученого (тот уже перелистывал свою книгу). — Я пойду, — договорил Рагозин. — А вы, как это?.. Словом...

Он не нашел никакого слова, но чуть не лукаво метнул на Пастухова беглым взглядом. Будто готовая сделать за ним шаг, девушка вся подалась вперед, но сейчас же отступила.

Пастухов обнял ее плечи.

— Пошли! — сказал он так решительно, что она не сомневалась — они пойдут следом за Рагозиным. Но Пастухов подвел ее к ученому.

— Простите, нам хочется узнать, — сказал он, — что вы читаете?

Ученый захлопнул книгу, показал переплет. Пастухов нагнулся и замигал.

— Не видно? — спросил ученый, приподнимая книгу к свету и обращив ее к девушке, потом опять к Пастухову. — Знакомо?

Мигал Пастухов не потому, что было плохо видно, а как раз потому, что уж слишком знакомым — с незапамятных лет! — был звучный, всегда неожиданный «Граф Монте-Кристо». И где бы еще вынырнуть этому вездесущему, если не под бомбежкой?

— Изумляюсь ему... и вам, — впрямь изумленный, проговорил Пастухов.

— Взрослым это чтение полезнее, чем детям,— сказал ученый.— Дюма — курорт на дому. Освежает, как ванна.

— Вы... не курортолог?

Ученый снова раскрыл книгу.

— Я математик,— ответил он насупленно. Но поднял голову, прищурился на Пастухова.— По теории вероятности нашему бомбоубежищу вряд ли что еще угрожает. Имею в виду — сегодня.

Он вытянул за ремешок часы из нагрудного кармана. Как автомат, Пастухов заглянул под обшлаг, на свои часики, и быстро приложил их к уху. Они шли.

— Сколько на ваших?

Ученый ответил. Нет, нельзя было поверить!

— Сорок минут? — пробормотал Пастухов.— Всего сорок минут, как объявили тревогу? — Он растерянно посмотрел на девушку. Она как будто не понимала его.

— По моим тридцать восемь,— сказал ученый.— Устраивайтесь. Наверно, посидим еще.— И он углубился в чтение.

На скамьях уже не было мест. Но край одной пустовал. Несколько человек заслоняли ее, стоя рядом, и немного посторонились, когда Пастухов высматривал, где сесть. «Что ж они стоят?» — подумал он и заглянул за их спины. Точно от рези в глазах, он зажмурился и медленно отвел голову: это была скамья, на которой лежал раненый,— темные следы крови облепляли сиденье.

Он все не открывал глаза, пока не расслышал, как кто-то с досадой вздохнул:

— Сколько ни стой...

Худошавый, сухой человек, нагнувшись, пощупывал пятна на поверхности скамьи и смотрел на кончики пальцев.

— Подсыхает,— сказал он, распрямляясь. Опять вздохнув, достал из кармана газету, развернул, примерил к сиденью, застелил его, глянул на Пастухова.

— Садись, отец. Уместимся.

Первый раз в жизни услышал Александр Владимирович обращенное к нему чужим человеком теплое имя — отец. Неожиданность слова не могла пересилить странного трепета и отвращения при мысли усесться и сидеть на пролитой крови. Слово, однако, подсказало ответ:

— Пускай вот дочка,— постарался так же тепло сказать Пастухов и взял за локоть девушку и подтолкнул ее. Она остановилась перед скамьей в нерешительности. Он долго не глядел на нее, потом покосился. Девушка, наклонив голову, все еще стояла. Какое-то время он опять не смотрел в ее сторону. Обернувшись, увидел ее сидящей, по-прежнему — с опущенной головой.

«Трудно, но можно,— подумал он,— можно сесть на пролитую человеком кровь. Ходят же где-нибудь сейчас по крови. Втаптывают в землю, уже не замечая — что топчут».

Лицо Пастухова изменилось. Он трогал его и не узнавал. Оно, наверно, старело. Оно начало меняться с того момента, как показалось, что время остановилось. Он снова заглянул под обшлаг и прижал часы к уху. На слух они тикали. На глаз стрелка как будто замерзла. Как могло измениться лицо, если не двигалось время? Раньше лицо менялось годами, а время летело птицей. Сейчас лицо изменилось мгновенно и, может быть, уже навсегда, раз время стало?

«Вздор (сказал себе Пастухов) — не школьник же я, которому не терпеть, когда кончится урок... Надо высидеть на этой новой ученической парте. Надо выучиться переносить остановившееся время. Не подглядывать потихоньку от учителя на часики — сколько осталось до

звонка. Звонки не скоро. Уроки истории затягиваются. Они бесконечны...»

Пастухов чувствовал, как растет вес его тела и давит, давит к полу. Он через силу обернулся к девушке. Она вскочила.

— Я отдохнула, отдохнула. Сядьте скорей,— лепетала и несмело тянулась она к нему.

Отказаться он уже не мог. Он только чуть помедлил, разглядывая, не проступила ли через газету кровь, а когда сел, то двумя пальцами хотел приподнять уголок листа и обнаружил, что бумага прилипла к скамейке. Но он больше не испытывал того, что его отшатнуло от злощастной скамьи. Усталость притупила его. Дремота крадась к нему болью.

## 3

Уже взошло солнце, когда радио объявило отбой тревоги. Казалось, все должны броситься к выходу, облегченные от бремени ожидания этой минуты. Но люди выходили из убежища, будто под суровым надзором — человек за человеком, в затылок, и тихо до немоты. Так змейка выползает из норы, сторожко вынюхивая — что ее ожидает на свету?

Свет, каким его нашел Пастухов, выйдя за ворота, стал неузнаваем. Солнце было белым. Кварталы высились неподвижно, но неподвижность их теперь омертвела. Они побелели от известковой пыли и чудились мраморными памятниками с черными строками окон без стекла. По строкам читалась минувшая ночь. Чтению сопутствовал хруст стекольной крошки под ногами.

Девушка и тут не отставала от Пастухова и озиралась кругом вместе с ним. Ее неожиданную улыбку он воспринял как что-то бессмысленное.

— Вон он,— сказала она.

К ним шел Иван Рагозин. Всклопоченный, измазанный с ног до головы, он нес свои руки, как груз.

Чуть вдалеке, откуда он явился, собирались люди, которых не пропускали к месту взрыва. Там краснела, стрелой к небу, пожарная лестница, словно указывая — где виновник. Гудел мотор проплывающего над развалинами подъемного крана.

— Ну, что там? — спросил Пастухов.

Рагозин отвечал опять будто против воли:

— Работают. Все службы съехались.

— Сколько погибло?

— Обломки мешают.

— Откопали сколько? — настаивал Пастухов.

— Осторожно приходится. Засыпаны сильно.

— Вы прямо дымитесь! — по-детски не к месту вмешалась девушка. Она не сводила глаз с Рагозина.

— Значит, горю,— сказал он, немного оживая.— А вы отмучились?

— Я не мучилась. Как услышу — самолет близко, испугаюсь, а потом сразу подумаю... (Она не договорила, о чем подумает, и застенчиво перекинулась с виду на что-то совсем другое.) Вы кто же, а?

Рагозин ответил неожиданно пышно:

— Я — гражданин Советского Союза!

— Знаю. Стихи! — сказала она с той плутоватостью, с какой отмываются ребятишки: «не проманишь!» — Вы, может, тоже — как Маяковский?

Пастухов обнял ее.

— Сами-то кто вы, милсе создание? Зовут-то как?

— Зачем? — удивилась она и высвободилась из его руки.

— Вы хорошая, — кивнул ей Рагозин.

Она будто еще больше удивилась и вздохнула:

— Теперь уж нам не увидаться.

Пастухов заметил в глазах Рагозина что-то знакомое, перехватил ответный взгляд девушки и вдруг обнаружил ее сходство с неуступчивой комсомолкой, встреченной у художника в мастерской, хотел сказать ему это, но вылетело из головы имя комсомолки — он смолчал.

Прошел мимо ученый с треножником под мышкой.

— Привет! — отрезал он, не убавляя молодецкого шага.

— Я им попутчица, — показала на него девушка.

— А вы? — спросил Рагозин Пастухова, тут же добавив: — Я спешу.

— Спасибо, — грустно сказала ему девушка и вполуборот — Пастухову: — Вам тоже.

Она засемила, догоняя ученого, а Рагозин с Пастуховым молча пошли в другую сторону.

На Чистых прудах в безмолвной длинной чередой пустовали трамвайные вагоны. Только в одном приладились и спали по сиденьям кондукторши, вожатые — кто как. Пешеходы держались середины мостовых. И странно вспомнилась Пастухову Москва гражданской войны в утренний час, когда служилый люд вереницами тянулся на работу по трамвайным путям без трамваев, сосредоточенный на чем-то общем и одном. Сейчас, под хмарью неба с белым солнцем, так же сосредоточенно-угрюмо шагал московский люд. И Пастухов, нет-нет поглядывая на Рагозина, думал: как они ни разны, их одинаково ведет то общее, одно, чем занят мозг и полно сердце люда, нынче принявшего бой за Москву. Безмолвие, с каким жили улицы, было гневом, который не давал разжать челюсти.

## 4

Пастухов и Рагозин вновь шли бульварным кольцом, его не узнавая. Деревья словно не очнулись от небывалых сновидений, листва коченела под известковым снежком — в безветрии он все еще только садился. Скамьи на бульварах пустовали, и потому уже издалека было видно, как одна скамейка стягивает к себе людей, подолгу что-то слушающих, прежде чем отойти.

Рагозин первый продвинулся так, чтобы разглядеть, кто сидит. За ним стал Пастухов. Любопытные, окружавшие скамью, разговаривали приглушенно, не торопясь, одни устало до безразличия, другие с участием:

— Да рядом... Вон машины у ворот.

— Там и стекла целы. Я шел сейчас мимо.

— Во двор надо, со двора видать.

— Не пускают, наверно?

— Кирпич разбирать будешь — пустят.

— Все как есть завалилось иль чего осталось?

— Углы остались. Рухнуло самый раз над бомбоубежищем.

— Она сама-то кто будет?

— Дворничиха.

— Не дворничиха, а дворник, — наставительно поправил грузный рыжеусый человек и, видимо, интересуясь, оценено ли его замечание, осмотрел всех, кто вокруг стоял. Сам он сидел на скамье рядом с тремя женщинами. Средняя из них почти лежала, навалившись локтями на спинку скамейки. Лицо ее было спрятано, виднелся на затылке узел русых волос и султаном выскочивший из него хвост косы.

— Маленькая девочка-то?

— В том-то и случай, напротив.

— Почему же?

— А потому...— сказал рыжий, держась наподобие ведущего экскурсию.— Чуть что не на выданье, как говорится... Ну, заупрямилась: «Ни на шаг, говорит, от тебя, мама. Куда ты, туда я». Матери, конечно, страшно за нее. Опасается. Велит, чтоб обязательно спустилась в подвал. Все, мол, пошли — затем и строили, чтобы укрыться. Та свое: «Пойдешь ты — и я с тобой. А нет — буду при тебе...» Мать ей грозить — прибью! Да и то сказать: при воздушной тревоге дворник обязан по своей службе нести дежурство. Может, и рада бы сама укрыться, а положением не допущено. Обрато — кто не на посту, тот обязан с прочими гражданами — в укрытия.

— Вы тоже были?

— Кабы так, то и теперь был бы там. Никак не тут... Находился на своем посту, при кране водопровода, в соседнем домовладении. А про что говорю, известно вот от женщин, которые тут сидят, — как с девочкой получилось. До воздушного боя когда дошло — разрывы, стрельба — мать-то и загони дочку в подвал силком. Потребовала, одним словом, всерьез... Девочка, может, от страха пошла. Перед бомбами, то есть.

— Ясно, не перед матерью, — сказал кто-то нетерпеливо. — Что же, наконец, с дочерью-то?

— Раз вам ясно, — заметил рассказчик, — чего же спрашивать?

Его обиженный тон вызвал переговаривание осторожных голосов с решительными.

— А вышел кто из подвала?

— Осталось бы кого выводить!

— Откопают — вынесут...

— К чему это размусоливать? Здесь мать!

Аккуратный старичок, рисуя кружева у себя в ногах тросточкой по земле, сказал:

— Остановились, слушаете, а потом спрашиваете — зачем рассказывают? Интерес свободный. У каждого. Меня, скажем, интересует — дадут происшествию какое отражение в газетах? Или замолчат?

— Вы не рабкор? — осведомился вкрадчивый голосок.

Рагозин, озорно покосившись на Пастухова, спросил старичка:

— Вы вчера перед бомбежкой извоили кушать баранку. Успели дожевать?

— Что, собственно, вы желаете?

— Я из свободного интереса. На этом бульваре как раз перед треногой видел вас с большой такой баранкой...

— Если вы шутите, — начал старичок, налаживая на переносице очёчки, но ему не пришлось кончить.

Женщина, полулежавшая на скамье, взвизгнула, забилась. Соседки подхватили ее с обеих сторон под руки. Она вырывалась, и ее стоны быстро перешли в повторяющийся выкрик:

— Сама!.. Сама!..

Ее едва удерживали — силы ее прибывали. Узел волос, видно наспех затянутый, распустился, и только от мига к мигу мелькало в космах бледное, оскаленное лицо. Ее стало ломать, и она вдруг сползла наземь с воплем:

— Убила!

Мужчины шагнули на подмогу. Рыжий, который вел рассказ, тяжело нагнулся, в обхват забрал колени бившейся женщины, и общими усилиями ее уложили на скамейку. Она продолжала выталкивать слова, но они все больше утрачивали отдельность, превращаясь в стенанье кликуши.



Круг любопытных сразу, как начался припадок, раздался шире, кое-кто ушел, но останавливались новые прохожие — кучка людей не убывала.

Пастухов, пораженный криками женщины, которые рассекали воздух, схватил Рагозина за рукав, словно ища поддержки. Тот не обернулся, и он решил расстаться с ним. Но крики не переставали доноситься до Александра Владимировича. Сделав несколько шагов, он остановился. Решимость была невелика: голова, мимо его воли, повернулась к той точке, которой он только что бежал. Он увидел — Рагозин догоняет его — и двинулся дальше. Поравнявшись, они будто и не собирались заговаривать. Взгляни на них кто свежим глазом, показалось бы — идут истомленные долгим походом. Но оба только начали поход и, чувствуя это, ревниво прятали за ночь потревоженный запас самообладания.

— Что это вам вздумалось одернуть старикашку? — спросил Пастухов с таким видом, точно на ходу спал и проснулся.

— Созерцатель!

— Кто?

— Ну, этот... свободно интересующийся! — зло выговорил Рагозин. — Языки чесать... когда надо откапывать людей! Копать, копать надо! — прикрикнул Рагозин и вытянул, растопырил вымазанные грязью горсти. — Завалы разбирать. А эти... Как их? Кто они? Комментаторы чужого горя.

— Словечко хорошо! — неожиданно легко одобрил Пастухов. — А нам, старикам, значит... куда же?

Рагозин как-то стеснительно ухмыльнулся, но ответ его был прям:

— Старики должны всех звать к делу... Наболтают коробка два. А хоть бы обмолвились — кто повинен в издевательских смертях? С кого мы потребуем ответа?

Он словно обрубил вопрос и шел помрачневший, опустив голову.

— Собственными глазами увидеть... прямое попадание!.. — Рагозин и тут недосказал, а вдруг с ожесточением сдвинул виски кулаками.

— Кого винить — искать недолго, — погодя заговорил Пастухов. — Малые ребята — и те знают, что за враг на нас навалился. Но... беда одной матери — и мы стоим с повисшими руками: чем помочь? Чем? Может, вы докажете ей, что она ни при чем? Что это все — Гитлер? Она не станет оспаривать — он, проклятый. Да сердце-то матери будет виноватить ее одну... Есть на земле неизбежность исключений. Трагедии. Не на сцене, нет. На земле. Мать ведь поступала верно. Она слушалась своего сердца. Любовь руководила ею. Любовь предала ее. И та же любовь, то же сердце осуждают ее на муку. За верность им, в сущности...

— Мудрено что-то, — вздохнул Рагозин.

— Чего проще! И в простоте — что отчаяннее, если рука помощи опускается сама собой?

— До философии ли? Заспать бы нашу с вами ночь. Впрочем... — перебивая себя, спросил Рагозин: — Как вы насчет того, чтобы — копать?

— Копать — да! Прежде всего.

— Договорились, стало быть. Теперь прощаться. Трамваи все не идут.

Рагозин уже хотел вынуть руку из сильно сжавших ее пальцев Пастухова, но сам заново сдвинул их крепче.

— Увидите Никанора Никанорыча — поклон. Никто в жизни мне столько не дал, как он, Гривнин. Скажите ему.

— Скажу. А вы... — Пастухов изумленно взмахнул рукой. — Надя! Надя зовут девушку... Ну, когда я с Гривниным был у вас? Комсомолка. Так ведь? Надя?

— Что вам взбрело?

— Кланяйтесь, если встретите. Она тоже ведь землекоп... (Пастухов приостановился — изумление не покидало его.) Нет, мы с вами не ошибаемся: прежде всего — копать. Подумать! В век всепокоряющей техники на переднем плане — лопата. Чем выше техника, тем больше, оказывается, нужно лопат. Заступ, истинно-вечный, как сама земля. Обнадеживает жизнью, когда копают щели укрытия, и утешает покоем, когда роют могилы.

— Театр! — воскликнул Рагозин. — Прощайте же. Не то и меня потянет... на Шекспира!

— Не худо!.. Но погодите. Та девушка, которая была с нами в бомбоубежище и не назвала себя, не правда ли, она напоминает Надю?

Уходя от пастуховского хитрящего прищуря, Рагозин готов был сказать «пожалуй», но на басистых своих нотках командирски отвесил:

— Долой театр! — и замаршировал, едва ли не по-военному, с левой.

Это могло сойти за шутку баловника, если бы Пастухов, напрасно пождав хотя бы коротенького кивочка, не обнаружил себя одиноко стоящим посередине перекрестка.

## 5

Он не вдруг узнал улицы, а признав, не сразу решил — действительно ли надо идти на вокзал и отправляться домой или сначала заглянуть к кому-нибудь из приятелей. Ноги его выполняли свою работу, а нерешенность — куда следует и куда он хочет идти — не только оставалась, но начинала его пугать.

Им овладело состояние одиночества, раньше совсем чуждое. Он понял, что всю небывало жестокою ночь ему помогал держаться мало знакомый, но так расположивший к себе художник Ваня Рагозин. Даже когда Вани не было рядом, Пастухов уверенно ждал его возвращения с улицы в подвал и не чувствовал себя оставленным, как сейчас. Лишь сейчас он отдал себе отчет, что всю ночь в душе называл художника Ваней, никак иначе.

Теперь Ваня его бросил.

Пусть — не бросил (поправил себя Пастухов). Оставил. Но оставил не так, как знакомые, прощаясь друг с другом. Нет, оставил, точно обрек на одиночество. Александр Владимирович Пастухов идет один по тихой, суровой, замкнутой Москве. После дерзкого налета злейшего врага, когда ненависть к нему превратила москвичей в слиток, — Пастухов, оставленный всеми, не нужный никому, идет один. Прохожий, к которому все безучастны. Ваня горячил его мысль, вызывая на возражения и сам все время возражая. Теперь никому нет дела до Александра Владимировича. Дымы свисают с белесого неба. Гарью дышит Москва. Пожарные, где-то промчавшись, взвыли сиреной. Прохожий появляется, прохожий исчезает. Его дело — двигать ступни...

И, шаркая по асфальту, Пастухов добрел до вокзала. Первый пригородный готов был к отправлению. Неурочно было только многолюдие в вагонах: возвращались по домам, кто не успел уехать с вечера из-за воздушной тревоги. Большинство пассажиров молчало, многие дремали, если же вспыхивал разговор, то непременно о бомбежке. Найдя место, Пастухов сразу почувствовал всю меру усталости. Но он знал: закрыть только глаза — вряд ли они откроются, когда надо будет сойти на остановке.

Позади переговаривались мужские голоса, и долетело слово, которое насторожило: «театр». Он вслушался. Голос, произнесший «театр», смолкнул, а другой подтвердил, что да, и ему передавали, как бомба прямым попаданием угодила в театр (тут Александр Владимирович схватился за край скамьи и привстал, потому что назван был его, па-

стуховский театр, больше прочих ставивший его пьесы). Но первый голос перебил, говоря, что уж, позвольте, ему-то от верных свидетелей известно, что разбит не этот театр, а тот, о котором он говорил (и тут Пастухов слегка отпустил скамью, все еще думая, однако, встать, потому что назван был театр милейших ему Доростковой с Торбиным). Вдруг в спор вмешался новый голос, заносчиво назвавший попадание в тот ли, другой ли театр попаданием не прямым, а «кривым», по простой причине, что это — сплетни, а факт состоит в отважнейшей битве советских воздушных сил, не допустивших гитлеровских пиратов дальше окраин столицы и защитивших ее честь.

На этом разговор как будто исчерпал себя, и Пастухову уже не было резона вставать, чтобы расспрашивать о судьбах театров: ежели какому не повезло, то — судя по убежденности третьего голоса — где-то на окраинах. Вспоминать, есть ли там театры, ему не хотелось. Он всего-навсего подумал, что убежище, где найден им был приют и где услышал он зов крови к отмщению, — это убежище не затерялось где-нибудь на окраине — оно сокрыто в самом сердце Москвы.

Его укачивало сильнее, но он так боялся проспять остановку, что всю дорогу не переставал тереть вспухшие, красные веки. Последний пролет он выстоял на площадке и сделал даже нечто вроде прыжка на перрон, когда поезд остановился. Опыт нимало не взбудрил его, поскольку (сказал бы на его месте спортсмен) обошелся без болевых последствий.

Изученной лесной тропой он плелся с тою неохотой, которую приобрели к этому часу его мысли. На плотине подождал, глядя на застывшие во всей красе благодушные берега пруда.

— Какое безразличие! — вздохнул он, продолжая путь и вслух договаривая свое удивление: — Провались мы все в преисподнюю — госпожа природа будет все так же обольщать собою бо-звать кого. Если, конечно, сама не кувырнется вместе с нами...

Когда, наконец, звякнула за ним шеколда дачной калитки, он увидел около дома Мотю. Она крикнула, но не ему, а назад, в отворенные двери. В ту же минуту по ступеням крыльца скатилось что-то ярко-голубое, и Пастухов по яркости понял, что это был распахнутый голубой халат Юленьки и в нем — сама она.

Он не мог идти дальше. Она неслась к нему то лепеча, то вскрикивая. С разбега она повисла на нем.

— Ты жив? Ты жив?! — зажигалось в его ушах.

Он зажмурился и в то же время, не глядя, видел Юленьку с головы до пят, точно вынырнувшую из ванны; видел прыгающего под ногами в счастливом бесновании Чарли и успел отчетливо увидеть, как подмигнул из разинутого гаража серебряным бельмом одной фары миротворный, еще не протертый от пыли «кадиллак». «Ага, — подумал Александр Владимирович, — конь в стойле!»

— Когда? — спросил он, чуть отдышавшись от объятий.

— Ах, Шурик, представь — буквально за полчаса до этого ужасно-го налета! Только что я рассчиталась с шофером, он ушел, я еще не умылась с дороги, как колхоз задубасил в свою страшную рельсу. А ты? Я думала, ты вот-вот вернешься, сядем за стол, я расскажу тебе о нашей славной тетушке все, все!.. Где тебя застигло, боже мой?! Я чуть не сошла с ума!

Он в двух словах хотел было сказать о пережитом в городе, но Юленька потянула его за собой.

— Пойдем, пойдем! Мы тоже ведь тряслись ночь напролет в нашем бомбоубежище. Да, да, а как же? Я, Мотя и Чарли! Ах, если бы ты знал,

что за умница наш обаятельный собакевич! Он так мне обрадовался! Идем, я покажу тебе наш уголок.

Но через два-три шага она опять припала щекой к его груди.

— Москва очень пострадала? Очень? Шурик, милый, скажи, скажи: ты никогда больше не расстанешься со мной, ведь — да? Всегда будем вместе, ведь так? Скажи!

— Всегда,— ответил он кратко, будто ставя печать на грамоте. Отодвинув голову Юленьки, целуя ее щечку, он заключил в спокойствии и с пробужденным к жизни смешком: — Будем трястись вместе.

.....

## Глава тринадцатая

### 1

Было то тихое и смутное утро, когда воздух кажется как бы припудренным остатками еще не вполне развеянного тумана и свет еще словно не пересилил недавнюю мглу прохладной зари.

Выйдя со станции и спросив дорогу, Пастухов накинул на плечи пальто. Он заранее решил не торопиться и теперь шел лесом, вглядываясь в чашу деревьев своим медленным взором, который так хорошо был ему самому известен и который, целиком обнимая зримое пространство, вышелушивал из него отдельные любопытные подробности.

Ему хотелось запечатлеть все постепенно, входить в ожидавший его мир шаг за шагом, как поднимаются в какой-нибудь исторический дворец — с одного марша на другой, озирая и впитывая в себя каждый виток лестницы, и переходы из палаты в палату, и роспись стен, пока, миновав парадные залы, не достигнут сердцевины всех анфилад — личных покоев того, кто воздвиг здание и оставил о нем молву потомкам. И как всякий дворцовый предмет уводит мысль в далекие времена, когда он еще не приковывал к себе изумленно глазающих на него посторонних дворцу людей, а запросто нес службу обиходу своего владыки,— так здесь, в тишине лесных полутеней, всякий замшелый пень при дороге или распиленная на чурбаки трухлявая осина вели и вели мысль Пастухова из одной дали времен в иную.

Все еще сильные, мало тронутые рукой человека засечные леса стояли в этот час недвижимо. Можно было бы сказать, что они сумрачны и беззвучны, если бы сумрак не проскваживали эти припудренные исчезающим туманом полосы света и если бы беззвучие изредка не пронизывалось, то ближе, то дальше, короткой переключкой птиц. Приостанавливаясь, чтобы вслушаться в их голоса, Пастухов улыбался своей догадке: птицы давным-давно не пели, их разговор был деловым, без излишеств,— они переключались только по очевидной необходимости, и довольно было пугнику вдруг стать на месте, как неизвестная пичуга, где-то в гущине высоких крон, быстренько высвистывала: «Он стал!» Пастухов шел дальше. Кругом смолкало. Он останавливался, свист повторялся: «Он стал»,— и какой-то другой деловой голосок откуда-то спрашивал: «Опять?» И пичуга отвечала: «Опять...»

Очень ясно представлялось Пастухову, что вот, наверно, совсем такими же настороженными переключками птиц просвистывалась такая же утренняя тишина и три-четыре века назад, когда неожиданно начинали доноситься сюда издалека людские голоса и потом раздавался обрывистый железный удар по дереву, за ним еще и еще, и вдруг десятки, сотни таких ударов обуревали весь лес дробным стоном загудевшей рубки. Жестче и жестче секли топоры, гулче взывала земля под руши-

мыми на нее кряжами, и треск ветвей и сучьев, подминаемых стволами, несся выше и выше, точно на располыхавшемся пожаре. Рубилась защитная от набежавших татар засека, и на версты и версты, от Плавы до Упы, вершинами к югу ложились столетние деревья непролазной стеною завала. Престольная Москва слала в надежные свои южные крепостцы ратных людей на подмогу засечной страже, и смерды из деревушек с топорами, кованными Тулой, торопились следом за ополчением — валить в лесу дуб и березу. Уходил от шума пушной зверь, бежали лоси, крался волк, и только невидимые в листве пичужки перебрашивались пугливо: «Опять?» — «Опять».

«Не посрамляй же Московского государства ратники да смерды, — думал Пастухов, — отстаивали себя бердышом да топорником. Неужели не отстоят нынче?»

Он снова приостанавливался, слушал.

Спокойствие было таким полным, что чудилось — разве лишь одни сказки сказывали про набеги да битвы, разор и истребление, а жизнь всегда была, как этот лес и это небо над ним — уравновешенные чаши весов. Но и сама эта неподвижность казалась вынутой из сказки, и Пастухову начинало во всем видеться отражение с детских лет манящего царства-государства, по лесам которого идет-бредет странный человек, и птицы показывают ему дорогу к сокрытому в глухой чаще дому.

Вспомнил об этом Пастухов и стал придумывать сказку...

...В сокрытом доме живет праведный старик, и отыщи только этот дом, спроси старика о чем только тебе надо, как сейчас же получишь ответ. Бредет странный человек по лесу день, бредет два, и свистит ему пичуга: «Сверни направо». Свернул человек направо и видит — сидит на пеньке посередине поляны старик и плетет лапоть. «Бог помочь, — говорит странный человек, — не ты ли будешь праведный старик из сокрытого дома?» — «Всю жизнь, — отвечает старик, — хотел я быть праведным, а праведный я или нет, того не знаю. Дом же мой, говорит, не сокрытый, а вроде пенька посередине поляны, и кто его ищет, тот найдет». — «Значит, это ты и есть, — говорит странный человек и спрашивает: — Пришел я задать тебе вопрос, ответишь ты мне или нет?» И говорит ему старик: «За чем пришел, то и получишь, спрашивай». — «Знаешь ли ты, — спрашивает человек, — что на всем белом свете идет война, какой испокон века не видывали?» — «Знаю», — отвечает старик. «Так вот скажи мне теперь, — спрашивает опять человек, — скажи, сделай милость, чем же эта война должна кончиться?» Глянул тут праведный старик в самые очи странному человеку и вдруг, не говоря ни слова, рассмеялся во весь свой беззубый рот — только седая борода затряслась да в руках лапоть с кочедыком запрыгал. И едва человек увидел, как он молча смеется беззубым стариковским смехом, а сам глядит ему в очи, понял, что старик разгадал его до самой подкладки. И взял человека страх...

На этом месте сказки Пастухов вышел на круглую зеленую поляну, и так его это поразило, что глаза сами собой принялись искать пеньку, и он, как в сказке, тоже почувствовал страх.

— Батюшки мои, чего только не попритчится, — пробормотал он с усмешкой. и хоть к усмешке себя он принудил, она долго не сходила с его пухлого рта. Человек городской, он тут же стал озираться — не потерял ли дорогу, увидел, что дорога правда исчезла, и тотчас зашевелился в нем почти детский испуг: не заблудился ли?

— Уж и струхнул! — с той же усмешкой сказал он, подбадриваясь и стыдясь неприятного чувства.

Он повернул назад, но скоро понял, что заходит глубже в лес, и быстрым шагом возвратился на поляну. Он посмотрел на часы, расчи-

тал, что должен был пройти уже много, и удивился, как могло не встретиться ему ни одной живой души. Но только он успел это подумать, как на полянку из леса вышла девочка-подросток в красном платье, с башмаками на веревочке через плечо,— вышла и сразу остановилась, глядя на Пастухова светло-желтыми, медовыми глазами.

— Испугалась?— спросил он как можно ласковее, чувствуя, что отлегло от сердца и в то же время сам немного опешив.

— Нет,— ответила она тихо и еще тише добавила:— А вы что?

Ее всю заливало уже поднявшееся солнце, и ярко-красное ее платье кричало: было в глаза на столь же яркой зелени полянки, и, однако, несовместимое противоречие этих цветов очень тепло сживалось и было удивительно хорошо. Она все смотрела на него остановившимся светлым взглядом.

— Я тут... от экскурсии отстал,— зачем-то соврал он.— На Ясную как дорога?

— Вот прямо,— ответила девочка и показала большим пальцем себе за спину, через башмаки.

— Ты сама-то куда собралась? Здешняя?

— Я недалечко,— сказала она, вдруг опуская глаза в землю.

— Ну, что в Ясной?— после молчания и словно из вежливости спросил он, шагнув к ней навстречу.

— А что в Ясной?— переговорила она, все еще не отрывая от земли глаз.— Как везде.

— А везде что?— шутливо спросил он.

Девочка посмотрела на него чужим, скорым, из-под бровей взглядом, опять опустила глаза и, толчком двинувшись с места, пошла по краю поляны. Высоко подбирая над травой босые ноги и вдалеке обходя дугою Пастухова, она неожиданно свернула в лес, и он только секунду видел, как она бросилась со всех ног и как закачался у ней за красной спиной башмак на веревочке. Наверно, она побежала дорогой, которую потерял Пастухов.

— Черт! На диверсанта, что ли, я похож,— сказал он, слегка даже покосившись на свое голубовато-стальное легкое пальто, которое показывалось на нем, как накидка.

Он пошел, куда показала девочка. Еще из молодых лет он знал, что на языке крестьян слово «прямо» вовсе не означает прямой линии, а только то, что надо положиться на дорогу, и она приведет куда надо. Но когда, почти сразу очутившись на дороге, он заметил, что она больше и больше загибает в сторону, точно окольцовывая полянку, откуда он только что ушел, его стало мучить сомнение — не кружит ли он на месте либо не идет ли назад?

«Может, и девчонка тоже попритчилась?» — подумал он, и сейчас же повторилась мигом в голове его сказка о странном человеке, и опять почувился беззубый смех старика.

Но тут он со внезапной очевидностью понял, что старик этот — не кто другой, как недавний седебородый обитатель этих мудрых лесов, о котором он не переставая весь путь только и думал.

Он начал всматриваться в Толстого.

...Он увидел его с откинутой ветром на одно плечо большой легкой бородой. Зажженный солнцем голубой зоркий глаз глядит на дорогу из-под космато оттопыренной белой брови. Другой глаз затенен широким мягким полем шляпы, прижатым ко лбу со стороны ветра. Он сидит, накренившись набок. Он — в двухместной коляске, он едет один. Левое плечо его приподнято—это с того бока, куда он накренился и где зорко горит глаз. Руки сильно выброшены вперед: он держит натянутые вожжи. Пастухов видит хорошо эти вожжи: до крупа коня синие, пле-

теные, дальше от свинцовой бляхи, подпрыгивающей на крупе, до мундштука крепко взнузданной морды, ременные. Крупный вороной конь шибко бежит грузноватым рысистым аллюром. Ближе, все ближе к Пастухову. Слышно, как стукнул по передку коляски ком земли, кинутый копытом, и как барабанно отзвучал в ответ передок. Вот морда коня уже совсем близко. Пенные клочья сыплются с черной отвислой пубы и развеиваются кружевами по дороге. Пастухов отскакивает на обочину. Толстой придерживает бег, останавливается. На нем поношенный парусиновый пыльник с капюшоном, какие надевают возчики. Пастухов робко снимает шляпу. Он видит лицо Толстого почти рядом. Вот Толстой быстро оглядел его с ног до головы и задержался на его редчайшего цвета пальто. Не понятно, почему такой стыд и такой ужас испытывает Пастухов! Вот Толстой перехватил вожжи одной рукой и пожевал недовольно губами. Мохнатая заросль усов несколько раз, растопыриваясь, поднялась к широким ноздрям и опустилась.

— Добрый день,— еле заставляет себя выговорить Пастухов.

— Да, день славный. Здравствуйте,— неожиданно высоким голосом говорит Толстой,— вы не ко мне?

— Я к вам, Лев Николаевич,— отвечает Пастухов со страшной решимостью, гочно махнув на все рукой.

— А я на Козлову Засеку, за почтой,— весело говорит Толстой и смотрит на него с высоты коляски почти задорно и вот-вот засмеется неслышно. Но седая заросль его усов снова ершисто шевелится вокруг рта, и он говорит: — Ну, подождите меня в Ясной.

Он опять разбирает вожжи на обе руки, странно молодо, как-то мальчишески щелкает один раз языком, и конь послушно берет с места. Пыль обдаёт Пастухова, в ее клубящемся золоте он различает удаляющуюся спину седока с накренным плечом, и Толстой исчезает. Слышен все меньше глухой топот подков по грунту...

Пастухов со шляпой в одной руке, ладонью другой протер все лицо сверху книзу: видение пронеслось, правда, слишком явно — трудно было очнуться.

— Ах, ах! — с болью вздохнул он.— Если бы он был! Если бы он был теперь, а не когда я был так молод!

Но, несмотря на нечаянную боль, Пастухову сделалось легко. От детского испуга, что можно заплутаться, не осталось следа. Он шел, уверенный в дороге, которая, по слову девочки, конечно, вела «прямо», хоть и вилась то вкривь, то наискось сварливой речкой. Вновь стали занимать его не придумки, а невольные новые наблюдения на вечно старой, поросшей гривами деревьев живой земле. Он заметил, что лес переменялся, что стало будто суше, что проходит он участками рощ, пятнисто-белыми от берез, а то угрюмыми, слегка таинственными под тяжелыми тенями дубов. Попалась тропинка, ей наперерез — другая. Засветилась где-то недалеко дорожка, прибранная, как в парке, потянулся яблонный сад, мелькнули между стволов клин огорода, забор, строение.

И вдруг Пастухов разглядел спускающуюся отлого вдаль аллею лип. Он немного повернул голову. Перед ним открывалась площадка с очень нестройным, наклонным вязом посередине, и дальше, позади вяза, был виден белый дом, к которому он шел.

Он сразу признал этот вяз и этот дом — с выступающей пристройкой посередине, с крыльцом по одну сторону и сенями — наверно, черного хода — по другую, с неширокими окнами верхнего этажа, с застекленной и увитой диким виноградом террасой по правой руке: в каких только книгах не видал он за свою жизнь эту картину,— теперь она была перед ним в действительности.

Он медленно пошел к дому, но, не дойдя, взглянул на скамейку, обручем окружавшую ствол вяза, и, шагнув к ней, сел под деревом. На лице его остановилась почтительная и как будто смущенная улыбка.

— Здесь я подожду, Лев Николаевич,— шепнул он себе с грустью.

## 2

Он сидел долго.

Безлюдие не удивляло его — час был все еще ранний.

Одно окно наверху, справа, было распахнуто, внутри дома кто-то прошел мимо него, загудели и смолкли мужские голоса. Внизу, за приотворенной парадной дверью, слышался шум, как будто двигали мебель и несли что-то тяжелое.

Потом дверь наотмашь растворилась, и один за другим из дома вышли четыре командира, все молодые, с шинелями через руку. Они сделали несколько шагов, не обратив внимания на Пастухова, остановились около веранды, начали одеваться. Видно было по сапогам, шинелям, что командиры не из городских служак, а, наверно, порядочно узнали ночевок под кустом, по лесным овражкам, окопам, избам, где попало. Один из них привычно перебросил через голову ремень потерявшего кожаный блеск планшета, достал пачку папирос, тряхнул ею на ладонь и, распустив выскочившие папиросы веером в пальцах, роздал товарищам. Все четверо стали искать по карманам спички, не нашли, засмеялись. Один — низенький, в заломленной на затылок фуражке — огляделся, увидел Пастухова, зашагал к нему, громко спросил, еще не дойдя:

— Спичечки, гражданин, не найдется?

Пастухов, как только они появились, перестал смотреть на дом, а следил за командирами с совершенно новым интересом, который, однако, имел неуловимую связь с чувством, бередившим его все утро. Он отозвался с готовностью и даже словно предупредил командира, вытянув из кармана коробок со спичками, когда вопрос еще не был договорен:

— Пожалуйста, у меня есть.

Зажегши спичку и разглядывая наклонившееся к ней лицо в каштановой небритой щетине и в темных разводах под глазами, он спросил:

— Не с фронта, товарищ командир?

Командир что-то промычал через нос и продолжал сосать папиросу так усердно, что щеки вваливались в рот и остро вытягивался подбородок, — табак, наверно, отсырел. Пастухов уже хотел бросить обжигавшую пальцы спичку, когда курильщик задымил, выпрямился, поднял руку, будто собираясь взять под козырек, но, затягиваясь дымом и грозно выпустив его носом, пробежал взглядом по всей фигуре Пастухова и только поправил фуражку по форме.

— Спасибочки,— сказал он, сделал поворот кругом и вернулся к товарищам.

Они по очереди прикурили от его папиросы, и, по-видимому, он что-то сказал им, потому что каждый как только раскурил, так медленно оглядывался на Пастухова. Это оглядывание, которому они, кажется, старались придать невинность, на миг развеселило Пастухова. «Интересуются!» — игриво подумал он.

Но сейчас же он стал серьезен: что-то ему показалось странное в прищуренном взгляде командира с планшетом — какая-то задержанная пристальность, помимо недоверчивого любопытства его товарищей.

Все происходило очень кратко. Они отвернулись от Пастухова, по-



шли направо по аллее. Офицер с планшетом уже на ходу опять взглянул назад, прищурился, немного отстал от товарищей и потом догнал их широким шагом, чуть-чуть прискакивая на одну ногу.

Пастухов не сказал бы в эту минуту, какая сила заставила его вскочить со скамьи и неожиданно пойти следом за молодыми людьми.

Командир с планшетом первый услышал его шаги в аллее, вновь обернулся и стал. Все его спутники тоже остановились.

Пастухов то часто мигал, то во всю ширь раскрывал нечаянно за-слезившиеся маленькие свои с прозеленью глаза, приближаясь, в упор смотря в худощавое, бледное, с папироской под усами лицо. Подойдя уже на расстояние вытянутой руки, часто дыша, он проговорил все еще изумленно, но вполне утвердительно:

— Алеша.

Голос его был сжат, он кашлянул и улыбнулся неловко, будто хотел досказать — вот, мол, я хоть не уверен, что ты этого желаешь, а я тебя нагнал.

Алексей выхватил изо рта папиросу, швырнул далеко прочь. Щеки, взгляд его быстро загорелись.

— Я думал... я обознался, — сказал он очень тихо.

— А у меня екнуло. Походка-то твоя осталась, — не скрывая радости, сказал Пастухов.

Он обнял Алексея, поцеловал его под самый глаз так, что он зажмурился и в ответ чмокнул усатыми губами в воздухе, высвободился из отцовских рук, растерянно посмотрел на товарищей, сдвинул с запястья рукав, заглянул на часы.

— Я на минутку... Ну, десять минут ровно! Идите тихонько. Я догоню. Ладно?

Низенький командир понимающе качнул головой:

— Вали, мы подождем.

Пастухов любезно, но немного вскользь поклонился ему, и тот переступил с ноги на ногу, очевидно, колеблясь, ответить или нет, и решил лучше не отвечать.

Все трое командиров следили за встречей вначале строго, а после поцелуя словно бы застенчиво отворотились, нехотя делая вид, что все это, собственно, мало их интересует. Но когда Алексей с отцом пошли назад к скамейке и Пастухов прижал к себе локоть сына, они стали глядеть им в спины почти с одинаковым оттенком какой-то задумчивости, и низенький проговорил не спеша:

— Картина ясная...

И Александру Владимировичу и сыну хотелось спросить друг друга сразу о многом, но им одинаково трудно было выбрать из этого многого самое нужное, и хоть по-разному, но слишком полно было их давно потерянное телесное ощущение близости — оно вместило в себя на миг все расспросы. Они молчали, пока отец не опустился на прежнее место под деревом и не усадил рядом с собой Алексея.

— Откуда ты? — спросил он, наконец.

— У нас тут... небольшое пополнение идет. Я пока в Туле. Начальство отпустило на два часа посмотреть музей. Машина ждет.

Алексей говорил уклончиво, по военному долгу — не отвечать кому не надо о службе, и машинально тронул опять рукав, чтобы заглянуть на часы, но удержался. Отец с улыбкой заметил:

— У меня хоршее чувство времени. Не задержу. (Он положил руку на колено Алексея, сверху вниз покосился на его петлицы с кубиками.) Пехота?

— Сапер.

— Давно?

— Как вернулся из Крыма, из отпуска, так призвали,— сказал Алексей и без всякой паузы спросил: — А ты как здесь?

Александр Владимирович передернул плечом.

— Эвакуация!.. Вдобавок к чувству времени тренирую чувство пространства.

Он переходил на свой обыкновенный, слегка небрежный тон и нарочно обрывисто, словно рапортуя, доложил, что живет у тетки Юлии Павловны, что с приближением немцев придется... «подвинуться» на восток (он сделал остановочку перед словом «подвинуться»), что ему уже обещали «транспорт» (это он тоже значительно и чуточку в нос растянул), что, наверно, поселится на Волге.

— Все это ерунда,— сердито оборвал он себя.— Рассказывай, как ты?

— Я что же? Понимаешь сам,— раздумчиво выговорил Алексей и тут с усилием, к которому, видимо, приготовился, начал о другом: — Я заезжал к тебе по дороге из отпуска...

Отец не дал ему досказать:

— Твою записку я получил. Матери я сразу тогда написал, предложил денег. Она отказалась, вероятно, считая излишним... иметь со мной дело.

Он замолчал, обиженно поджав нижнюю губу.

— Где она теперь? — спросил он коротко.

— Наверно, по-прежнему в Ленинграде. Почта редко доходит. Последнее письмо — месяц назад. Она с Ольгой Адамовной.

Алексей чиркнул носком сапога по земле. Он говорил, все будто заставляя себя.

— Ольга Адамовна совсем ослепла.

— Как! — громко вырвалось у Пастухова, и он привстал, тотчас опять уселся, спросил тише: — Почему?

— С ней это долго тянулось,— склероз, говорили врачи. Но когда я уходил в армию, она уже ничего не видела. За нее все делает мама.

— Черт знает что! Боже мой! — воскликнул Александр Владимирович. Мгновенная горечь переменяла его лицо — оно потеряло свою скульптурную неподвижность, щеки задергались, стало видно, как они рыхлы, как мягок тяжелый подбородок, и еще пухлее, женственной сделался бормочущий рот.

— Боже мой! — повторял он.— Несчастная старуха. С ее понятиями об обязанностях и — слепая! И — Ася! В Ленинграде! В такие дни. И Ленинград, Ленинград, ах, боже мой! Ну, что это, Алеша, а? И теперь, может быть, Москва... и мы все!

Он перестал восклицать, приметив, как удивленно откинулся от него Алексей, и, вероятно, сам удивившись, почему новость об Ольге Адамовне взбудоражила его и так далеко увела. Черты его лица утвердились, он успокоился.

Алексей сказал вдруг требовательным голосом:

— Маму надо вывезти из Ленинграда.

Александр Владимирович взял сына за руку и, крепко сжимая его пальцы, вдавил их ему в колено.

— Непременно. Я сейчас же напишу — нет, телеграфирую ленинградским властям. Надеюсь, меня там не забыли. (Он поймал мимоletный взгляд Алексея.) А что ты думаешь? Могли прекрасно забыть — всюду новые люди. И сколько теперь таких просьб! Но я найду слова. Я обещаю тебе. Мать будет эвакуирована. С этой несчастной старухой! Как все ужасно,— кончил он жалостливо.

— Спасибо,— сказал Алексей и мягко вынул свои пальцы из отцовской руки.

Александр Владимирович облегченно вздохнул, как человек, исполнивший тяжелый долг и довольный, что о нем можно забыть. Словно заново обнаружив перед собой большой молчащий дом, он показал на него головой:

— Я еще там не был. Что там?

— Печально,— ответил Алексей.

— Печально,— повторил за ним отец,— и страшно подумать, что еще может быть. Я ни разу в жизни сюда не приезжал, все собирался, думал — успею, и вот... собрался.

Волнение опять подхватило Пастухова:

— Почему ты не отвечаешь, Алеша? Ты с фронта? Откуда? Что ты пережил?

— Мы отступали с Десны. С одного рубежа на другой. От Оки, от Белева. И теперь — видишь?

— Мы разбиты?

— Никогда! — вдруг с резким движением всего тела вскрикнул Алеша.

Кровь начала неровно приливать к его щекам, но он был не тем, каким увидел его отец несколько минут назад, когда он тоже загорелся краской,— нет. Яркое сходство с матерью по-прежнему жило в его лице, но оно лишено было тонкой женственности, красивей его в недавние юношеские годы. Теперь обида оскорбленного, сильного человека глубоко впечатала в это молодое лицо чуть ли не жестокую складку, и это был новый Алеша. Новый, неизвестный Пастухову, возмужалый — и да, конечно, жестоко разгневанный — человек сидел рядом. Он был действительно нов и во всем своем грубом облачении, с обитыми по камням сапогами и с этим гневно-красивым лицом взялся словно из-под земли, готовый, казалось, тут же жизнью ответить за свой непримиримый крик: «Никогда!»

Необыкновенное, непонятное уважение к этому новому существу проникло в душу Пастухова. Он заговорил робко, и голос свой ему почудился небывалым:

— Да, да, Алеша, да! Никогда! Так должно быть. Так... должно было бы быть... Но как же ты объяснишь происходящее? Ведь мы сидим с тобой — знаешь где? Где мы сидим? Ведь это сердце России! Это — Дерево бедных. Мы сидим под деревом, куда стекались люди России, чтобы научиться изжить свои беды, свою вечную бедность, чтобы услышать слово отпущения от человека, который жил вот в этом доме. Ведь недаром, нет, недаром, не по глупому случаю вышел из этой земли этот человек — родился тут, работал, как господин и раб своего гения, завещал похоронить себя тут, и вон где-то рядом с нами лежит его прах в его, нет,— в нашей земле. Недаром, Алеша. Тут сердце России. И завтра, послезавтра мы его... его у нас могут вырвать! Нашу плоть, наш дух. Подумай, Алеша, как же так, почему, почему ты идешь,— ну, хорошо, не ты, не ты! — мы все идем от Десны, от Оки... Куда, куда? Что мы оставляем, отдаем? Что позади нас?

Алексей поднял и долго держал руку раскрытой ладонью к отцу, прося его остановиться, и, наконец, прервал безостановочную речь:

— Прости меня, погоди. Неужели ты правда мог подумать, что я или, как ты сказал, мы, что мы, солдаты, хоть на одно только мгновение могли запомнить, где мы? Неужели мы можем быть глухи к земле, о которой ты говоришь? Неужели в нас не бьется сердце этой земли? Если бы ты прошел, с нами хоть один солдатский марш... Нет, нет! Помножь свою боль на столько, сколько в наших войсках людей.

— Понимаю, друг мой,— раздумывая и неуверенно проговорил Пастухов,— понимаю... и не могу понять!.. Почему это произошло? Как

могло все это произойти? Не в одном каком-нибудь месте, у черта на куличках, а ведь на пространстве легендарном, воистину — от Варягов до Греков. И ведь не с одним каким захудалым корпусом приключилась конфузия. Армии, фронты уходят!.. Бегут, да?.. Бегут?.. Почему ты молчишь?.. Говорят, на этой самой Десне артиллерийский полк целехонький сбежал от танков Гудериана... Ну, ладно, Алексей, не кривись, ладно! Не сбежал — его сдуло ветром вместе со всеми батареями... Я говорю — мы оставляем корни корней наших, бросаем почвы, о которых пелись наши былины. И народ-то оттуда, народ весь и убежать не успевает. В добычу достается — кому? Кому в добычу? И уж коли помножить нашу с тобой боль, то не на столько надо, сколько людей в войсках, а сколько людей во всем народе. Эту боль не измеришь, Алеша. Я, по совести, не понимаю — почему все это так мучительно происходит, почему, почему?!

Пастухов почти выдавил из себя последние слова остатками дыхания.

— Мы расстроены, — сказал Алеша, и видно было, как он сдерживает себя, — наши силы расстроены, и нам надо собраться. Собраться под непрерывными ударами. Не время рядить и судить, как все случилось. Мы стоим перед событием, как оно есть, как сложилось. Надо действовать. Больше ничего. А в Красную Армию я верю.

Он встал, одернулся. Отец каким-то примиренным движением дотронулся до борта его шинели.

— Еще две минуты... Ну?!

Алеша послушался и, садясь, взглянул на отца с улыбкой:

— Тогда, если позволишь, — о чем ты прежде говорил. Мы — не те, кто приходил под это дерево. Мы не бедные. А если сейчас все еще продолжаем слишком много терять — потом наживем. Богатство не само родилось. Были б руки да голова.

— А коли голова с плеч?

— Одному снесут, у десятерых останется.

— Щедро! — горько усмехнулся Пастухов. — Сколько это выйдет от двухсот миллионов? Не на износ ли делаешь ставку?

Алеша, кажется, не слышал отца.

— Мы с товарищами полчаса назад сидели на этой скамье.

Он поднял голову и посмотрел в темное разветвление дряхлого, с залатанными дуплами, но еще могучего ствола, к которому подвешен был небольшой колокол.

— Наверно, все мы думали о том же, о чем ты. На наш лад. По-своему. Я им сказал, что если бы Толстой был жив, то не странники, не пришельцы теперь дожидались бы его, чтобы он к ним вышел из дома, а старик сам выбежал бы, и начал бы бить набат в этот колокол, и звал бы людей, скликал бы их на защиту сердца, о котором ты так хорошо мне сказал. Спасибо тебе...

Пастухов невольно поднял голову и смотрел вверх вместе с сыном, у которого дрогнул и вдруг отяжелел голос.

— Но сердца, сердца, — проговорил Алеша с жаром, — сердца у нас никому не вырвать. Оно слишком у нас велико!

Пока Алексей говорил, Пастухов не отрывал глаз от мутно-зеленого немого тела колокола, как бы ожидая, что оно вот-вот зазвучит, и от ветвей вяза, похожих на разогнутые руки громадного человека, который тяжеломерно потянулся после глубокого сна и так замер.

Но едва Алексей смолк, он опустил голову и отстранился, чтобы яснее разглядеть — кто же произнес столь удивительные слова, что разве лишь ему одному, Александру Пастухову, они могли прийти на ум?

Лицо Алеши было ярко, как в детстве, и во взоре его было что-то легкое, свободное, точно он собрался куда-то взлететь.

Отец обхватил его плечи, притянул к себе.

— Милый мой. Милый и, вижу, гордый. Мой прежний Алеша! Алешка!..

Он шутливо оттолкнул его и, маскируя внезапную растроганность своим брезгливым полубормотаньем, чуть приоткрывая губы, сказал:

— Испитой, шкелет усатый... табачищем провонял до костей... Ты же ведь не курил никогда, а?

— Закуришь! — сказал Алексей значительно.

— За-ку-ришь! — со смехом протянул отец. — Что же не скажешь ничего о здоровье? В первую минуту ты показался мне бледным. Как ты в походах, — ты же ведь нежный!.. И потом так любил задумываться, а?

— Солдат из меня, думаю, может выйти, — слегка заносчиво ответил Алексей. — Нас на одном переходе догнал отряд мотоциклистов. Немцев. У них автоматы, у нас винтовки. Тут не задумаешься. Главное — они на шоссе, а мы в низине, рассыпались по кочкам. (Он мимоходом ухмыльнулся.) Кочки нас, правду сказать, и выручили. Я только когда эгонь кончился и дали драпу, подумал, что меня ведь могли убить.

— Кто дал драпу? — строго спросил отец.

— Как кто? Немцы, конечно!

Пастухов засмеялся:

— Почаще бы такое «конечно»... А что не подумал, что могут убить, — уже хмурясь, проговорил он и, набирая глубоко воздух, кончил неожиданно: — Эх, милый мой!

— Пора, — спохватился Алексей.

Они поднялись вместе.

— Поразительно все-таки, что мы встретились, — больше с грустью, чем с удивлением сказал Пастухов.

— Ты знаешь, — в тон ему отозвался Алексей, — поразительно, что приехал сюда я. А что тебя я здесь встретил, меня как-то перестало удивлять. Нет, правда! Мне кажется, тебя должно было что-то сюда привести. Может, в эти дни ты должен был себя упрочить прикосновением к самому драгоценному в своей жизни, которую — ты прав! — грозят отнять...

Он сказал это с участием, но отцу послышалось в его голосе превосходство.

— Упрочить?.. Ты довольно проникателен, — улыбнулся Александр Владимирович снисходительно. — Надо же, как выразился небезызвестный писатель, чтобы человеку хоть куда-нибудь можно было пойти... Ты даже мне льстишь... или это, вернее, лестно, что ты так думаешь обо мне... что именно здесь, около этого дома, заключено для меня самое драгоценное. Ты, значит, еще не махнул на меня рукой?

— В этом смысле я никогда не махну на тебя рукой, — спокойно ответил Алексей.

— Мирси, — сказал Пастухов, коверкая произношение и с ужимкой, на которую сам тотчас же обиделся, устыдившись, что самолюбие так уязвлено откровенностью сына.

Алексей повел кверху одну бровью и помолчал, но, посмотрев на отца с его надутым-подобранной губой, еще спокойнее и сердечно выразил, как ему представилось, непонятное свое чувство:

— Я знаю, тебя должен был привести сюда твой талант. Он тебе дороже всего... Я восхищался им с детства. У меня это осталось до сих пор. (Он приостановился немного.) Я гордился твоим талантом...

— И что же? Наступило разочарование?

— Я гордился талантом своего отца,— сказал Алексей, чуть замет-но упирая на последнее слово, и отвел глаза.

— Я никогда не лишал тебя права быть моим сыном,— поспешно и грубо выговорил Пастухов.

Алексей протянул ему руку, но в этот момент почти совершенно одновременно оба они оглянулись назад.

Из-за дерева, очевидно, украдкой и боясь подшуметь, приблизились к ним, осторожно ступая, трое мужчин, тесно. плечом к плечу, воззри-вшись на Александра Владимировича. У крайнего, самого высокого, вид-нелось за спиной ружье. Шагах в пяти они остановились. Высокий нето-ропливо стянул с плеча погон престарой тульской одностволки, свесил ее через левую руку стволom в землю и — с двойным сухим трик-трак — взвел большой рогатый курок.

## 3

Этот высокий человек с охотничьим ружьем был похож на лесного объездчика или сторожа — в сапогах с голенищами, отвернутыми на коленях, в стародавнем куце картузе, с лицом, янтарным от веснушек, плоским и круглым, как подсолнух.

В середине стоял, полголовою ниже, цыганской внешности мужичок с выпученными блестяще-черными глазами, кудлатый, в бусинах круп-ного пота на верхней губе и по надбровьям. Он как-то особенно, по-ути-ному, тянул вперед свою устрашающую черномазую личину, неподпоя-санный, без шапки, точно только что выбежавший откуда-то с огорода.

С другого края всем телом прислонился к черномазому узкогрудый, лет двадцати малый, с подвязанной клетчатым платком щекой. Он за-пыхался, дышал открытым ртом и с нетерпением сучил в руках смотан-ную кольцами веревку, будто собираясь ее размотать.

Все трое, уже остановившись, продолжали остро разглядывать Александра Владимировича.

Когда объездчик взвел курок, из-под его локтя выглянуло еще одно создание, которого сначала не видать было за сомкнутыми телами явно воинственных людей.

При появлении их Александр Владимирович смутился, как хорошо воспитанный человек, застигнутый на чем-то непозволительном и шоки-рованный, а услышав, как щелкнул курок, почувствовал неприятное, отчасти болезненное волнение под ложечкой. Но, увидав высунувшееся из-за спины объездчика лицо и угловатое, худое плечико в красном ру-каве, он обнаружил, что ощущение под ложечкой утихомирилось так же мгновенно, как возникло: на него глядели неприязненные, но светлые, медовые глаза той самой девочки, которая встретилась ему на лесной полянке и убежала. Он овладел собой и даже попробовал всепонимаю-ще усмехнуться. Объездчик наклонил голову к девочке и вбок кивнул на Пастухова.

— Вот этот? — спросил он басисто.

— Ага,— подтвердила девочка и тоже, но с детски-смелым вызовом кивнула на Пастухова.

— Товарищ командир,— нисколько не повышая своего баса, обра-тился объездчик к Алексею,— можно на минутку?

Алексей подошел к людям. Они тихо заговорили. Он расстегнул шинель, засунул руку глубоко за борт, шаря в боковом кармане, обер-нулся, громко позвал:

— Папа!

Странно смешались в этот миг два чувства Александра Владими-ровича — жгучей силы счастливое чувство, что с момента встречи сын

назвал его первый раз так, как звал всегда до бессмысленного разрыва, и чувство нетерпеливо вспыхнувшего любопытства — как же теперь будут вести себя эти люди в развязке атаки на его особу.

Улыбаясь глазами и выступая чуть-чуть сановитее, чем в торжественных обстоятельствах жизни, он приблизился к сыну.

— Дай, пожалуйста, твой документ, — ровным тоном сказал Алексей, — они хотят проверить.

Пастухов вынул замшевый бумажник, достал паспорт и не просто дал, а вручил его сыну, подняв на приличную высоту и медленно припустив. Он как будто и не глядел в это время на жадно интересовавших его людей, однако чутьем угадывал их малейшие движения.

Объездчик, получив и развернув документы Александра Владимировича и Алеши, сличал их с мешкотным и, видно, нелегким вниманием.

— Теперь верите, что это отец? — спросил Алексей.

Ему никто не ответил.

Пока все это длилось, строй разомкнулся — черномазый и за ним парень с подвязанной щекой с обеих сторон объездчика силились вчитаться в бумаги, впрочем, покашиваясь сторожко на проверяемую личность. Девочка отступила шага на два и смотрела на Пастухова сердитым, насупленным взором исподлобья, который он запомнил с повстречанья в лесу.

Его глаза неожиданно-ласково повеселели.

— А башмаки-то, поди, потеряла со страху? — насмешливо спросил он.

Она только больше насупилась.

— Фамилья одинакие, — как видно, на самой низкой ноте заключил свое исследование объездчик, — по отчеству товарищ командир получается тоже сродственный.

Он подумал и словно не очень охотно вернул документы Алексею.

— Курочек самопала не пора опустить? — деликатнейше сказал Пастухов, и от этого вопрос прозвучал весьма ядовито.

— Не опасайтесь. Привычные, — отозвался объездчик и будто еще неохотнее обхватил большим пальцем рогульку курка и тронул спуск.

— Веревкой думали меня скручивать? — построже, но по-прежнему ехидно спросил Пастухов.

Черномазый неожиданно рассыпчато засмеялся, показывая белые нестройные зубы и сквозь смех растягивая слова:

— Да-ть, мы что же!.. Порядок!.. По лесу там ноне какая сволочь не шмыряет!..

Смеясь, он больше напоминал цыгана — ему только недоставало серъги в ухо. Подвязанный малый с достоинством поправил на себе кепочку, решительно переложил веревку из одной руки в другую, потом зажал моток под мышкой. Он, кажется, был обижен.

Александрю Владимировичу становилось веселее, происшествие отвлекло его от сына, но, взглянув на него, он удивился, как серьезно и терпеливо выражение его вдумчивого лица: он, наверно, считал естественным и необходимым все, что тут — по мнению отца — нелепо и смешно случилось.

Из дома вышла немолодая женщина и, озабоченно всматриваясь, направилась к людям.

— Что здесь такое? — по-хозяйски спрашивала она, отряхивая друг о дружку ладони и вытирая их о перехваченную в талии, как передник, загрязненную какую-то скатерть. — Ты что, Настюша? Что. Елизар? — обращалась она к девочке и объездчику. — А вы куда провалились, — сказала она другим, — ступайте, сверху надо сносить ящики, сейчас придут машины.

Она лишь мельком глянула на Алексея, проговорив, что он, кажется, сейчас был с товарищами в музее, и пристально посмотрела на Пастухова. Вдруг, потеряв распорядительный свой вид занятого человека и сбавив голос, она спросила:

— Простите, а вы... Вы, кажется... я не ошибаюсь, вы не... Вы товарищ Пастухов? Я, кажется...

— Да,— ответил он с полупоклоном.

— Ну да, по карточке, по фотографии... Вы извините, запомятовала ваше имя-отчество...

Он назвал ее с приятной улыбкой. Ее рука дернулась, но она не подала ее, а снова принялась тереть ладонью о скатерть.

— Извините, у нас такая пыль, и мы всю ночь... А вы, наверно, к нам? В музей? Ах, знаете... Да вы, наверно, знаете!.. У нас сейчас, вы понимаете... Да вот они вам, наверно, сказали,— поглядела она на Алексея,— они только что были, видали... Ах, знаете, ужасно! Приходят, все равно будто прощаться...

Она резко закрыла глаза тыльной стороной руки, как люди, исполняющие черную работу, но одолела всю ее задергавшую дрожь, вытерла глаза, улыбнулась скорбно:

— Я вам, извините, не представилась: экскурсовод, Мария Петровна. Ах, знаете... Что же это вы в такой момент, право!.. И что же тут у вас? Новости опять какие, а?

— А вот меня собирались арестовать,— сказал Пастухов, думая, что он шутит, но голос его странно приглож, и вышло, будто он пожаловался.

— Господи! Елизар! Да вы в себе или нет? — с испугом воскликнула Мария Петровна.— Да ведь это известный... наш известный советский... Вы их простите, Александр Владимирович, право, они ничего такого... они, как это называется, бригада, или... как же это, Елизар... как вы называетесь?

— Да, Марь Петровна, что же вы на меня?.. Мы ведь ничего...— медленно пробасил Елизар.— Это все вот Настюшка! Примчалась, угорелая: «Шпеёна в лесу, говорит, обнаружила».

— Ах, господи! Настюша! — всплеснула руками Мария Петровна.

— Главное, какое дело? — обернулся Елизар к Пастухову.— Вы будто ей сказывали, от экскурсии отбились, а она мне говорит,— я извиняюсь, конечно, это она так про вас,— что он, мол, врет. Так и сказала: «Вижу, говорит, врет. И сам, говорит, с лица такой...» Ну, описывает, словом, вас. Шпеён, мол, и все! А самую аж трясет. И я тоже подумал, какая там экскурсия? Давно уж, вот и Марь Петровна подтвердит, никаких экскурсий не водят. До того ли! Ну, и...— Он пожал тяжелыми плечами, придвинулся к девочке, но вместо неодобрения ее отечески провел рукой по ее затылку.

Пастухов засмеялся. Настюша по-прежнему с какой-то упрямой озлобленностью смотрела на него и опустила взгляд, только услышав переволнованные упреки Марии Петровны:

— Ах, Настюша, глупая моя, как же ты, право... Уж вы ее не осудите, пожалуйста. Она ведь совсем не такая, чтобы... Ну, ошиблась, право... Вы, наверно, все-таки хотите зайти к нам? Только уж, вы понимаете...

— Пастухов! — внезапно разнесся и прилетел гулкий крик из аллеи.

Александр Владимирович и Алексей вместе повернули головы на этот зов и взглянули друг другу в глаза.

— Меня,— тихо произнес все это время молчавший Алексей.

— До свиданья,— быстро сказал отец, и лицо его сделалось неподвижным.

— Прощай, папа,— ответил чуть слышно Алеша.



Они обнялись. Оба они не думали о людях, с которыми стояли и чей разговор только что их занимал, ни о происшествии, их волновавшем, ни о чем другом, что не касалось в это мгновение только их обоих.

Алексей пошел широким шагом. Отец смотрел ему вслед. Но как только он опять увидел его походку с прискакиванием на одну ногу, он вдруг закричал: «Алешка!» — и побежал за ним.

Алексей остановился. Отец задохнулся от непривычки к бегу, шумно глотал воздух и обстукивал судорожно обеими руками карманы.

— На, на! — выдохнул он, всовывая в пальцы Алеши отысканную коробку папирос.

У него сползало кое-как накинутое на плечи пальто, и, одной рукой придерживая его, он продолжал другой стучать себя по бокам. Он вытащил из брючного кармана серебряный тонкий портсигар и сунул его за отворот Алешиной шинели.

— Зачем, папа!

— Черт с ним, я его очень люблю, черт с ним! — задыхаясь, без всякого толка повторял отец, не давая Алеше вытянуть из-за пазухи и отдать портсигар назад.— Возьми, носи! Черт с ним!

— Маму не забудь,— жарко и нежно сказал вдруг Алексей и, повернувшись, бросился бежать по аллее, согнув в локтях руки по-солдатски.

— Спички, спички! Спичек-то у вас нет! — высоким, словно женским голосом крикнул отец и сделал несколько слабых шагов.

Алексей только махнул на бегу рукой.

## Глава четырнадцатая

### 1

Пастухов следил за сыном, пока он был виден в аллее и не свернул вниз на поперечную дорожку. Не двигаясь, с опущенными, бессильно сложенными в кулаки руками, стоял Пастухов, трудно дыша, и все глядел туда, где за полосой высоких кустарников исчез Алеша.

Мысли его неслись в разные стороны, он сводил их с усилием в одно русло, а они разливались струйками, увертливо перескакивая пороги, которые он им расставлял, и все меняя и меняя направление.

В этом безрассудном движении то виделась ему Ася с ярким молодым лицом; то вдруг заведующий литературной частью Боренька убеждал его, что надо сдать дирекции театра рукопись через две недели, иначе начнут репетировать другую пьесу; то выплывал откуда-то грузовик с вещами и Юлия Павловна кричала: «Что же ты стоишь, Шурик? Ищи, где синий чемодан?» Вместе с ее криком повторялись слова Алеши об Ольге Адамовне, которая ослепла, а кто-то отвечал Алеше, что вот он прячется под кочками, а немцы катят по шоссе на мотоциклах. Пастухов спрашивал, что же это за дьявольская игра мозга — сразу думать о разных предметах, и в это же мгновение Юлия Павловна ему втолковывала, насколько бесчеловечно уехать самим и бросить на произвол тетушку. Он возражал Бореньке, что не к чему вообще репетировать, потому что мы отступаем и завтра, может, не будет никаких театров. А ему отвечала Ася, что в гражданскую войну тоже отступали, но театры были лучше, чем теперь...

Это была мгновенная слабость, это был полусон. Александр Владимирович, насколько мог, твердо потер рукой холодное лицо. Он покачивался. Ему показалось, он хочет курить. Он ощутил в другой руке спичечный коробок, и действительность начала пробуждаться перед ним.

«Хорошо, что подарил ему портсигар», — подумал он.

Он что-то нащупал в кармане пальто. Тетушка Юлии Павловны завернула ему на дорогу тонкие ломтики хлеба, сложенные по два и чем-то помазанные внутри,— это был последний такой сверточек. Пастухов развернул бумагу и, комкая ее в кулаке, стремительно заложил в рот хлеб и оторвал от стиснутых зубов зачерствелую корку. Запах лука с посоленным ржаным хлебом пронизал все его тело, и сразу все стало на свое место — где он находится, зачем приехал сюда, что происходило с ним в эти быстро пролетевшие минуты.

«Черт возьми, тут и поесть, наверно, не достанешь»,— думал он, сочно глотая аппетитную еду и с каждым глотком все больше становясь тем Александром Владимировичем Пастуховым, каким был всегда.

Он пошел назад к дому.

Перед крыльцом стояла Мария Петровна, дожидаясь его. Она сняла с себя скатерть, постаралась прибраться, казалась моложе и спокойней.

— Где ж мои конвоиры? — усмешливо спросил он.

— У всех ведь столько дела,— ответила она, тоном своим отклоняя шутку.

Он покомкал в кулаке еще не брошенную бумагу, огляделся и, хотя вокруг было насорено, сунул комок в карман, тотчас приметив, что изменил своему довольно барскому обыкновению кидать куда попало все, что надо бросить.

— А это неужели правда ваш сын? — спросила Мария Петровна, медленным наклоном головы указывая на аллею.

— Сын.

— Неожиданность какая для вас обоих,— сказала она приятно-сочувственно.— А ваша супруга где?

Он почистил языком зубы, взглянул в аллею, потом — с недоумением — на женщину. Она смутилась.

— Вся жизнь — неожиданность,— выговорил он, приободривая ее вежливой улыбкой, и повел рукой на крыльцо дома.— Может, войдем?

— Пожалуйста. Я покажу, что еще осталось на своих местах,— ответила она.

Переступив порог, Александр Владимирович сразу остановился.

Передняя комната была заставлена ящиками, свертками, тюками. На березовом диване, отодвинутом от стены, высились обтянутые мешковиной, перекрещенные веревками рулоны бумаг или холстов. В открытых шкапах виднелись разрозненные либо связанные в пачки книги. Лестница наверх была заслежена, усыпана соломой, стружкой.

Через зеркало, холодно повторявшее этот развал, Пастухов увидел Марию Петровну. Она стояла неподвижно, будто опять постаревшая. Он молча обернулся к ней. Она спросила:

— Может быть, посмотрим низ? Наверху укладывают вещи.

Она прошла вперед в открытую дверь против входа. Очень тихим голосом, но быстро, без запинки, она начала повторять тысячи раз произнесенные ею слова о комнате, в которой они очутились, и Пастухов понял: она ухватилась за свои заученные фразы в надежде, что они избавят ее от готовых проступить слез.

— Эта комната в семье Толстых называлась комнатой для приезжающих. Здесь ночевали приезжавшие в Ясную Поляну гости и друзья Толстого. Комната называлась также нижней библиотекой, или комнатой с бюстом. Лев Николаевич велел сделать вот эту нишу в стене и поместил в ней мраморный бюст своего любимого (она приостановилась, глядя на пустую оштукатуренную, выбеленную нишу, и дрожащими пальцами стала вытягивать из-под узенького рукава платья носовой платочек)... своего любимого,— повторила она,— старшего брата Николая

Николаевича, которого он звал Николенькой... Бюст сейчас уже упакован, — добавила она с покорностью, прихватила крепче платочек, вырвала его из рукава и отвернулась в сторону.

Пастухов озирался. Большой стенной книжный шкаф, как и в передней, стоял тоже раскрытый, и так же беспорядочно лежали в нем книги стопками, и связки книг, завернутые газетой, одна на другой, поднимались возле него с пола. Комната была опустошена, стены голы. Только два кресла со спинками в виде изогнутой решетки и диван приткнулись друг к другу да штора над стеклянной дверью в сад сиротливо висела на вздержках. Ножки одного кресла были обернуты мятой бумагой, но работа осталась недоделанной — бумага, шпагат валялись на полу и на диване.

Пастухов слушал продолжавшую говорить женщину, но думы его были не связаны с ее словами. Он будто и не думал вовсе, а удивительным телесным путем вбирал в сознание нараставшую работу своих чувств. Запах разворошенного гнезда, зябкая сырость воздуха, отзвук нежилых белых стен переселяли его в жизнь, которая некогда отсюда ушла, но в то же время сохранялась и сейчас вновь уходила, чтобы — может быть — снова возвратиться. Эта жизнь непонятно сплеталась в сознании Пастухова с его собственным прошлым, тоже ушедшим, но сохранившимся в нем и не желавшим прекращаться. Тело его жило в этот момент многими жизнями — чужой и своей, прошлой и настоящей, и все эти жизни страстно хотели жить дальше и дальше. Понять свое состояние он не мог, и у него не было желания это сделать, — он только всего себя так ощущал.

Голос женщины казался ему похожим на что-то с детства знакомое, и нежданно он вспомнил себя ребенком в хвалынской усадьбе матери: он стоит в маленьком зале перед гробом матери, а в изголовье у ней женщина в черном, перелистывая псалтырь, бормочет и бормочет тихим голосом. Он слышит ее, но не может уразуметь, что она читает, и только все его маленькое тело замирает от трепета перед гробом.

— ...В течение пятнадцати лет здесь был кабинет Льва Николаевича. В этом кабинете с тысяча восемьсот семьдесят третьего по тысяча восемьсот семьдесят седьмой годы была написана «Анна Каренина». Тут Толстой работал над «Исповедью», когда у него укрепился тот переворот в его мирозерцании, о котором он с такой искренностью писал в этом сочинении.

Мария Петровна подняла взгляд и, боясь оторваться от одной точки потолка, как ученик, старающийся представить себе страницу книги, по которой заучил урок, прочитала:

— «...Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это — одно баловство, что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это — сама жизнь, и что смысл...»

Пастухов дотронулся до локтя женщины. Вспугнутая, она оборвала свое чтение.

— Простите, кажется — Мария Петровна? — с вкрадчивой любезностью спросил он. — Я хочу вас просить, чтобы вы не утруждались. Если вы не против, я задам вам вопросы... гм-м... отдельные вопросы, если позволите...

Она согласно наклонила голову и стала ждать. Он молчал. Из передней донесся стук — там что-то уронили, — она насторожилась, но стихло, и она опять выжидательно, с любопытством стала смотреть на

Пастухова: он был ей не совсем понятен. Можно было подумать — он не знает, о чем спросить. Она еще немного повременила, но ей непривычно было молчать в присутствии посетителей — разговор был ее работой, и она сказала:

— Вот перед этим простенком стоял гроб с телом Льва Николаевича Толстого, когда его привезли сюда со станции Астапово, девятого ноября тысяча...

— Сюда из Астапова? — будто придя в себя, переспросил Пастухов.

Поощренная его внезапным интересом, она заговорила с увлечением:

— Да, девятого ноября тысяча девятьсот десятого года. Гроб стоял изголовьем к простенку. Народ, который стекался сюда отдать последний долг великому художнику слова, прощался с его прахом, входя из передней, как мы с вами, и выходя вот через эту дверь на каменную террасу, в сад...

Пастухов видел себя в ту далекую черную саратовскую ночь, когда он метался по улицам и береговым взвозам, стоял под осенним дождем на Волге, одинокий, потрясенный смятением. Толстой еще был жив — он лежал в Астапове и ждал смерти. Перед Пастуховым промчались из этой дали два беспробудно пьяных дня с приятелями, когда все ожидали единственно возможной развязки; и в клочки разорванная негодная стайка о Толстом, которую он старался сочинить; и тогдашние мысли о Дереве бедных и России; и в черной рамке длинная полоса газетной телеграммы — «в 6 часов 5 минут»: до сих пор угольями горели в памяти эти часы и минуты астаповского утра. Как это было бесконечно давно! Мог ли тогда Пастухов думать, что больше тридцати лет спустя, вот в эту минуту, он — в новом смятении духа — будет стоять в стенах, которые были последними, видевшими еще не истлевший лик Толстого? Неужели действительно это все он — один и тот же Пастухов, — он тогда и он теперь? И неужели полвека назад маленький мальчик, с ужасом глядевший на гроб своей матери, был тем же Пастуховым? И если он все тот же, то понимает ли он, нынешний Пастухов, в самом себе и в происходящем вокруг него больше, чем разумел, когда трепетал перед гробом матери или когда в Астапове умирал Толстой? Тот ли он теперь? Если бы узнать, что будет в этих стенах еще через тридцать лет! Или через тридцать дней. Или хотя бы завтра. Что будет завтра? Бог мой, до чего беспомощен даже великий человеческий дар воображения! Никто, никто — ни даже Толстой — никогда не мог провидеть то, что случилось сегодня...

— Вы плохо чувствуете себя? — спросила Мария Петровна, озабоченно глядя на его лицо. — Здесь не проветривали сколько дней.

— Благодарю вас, ничего. Рядом, по-моему, должна быть комната под сводами? — без всякого перехода спросил он.

— Нет, это через комнату доктора.

— Проведите меня.

Они пошли назад, в переднюю, и, перешагивая через ящики, приотворяя дверцы книжных шкапов в узком коридоре, пробрались в комнату с окнами в тот же сад. Мария Петровна не могла не сказать, что перед тайным уходом своим из Ясной Толстой ночью спустился сюда сверху, в халате и туфлях, со свечой в руке, чтобы сообщить доктору Маковицкому о своем решении немедленно уехать и о том, что доктор поедет с ним.

Она неожиданно остановила себя:

— Вы ведь все это знаете...

— Видите ли, — проговорил Пастухов, будто рассуждая с самим собой. — Все то, что когда-нибудь мы узнавали заглазно, на самом деле

не такое, каким представлялось нам, пока мы его не увидели воочию. Это как с мечтой — осуществите ее, и она станет неузнаваемой.

Мария Петровна с выражением непонимания и горечи воскликнула: — Как жалко! До этих ужасных дней у нас ведь было очень хорошо.

Всем так нравилось...

— Я не о том. Я вовсе не разочарован... — начал он, но, собираясь объяснить свою мысль, опять без видимой связи спросил: — Здесь? — и пошел к угловой двери.

Он сам открыл ее. За ней оказалась другая. Он покосился на Марию Петровну.

— Отворяйте, здесь двойная дверь, — сказала она.

Он нерешительно ступил в комнату.

## 2

Грузный выступ стены, служащий одной из опор сводов, широкой тенью разделял свет двух окон. Какой-то брошенный ящик был прислонен к этому выступу. Больше не было в комнате ничего. Своды заполняли ее мягкими тенями — голубыми, синими по белым стенам и потолку, бурыми по вековым сосновым половицам. Эти светотени наделяли оголенное помещение чем-то притягательным, точно оспаривая жизнь у суровых, почти казематных его очертаний, у старого, изъеденного годами железа оконных решеток и неожиданных увесистых колец, вделанных в сводчатый потолок.

— Мне хочется побыть здесь, — попросил Пастухов, не очень уверенный, что его оставят одного.

Мария Петровна ответила с облегчением, что ее, наверно, заждались, что потом она покажет ему верхний этаж, — и ушла.

Под этими тяжелыми сводами нечего было осматривать. Что редкостного в полуторааршинных, приземистых стенах, выбеленных мелом? Тут был воздух, тут были свет и тени. Больше ничего.

Но, боже мой, какие это были неповторимые в мире стены! Какой бурей насыщался этот застывший воздух и как ослепителен был этот тихий свет для глаз человека!

Пастухов с детского возраста видел комнату под сводами на картинах, рисунках, снимках. Все чаще со временем он узнавал свидетельства многих людей и самого Толстого о том, чем была эта келья для дела его жизни. Памятью Пастухов легко расставил по местам те несколько вещей, которые здесь всегда находились. Стол со свечой, низкая скамья перед ним, длинное, годное для лежанья кресло с прямоугольной спинкой, коса в углу и пила на стене. Наверно, тут было что-нибудь еще. Но если бы не было именно этих вещей, кому стала бы известна комната под сводами?

Пастухов, пожалуй, помнил все прочитанное о ней, но яснее всего — то признание, которое сделал Толстой, сказавший, что ему нигде не может быть лучше, как здесь, совершенно одному в тишине и молчании.

Едва ли с меньшей полнотой, чем Мария Петровна, Пастухов мог бы перечислить произведения, созданные Толстым в этой комнате, служившей ему рабочим кабинетом дольше, чем какая-нибудь другая в яснополянском доме. Но только одно-единственное произведение, родившееся под этими сводами и начавшее здесь свое непостижимое вызревание, только оно одно не выходило из головы Пастухова с момента, как он сюда ступил.

Да, это происходило здесь, в этой комнате, похожей на келью, на подвал, на кладовую, каземат — на что угодно, но оставшейся навечно тем благословенным лоном, откуда явилась в мир самая человеческая

книга русской жизни. Тогда здесь, в тишине и молчании, Толстой, работая над этой книгой, сказал себе, что он теперь писатель всеми силами своей души.

Пастухов думал об одной этой книге, и у него складывалась о ней мысль, которая прежде ему не приходила: если бы Толстой не написал любую из своих книг, он остался бы таким, каков есть, но если бы не написал «Войну и мир», он был бы совсем иным. Эта книга касалась всех в России и потому касалась всего мира.

Вдруг Пастухов почувствовал, как с ним повторяется то, что он испытал, когда Алеша, убегая, скрылся из виду и он остался один: его охватывала слабость и вместе с нею двоились и троились торопливые картины его представлений.

Он с усилием отвалил от стены ящик, сел на него, облокотился на колени и заметил, что подергиваются пальцы.

— Склерозик пошучивает, Александр Владимирович,— сказал он себе, но шаловливый сарказм не мог остановить его сбившихся мыслей.

Опять, как было в комнате для приезжающих, ему стало казаться, что все от него уходит. Ушел сын, уходил на глазах толстовский дом. Вот также уходили Ростовы, покидая Москву. Укладывались, увязывались узлы, спешили — что взять, что бросить — именно так, как сейчас в этом доме: что бросить на погребель, оставить ему? Он приближается к воротам, как близился тогда другой он со своими двенадцатью языками. Но какой миг был тогда переломом? Ведь бросили, оставили и самое Москву. Пожар? Неужто сожгут и теперь? Неужто сдадут? Ведь все, как тогда: молодые уходят на войну, старые — от войны, оплакивая то, что бросают. Разве нынче иссякли слезы? В семьях плачут, как плакали у Ростовых. Но если все, как тогда, — значит, отстоим, переселим? Ведь верит же Алеша... Как странно: глядя в прошлое, Толстой увидел в нем наше сегодня, а это сегодня было для него будущим. Но если он разгадал это сегодня — значит, он знает наше завтра? Как же Пастухов осмелился подумать, что Толстой не был провидцем?

Алеша прав: его отец пришел сюда, чтобы прикоснуться к самому драгоценному в своей жизни. Пришел за поддержкой своего духа, за решающим советом — как ему быть? Что делать в этот час одинокому Пастухову?

О чем он думал, вдруг решив заехать в Ясную Поляну? Он думал, что если бы пришел к Толстому юношей, саратовским реалистом, то, наверно, спросил бы о том, о чем тогда считалось нужным и приличным спросить Толстого — о смысле жизни и о том, как спастись. И, может быть, Толстой, поговорив с ним, записал бы вечером у себя в дневнике, что вот, мол, выходил, говорил «обыкновенно» и что приезжал саратовский реалистик, глупый и, кажется, нечистый.

Если бы Пастухов пришел к Толстому в год своей затеплившейся столичной славы, когда театры стали играть его пьесы, в последний год жизни Толстого, то, наверно, уже постеснялся бы спрашивать его о таких глупостях, как смысл жизни, зная заранее ответ старца, — зная, что тот выйдет, как оптинский Тихон, как Зосима, и, привычно говоря свое «обыкновенное», повторит наставления о царстве божием внутри нас. Наверно, тогда, в тот год, Пастухов постеснялся бы разговора еще больше из-за боязни, что Толстой сразу разгадает фальшь желаний петербургского драматурга спасти свою душу, ненужность для него советов и тщеславность его прихода. Потому что Пастухов действительно не мог нуждаться тогда ни в чем от старца, кроме того, чтобы в багаже своего тщеславия иметь историю поездки в Ясную Поляну и по временам казать багаж в столице: был-де у Толстого и Толстой говорил-де со мной.

Но что было бы, если бы теперь, в этот час сорок первого года,

Толстой был бы жив и, выйдя из дома, глянул бы на прищельца Пастухова под Деревом бедных, — о чем спросил бы его Пастухов и что сказал бы в ответ старец? Может, Алеша и впрямь угадал правду? Может, Толстой сказал бы просто: если ты способен стать у пушки и палить из нее, как палил в восемьсот пятом году капитан Тушин, иди и пали во славу земли русской?! И, может быть, спросил бы вдобавок: зачем ты, Пастухов, ходишь и выпрашиваешь, когда сам знаешь, что сейчас человек должен делать? И тогда ли или теперь, в сорок первом, Толстой добавил бы к тому, что уже сказал: срам тебе, Пастухов...

И вот, зная все это, Пастухов не мог не прийти сюда, не сидеть здесь, не думать о передуманном. Он пришел, как приходят иногда на отцовскую могилу, которую забросили, чтобы поразмыслить о себе, чтобы почувствовать себя во всю силу своего сердца.

«Укажи, укажи, — думал он, обращаясь к Толстому, — дай мне отеческий совет — ты мог бы ведь быть мне отцом, если бы я был другим, если б с начала жизни я был всегда честен, прям и смел!»

Он опять увидел расставленные своей фантазией по комнате вещи, совсем рядом с собой — стол, низенькую скамью перед ним, свечу. Пламя чуть-чуть вздрагивало над фитилем свечи, потрескивая и изредка наклоняясь, как будто на него кто-то тихо дышал.

И с ясностью внезапной Пастухов разглядел низко опустившуюся над столом бородатую голову с огромным ухом и лбом в жилах, веточками сбегавших к темным насупленным бровям. Толстой сидел согорбившийся, в длинной холщовой блузе, обнимавшей колени, подложив одну ногу под себя. Он легко и так порывисто двигал рукой по листу бумаги, будто не писал, а быстро штриховал строки тонкими, в волосок, черточками, и только нет-нет слышалось, как вспискнуло перо.

Пастухов боязливо поднялся и начал, птясь, отступать на цыпочках к двери. Толстой продолжал писать. Дверь стояла отворенной. Пастухов нащупал каблук порог, перешагнул через него и, осторожно захватив ручку, захлопнул перед собой дверь. Он услышал, как от удара загудело под сводами и в этом гулком гудении раздался высокий, жутко знакомый по лесной встрече голос:

— Кто там?

Пастухов швырнул за собой вторую дверь, пробежал комнатой доктора, выскочил в коридор и прислонился к книжному шкапу.

Приказательный, но почти веселый, громкий крик донесся к нему из передней:

— Сподниз его бери, сподниз!

Потом послышался частый топот по ступеням лестницы, и женщина незвонко от хрипоты закричала:

— Не надо выносить из дома! Это в подвал, в подвал!

У Александра Владимировича стучало в висках. Стук был частый, звоном отдававшийся в затылке и ушах. Он постоял еще, выжидая, чтобы прошел стук, затем подвинулся к косяку и с опаской заглянул туда, откуда минуту назад выскочил. Там ничего не изменилось: дверь в комнату со сводами была закрыта.

Снова зашумели в передней. Он вздохнул.

— Вывезут из дома все, останутся одни привидения! — сказал он с усмешкой над самим собой и стал пробираться коридором на шум.

В передней женщины с девушками разговаривали у зеркала и, когда появился Пастухов, смолкли, расступились, чтобы дать пройти между упакованных вещей, и стали с любопытством оглядывать его.

Мария Петровна вновь в своей опояске из скатерти, стараясь подобрать выпачканный ее край, сказала, что, если угодно, Александр Владимирович может подняться наверх. Он отговорился усталостью и тем, что ей некогда с ним заниматься.

— Что вы, что вы! — запротестовала она и тут же начала извиняться:— Правда, ведь ничего как следует не покажешь, все сдвинуто либо уложено, все не так... У нас к вам...— добавила она, ласково и несмело всматриваясь в глаза Пастухова,— у нас большая просьба.

Он догадался: она не могла не выполнить положенной программы. Она выдвинула ящик подзеркальника, достала толстую книгу в лист величиной.

— Напишите, пожалуйста, на память. Ну, несколько слов! Только... где бы вам удобнее!..

— Вот здесь,— показал он на лестницу.

— Что вы! Такая, право, пыль,— говорила она, в то же время развязывая на себе необычный передник и застилая им ступеньки.

Она тотчас вышла на голоса, долетевшие снаружи, а Пастухов присел, раскрыл и принялся перелистывать книгу.

Запись, попавшаяся ему, была помечена 22-м числом июня, и он подумал: первый день! День, когда грянуло то, что сейчас грозит этому дому... Он пробежал взглядом чистосердечные изъясления экскурсий учеников школы города Москвы. Его растрогало прилежание, с каким был графически выведен трехзначный номер школы: ученики, вероятно, любили школу под внушительным номером и честь вывести эту цифру в важной книге поручили товарищу с самым красивым почерком.

Наверно, когда ехали сюда, дети еще не знали, что разразилось ранним утром в далеком Бресте,— иначе родители не пустили бы их из Москвы с экскурсией. Когда они возвращались домой, их маленькие сердца бились уже по-другому.

С каждым месяцем книга словно все больше теряла свою музейную выправку. Старая Орловская дорога становилась военной, и кто только не завернул с нее немного в сторону и не увековечил себя лихим росчерком в яснополянских анналах! Пастухов на секунду улыбался образцу истой галантерейности какого-нибудь воентехника 1-го ранга, который, «отправляясь на фронт, мимолетным проездом заехал в давно мечтаемую Ясную Поляну, в имение Л. Н. Толстого...». Но это еще шел июль. Тяжелым августом отяготилось военное слово, и ближе оно стало к делу, и черствая слышалась Пастухову сила за краткой строкой: «Жаль, что не мог видеть все ценности в настоящее время из-за ненавистного Гитлера. Да будет он уничтожен». Но наступил сентябрь — месяц трикрат умноженных жертв, и горе стало скупое на громкие речи: «Личный состав военно-санитарного поезда 93 уносит с собой воспоминание о великом соотечественнике...»

И вот заключительная концовка на чистой странице — как присяга на готовность «отдать жизнь за счастье народа, которому служил Толстой»,— и подписи, да, подписи четырех бывших последними в доме.

Вот — третьей — рука сына.

«А! Он подписывается — Алексей Пастухов! Полностью — Алексей, чтобы не смешивали с Александром... Бог мой, он не хочет, чтобы его приняли за отца. Неужели он не прощает мне моей вины? К счастью, он сейчас понял, что я признаю вину. Алексей, Алешка! Он готов отдать свою жизнь. Но разве смысл в том, чтоб ее отдать? Неужели я не отдал бы свою жизнь, когда бы знал, что это чему-нибудь послужит, кроме смерти? Что за пользу принесет Алексей своей смертью?..»

Пастухов придержал размышления, дойдя до этого вопроса, и потом насмешливо спросил себя:



«А что за пользу приношу я своей жизнью?..»

Почти в тот же момент, когда он так уничижительно о себе подумал, с лестницы обрушился на него предупреждающий окрик:

— Па-азволь!

Он обернулся и увидел высоко над собой кудлатого, черномазого знакомого: мужичок, свернув голову на одно плечо, на другом нес ящик, с трудом переставляя по ступеням напряженные в коленях ноги.

Два чувства сразу всколыхнулись в груди Пастухова. Одно было обидным. «Шпеёна пымали!» — вспомнил он горько. Другое переполнило его тревогой: «Пазволь!» — это голос вокзальных перронов, береговых пристаней, дебаркадеров, пароходных палуб, причальных портовых стенок, где народ толпится в ожидании скорого отъезда, где расстаются, прощаются, где люди покидают одну жизнь и откуда уходят в другую. «Пазволь!» — голос тяжелой работы ради не терпящего проволочек дела, голос требования работы, чтобы ей не мешали.

Пастухов поднялся, захлопнул книгу и протянул ее одной из девушек у зеркала, продолжавших смотреть на него, пока он сидел. Девушка затрясла русыми букольками на висках и с таким испугом отшатнулась назад, будто ей предложили что-то недопустимое:

— Вы... не написали? — спросила она едва слышно.

— Лучше, чем написали здесь, кто был передо мной, не напишешь.

— Хотя бы вашу фамилию!

— Фамилия моя здесь есть.

Пастухов положил книгу на подзеркальник, сильно припечатал по ней раскрытой ладонью, точно говоря — быть посему! — сказал «прощайте» и ушел.

На крыльце Мария Петровна, загораживая протянутой рукой дверь, увещевала красноармейцев, окруживших ее подковой и требовавших, чтобы им показали дом. Она выпустила из двери Пастухова, снова протянула руку, не переставая уговаривать:

— Но я же объясняю вам: сейчас будем выносить вещи. Видите, пришли сразу две машины.

Боец постарше других, взмахивая сложенной пилоткой в красной от загара руке, грубым голосом сказал:

— Разве мы не понимаем? Пройдем раз, и все.

— Не чай пить. Сами на колесах,— сказал еще кто-то.

Сержант, твердо и широко расставивший ноги, хмурил гладкое, с едва затененной верхней губой лицо и упрямо глядел в глаза Марии Петровны. Вдруг он скосил взгляд на Пастухова, дерзко подмигнул ему и произнес отчетливо расставленные, как на военных занятиях, слова:

— Для бойцов, значит, у вас эвакуация. А вот для товарища штатского эвакуации нет.

Мария Петровна оглянулась на Пастухова. Растерянность совестливого человека, которому надо было выйти из неловкого положения, мелькнула у ней во взоре, но она решила не сдаваться:

— Товарищ здесь как раз по поводу эвакуации... и может... может подтвердить, что экскурсий мы больше не водим.

— Товарищ эвакуатор,— резко сказал сержант, с неожиданным треском сдвигая каблуки,— разрешите провести экскурсию бойцов по дому-музею товарища Толстого.

Пастухов засмеялся, и бойцы, приняв его смех за одобрение сержантской выходки и тоже смеясь, начали шумно обступать его, тесня Марию Петровну.

Она подняла голос:

— Вы же военные люди и мешаете работе. Это военная работа!

Как вы не понимаете — в музее нечего больше показывать. Разве только стены.

— А хоть бы стены. Проживал-то в них какой человек! — проговорил боец с пилоткой в руке.

— Вот именно, какой человек! — требовательно и почти в слезах обиды посмотрела на бойца Мария Петровна. Вызов осветил ее лицо, и, видно, сама не ожидая этого, она закричала: — Не осматривать надо, а защищать эти стены!

Стало очень тихо, и глаза всех тяжело обратились к женщине. Свет ее измученного лица быстро меркнул, и вокруг как-то потемнело. Трудно было одолеть эту тишину и это потемнение грубому голосу бойца, когда он слегка хлопнул пилоткой по ладони и выговорил:

— А мы что, отказываемся?

С каким-то неестественным усилием он медленно подтянул кожей лба выгоревшие свои брови и серым взглядом из-под них прошелся по товарищам. Они все, как только прозвучал его голос, отвели глаза с женщины на него и смотрели открыто и сурово.

Тогда рука Марии Петровны, которой она загораживала вход, опустилась.

— Ну, идите скорее, — тихо сказала она, — я сейчас приду к вам...

Они молча сгрудились. Сержант взметнул гладколицую голову кверху, зачем-то оттопырил губы, потом твердо сдавил их и, разжав негромким взрывом звука «п», скомандовал:

— Пилотки снять!

Он опять, но на этот раз мальчишески-озорно подмигнул Пастухову и вошел первым в дом. За ним, по привычке безобидно наваливаясь друг другу на спины и — чтобы не давить ног — шаркая подошвами, тесным роем стали втягиваться в дверь красноармейцы.

Пастухов глядел на их выстриженные затылки, на малиновые раковины ушей, большие покатые плечи шинелей, вылинявших, как осенние мхи, и сердце его билось ясно слышными ударами, точно набирая в запас силы.

Мария Петровна терла глаза непросыхающим своим платочком. Когда последний боец вошел в дом, она тоже посмотрела ему вслед.

— А вот их не учат закрывать за собой двери, — сказала она не порицающе, а как бы виновато и детски всхлипнула. — Вы не знаете, как больно видеть сейчас посетителей. Вас особенно больно почему-то. Извините.

Грузовики один за другим завели моторы, чтобы подъехать к крыльцу задними, откинутыми бортами кузовов.

Пастухов наклонился к Марии Петровне и постарался перекричать шум:

— Спасибо вам за все!

— Ах, зачем вы это, что вы, — вскрикнула она в ответ, — вам спасибо! — И обеими горячими ладонями обхватила его руку.

Пастухов пошел к той аллее, на которой простился с Алешей. Моторы перестали трещать, и тотчас долетел до него перепуганный возглас Марии Петровны:

— Клумба! Зачем же вы наехали на клумбу!

Наверно, шоферский невозмутимый голос отозвался ей вразумляюще:

— Чудило-человек! Ты посмотри, что на шоссе творится. Клумба!..

Пастухов не оборачивался. Он миновал аллею, свернул на дорогу между садов с неожившими после лютых предвоенных зим яблонями.

Ему казалось, душа его успокаивается. Она могла бы испепелиться от тревог этого утра. Но, хотя ему представлялось, что все утро было для

него трагичным, он не испытывал страдания. Наоборот, чем дальше позади оставался усадебный дом, тем прозрачнее становились его чувства, соединяясь с душистой прохладной осенью в ее многоцветно-металлических красках.

Он думал, как много на свете хороших людей и что, наверно, только хорошие люди будут решать судьбу событий. Что как ни страшны эти события, хорошие люди их не страшатся, а ведь очень вероятно, что самое главное в жизни — ничего не страшиться.

Ему виделся Алеша, бегущий с прижатыми к бокам локтями, виделись сгрудившиеся в рой красноармейцы, и похожий на цыгана мужичок, и Настюша с башмаками на веревочке через плечо. Он даже сожалел, что сам не такой же хороший, как они все, и особенно сожалел, почему он не такой, как человек, явившийся его фантазии в лесу и в комнате под сводами. Но сожаление не причиняло ему никакой муки — оно было непрерывным током раздумий, бежавшим в мозгу по привычке о чем-нибудь думать. Он нечаянно вынул из кармана комок бумаги и не сразу понял, что это такое, но, вспомнив, бросил бумагу далеко прочь. Невольно следя за ее полетом, он заметил прибитую к высокому стволу липы дощечку, стрелкой отточенную с одного края. Он подошел ближе и прочитал:

«К могиле».

Он стоял на повороте дороги от садов к лесному участку. Он знал, что имя этому лесу — Старый заказ, знал, что пойдет сюда и почему надо пойти.

Но ему захотелось вернуться. Он будто испугался возврата потрясений, от которых только что опомнился. Он ждал, что особая встреча, предстоявшая ему в Старом заказе, произойдет в каком-то лирическом строе — может быть, грустно, задумчиво, но музыкально, и не нарушит ясности осеннего мира, спустившегося на его душу. Его встретила дощаная, топором сработанная вывеска на липе, и он ненавистно от нее отвернулся.

И все-таки он не уходил. Он увидел, что будет с ним, когда он покинет Ясную Поляну. Легко будет врать кому угодно, что он преклонил главу там, где это положено делать. Но кто поверит правде, что он постоял на меже Старого заказа, повернулся и уехал домой! Он не турист, и нет нужды перед кем-то отвечать — выполнил он маршрут путешественника или нет. Но перед собой он ответит. Это преступление — не отдать долг праху, к которому пришел.

Пастухов встряхнулся и овладел собой. Его мысли приобрели афористический характер, свойственный тем мгновениям, когда он в чем-нибудь себя убеждал.

— Прах — тот же дух, раз без него не существует духа, — сказал он. Ему понравилась фраза, и сейчас же выложилась в голове другая: — Пойду просить прощения, что я не такой, каким мне хочется быть.

И он пошел в Старый заказ.

Он шел и чувствовал себя опять яснее, легче и даже спросил себя с обычной пастуховской улыбкой на серьезном лице:

— Интересно, между прочим, Александр Владимирович, где вы сегодня будете кушать?..





И взамен дала прищур колючий,  
хватку: взял — так пальцев не разнять.  
А еще дала на всякий случай  
власть, чтобы слова соединять.

\* \* \*

В комнату вошел застенчивый, робкий,  
провел рукой по невыросшим волосам.  
Задумчиво на папиросной коробке  
спичкой нарисовал паруса.

Вчера извлекли последние пули  
и дали бумагу, что инвалид.  
Высокий, худой, все время курит  
и почти ничего не говорит.

\* \* \*

Я не могу схватить никак  
и нанести на лист  
вот этот дальний лай собак,  
и комариный писк,  
и торопливых муравьев,  
бегущих по бревну,  
и кадки, полной до краев,  
я больше не верну,  
и серый шорох мостовых,  
бензиновую гарь,  
и — тень неловких плеч моих,  
шатающих фонарь...  
И запах мокрого куста  
все не дается мне,  
и лягушачья темнота  
в растворенном окне.  
Все то, что пахло и цвело, —  
все то, что было и прошло!

---

Владимир Львов родился в 1926 году. Трагически погиб в 1961 году. В 1943 году, сдав экстерном экзамены за среднюю школу, ушел добровольцем на фронт.

Первая книга стихов «Без отдыха» вышла в издательстве «Советский писатель» в 1957 году.



---

**В. ЕМЕЛЬЯНОВ,**  
*Герой Социалистического Труда,  
член-корреспондент Академии наук СССР*

★

## О ВРЕМЕНИ, О ТОВАРИЩАХ, О СЕБЕ\*

*Записки инженера*

### Предвоенные годы

**И** вот я снова в Москве. В тот же самый день я встретился с Тевосяном.

Я не виделся с ним более года. За это время он почти не изменился, только в его черных выразительных глазах отражалась та нервная и полная напряжения жизнь, которой он жил все это время. Себя он не жалел и даже в самые трудные дни неизменно думал и заботился о других. Таков уж был его характер. И люди, с которыми он сталкивался, хорошо это понимали и чувствовали. Он никогда не понуждал их к работе, он умел заразить их собственной жаждой деятельности. Он никого не поучал — он советовался; никого не одергивал, не оскорблял — он только доказывал. И, обращаясь в другие учреждения с какой-либо просьбой, никогда не получал отказа. Те, кто знал Тевосяна, успели убедиться, что все, что он делает, необходимо для страны, следовательно, для всех.

— Ну вот, теперь мы судостроителями с тобой заделались,— пожимая мне руку и улыбаясь, сказал он.

— Почему мы? О том, что тебя назначили в судостроение, я знаю, но при чем тут я?

— Принято решение о создании флота пяти морей и океанов. Надо будет строить линкоры и крейсера. Создано специальное управление по производству брони. Тебе придется работать в этом управлении. Начальник управления и главный инженер назначены — они тебе известны.

И Тевосян назвал мне их фамилии.

— А что же я там буду делать?

— Ты — заместитель начальника Главного управления по научно-исследовательским работам. Дело это новое, придется много экспериментировать. В управлении будут сконцентрированы все работы по броневой защите, все типы брони различного назначения. Но меня больше всего волнует организация производства судовой брони,— сказал Тевосян.— Здесь сконцентрированы основные трудности. Для ее производства требуется создать большие производственные мощности — реконструировать некоторые заводы и, вероятно, построить новые. Нужно будет приобрести много уникального оборудования. Мы пробовали подсчитать, чем, как говорится, все это пахнет. Объем работы получается

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

колоссальный. Достаточно сказать, что вес одной готовой броневой плиты для линкора достигает семидесяти тонн. Для того чтобы изготовить такую плиту, как ты знаешь, необходимо иметь стальной слиток весом более полутора тонны. Следовательно, необходимо прежде всего овладеть техникой отливки таких крупных слитков броневой стали. Затем слитки надо ковать — потребуются прессы.

— Мощностью в пятнадцать тысяч тонн, — вставил я.

— Вот именно, — подтвердил Тевосян. — Нам необходимо достать такие прессы. Как ты знаешь, у нас в стране их нет. Овладеть техникойковки крупных слитков.

— Дальше — прокатка, и потребуются мощные бронепрокатные станы, — подхватил я.

Он продолжал, засмеявшись:

— Затем механическая обработка. После — термическая обработка. И все это совершенно новое для нас дело. Я тебе советую: не теряй зря времени и садись за изучение военного кораблестроения. Я уже начал кое-что штудировать. — Он назвал мне несколько книг; ни они, ни их авторы не были мне знакомы. — Нам теперь надо знать военный корабль так же, как морячки его знают, иначе трудно будет работать. Никто с тобой считаться не станет, если ты не будешь знать дела. Так что придется снова засесть за книги... Кстати, ты давно не был в отпуске?

— Три года.

— Советую сперва пойти в отпуск, набраться сил и тогда уже приступать к работе. На отдыхе можно будет и почитать. Все равно делать-то нечего будет.

Пока мне оформляли отпуск и доставали путевку в дом отдыха, я знакомился с совершенно новой для меня отраслью производства и новыми людьми.

Первым наркомом оборонной промышленности был назначен М. Л. Рухимович. Но на этом посту он пробыл очень недолго. Вместо него назначили М. М. Кагановича. В ту пору братья Кагановичи были в чести. С ними считались. М. М. Кагановичу понравилось только что отстроенное здание Управления Московского метрополитена, и он предложил передать его новому наркомату. Для того чтобы отобрать дом у Метростроя и передать его Наркомату оборонной промышленности, особых доводов не потребовалось. Достаточно было одного: предложение внесено Кагановичем.

Получив дом, хозяйственное управление наркомата немедленно принялось переделывать его. Ломались перегородки и ставились новые Кабинеты наркома и его замов — непомерно огромные — отделялись с особой тщательностью и роскошью. Стены обивались панелями из красного дерева, подвешивались дорогие бронзовые люстры. Отделка кабинетов меня коробила. «К чему это?» — думал я и вспоминал рассказы о Ленине, о его нетерпимости к мишуре и парадности. Мне рассказывали, как зимой, боясь, что Ленин простудится, так как из-за нехватки топлива в помещениях Совнаркома в Кремле было холодно, управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич решил положить на полу комнаты, где работал Ленин, медвежью шкуру. Когда Ленин увидел ее, он рассердился и предложил убрать:

— Это еще что такое? Кто позволил устраивать эту роскошь?

Бонч-Бруевич стал уверять Ленина, что это не роскошь, что во многих учреждениях Москвы, Петрограда и других городов поступают так же — чтобы не было холодно. Ведь у нас в стране медведь не редкость и медвежью шкуру нельзя считать роскошью...

«Как бы посмотрел на все это Ленин? — думал я. — Правда, мы стали богаче и можем себе больше позволить, — объяснял я сам себе, но тут же снова вступал с собой в спор: — Да, безусловно, мы стали неизмеримо богаче, но так ли следует показывать это богатство и таким ли вкусам и стремлениям следует потакать?»

В наркомате создавались новые управления и отделы и шли перемещения работников. Часть старых работников, занимавшихся оборонной промышленностью ряд лет, были сняты или освобождены от работы. Когда заходил разговор — за что? — одни пожимали плечами, другие хмуро отвечали: «За хорошие дела не снимут».

Тевосян же неизменно повторял, что оборонная промышленность сейчас наиважнейшая. Сюда надо бросать все силы и средства. Здесь каждый должен быть виден насквозь.

Как-то, встретив меня в коридоре, он сказал на ходу:

— Ты знаешь, к нам в наркомат переходит Апряткин.

Ивана Семеновича Апряткина я знал с 1914 года. Наши отцы работали в Баку на одном и том же нефтепромысле фирмы «Бенкендорф» в Сураханах; мы учились в одном и том же реальном училище, а затем в Горной академии. Апряткин был немного старше меня. Он на два года раньше окончил академию и уехал на работу в Свердловск на Уралмаш. Когда я работал в Челябинске, он как-то заехал ко мне на завод.

Еще в юношеские годы Апряткин проявлял незаурядные организаторские способности. В 1919 году, будучи членом подпольной большевистской организации, вел большую работу в профсоюзах и был одним из руководителей политической забастовки в июле 1919 года.

Апряткин приехал в Москву сперва для переговоров, и мы встретились с ним у него на квартире. Зашел к нему и Александр Фадеев, с которым он был очень дружен.

— Когда же ты собираешься приступить к работе в наркомате? — спросил я Ивана Семеновича.

— Вот съезжу в Свердловск, откреплюсь там и окончательно переберусь в Москву. — И добавил с горечью: — Отправляюсь туда, как на голгофу. Что поделаешь — в жизни, видимо, надо все вынести.

Настроение Ивана Семеновича меня озадачило. Он был всегда оптимистом и жизнелюбом. Чем он встревожен?

Когда мы вместе с Фадеевым выходили от Апряткиных, я спросил его:

— Что это у Вани такое необычное для него настроение? Что с ним?

— Прорабатывают его в Свердловске. Не понимаю, чего от него хотят. Иван — честнейший человек. Да ведь ты его лучше меня знаешь.

В самом деле, Апряткин был вне всяких подозрений. В его честности и преданности абсолютно нельзя было сомневаться.

Разговоры с Апряткиным и Фадеевым, слухи о дальнейших перемещениях в наркомате удручали. Все понимали, что для решения новых задач, которые стояли перед страной, нужны, вероятно, новые люди. Но нужно ли так много людей менять? Ведь большинство из них подбирал и выдвигал Орджоникидзе.

Перестройка здания наконец была завершена, и мы перебрались в новое помещение. Шикарный подъезд был отделан цветным мрамором. Лестницы устланы ковровыми дорожками. Правда, они заканчивались немного выше третьего этажа — на третьем этаже были кабинеты наркома и его заместителей. На четвертом и пятом этажах никаких доро-



жек уже не было — там располагались управления и отделы. Здесь и мебель куда проще, а количество рабочих столов так велико и они стояли так плотно, что протиснуться в оставленную для прохода щель от одного стола к другому мог не каждый.

Во всех наркоматах работали по ночам. Ранее двух-трех часов ночи никто не уходил. Являлись же на работу рядовые сотрудники более или менее аккуратно. Ответственные, как правило, задерживались и приезжали позже.

Однажды нарком созвал большое совещание, и когда все собрались, то оказалось, что нет начальника иностранного отдела.

— Почему его нет в наркомате? — раздался разгневанный голос Кагановича.

Кто-то заметил, что уже третий час ночи и работник этот только что ушел домой.

— Он что, на курорте находится? Вызвать его немедленно.

Человека вызвали, и он долго выслушивал грубые оскорбления.

Несмотря на то, что я уже несколько месяцев работал в наркомате, привыкнуть к здешним условиям никак не мог. Огромное количество бумаг и постоянные заседания как-то подавляли, а заседания коллегии всегда оставляли неприятное чувство. Они происходили в кабинете наркома, и он часто устраивал их участникам «баню». Недаром приемную наркома прозвали предбанником. В приемной всегда толпились люди. На заседания коллегии приглашали очень многих, но допускали их, только когда обсуждался вопрос, имеющий прямое к ним отношение.

Каких только историй не рассказывали в приемной Кагановича друг другу ожидавшие вызова! Сколько часов было просижено без всякой пользы в этой приемной!

М. М. Каганович был человеком грубым, совершенно не разбиравшимся в технике, но много себе позволявшим. Он любил шутить, но шутки его были оскорбительны и неуместны. Впрочем, иногда его действия обращались против него самого. Как-то на коллегии разобрался вопрос о работе строительных организаций. Многие из строителей жаловались на плохое обеспечение лесоматериалами. Директор одного из строящихся важных заводов заявил, что работы будут приостановлены, если в ближайшие дни на стройку не поступит лес.

Каганович сурово спросил:

— Кто в наркомате отвечает за лесопоставки?

Оказалось, что работник, ответственный за это, — человек новый, недавно назначенный в наркомат, — прибыл с одного из заводов. Так как на заседание было вызвано очень много народа и мест для всех не хватило, то кое-кто, в том числе и этот работник, стоял. Его бледное, обрамленное черной бородой и такой же шевелюрой лицо совсем побелело, когда Каганович, весь красный от негодования, приправляя нотацию непечатными выражениями, стал кричать:

— Мы тебя для чего с завода в наркомат взяли? Чтобы ты здесь бородой, как козел, тряс? Почему нет леса на стройках?..

Мне, да и многим было не по себе. Зачем так унижать человека? Разве не лучше серьезно разобрать действительные причины отсутствия леса на строительстве заводов?

Свой унижительный разнос Каганович закончил угрозой:

— Иди, но помни, если не доставишь лес на эту важнейшую стройку — голову оторву! Любыми средствами лес должен быть доставлен!

Угроза Кагановича привела к неожиданным последствиям.

Через несколько дней на его имя стали приходиться телеграфные

подтверждения о выполнении указаний и сведения, когда и сколько вагонов леса было отправлено строительству завода, о котором шла речь на коллегии.

Секретарь Кагановича, прежде чем докладывать ему эти телеграммы, решил проверить, когда и какое именно указание давал нарком. Но никаких следов нигде не нашел. Затребовали сведения в Главном телеграфе. В телеграммах об отгрузке леса за счет всех других строителств, подписанных Кагановичем, явно была не его подпись.

Выяснилось, что телеграммы отправил злополучный снабженец. Созвали коллегия наркомата и вызвали его. Он стоял и упорно повторял:

— У нас не было других возможностей. Вы сказали: «Обеспечьте любыми средствами». У меня других средств не было. Я послал телеграммы за вашей подписью.

Каганович бесновался, стучал кулаком по столу, а все присутствовавшие молчали. Лишь кое-кто угодливо вставлял:

— Ну и подлец, ведь это же прямой подлог.

Каганович вызвал юриста и предложил подготовить документы для передачи дела в суд. Но разумный наркоматский юрист стал его отговаривать:

— Снабженцу терять нечего, он расскажет, как вы предложили обеспечить поставку леса строительству любыми средствами. Эта история станет достоянием многих и поставит вас в неудобное положение.

В конце концов Каганович согласился с его доводами и предложил уволить «фальсификатора» из системы Наркомата оборонной промышленности. Этим инцидент был исчерпан. Но он заставил очень многих задуматься о методах работы и отношении к людям. Вспоминали при этом Орджоникидзе. При нем ничего подобного не было. Он уважал людей и детально разбирался в причинах трудностей.

На коллегии наркомата рассматривались самые различные вопросы, но назначение новых руководящих работников было исключительным правом М. М. Кагановича.

В приемной наркома ждали приема кандидаты на должности директоров заводов, главных инженеров, начальников главных управлений, а также кандидаты на замещение других должностей, входящих в номенклатуру наркома. Выдвижение кандидатов часто происходило в большой спешке.

Прежде чем представлять кандидатов наркому, их вызывали в отдел кадров наркомата и вели с ними предварительные переговоры. Но еще до вызова людей на переговоры сотрудники отдела кадров собирали о каждом различные сведения, справки, характеристики, отзывы, заполняли большие анкеты.

В течение 1937 года подбором кадров в наркомате занимались все — начальники отделов, управления и заместители наркома. Некоторые из подходящих для работы наотрез отказывались:

— Там, где я работаю, меня уже знают, а в прошлом у меня были и выговоры, и неподходящие знакомства. Ведь я не сидел сложа руки, а все время делом занимался. Вы лучше меня не трогайте. Начнут беречь старые раны, а мне это совсем не улыбается.

Как-то заместитель наркома Б. Л. Ванников спросил меня:

— Не порекомендуешь ли ты кого-либо на должность начальника управления? — И он назвал управление, где срочно требовался начальник.

Я знал одного хорошего инженера, который, по моему мнению, вполне подходил для этой должности.

Ванников мне ответил:

— Я сам думал о нем, но если мы его поднимем, то привлечем к нему внимание. Бог с ним. Пусть сидит там, где он сейчас находится, хотя ты и прав — он очень подходящая кандидатура на эту должность. Давай поищем кого-нибудь другого.

Правильное использование людей, их знаний и способностей всегда и всюду важно и необходимо. В те годы об этом постоянно напоминали красные полотнища плакатов: «В период реконструкции кадры, овладевшие техникой, решают все!», «Правильный подбор людей — дело большой важности!» И все-таки делалось немало ошибок. Они начинались, да и по сей день еще начинаются, с выбора специальности, с высшей школы: ни одна самая тяжелая авария не приносит столько ущерба, как неправильно избранная специальность. В результате тысячи людей в нашей стране работают не в той области, к которой их готовили в высшей школе. Следующая ошибка совершается, когда на тот или иной пост назначается неподходящий человек.

Когда я слушал разговоры с кандидатами на очередное назначение в отделе кадров наркомата, то невольно вспоминал, как вели аналогичные разговоры Завенягин и Тевосян — ученики Серго Орджоникидзе. Они не соблазняли приглашенных на работу обещаниями каких-то особых условий, высоких окладов, премий. Разговор на такие темы был бы просто оскорбительным для тех, кого они приглашали. Они говорили о том, какие предстоит решать задачи, какие трудности предстоит им преодолеть, объясняли, почему так важно для нашей страны и партии решить эти задачи как можно быстрее. Они сами горели тем неугасимым огнем энтузиазма строителей нового общества, который не мог разжечь только людей, абсолютно не способных к горению. А такие были и не нужны.

Я нередко слышал от Тевосяна: «Такой-то, имярек, не горит, а дымит», — и он с неприязнью говорил о нем: «Э-э, ну какой же он руководитель, он любое живое дело заморозит», — при этом лицо Тевосяна искажала гримаса отвращения.

\* \* \*

К нам в главное управление поступало много разных предложений: и разумных и наивных. Этот поток предложений свидетельствовал о том, как много людей в нашей стране заботились об обороне и всячески хотели помочь ее укреплению. Большинство их искренне считало, что именно их предложения и были чрезвычайно важными. Разобраться в ценности каждого из этих предложений и установить, кто в действительности его автор — советский патриот или очковтиратель и эгоист, ищущий славы и денег, было делом нелегким.

Мне рассказывали, что у одного из известных в Москве врачей-психиатров был особый прием для того, чтобы определить, кто перед ним — действительно психически больной человек или симулирующий душевное расстройство. У этого врача было открытое, простое лицо и большие светло-голубые глаза. Когда к нему доставляли пациента, он внимательно осматривал его и мягко, не повышая голоса, ставил ему ряд вопросов, и если у него было сомнение и он полагал, что пациент симулирует болезнь, он тем же мягким голосом, называя пациента по имени и отчеству, произносил: «Симулянт вы, Иван Иванович».

В случае, если это было действительно так, пациент вздрагивал от неожиданности.

У нас подобных приемов не было, и часто было очень трудно отличить рационализатора от лжерационализатора, искренне заблуждающегося — от авантюриста.

В особенности туго пришлось в главке мне. Все новые работы, все предложения по рационализации и изобретениям свалились на мою голову. Как и в Челябинске, вновь пришлось окунуться в совершенно новую для меня область. В нашей стране в те годы броневая сталь производилась в ограниченном количестве и по ограниченной номенклатуре — главным образом для орудийных и пулеметных щитков. Тогда только начинало складываться производство брони для танков, броневых автомобилей, касок, но никто еще не полагал, что броня потребуется, например, для авиации. Броневые плиты для крупных военных судов когда-то на наших заводах изготовлялись, но это было давно, еще в до-революционные годы.

Кое-что из старого опыта было утрачено, а многое не могло быть использовано, так как прогресс военной техники за последние годы внес много нового и то, что осталось от прошлого, не подходило для нынешних условий и высоких требований, предъявляемых к броневой защите современных кораблей.

Данных об изготовлении броневых плит в специальной литературе почти не было. В мои руки попали всего два труда по производству броневой стали, опубликованных за границей. Один в Германии и второй во Франции. Но оба относились к истории броневого производства, и авторы начинали свое изложение с Пунических войн, а заканчивали общим утверждением важности проблемы броневой защиты.

На всех заводах мира, изготовляющих броневые стали, броня испытывалась пулевым или снарядным обстрелом, а для предварительной оценки служила архаическая формула, предложенная когда-то французом Жакобом де Маром. На всех заводах тонкая броня испытывалась на полигонах: там вели стрельбу по броневым карточкам — образцам испытываемых и сдаваемых военным приемщикам изделий из броневой стали.

Со всей этой совершенно новой для меня техникой пришлось знакомиться и детально ее изучать. Правда, в этой области производства у нас уже появились свои специалисты, а в заводской лаборатории одного из основных заводов работала сильная группа молодых инженеров, овладевших многими тайнами броневого производства. Они хорошо разбирались в структуре стали, знали, каким комплексом свойств должна обладать броневая сталь, чтобы поставить это производство так, как этого требовала программа создания военно-морского флота пяти морей и океанов.

Первые месяцы я себя, естественно, чувствовал, как в дремучем лесу. Когда на технических совещаниях обсуждались программы исследовательских работ или проекты технических условий, рассматривались планы проведения опытов и испытаний, я видел, как много еще нужно мне изучить и понять в этой новой области техники. Я отдавал себе отчет, что этого недостаточно, что пора уже переходить от чистого эмпиризма к настоящей науке и вовлекать в нее ученых, а заводских инженеров привлекать к научному поиску для рациональных решений практических вопросов.

В середине 1937 года я впервые встретился с академиком А. Ф. Иоффе. Вскоре наши отношения стали более близкими, дружескими и продолжались вплоть до самой смерти Абрама Федоровича.

Этот убежденный сединой замечательный ученый всегда был полон новых идей и юношеского задора. Он умел прививать вкус к научным поискам и обладал способностью с помощью простейших аналогий и примеров объяснить самые темные, самые запутанные области науки. Но поставленные задачи были настолько сложны, а времени на их решение было отведено так мало, что нередко приходилось действовать, не при-

бегая к необходимым исследованиям, а это в конце концов приводило к еще большим осложнениям и трудностям.

Знакомство с техническими требованиями, изучение различных предложений, поступавших в управление, ознакомление с тем, что делалось раньше, занимало все рабочее время, не хватало даже вечера и приходилось засиживаться до глубокой ночи. Да, кроме того, бесчисленные заседания — нужные и ненужные.

Рассматривая старые материалы, я натолкнулся однажды на упоминание о предложении некоего Деренкова относительно производства брони.

Я заинтересовался у одного из старых работников наркомата, имевших и раньше отношение к производству брони, в чем состояло предложение этого Деренкова.

— О, деренковщина — это интересный этап в истории броневоего производства! — воскликнул он. — Я не помню точно, когда это было, но если мне память не изменяет — в самом начале тридцатых годов.

Вот что он рассказал об этой истории:

— Мы начали тогда заниматься производством танковой брони, и, как это всегда случается в каждом новом деле, не все у нас клеилось. И вот тут появился Деренков. Здоровенный мужик, с окладистой рыжей бородой, в смазных сапогах, косоворотке, подпоясанный шнуром с кистями. Он добился приема у одного из высоких начальников и заявил: «Инженеры вас обманывают, они нарочно выдумывают различные сложные стали, чтобы себе набить цену, а о том, сколько такая сталь народу нашему стоит, не думают. Я могу предложить вам броню по целковому за пуд. Можете испытать. У меня есть образец для пробы. — Он показал небольшой стальной лист. — Вот видите, это простое котельное железо, науглероженное с одной стороны. Все! И никаких никелей и хрома не требуется, а от бронебойной пули защищает не хуже, чем броня, которую изобрели ваши инженеры». Ну, конечно, было дано указание произвести испытание брони, предложенной Деренковым. И произошло невероятное — она выдержала испытание! Почему — никто не знает до сих пор. То ли в патронах был порох влажный, то ли заряд мал, то ли еще что произошло. Неизвестно. Но факт — выдержала! Деренкова немедленно представили к ордену, а заводу предложили перейти на производство брони по его методу — по цене целковый за пуд. На заводе пошел стопроцентный брак, начался ропот. Кое-кто из инженеров прямо называл это аферой и очковтирательством. Начались неприятности покрупнее — кое-кого из инженеров завода и наркомата обвинили во вредительстве.

Больше года продолжались эти мучения, пока кто-то разумный не настоял на тщательной проверке. Вот тогда-то Деренкова выставили, а вся эта история получила наименование «деренковщины». Имейте в виду, что вокруг заказов вертится и кормится немало сомнительных личностей, я не утверждаю — врагов или шпионов, но людей, которые получают немалые деньги за свои предложения, а пользы от них столько же, сколько шерсти от черепахи. Вы с этим еще столкнетесь!

И я действительно с этим скоро столкнулся.

Однажды ко мне на прием пришел один инженер. Он представился инженером-механиком, занимается изобретательством. Благообразное лицо и скромность, с которой он начал разговор, располагали к нему.

— Я не металлург, а механик, — сказал он, — и вас может удивить, почему вдруг я вторгаюсь в чужую для меня область техники. Заранее

прошу извинить, но выслушать. Может быть, я где-то в чем-то и грешу, хотя мне кажется, что я не ошибаюсь.

Общеизвестно, что при разливке стали и при ее остывании кристаллизация начинается у стенок изложницы. Кристаллы начинают расти внутрь слитка. Последним застывает металл в центральной его части. Здесь же преимущественно концентрируются и основные загрязнения — шлаковые и газовые включения. Периферийные слои металла, таким образом, чище, нежели металл в центре. Вы изготавливаете листовую сталь, броневые плиты. Для вас особенно важно, чтобы здоровой была как раз центральная часть, так как при механической обработке вы удаляете металл поверхностных слоев, то есть наиболее здоровый. Как улучшить качество, я не знаю, а вот как выровнять состав стали так, чтобы не было разницы в качестве стали в центре и на периферии слитка, мне кажется, это можно сделать. Что, мне представляется, нужно для этого сделать? Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы рассмотреть вначале сам процесс остывания жидкой стали в изложнице. Можно попросить лист бумаги?

Я протянул ему большой блокнот.

— Вот смотрите.— Он нарисовал схему изложницы и стрелками пометил направление роста кристаллов.— Почему это происходит? Потому, что стенки изложницы отбирают у жидкой стали тепло и в массе стали создается большая разница температур. Если бы эту разницу значительно уменьшить, тогда сталь остывала бы во всем объеме почти одновременно и свойства стального слитка были бы более однородными. Правильны мои рассуждения?..

— Как будто бы правильны,— подтвердил я.— Но как этого добиться? Каким путем можно заставить остывать сталь сразу во всем объеме?

— Путь к этому один. Следует ввести в центр слитка холодильник — элемент, отбирающий тепло. Этого можно достичь, если поместить в середину изложницы сердечник из стали того же самого состава, что и заливаемая в изложницу. Состав стали вы, таким образом, не измените, а на растворение сердечника затратите какое-то количество тепла. Я думаю,— продолжал изобретатель,— что можно было бы использовать в качестве холодильника стальной каркас из толстой проволоки и заливать сталь в изложницу так же, как строители заполняют бетонным раствором стальные каркасы. Вот идея предложения! Почему я обращаюсь именно к вам? Потому что на заводах вашего главка отливают наиболее крупные слитки, а этот метод легче проверить именно при отливке крупных слитков — разница в свойствах стали, отлитой обычным способом и по моему предложению, будет выявлена в этом случае наиболее выпукло... Ну, что вы можете сказать относительно этого предложения? — напрямик поставил передо мной вопрос изобретатель.

Когда же я замаялся, он заявил:

— Я понимаю, что вам трудно сразу оценить его.— И как будто бы читая мои мысли, он продолжал: — Есть ведь много таких инженерных проектов, которые лежат на грани практической нецелесообразности. На бумаге все просто и ясно, а когда дело доходит до практического использования, возникают трудности, приходится отказываться. Окончательный ответ может дать только опыт...

Говорил он тихо, спокойно и производил хорошее впечатление своей рассудительностью и объективностью.

— Что же вы конкретно от меня хотите? — спросил я.— Разрешения провести опыты отливки крупных слитков по вашему методу?

Он улыбнулся и сказал:

— Собственно, никакого метода пока еще нет, есть только идея. Я буду с вами совершенно откровенен. Я зарегистрирован как изобретатель в Наркомтяжпроме, там меня знают. Это легко проверить. У меня были и другие предложения. Одним словом, я живу только на то, что получаю за свои изобретения. Меня бы вполне устроило, если бы вы дали указание одному из заводов вашего главка — северному — поставить под моим наблюдением опыты по проверке метода. — Он опять улыбнулся и поправился: — Этой идеи. Во время проведения опытов я должен все же на что-то жить — одними идеями, к сожалению, даже изобретатель не может питаться. Вот если бы на время проведения опытов я был бы временно зачислен на заводе инженером и мне установили бы средний оклад — это меня вполне бы устроило.

Все это казалось мне разумным, а требования скромными. Я согласился и дал указание заводу на время проведения опытов зачислить его на завод.

Прошло несколько месяцев, и как-то, прибыв на этот завод, я увидел у подъезда заводоуправления легковую автомашину. Я знал заводские машины — эта была незнакомой. Кто же мог приехать на завод?

В машине находился шофер. Я подошел к нему и спросил, чья это машина. Он назвал фамилию.

— Но от какой организации?

— Это не от организации.

— Ну а вы-то у кого работаете?

— Да я же сказал вам. — И он повторил фамилию владельца машины. — У него и работаю.

Фамилия показалась мне знакомой. И вдруг я вспомнил. Да ведь это же изобретатель. Я решил проверить, что же случилось с его изобретением.

Встретив директора завода, я напомнил ему, что несколько месяцев назад мы послали из главка распоряжение о временном зачислении инженера-изобретателя для проведения опытных отливок.

— Да, помню, было такое письмо. Я давал указание начальнику мартеновского цеха о его зачислении и проведении опытов. Но, откровенно говоря, не проверил, в каком состоянии находятся эти работы. Знаете ли, дел всяких по горло, не успеваю за всем следить.

Вызванный им начальник цеха сказал:

— Еще не приступили к опытам, да он и не торопит. Слишком уж скромно. Придет, спросит: «Ну как, когда начнем экспериментировать?» А у нас, знаете, и своих дел много. Скажем: «Хорошо бы до будущей недели отложить!» — «Ну что же, давайте отложим, я на заводе не один год проработал, знаю, что значит цеховая жизнь. Я вас, товарищи, торопить не буду». Вот обычный наш разговор с ним.

— Сколько вы ему платите? — спросил я директора.

— Полторы тысячи в месяц.

В голове промелькнуло: на какие же деньги он мог машину приобрести и содержать шофера?

Несколько позже в разговоре с директором одного крупного завода я рассказал ему историю с этим изобретателем.

— А как его фамилия?

Я назвал.

— Ну знаете, это следует расследовать. Он и у нас на заводе этот же метод проверяет и тоже не торопится с проведением экспериментов.

Когда несколько позже мы занялись проверкой, то оказалось, что изобретатель на ряде заводов «проверял» свою идею. А идея была простой — добиться зачисления на должность и затем не торопиться с опытами.

Теперь стало понятно, почему ему необходима была машина: он едва успевал объезжать заводы и собирать дань, пользуясь доверием людей. Ежемесячный заработок изобретателя значительно превышал самые высокие оклады.

Я вспомнил в связи с этим случаем плавильщика челябинского завода Карнаухова. Сколько рационализаторских предложений он внес! Сколько изобретений у него было! Вся технология производства ферровольфрама связана с его работой. Но он никогда о себе не упоминал и даже не заикался о каком-либо вознаграждении.

А этот инженер с манерами культурного человека, вкрадчиво-скромный — просто вредный хищник. Но как же я мог так опростоволоситься? Это мне хороший урок на будущее..

\* \* \*

Постепенно у меня укреплялись связи с другими наркоматами, устанавливались личные контакты с работниками самых различных отраслей промышленности. И не мудрено. Заводы нашего главка были огромными, с самой разнообразной номенклатурой производства. На некоторых из них, помимо металлургических цехов, были машиностроительные и инструментальные. У нас же было сконцентрировано производство судовых цепей — тут мы были монополистами. Технология цепного производства была архаической — такой, как она сложилась во времена Петра Первого, когда он начал строить военный флот. Строительство военных и торговых судов увеличило потребность в цепях, но производство их оставалось прежним.

Я часто заставлял у себя в приемной, когда был уже начальником главного управления, посетителей, довольно необычных для нас, — капитанов кораблей. Мне приходилось выслушивать скорбные истории о том, как во время шторма судно сорвало с якорей и были потеряны цепи. Ну а без цепей, как известно, судну не обойтись никак.

— Очень прошу вас помочь нам и дать хотя бы гридцать метров якорной цепи. Несколько месяцев уже на приколе стоим — выйти в море не можем, — такой просьбой обычно заканчивались их повествования.

Расширять старое производство цепей было невозможно, и решили строить специальный цепной завод. Но простое как будто бы производство оказалось для нас довольно крепким орешком. В старой России цепи обычно ковали каторжане. Я видел одну из таких кузниц, где они когда-то работали. В низком здании с толстыми кирпичными стенами стояли горны, в которых нагревались железные прутки. Кузнец-каторжанин изгибал куски их в отдельные звенья цепи и соединял их ударами молота. В кузнице той сохранились даже большие железные кольца, вделанные в кирпичную стену, — к ним крепились ножные кандалы каторжан.

Как я уже говорил, технология производства цепей у нас мало изменилась с тех времен. И что особенно удивляло — в мировой технической литературе того времени были описаны только процессы ручнойковки, ничем не отличающиеся от тех, что досталось нам в наследство от далекого прошлого. Даже в Англии, стране классического судостроения, цепи изготовлялись дедовским способом. Мы же хотели разработать для нашего завода совершенно новую, современную технологию производства. Пришлось заняться исследовательской работой, и производство цепей выросло в большую проблему.

Заводы главка изготовляли также разного рода трубы — для паровозостроения, нефтяной и химической промышленности; прокатные станы и прессы и много других разнообразных видов машин, станков, аппаратов. Это были старые заводы бывшей Российской империи. Здесь



работали целыми семьями и опыт передавался из поколения в поколение. Заводы получали заказы со всех концов страны и поставляли свою продукцию самым разнообразным потребителям. Это и вело к тому, что связи главка были чрезвычайно обширны. Заводам для выполнения заказов требовалось много всячины, и необходимо было вести переговоры с многочисленными клиентами. Освободить от выполнения всех гражданских заказов наши заводы было нельзя, несмотря на то, что они входили в систему оборонной промышленности. Поэтому у нас постоянно бывали не только военные представители из различных управлений Наркомата обороны — танкисты, артиллеристы, военные моряки, — но и представители гражданских отраслей промышленности. Правда, они чувствовали себя здесь неважно и держались робко. К заказам не оборонного значения отношение было пренебрежительным. На лицах работников главка, когда они разговаривали с невоенными, казалось, было написано: «Ну что вы-то еще здесь путаетесь. и без вас хватает».

Невоенные заказы занимали небольшое место в общем плане наших заводов, хотя они планировались и мы обязаны были их выполнять. Но так как планы предприятий были чрезвычайно напряженными, то, когда создавалась угроза, что они могут быть не выполнены, все силы и внимание сосредоточивались на таких заказах, выполнить которые было легче. А такими, разумеется, были военные заказы. Они в первую очередь обеспечивались всем необходимым — для них выделялось самое новое оборудование, инструменты и лучшие специалисты. Кроме того, на военные заказы были установлены высокие цены, а план исчислялся в денежном выражении — контроль выполнения плана проводился по общему производству валовой продукции в рублях. Разница в ценах гражданских и военных изделий была огромной. Изготавливаемые, например, нашим северным заводом прессы для брикетирования торфа требовали затрат труда почти в два раза больше, нежели изготавливаемые им же артиллерийские броневые башни, а цена их была в два с половиной раза ниже. И всегда, когда нависала угроза невыполнения плана, директора заводов откладывали гражданские заказы и «поправляли» план перевыполнением оборонных.

Какие бы меры главк ни принимал — это отношение изменить было невозможно.

Я вспомнил завод Круппа в Эссене. Помимо военных заказов, он выполнял много гражданских — изготавливал сельскохозяйственные машины, паровозы, вагоны, химическое оборудование, кассовые аппараты и пишущие машинки, ножи и вилки, запонки и брошки. Я даже сам как-то купил себе там отлитую из чугуна муху и запонки из нержавеющей стали.

У Круппа к этим заказам было совсем другое отношение — заказы приносили прибыль. Изделий, могущих принести убыток, завод не изготавливал. Сочетание военного и гражданского производства признавалось полезным, давало возможность заводу Круппа не только маневрировать при изменении конъюнктуры, но и рационально использовать мощности завода и сырье. Все металлургические отходы, вся сталь, которую нельзя было использовать по прямому назначению, на заводе Круппа находила применение при выполнении гражданских заказов.

На заводах нашего главка, в особенности на южном заводе, было огромное количество отходов производства, которые могли быть ценным материалом для изготовления многих изделий, необходимых в быту. Мне хотелось все эти отходы наиболее рационально использовать. Кое-что, правда, уже использовалось. На заводе действовало небольшое производство дверных петель и шпингалетов, но работали там малокова-

лифицированные люди на изношенном оборудовании, выброшенном из основных цехов. Рабочие зарабатывали здесь немного, а когда завод получал премии, их премией обделяли. Важными считались исключительно оборонные заказы, да и работать на оборону считалось делом не только важным, но и почетным. Все же остальное рассматривалось как второстепенное дело. Поэтому в такие цехи никто не хотел идти, а стремились устроиться в цех, выполняющий военные заказы.

Я попытался было поставить как следует использование отходов производства и учредить для этого особую должность инженера, но у меня ничего так и не получилось. Кандидат на эту должность, когда я попытался с ним повести разговор о том, как важно нам правильно наладить использование заводских отходов, даже обиделся, услышав мое предложение.

— Если я вам больше не нужен, так вы меня уж лучше освободите от работы, а зачем же так унижать, — заявил он мне.

Я был буквально ошарашен такой реакцией. У меня у самого чесались руки заняться этим делом. Сколько можно было бы изготовить нужного для страны! Передо мной лежали проспекты и каталоги изделий, изготавливаемых заводами Германии, Франции, Англии, США.

— Как у вас только язык повернулся сказать такое? — попытался я переубедить его. — Во всем мире на аналогичных заводах такие отходы используются, на них иностранные фирмы зарабатывают большие деньги, а у нас они не только лежат мертвым грузом, но и отягощают наш бюджет.

Надо сказать, что в то время заводы нашего главка имели большую задолженность и финансовое положение было угрожающим.

Но инженер мне твердо заявил:

— Ищите другого кандидата, я на эту должность не пойду.

Я уже знал, что и другие откажутся. Уж если этот, который, как мне казалось, должен был согласиться, не оправдал моих ожиданий.

\* \* \*

Мы прекрасно понимали, что без реконструкции заводов и создания новых мощностей, без оснащения заводов современным оборудованием нельзя будет решить главной задачи, которая в то время ставилась: создать мощный военный флот с тяжелыми военными кораблями — линкорами и крейсерами. Ведь для них нужны броневые плиты большой толщины, ширины и длины. А чтобы производить такие плиты, необходимо перестроить сталеплавильные цехи и воздвигнуть совершенно новые. Проекты цехов и все необходимые расчеты задерживались, а отсутствие утвержденных проектов и смет не давало возможности получать деньги — открывать финансирование этих работ.

Наркомат добился разрешения в ряде случаев приступить к работам без утвержденных проектов и смет. Некоторые из строек нашего главка попали в их число.

Представители Промбанка, получив это разрешение, ворчали:

— Как же вы строить-то без проектов будете? Шагами, что ли, будете отмерять, где следует рыть ямы под фундаменты станков?

Мы сознавали, какие возникнут трудности, когда строительство начнется при незавершенном проекте, но у нас не было иного выхода — ждать было нельзя, и мы строили, иногда на ходу исправляя, перестраивая то, что было уже построено.

Заводы преобразались. Старые заводские здания терялись среди поднимавшихся кругом новых больших красавцев корпусов, оснащенных современными мощными станками. Но усиление производственной

мощности заводов давалось нелегко. Реконструкция наших заводов, в особенности северного и южного, потребовала большого напряжения сил, находчивости и выдумки. Необходимо ведь было выполнять текущую программу и в то же время наращивать новые производственные мощности. Сочетать и то и другое было очень трудно.

В одном старом цехе, где собирались танковые башни, необходимо было сменить кровлю, но как вести работы под открытым небом? Стояла поздняя осень, шли дожди. Кто-то предложил соорудить фальш-потолок. Над частью цеха была установлена на катках вторая крыша. В то время как сменяли настоящую крышу, этот участок цеха защищала от дождя и холода крыша временная. Постепенно временную передвижали все дальше, и так, пока не сменили всю старую кровлю. Работавшие в цехе люди даже не замечали, что работы ведутся в двух ярусах — внизу они изготавливают танковые башни, а сверху строители меняют стропила и ставят новую кровлю.

На заводы прибывало новое оборудование — отечественное и зарубежное. На огромных ящиках стояли надписи на английском, немецком, французском языках. Поступало также оборудование из Швеции, Дании, Чехословакии. Надо было его принимать и хранить до начала монтажных работ, сроки строительства нарушались, а складских помещений не было. Хранение оборудования выросло в проблему. Но все же заводы росли и их производственные возможности увеличивались. Это заставляло забывать многие невзгоды жизни.

...На территории одного завода было решено построить новый пресовый цех. Когда начали рыть котлован под фундамент, грунт потек — плывун. Тогда у нас еще не было опыта борьбы с плывунами — его приобрели позже, когда шло к концу сооружение первых линий Московского метрополитена.

Один из местных старичков старожилов, зайдя на строительство, сказал:

— А я мальчишкой на этом месте купался. Здесь пруд был, потом вода пропала, думали — пересох, а он вон где оказался, в землю ушел... Да что вам, другого места, что ли, нет, как только здесь строить?

Среди строителей начался ропот. Действительно, почему именно здесь, на месте бывшего пруда, надо цех строить? Кто это место выбирал? А может быть, это место умышленно выбрали?

Вести работы просто невозможно — все заплывало жидкой грязью. Как быть? Отказываться от проекта? Но цех нам нужен именно здесь. Если отказаться от выбранного места, надо пересматривать весь проект реконструкции завода.

Решили искать методы борьбы с плывунами. Кто-то предложил забить железные шпунты. Но где их взять? Прокатку шпунтового железа мы только начинали по существу осваивать, шпунтовое железо требуется для многих строек. Нет, это нереально. Шпунты мы не получим. Кроме того, план распределения металла уже утвержден, и его никто пересматривать не станет. Тогда кто-то предложил установить морозильную установку и заморозить вокруг котлована, который рыли под фундамент, кольцо. Стали разрабатывать технические детали — это предложение казалось наиболее реальным.

А в это время разрабатывался и другой процесс — поиск и изучение тех лиц, кто предложил и принял решение о сооружении прессы на месте бывшего пруда. Кое-кто из заводских работников и строителей, не имея возможности разобратся в сложном процессе броневое производство, начинал сомневаться в правильности принятого решения по реконструкции завода. У малодушных опускались руки. Но сильный коллектив завода, и прежде всего коммунисты, сломил эти настроения.

Нам надо быстро создавать мощности, доказывали они, любое другое предложение затягивало сроки реконструкции, а самое дорогое для нас — это время.

Да, мы могли тогда принимать только то, что позволяло быстрее завершить работы по реконструкции и строительству. Об этом говорилось на всех совещаниях, и это в конце концов определяло все решения.

Вообще при разработке планов реконструкции заводов и приспособления их к производству броневой стали возникло много разногласий. Особенно острая борьба началась в связи с реконструкцией южного завода.

На заводе образовались две группы. Одна группа — во главе с директором завода и главным инженером — внесла предложение приспособить для отливки броневой стали третий мартеновский цех и отливать сталь в многогранные изложницы. Другая группа — во главе с представителем Военморфлота — предлагала реконструировать первый цех, а сталь разливать в плоские изложницы.

Наркомат решил послать на завод экспертную комиссию металлургов. Я должен был возглавить эту группу. Перед съездом на завод Тевосян посвятил меня во все перипетии происходившей борьбы.

— К сожалению, спор вышел уже за рамки чисто технического характера. Дело в том, что поступили заявления, в которых директор и главный инженер завода обвиняются в прямом вредительстве. Предложенный ими план реконструкции был расценен как попытка сорвать производство брони. Будь осторожен в выводах и высказываниях. — На прощанье Тевосян пожал мне руку и сказал: — Желаю удачи, миссия у тебя очень тяжелая.

На следующий день с группой специалистов я выехал на завод. Дела здесь обстояли куда хуже, чем я предполагал. Война двух групп шла в открытую. На стороне военпреда был начальник заводской лаборатории, недавно прибывший на завод. В недавнем прошлом учитель средней школы, он совершенно не знал производства. К тому же это был человек очень мягкий, нестойкий в своих убеждениях.

Мы внимательно выслушали обе стороны.

Проект, предложенный дирекцией завода, был, несомненно, разумным. Он был составлен технически грамотно, и его реализация открывала возможность построить технологический процесс производства на высоком техническом уровне. Реализация проекта военпреда вызвала бы значительно большие расходы и не позволила бы производить металл высокого качества, так как в основе технологии лежали устаревшие методы производства. Почему военпред так ревностно защищает свой проект? Ведь производственный процесс ему известен лишь понаслышке. Что им руководит? Беспокойство честного человека о том, что делается не то, что нужно? Стремление сделать все возможное, чтобы не допустить ошибки? Может, он просто заблуждается и искренне верит в то, что его предложение разумно? Но ведь это один из старейших заводов, здесь много специалистов, превосходно знающих дело, мастеров, умеющих правильно делать технические оценки. Говорили ли с ними? А каково мнение мастеров, квалифицированных рабочих, сталеваров, прокатчиков?

«Да, хорошенькая ситуация, — подумал я. — Меня здесь никто не знает. Будут ли верить тому, что я скажу? Конечно, нет».

На следующий день меня пригласили в обком партии. Прежде чем ехать туда, я позвонил в Москву Тевосяну и сказал о том, что в обкоме, по всей видимости, хотят услышать наши выводы.

— Советую тебе никаких выводов пока не сообщать, даже предварительных. Так, пожалуй, можно много дров нарубить. Сначала все

обстоятельно рассмотрим в наркомате, а потом уж и сделаем выводы. Вот так и скажи в обкоме, а я туда позвоню.

Меня принял один из секретарей обкома. В кабинете у него уже сидели военпред, секретарь заводской партийной организации и еще несколько человек. Когда я поздоровался со всеми, секретарь спросил меня:

— К какому же выводу пришла комиссия?

— Пока еще изучает материалы,— сказал я.

— Вы ведь, кажется, уже несколько дней находитесь на заводе и общее представление, вероятно, у вас сложилось? Для нас-то вопрос предельно ясен. Мы много занимались вопросами реконструкции завода. Дирекция не дело затевает.

Несмотря на предупреждение Тевосяна, я все-таки не сдержался и ответил:

— Реконструкция, по-моему, разумна.

Секретарь обкома нахмурился.

— Значит, вы полагаете, что все мы неразумные люди? Так, что ли? И военпред, и начальник лаборатории, и секретарь партийной организации, и мы в обкоме? А не слишком ли вы смело судите? Никто на заводе проекта, предложенного дирекцией, не поддерживает. Неужто вы считаете, что на заводе нет разумных людей?

Я видел обращенные ко мне неприязненные лица.

Было ясно, что продолжать разговор бессмысленно. Как хорошо, что я переговорил перед отъездом с Тевосяном. Совершенно очевидно, что их нелегко переубедить. Они сформулировали свою точку зрения и направили свое предложение в Москву.

А тут еще эта «бледная немочь» — заведующий лабораторией. Вместо того чтобы твердо высказать свою точку зрения, вертится, как сорока на суку: «И так, конечно, можно было бы, но и этот проект при- емлем».

«Почему все-таки они не поговорили по-настоящему с работниками цехов?» — подумал я.

Мы кончили разговор, холодно распрощались, а на следующий день комиссия выехала в Москву.

В итоге план реконструкции завода был принят все же не тот, что предлагал военпред. Наша комиссия дала ему по достоинству убийственную оценку...

Нашему главному управлению был передан один из старых металлургических заводов. Его нужно было реконструировать и перевести на производство высококачественной стали. До сих пор завод производил простые углеродистые стали, частично изготавливал металл для железнодорожного транспорта, подкладки и костыли для рельсового пути, банджи для вагонных колес и другие металлические изделия для вагоностроения. До революции он принадлежал графине Уваровой и был построен вблизи небольшого железорудного месторождения. Руды эти он и переплавлял в своих доменных печах на древесном угле, выжигаемом в окрестных лесах. Графиня давно умерла, железные руды выработаны, древесный уголь перестали выжигать в таких количествах, а завод, как наследие прошлого, остался.

Я застал здесь картину полного запустения. Революционные бури двадцатилетия словно прошли мимо этих мест. Может, они и всколыхнули на какое-то время болотную гладь, а затем зеленая ряска вновь затянула поверхность. Небольшой городок, выросший вокруг завода и связанный с ним многосторонними связями, был отделен от остального мира могучими столетними соснами, обступившими его со всех сторон.

Мы устроились на заводе, в квартире для приезжих. Знакомство с производством я решил начать с заводской лаборатории — это его глаза. Здесь можно увидеть и все болезни производства — его брак — и узнать, над какими проблемами работают люди. Заведующего лабораторией нет, у него отпуск. В его кабинете в большом старинном шкафу выстроились на полках фолианты основных трудов по металлургии. Пыль толстым слоем покрывает их. В ящике стола заведующего лабораторией лежит небольшая книжица в мягкой обложке, развернутая на седьмой странице. На пожелтевшем листе невольно бросилась в глаза давно изгнанная из русского алфавита буква «ять». «Интересно, что же читает тот, кто находится в самом фокусе научно-технической жизни завода?» — подумал я. Беру книжицу и буквально столбенею. Таких книг я не видел с 1916 года — Нат Пинкертон! Мне казалось, что я физически почувствовал, как на меня повело далеким прошлым.

Одна из сотрудниц лаборатории, когда мы здоровались, назвала меня по имени и отчеству.

— Я училась в Горной академии и слушала ваш курс по электрометаллургии стали,— сказала она.

Я обрадовался: наконец-то встретилась хоть одна знакомая душа, с которой можно будет поговорить.

— Ну, как живете?

— Как живу? — с тоскливой усмешкой сказала она. — Жить-то живу, да делать здесь что-либо трудно. Кругом спящее царство.

— Так вы вроде спящей царевны, что ли, среди этих лесов?

— Если хотите, в некотором роде да. Хотя ждать царевича, который разбудил бы меня, надобности нет. Я уже давно замужем, и у меня есть ребенок. Семейная жизнь у меня сложилась хорошо, а вот на заводе работать — просто тоска зеленая, чувствую, как постепенно тупею и забываю даже то, что в студенческие годы приобрела.

— А что вы в лаборатории делаете? Над какой темой работаете?

— Откуда темам-то братья у нас? Где их отыскать? Да и я сама себя ловлю на том, как эта липкая тина постепенно засасывает. Когда я вернулась из Москвы после окончания академии — ведь я из местных, — то в первые дни еще читала литературу по специальности. Меня все интересовало. Затем стала читать только газеты, а теперь даже их не читаю, только просматриваю. Чувствую, что все не так, а сделать ничего не могу. Мне кажется, что все мы здесь больны сонной болезнью... Вот недавно нам предложили поставить работу по изучению кристаллизации стальных слитков. Но так как у него (кивок в сторону кабинета заведующего лабораторией) нет никаких новых идей, то он просто повторяет то, что уже сделано другими более пятидесяти лет назад. Вот так и живем, если это называется жизнью...

— Ну вот, теперь надо будет и вашему заводу приобщаться к большой жизни. Будем перестраивать все производство. Он должен стать заводом качественных сталей с новой культурой производства.

— Работников надо менять, не только оборудование. Без этого вы ничего не сделаете. В цехах люди есть, и очень хорошие. Ведь здесь из поколения в поколение опыт-то передавался, но использовать его не умеют.

Из лаборатории я вышел с тяжелым чувством. Время близилось к обеду, и я направился в заводоуправление. Директор завода — молодой человек, недавно назначенный на эту должность, — пригласил меня пообедать с ним. Рядом с его кабинетом была небольшая комната, где был накрыт стол на четверых. За стол сели: директор, его заместитель, главный инженер и я. На первое дали щи из квашеной капусты, удиви-

тельно напоминавшие долго стоявшую в бочке воду. Разница была только в температуре — эта более теплая. На второе подали, как мне об этом сказал директор, рагу из свинины. На гарелке лежало несколько кусочков мяса и тушеный картофель, политый какой-то жидкостью. Когда я поднес ко рту вилку с мясом, в нос ударил запах тухлятины. Я положил кусочек обратно и стал есть только картофель. «Ну, — подумал я, — если так питается директор, то что же делается в заводской столовой! Надо обязательно проверить».

— У вас на заводе столовая есть? — спросил я.

— Есть, и не одна, — ответил директор. — Но мало кто в столовые ходит. Здесь почти у каждого свое хозяйство. Дома больше питаются. После обеда занялся осмотром цехов.

В мартеповском цехе — старая технология производства, но замечательные мастера восполняют ее недостатки своим многолетним опытом. Сталь варить они умеют! Жарко, люди у печей обливаются потом, им постоянно хочется пить. Пить захотелось и мне.

— Где у вас попить можно? — спрашиваю я одного из мастеров.

— Вон там бачок стоит, — кивнул он головой, — только вода у нас теплая, вот беда. На других металлургических заводах, где я бывал, так там будки в цехах построены, и в них газированную воду для рабочих держат. Пей досыта и бесплатно. А у нас вот в бачке кипяченую, да еще теплую приносят.

Я спросил директора, почему рабочие горячих цехов не обеспечены газированной водой. Ведь сатураторы заводу давно послали, где они?

— Еще не поставили, руки не доходят! Не знаю просто, с чего и начинать, — растерянно произнес директор.

Вечером, когда мы обсудили все основные вопросы, связанные с реконструкцией завода, директор попросил меня дать согласие на то, чтобы передать заводской дом отдыха профсоюзу.

— Это почему же? — поинтересовался я.

— Содержать не можем, убытки большие. Да и развалится он скоро, если не ремонтировать, а на ремонт вы нам денег не дали.

— Откуда же у вас убытки? Ведь это бывшее имение графини Уваровой. Она здесь, в этих местах, жила и капиталы множила. Ей никто дотаций не давал. Почему же вам дотация нужна? Ведь в вашем хозяйстве есть и коровы, и свиньи, и птица. Куда же все это добро девается — молоко, мясо, яйца?

Директор задумался. Ему, видно, сказали, что у начальства из главка надо просить дотацию на дом отдыха, вот он и просит, но хозяйства своего он не знал.

Ночью я опять пошел по цехам — мне нравится бывать в цехах ночью. В эту пору начальство здесь не бывает, и никто не отвлекает разговорами. Ночью куда больше возможностей знакомиться с производством и видеть то, что днем ускользает от внимания, да и поговорить с рабочими проще — никто не смущает их своим присутствием.

Подхожу к печам, как раз идет смена бригад — одна передает печь другой.

— Ты в столовую пойдешь? — спрашивает один другого.

— А что там делать-то? После такого обеда одна кишка другой шиш показывает. Но надо все-таки сходить, пожалуй.

— Что, кормят там плохо? — спросил я.

— Можно бы хуже, да некуда.

Зашел в столовую. Еще не дойдя до деревянного здания, где она была размещена, почувствовал запахи квашеной капусты и чего-то еще незнакомого, но малоприятного.

— Поесть можно? — спросил я женщину в бывшем белом переднике.

— Платите в кассу и садитесь, я сейчас подойду к вам. Только первого у нас сегодня нет, а на второе пирог. Чаю у нас тоже нет, вместо чая клюквенный морс даем.

Морс так морс, надо попробовать, чем здесь потчуют. Мне принесли кусок пирога. По внешнему виду он напомнил яблочный. Но то, что я принял за яблоки, оказалось полусырым картофелем. Тесто не пропечено и потянулось нитями, когда я попытался отделить кусочек. К «пирогу» мне дали стакан горячего клюквенного «морса». Да! Надо иметь выдержку и терпение, чтобы после тяжелого труда у плавильных печей и прокатных станов сохранять присутствие духа и даже шутить... Оставлять все так нельзя ни в коем случае. Завод надо немедленно перестраивать от начала и до конца.

А народ в цехах здесь замечательный! Подлинно потомки русских богатырей. Деловые, упорные люди. Они сберегли свое мастерство, не смотря ни на какие лишения. Но только те, кто руководит ими, должны быть достойны их. А вот этого-то как раз, по-видимому, здесь и не хватает.

Директор, может, человек и хороший, но с управлением завода ему не справиться. Не по Сеньке шапка. Выдвинули его на эту неподходящую для него должность напрасно. Он уже за эти несколько месяцев выдохся. Надо все же попытаться помочь ему. Но как это сделать? Все время на заводе сидеть не будешь — ведь у главка есть и другие предприятия с куда более сложной, решающей программой производства. Этот завод все же второстепенное дело. Второстепенное, но все-таки важное.

С невеселыми мыслями я вернулся в Москву. Рассказал без прикрас обо всем Тевосяну.

— Что же делать, надо людей учить. Директорами никто не рождается. У нас пока нет другого выхода. Мне кажется, что первым делом заводу надо подобрать хорошего, опытного коммерческого директора, который распутался бы прежде всего с заводской задолженностью.

Ого, Тевосян, оказывается, был хорошо знаком с делами на заводе.

— Мне докладывали,— продолжал он,— что на заводе совершенно катастрофическое положение с финансами. Ведь им скоро нечем будет зарплату рабочим платить. Хороший коммерческий директор сумеет быстро во всем разобраться и наладить дело. Если подыщется подходящий человек, ему можно будет поручить и организацию питания на заводе. Обязательно надо упорядочить дело с водой в горячих цехах. Кстати, у нас освобожден от работы коммерческий директор одного из северных заводов. Я лично его не знаю, но мне его хвалили. Он из Одессы и говорит, что никак не мог привыкнуть к Северу. Попросил разрешения снова вернуться в Одессу. Посмотри, может быть, уговоришь его поработать на этом заводе. Все-таки это центральная полоса, а не дальний Север. Одесса от него никуда не уйдет. Я скажу начальнику отдела кадров, чтобы он направил его к тебе на переговоры. Посмотри, может быть, и подойдет,— заканчивая разговор, предложил мне Тевосян.

На следующее утро ко мне в кабинет вошел круглолицый, краснощекий человек лет сорока.

— Здравствуйте,— произнес он, улыбаясь.— А у вас неплохой кабинет и обои на стенах такого теплого тона — значит, вкус имеете. Люблю людей с хорошим вкусом. Мне сказали, что вы хотели со мной познакомиться. Еду с Севера. Да, вреден Север для меня, сказал поэт, кажется, даже Пушкин. Еду к семье, у меня жена и две чудесные де-



вочки, вот смотрите! — И он, вынув из бокового кармана пиджака фотографию, протянул ее мне. — Правда, красавицы? Соскучился, уже больше года не видел. Но я могу и задержаться, если будет интересное дело. Повидаюсь и вернусь. Мне в отделе кадров говорили, что вам коммерческий директор нужен — так это моя специальность. Здесь я чувствую себя как рыба в воде.

На столике в углу у меня стояло несколько бутылок с фруктовой водой. Кандидат в коммерческие директора все время бросал взгляд на эти бутылки.

— Хотите пить? — подходя к столику и беря бутылку с водой, спросил я.

— Нет. Благодарю. Соскучился по одесскому ситро — такого нигде нет. Говорят, было когда-то в древней Греции, но все вышло. — И он опять рассмеялся.

— Знаете, на заводе у нас с водой очень плохо, — заметил я.

— Это мы немедленно наладим. Вы бы только знали, какие воды делает Яша. Пригласим его, и он все сделает... Простите, вы что-то еще хотели спросить? А что? Согласен ли я принять этот пост? Так зачем бы я пришел к вам, если бы уже не думал, что надо помочь такому хорошему начальнику, как вы.

У меня закрались сомнения: не делец ли? Решил посоветоваться с кадровиками.

В отделе кадров мне дали личное дело Михельсона. Анкета с фотографией уже знакомого мне лица. Сведения о месте и датах его рождения, членов семьи и родителей. Сведения об образовании, местах работы. Характеристики и отзывы — скупые, формально излагающие то, что он работал, справлялся со своими обязанностями и принимал участие в общественной жизни. Все эти справки, отзывы и характеристики были наполнены трафаретными словами, но не давали никакого представления о человеке.

— Ничего плохого у нас о нем нет, а впечатления часто бывают обманчивыми, — услышал я в ответ на высказанные сомнения. — Смотреть за ним, конечно, нужно, как и за каждым работником.

Я представил Михельсона на должность коммерческого директора завода. Месяца через два после его назначения в Москву приехал секретарь горкома партии. Прежде он был секретарем партийной организации на заводе, и я его знал. Он зашел в главк, чтобы поговорить о делах и попросить помочь городским организациям.

— А чем помочь? — поинтересовался я.

— Хлебозавод не справляется с выпечкой, в городе появились очереди за хлебом. Надо строить вторую печь. Нужен огнеупорный кирпич, а его нигде не достать, кроме как на заводе. Завод мог бы его дать, но без разрешения главка не решается. Вы же знаете директора завода — он очень робкий.

— Знаю, но вы знали его еще до того, как директором назначали, а зачем выдвигали такого?

— Он парень хороший. Ничего, обживется, — виновато заметил секретарь.

— Ладно, кирпичом поможем. А как, кстати, новый коммерческий директор работает?

— Представьте себе, неплохо. Приняли мы его с недоверием, слишком много говорит. Всего два месяца на заводе, а уже много сделал. Ничего худого о нем сказать пока не могу. Им довольны.

Вскоре я вновь поехал на завод. Было жарко. В станционном буфете я попросил бутылочку воды. Она оказалась очень вкусной, и я не-

вольно посмотрел этикетку: производство завода. Я не поверил глазам своим. Где же и когда на металлургическом заводе возникло производство фруктовой воды?

— Откуда это у вас на заводе производство фруктовой воды? — спросил я встречавшего меня директора.

— Новый коммерческий директор организовал, — улыбаясь, ответил он.

— Ну как он? Хорошо работает?

— Без него я бы совсем пропал, — чистосердечно признался директор. — Он вызвал из Одессы специалиста по производству воды, и теперь у нас на заводе с этим полный порядок.

— А как с питанием?

— Значительно лучше. Продуктов стало много — есть из чего готовить.

— Откуда же продукты появились?

— Из колхозов, а также свое хозяйство немного поставляет. Долги вот мучают. У нас задолженность большая. Немного мы снизили ее, но на картотеке еще несколько миллионов имеется. Прошлый месяц мы сдали много лемехов для плугов, из бракованной стали наделали. Она как брак и как неликвиды на заводе лежала. Михельсон предложил пустить ее в дело. Нашел заказчика, мы изготовили несколько тысяч лемехов — это поправило немного финансовые дела завода. Нет, что ни говорите, а он голова!

Встретившись на заводе с Михельсоном, я спросил у него:

— Почему это вас колхозники полюбили и стали продукты на завод доставлять?

— Это я их полюбил, а не они меня, — широко улыбаясь, ответил он. — Если вы хотите что-то взять, вы должны что-то дать взамен — это старый закон жизни. Я много думал, что мы можем дать. Поехал по колхозам и стал спрашивать, чего они хотели бы получить от завода. Конечно, то, что им больше всего нужно, мы дать не можем. Могли бы, конечно, но я не хочу рисковать.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Всем нужно кровельное железо. Но я сказал: уголовный кодекс надо знать и на заводах, и в колхозах, а вот обручное железо мы можем дать из отходов, шинное железо для колес — тоже. А бочку без обручей не сделаешь, колесо без шин — также. Народ здесь хороший, они меня сразу поняли. Мы им, они нам — и дело поправилось. Полуоси для телег тоже делали — у нас железо как брак лежало, а из него мы очень нужные вещи сделали. Из железа много хороших вещей сделать можно. Для одних потребителей это, может быть, и брак, а другие за этот брак все отдадут... Вначале сюда возами везли и картофель, и капусту, и морковь, и лук, а иногда яички и свинину. Теперь у меня есть уже постоянные поставщики.

Дефекты системы снабжения коммерческий директор поправлял обменными операциями — отходы железа менял на продукты питания. Такие операции были вообще запрещены, но все знали, что и на других заводах так поступают, и смотрели на все это сквозь пальцы, потому что иначе наладить питание рабочих было пока невозможно. Тем более это было необходимо на данном заводе, стоявшем на пороге основной реконструкции.

Итак, завод наш мы общими и немалыми усилиями все же перестроили. На его территории появились новые корпуса, в цехах — современное оборудование, к работе привлекли новых людей...

Самым уязвимым местом наших предприятий было неудовлетворительное снабжение материалами и изделиями, которые были необходимы для выполнения установленных планов. На основные материалы были утверждены нормы расхода. Но часто они не соблюдались: заводам выделялось меньше того, что было необходимо. На наши протесты отделы Госплана обычно отвечали: «Используйте внутренние резервы».

Нормы запасов на некоторые материалы были установлены очень низкие, это постоянно вызывало большую тревогу и у работников наркомата, и особенно у заводских работников, на которых прежде всего сваливались все беды.

Из-за плохого снабжения топливом в особенно тяжелом положении оказывался наш северный завод. Сталеплавильные печи завода работали на мазуте, а запасы его редко превышали трехнедельную потребность в нем.

Я не помню такого месяца, когда бы оттуда не было тревожных звонков о том, что печи завода могут через несколько дней остановиться, так как запасы топлива кончаются, а цистерны с мазутом еще не подошли. Мазут завод получал из Грозного. В эти дни все работники главка превращались в диспетчеров и звонили по всем железнодорожным станциям, проверяя, где находится эшелон с нефтью, и умоляя работников железной дороги быстрее его продвинуть до завода. В те годы мы хорошо знали, кажется, все узловые станции по пути следования цистерн с нефтью.

Трудным делом были и поставки по кооперации. Все совершенно справедливо признавали, что необходимо вводить специализацию предприятий — это значительно удешевляло производство, но плохая организация в снабжении изделиями специализированных предприятий сводила на нет эти выгоды.

Заводы главка многие полуфабрикаты, узлы и детали для своей продукции получали с других заводов и фабрик. А там, на тех заводах и фабриках, возникали свои затруднения, и они не выполняли обусловленных сроков поставки.

Директор мог еще найти выход из тех трудностей, которые возникли у него на заводе, но он не мог влиять на работу своих поставщиков. Отсюда и шла тенденция делать все самим, боязнь кооперации с другими.

— Меня могут подвести, не доставят вовремя, что я тогда буду делать? У меня сорвется весь план,— часто можно было слышать от директоров заводов, когда им при утверждении плана предлагали некоторые необходимые изделия не изготавливать самим, а получать с других заводов.

Немало дополнительных трудностей вызывало то, что многие конструкции не были еще полностью доработаны, когда начиналось их промышленное производство,— как правило, на заводах опытных цехов не существовало. Исключение, пожалуй, составляли авиационные заводы, где главные конструкторы располагали своими опытными заводами и могли тщательно отработать и испытывать свои конструкции. В большинстве же случаев переход к промышленному производству начинался без детальной проверки как конструкции, так и технологии ее изготовления.

Это вело к браку, к повышенным расходам сырья, энергии, труда людей и приводило к нарушению всех технических норм.

Наконец подлинным бичом для производства были непрерывно вносимые в конструкции изменения. Дело дошло до того, что пришлось принимать специальные меры, запрещающие вносить в конструкции какие-либо изменения.

Разумеется, все изменения предлагались во имя улучшения конструкции — а в ряде случаев это было действительно так, — но при этом забывалось, что каждое такое решение нарушало ритм технологического процесса, требовало перестройки его, порождало неуверенность и вело в конце концов к браку. Мешало нормальной работе заводов и вмешательство некомпетентных лиц при утверждении проектов.

Помню, как однажды во время переговоров с одной из немецких фирм относительно заказа станков член нашей закупочной комиссии предложил представителю фирмы изменить один из узлов станка. Причем это изменение было небольшим, и всем нам казалось, что фирма согласится сделать это, тем более что она была очень заинтересована в получении советских заказов. Но, к нашему удивлению, представитель фирмы наотрез отказался даже обсуждать этот вопрос.

— Мы не можем изменять конструкцию. Она отработана, опробована, и мы за нее несем ответственность. Любое, даже незначительное изменение нарушит технологию производства. Это уже будет не то, что значится под этой маркой. — И он указал нам в проспекте фирмы модель станка с присвоенным ему наименованием.

Все работники промышленности хорошо понимают, что для нормальной работы заводов необходимо на отдельных этапах производства иметь какой-то задел — полуфабрикаты, детали. Это позволяет спокойно, без перебоев руководить производственным процессом. Но многие часто забывают о том, что необходимо также иметь научный задел. Необходимо заранее разрабатывать новые конструкции и новые производственные процессы. На многих передовых предприятиях и созданы разного рода экспериментальные и опытные цехи, которые позволяют запускать в производство только то, что отработано и проверено.

Летом 1964 года мне пришлось побывать на Международной выставке в Нью-Йорке и видеть автомашины, которые будут выпускаться на рынок в 1970 году. Эти модели машин готовы, они ходят, испытаны, но не продаются. На мой вопрос, почему же эти машины не поступают в продажу, мне ответили:

— У нас есть машины для выпуска в течение всех лет вплоть до тысяча девятьсот семидесятого года: вот эта машина будет выпускаться в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, а эти — в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году...

Машины готовы, но над их совершенствованием еще работают конструкторы и технологи — они заранее готовят эти модели к массовому выпуску, и, когда они будут приняты к производству, никаких изменений не потребуются.

В те годы, правда, мы и мечтать не могли о таком — нам надо было спешить, и правильная организация производства вырастала в одну из сложнейших проблем. Вот тогда-то и выявлялись люди с талантом организаторов. Личным вмешательством, своей неумолимой волей и энергией они устраняли недостатки и тянули производство вверх, заражая своим энтузиазмом и примером массы руководимых ими людей.

Одним из таких крупных самородков-организаторов был Иван Алексеевич Лихачев. Он прекрасно знал не только автомобильное производство, все его нужды и слабые места, но он знал также, от чего и от кого зависит их устранение. Он знал все заводы, которые поставляют ему материалы и изделия, он, кажется, знал лично каждого, кто был связан с производством. планированием и финансированием своего завода.

К тому же Лихачев прекрасно разбирался в психологии людей.

— Если у нас что-то уже записано, то изменить это очень трудно,—

объяснял он как-то мне, когда мы с ним поближе познакомились.— Попробуй что-нибудь поправить, даже явно ошибочно записанное, особенно если это связано со снижением какого-то качественного показателя или количества записанного в план,— у тебя ничего не выйдет. Поэтому надо не допускать таких ошибочных записей: исправлять их куда сложнее, нежели не допускать,— обучал он меня.

Когда составлялся производственный план автозавода, Иван Алексеевич шел к тем работникам наркомата и Госплана, которые делали самые первые наметки плана. Он подробно доказывал им, почему необходимо согласиться с тем вариантом плана, который разработан заводом, и пытался доводами, основанными на фактах и большом жизненном опыте, склонить их согласиться с предложением завода.

Если для автомобильного завода нужны были какие-то материалы или оборудование, то он шел к тем, кто их производил, и опять-таки силой своей логики и образностью своего лексикона пытался склонить своего собеседника на свою сторону и чаще всего добивался его помощи.

Однажды я получил его письмо, в котором он просил ускорить отправку труб для автомобильных полуосей. Письмо было, видимо, подготовлено кем-то из работников отдела снабжения завода и состояло из трафаретных слов: «Прошу Вас ускорить отправку...» Но и этому формальному документу Лихачев придал свое особое звучание. Перед словом «прошу» он синим карандашом, которым подписал письмо, добавил: «очень». И это «очень», помню, меня тогда тронуло, и я, когда давал указание принять необходимые меры к отправке, еще позвонил на северный завод, где эти трубы изготовлялись, и сказал директору завода, чтобы он лично проследил за отправкой, добавив при этом:

— Лихачев очень просит об этом.

Лихачева можно было встретить и в кабинете наркома, и в кабинете начальника отдела, и у отдельных исполнителей, и на заводах-поставщиках. Фраза: «Выручай, браток», была его паролем. Она открывала ему доступ даже к сердцам суровых людей.

Однажды утром, только я начал рассматривать принесенную секретарем почту, а из буфета мне принесли на небольшом подносе завтрак — чай и бутерброды, накрытые белой накрахмаленной салфеткой, дверь в кабинет отворилась, и ко мне с шумом вошли двое. Одного я сразу узнал, хотя и не был еще тогда с ним знаком,— Иван Алексеевич Лихачев. Вторым оказался его заместитель. Оба, поздоровавшись со мной, сели. Лихачев сдернул салфетку с подноса, пододвинул поближе к себе принесенный мне завтрак и с аппетитом начал поглощать его.

— С самого раннего утра во рту маковой росинки не было. Тебе еще принесут, у вас наркомат богатый. А я по всей Москве бегаю. Что поделаешь — волка ноги кормят.

Он вел себя так, как будто мы с ним были близкими друзьями.

— Ну как дела-то? Программу выполняешь?

— Нет. Сильно отстаем.

— Это плохо. Могут нашлапать.

Расправившись с завтраком, Лихачев вытер салфеткой губы и руки, положил ее на поднос и сказал:

— А я к тебе, знаешь, по делу.

— Вероятно, по делу, не завтракать же вы сюда пришли.— Обращаться к нему на «ты» я не мог.

— Выручай! У меня программа под угрозой. До резезу нужен обрезной пресс. Как раз такой пресс только что изготовлен на заводе вашего главка.— И он назвал завод.

— Да, но этот пресс уже отправлен заказчику, он предназначен для одного номерного завода.

— Все это мне известно,— сказал Лихачев.— Только его еще не отгрузили, я через своих людей задержал отгрузку. Так что выручай, браток.

— Да не могу я, Иван Алексеевич, отдать этот пресс. Он изготовлен для другого завода, там ждут его.

— Ждали и еще подождут. А у меня все дело остановиться может. Дай-ка я позвоню Тевосяну...

Он набрал номер, и я сразу же понял, что Лихачев соединился с Тевосяном.

— Ваню, ну и несговорчивый же у тебя земляк. Никак не хочет мне пресс уступить. Я тебе уже говорил, как он мне нужен. Держи,— сказал Лихачев, передавая мне телефонную трубку.

— Знаешь что,— сказал мне Тевосян,— давай передадим этот пресс Лихачеву — все равно он от нас не отстанет, а завод, которому пресс предназначен, все-таки наш, а я знаю положение дел у них — им еще не до пресса, они могут подождать.

Узнав, что пресс он получит, Лихачев поднялся со стула, пожал руку, поблагодарил и сказал на прощание:

— Ты не знаешь, у кого правильные вальцы плохо лежат?

— Нет, не знаю.

— Ну пошли,— сказал он своему заместителю.— Спасибо за угощение. В случае чего звони, мы тоже кое-чем помочь можем.

Позже мне с Лихачевым приходилось встречаться неоднократно. Это был человек неистощимой энергии. Но руководители, подобные Лихачеву, могли бы сделать значительно больше, если бы условия, в которых они жили и работали в те годы, были иными.

\* \* \*

Среди военных и специалистов в области военной техники не было единой точки зрения по вопросам броневой защиты танка. Кое-кто считал, что скорость — это и есть броневая защита. При большой скорости движения в танк трудно попасть. Их оппоненты свои возражения аргументировали тем, что военные действия будут происходить не на дорожных магистралях, а на пересеченной местности, где невозможно передвигаться с большой скоростью, кроме того, по танкам будут стрелять не из винтовок, а из орудий, поэтому необходимо разрабатывать конструкции ганков с защитой из толстой брони, которая может противостоять не только пулевому обстрелу, но и снарядному. Оппоненты же в свою очередь утверждали, что стрелять по танкам из пушек — это все равно что стрелять из них по воробьям.

В то время появлялось много самых невероятных предложений по устройству броневой защиты, типам брони, методам ее изготовления и материалам для производства броневых деталей. Среди этих предложений было столько таких нелепых, что казалось невероятным, что авторы могут их вносить, а те, кто принимал такие предложения, осмелятся настаивать на необходимости их экспериментальной проверки. Одно из предложений, например, основывалось на использовании вращательного движения снаряда при полете: если, мол, на корпусе танка укрепить такие же примерно резцы, как и на токарном станке, то снаряд превратится в стальную стружку. На рисунке автора этого предложения танк смахивал скорее на ежа. Были предложения использовать для защиты стекло, зажатое между стальными листами, и много других. Некоторые из предложений трудно было сразу правильно оценить. На всех таких бумагах, поступавших в главное управление, стояли надписи: «Строго секретно», «Особой важности». К знакомству со всеми этими

предложениями допускалось ограниченное число лиц, и подвергать серьезной экспертизе их не было возможности.

Как-то в дни становления танкового производства меня пригласил к себе заместитель наркома оборонной промышленности Борис Львович Ванников.

— У нас есть институт, который занимается разработкой брони. Может быть, ты познакомишься с ним? Есть намерение передать этот институт вашему главку. Если он вам подойдет, то можешь его забирать. Он у нас беспризорный какой-то, что там делается, толком никто не знает.

На следующий день утром я поехал в институт. Директора не было, и меня встретил главный инженер, еще довольно молодой человек, но чрезвычайно самоуверенный и, как оказалось впоследствии, довольно глупый. Я сказал ему, что совершенно незнаком с программой работ института и, прежде чем начать осмотр его, хотел бы поговорить о самой программе исследований, а также ознакомиться с результатами уже выполненных работ.

— Скажите прежде всего, какой тип брони вы разрабатываете? Броню из металлов или из каких-то других материалов? — спросил я.

— Видите ли, основная идея, которой мы руководствуемся, — это создать дешевую броню, отыскать для ее производства недефицитные материалы. Бронева защита потребуется везде — потребность в материалах для изготовления брони будет огромной. Вот учитывая все это, мы и построили программы своих исследований. Прежде всего мы решили определить свойства ряда горных пород, которые можно было бы использовать в качестве броневой защиты. Мы их комбинируем — одну породу с другой — и вырезанные из камней плиты обстреливаем в тире, который создан при институте. Затем мы рассмотрели возможность использования в качестве материала для изготовления брони отходов некоторых производств.

— Каких, например? — спросил я.

— Мы вот как раз готовимся к испытанию плит, изготовленных из отходов пуговичного производства.

Я не поверил своим ушам:

— Пуговичного?

— Да, пуговичного. Вы знаете, сколько у нас в стране производится пуговиц? А отходы составляют еще большую величину, — не без самодовольства пояснил мне главный инженер. — Чего вы улыбаетесь, это очень серьезная проблема.

— Я опасюсь, что у нас штанам не на чем держаться будет, если эти исследования получат у вас широкий размах. Кто эту тему предложил? — спросил я главного инженера.

— Лично я, — сказал он и гордо вскинул голову.

— Скажите, пожалуйста, в какой же области вы специалист?

— У меня экономическое образование. Я экономист.

«Да, по-видимому, как экономист ты, братец, ничего не стоишь», — подумал я.

В институте было много хорошего станочного оборудования, пресов. На станках и прессах работали хорошие специалисты; в тире, размещенном в специально построенном туннеле, производился обстрел образцов. Было все, но не было разумных идей, а у руководства институтом стояли просто несведущие, недалекие люди.

Вернувшись из института, я сказал Ванникову, что, пока не поздно, надо эту лавочку закрыть, а все прессовое и станочное оборудование использовать для более полезных дел.

— Я догадывался,— сказал он,— что там делается что-то не то, но заняться ими как-то руки не доходили.

Вскоре институт был переключен на исследования в совершенно другой области.

В ту пору многие изобретатели работали над экранной броневой защитой для танков.

Впервые об этом типе брони я услышал от начальника Автобронетанкового управления Наркомата обороны Дмитрия Григорьевича Павлова. Он рассказывал мне, что им во время гражданской войны приходилось защищаться от ружейного и пулеметного огня белых, используя то, что находилось под рукой.

— Как-то мы даже мешки с мукой уложили по бортам железнодорожной платформы и укрывались за ними, ведя огонь, а потом кто-то предложил соединять заклепками тонкие листы железа и устраивать из них броневую защиту. В то время под руками толстых листов не нашлось, и склепанные листы служили нам броней... Да и во время войны в Испании мы использовали такую броневую защиту — из двух склепанных вместе листов. Но в Испании мы уже стали изготавливать листы из разной стали. Один лист, обращенный внутрь танка, был из простого котельного железа, а второй, наружный, который должен был воспринимать на себя огонь противника, изготовлялся из высококачественной стали, закаленной на очень высокую твердость.

Позже этот тип двухслойной брони усовершенствовал инженер Николаев. Он предложил листы раздвинуть и лист высококачественной стали разместить от мягкого листа котельного железа на расстоянии несколько большем, чем длина пули.

Свою идею он разъяснял так: пуля, ударившись о первый лист, затратит значительную часть живой силы на разрушение этого листа, и, следовательно, второй лист встретит уже ослабленный удар, к тому же изменится траектория движения пули — она будет рикошетировать, а это также усилит сопротивляемость второго листа.

Предложение Николаева мы обсуждали вместе с военными и специалистами броневое производства, но уже тогда мне казалось, что оно не имеет никакой практической ценности. Это все равно что на старые, изношенные штаны поставить заплату, — конечно, их носить можно, но разумно ли на этом строить новую военную технику?

«В самом деле,— думал я,— неужели не очевидно, что даже при пулевом обстреле первой же очередью из пулемета тонкая броневая кольчуга будет с танка сбита, а мягкое котельное железо не сможет служить защитой. Какая же это броня! Как бы не повторилась история с Деренковым. Нет,— успокаивал я себя,— принять это нелепое предложение просто не допустят. Ведь среди военных и техников много разумных людей». Я забывал об одном — никто не решится выступить против, если предложение будет уже одобрено «свыше». Но то, что я не предполагал, как раз и случилось. До меня дошли сведения о том, что в правительство внесено предложение заняться изготовлением экранной брони.

Надвинулась опасность, что заводы и исследовательские организации будут отвлечены от настоящего дела.

Предложение об изготовлении танков с экранной броней решено было рассмотреть на заседании правительства с участием военных и работников промышленности. Мы собрались в приемной и ждали вызова. В зале заседания в это время рассматривались другие вопросы. Среди приглашенных находились начальник Автобронетанкового управления Д. Г. Павлов, генерал-майор Н. Н. Алымов, полковник Пуга-



нов и автор предложения Николаев, а также много других военных и гражданских лиц, связанных с производством танков. Я уже с большинством из находившихся в приемной был знаком.

Ко мне подошел полковник Пуганов, у нас были с ним дружеские отношения. Я глубоко уважал Пуганова за его честность в суждениях, простоту в обращении и за какую-то особую душевность, которой он обладал. Мне много говорили об исключительной личной храбрости Пуганова, он был скромнен и даже его резкость в разговоре не оскорбляла.

— Ну, а каково ваше отношение к этой броне, профессор? — спросил меня Пуганов.

Я привел все свои возражения и заметил в заключение:

— Чудес на свете не бывает, полковник!

Но тут нас пригласили в зал заседания. В круглом зале, где оно происходило, народу было немного. Я разглядел сидевших за столом Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, И. Т. Тевосяна, начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова, Б. Л. Ванникова, С. А. Акопова. В стороне от всех, недалеко от длинного стола, покрытого красным сукном, я увидел Сталина. На столе не было ничего, кроме коробки папирос и спичек. Сталин медленно расхаживал. В одной руке у него был блокнот, а в другой — карандаш. Он курил хорошо знакомую всем короткую трубочку.

Когда все приглашенные вошли и разместились, Молотов сказал, что в правительство внесен проект постановления об изготовлении танков с новым типом брони, который и надлежит рассмотреть.

— Кто доложит? — спросил Сталин, обращаясь к Павлову. — Вы мне говорили, что эта броня была в дальнейшем усовершенствована. Может быть, сразу же и послушаем автора предложения. Он здесь? Пригласили его?

Николаев поднялся со своего места.

— Расскажите о вашем предложении, — сказал Сталин.

Николаев подошел к столу и стал докладывать. Он излагал суть предложения ясно, избегая специальной терминологии, и закончил свое сообщение чрезвычайно эффектно:

— Все существующие типы брони — пассивные средства защиты, предложенная нами броня — броня активная, она, разрушаясь, защищает.

Я видел, что доклад Николаева произвел очень хорошее впечатление на всех присутствующих. Слушали его с большим вниманием.

Несмотря на то, что мне сама идея броневой защиты и предполагаемый метод изготовления корпусов были уже известны во всех деталях, я с интересом слушал докладчика: он образно, лаконично и просто изложил существо предложения. «Николаев, безусловно, способный инженер, хотя эта его идея и не имеет практической ценности», — думал я в то время, когда он докладывал.

Пока Николаев говорил, Сталин курил трубочку, внимательно смотрел на него и только изредка поднимал опущенную руку с блокнотом и делал в нем какие-то пометки.

Когда Николаев произнес: «Она, разрушаясь, защищает», Сталин вынул трубочку и повторил:

— Она, разрушаясь, защищает. Интересно. Вот она, диалектика в действии!.. Ну, а что по этому вопросу говорят представители промышленности, товарищ Николаев? Как они относятся к вашему предложению? — спросил Сталин.

— Они возражают против этого типа броневой защиты, — бойко ответил Николаев.

— Почему?

Я видел, как Сталин нахмурился. Мне стало не по себе.

Все сидящие внимательно следили за происходящим диалогом. Я видел, как Тевосян переводил свой взгляд то на Сталина, то на Николаева.

Николаев молчал, видимо, собираясь с мыслями.

— В чем же заключается существо их возражений? — повторил свой вопрос Сталин и медленно направился к Николаеву.

Наконец Николаев, несколько волнуясь, ответил:

— Никаких аргументов по существу предложения я от них не слышал. Они просто заявляют, что чудес на свете не бывает.

— Кто так говорит? — И глаза Сталина впились в него.

Николаев заколебался, было видно, как он волнуется. И наконец, опустив голову, глухо произнес:

— Не помню, товарищ Сталин, кто так говорил.

Я сделал глотательное движение, как это делают в самолете при резком снижении высоты. «А ведь это моя фраза, это я сказал. — Сердце неприятно заняло. — Что будет?»

— Так не помните?

Николаев, вероятно, взял себя в руки и уже тверже, нежели в первый раз, повторил:

— Нет, не помню, товарищ Сталин.

— Напрасно, таких людей помнить надо! — жестко сказал он и, резко повернувшись, подошел к столу. Вынув трубочку, Сталин постучал ею по крышке стола, выбивая пепел.

«А Николаев, — подумал я, — порядочный человек. Ведь как автор предложения он не только был оскорблен, но по существу осмеян мною перед самым совещанием. Своим ответом «не помню» он произвел на Сталина неблагоприятное впечатление. Его звезда только начинала светить, и он сам сознательно ее погасил». Мне стало как-то не по себе, «Почему я был так резок в суждениях? Может, следовало бы с ним поговорить до того, как предложение было внесено в правительство? Разъяснить ему всю несуразность производства танков с таким типом брони. Он человек неглупый, мог бы понять свое заблуждение и отказаться от него. У меня опыта больше, я старше Николаева. Ну почему я не сделал этого раньше, не поговорив с ним по-товарищески? Теперь уже поздно!» Все это молнией промелькнуло в голове, а глаза следили за Сталиным.

Вот он выбил из трубочки пепел. Поднес ближе к глазам и заглянул в нее. Затем из стоящей на столе коробки папирос «герцеговина флор» вынул сразу две папиросы и сломал их. Положив мундштук на стол, он стал вертеть концы папирос с табаком над трубкой и заполнять ее табаком. Пустую папиросную бумагу он положил на стол около коробки с папиросами. Примял большим пальцем табак в трубочке. Медленно вновь подошел к столу, взял коробку со спичками и чиркнул.

Я вздрогнул.

— Вы мне говорили, — приближаясь к Павлову, произнес Сталин, вынув изо рта раскуренную трубку, — что у вас кто-то занимался в Испании этим типом броневой стали.

Павлов поднялся со своего места и сказал:

— Генерал Алымов.

— Он здесь?

Алымов поднялся.

— Может быть, вы нам расскажете, что вы там делали?

Алымов коротко доложил, как в Барселоне было налажено производство двухслойной брони. Листы этой брони соединялись заклепками

и укрепились на корпусе танка. Такая броня не пробивалась при обстреле ни простой, ни бронебойной пулей. Доклад его напоминал скорее рапорт.

Павлов сказал:

— Для нас, военных, этот вопрос ясен — надо начинать делать такие танки.

— Ну что же, на этом можно закончить обсуждение,— сказал Молотов.— Кто был приглашен на этот вопрос, может быть свободен.

Мы вышли из Кремля. Шел второй час ночи.

— Я вам не завидую,— похлопав меня по плечу, сказал Пуганов.— Выполнять задание, в успех которого не веришь,— препротивное дело. Механически открыл я дверцу машины.

— Домой?

— Нет, в главк.

— Звонил кто-нибудь? — спросил я секретаря, входя к себе в приемную.

— Звонили с северного завода, главный инженер интересовался вами.

— Соедините меня с ним.

— Поздно, на заводе уже никого нет, только дежурный. Михаил Николаевич мне сказал, что утром опять позвонит. Может, почту посмотрите? Сегодня много почты принесли. Есть срочная.

Надо садиться за бумаги. Чирикание воробьев у окна, прикрытого шторами из бледно-желтого шелка, говорило о том, что уже светает. Пора кончать и ехать домой, хотя бы немного поспать, иначе опять будет головная боль. Болеть же сейчас никак нельзя.

Поднялся с кресла, подошел к сейфу, положил в него папку с документами, закрыл и запечатал сейф.

Когда сели с секретарем в машину, передо мной вновь всплыли все детали обсуждения злополучной экранной брони. И снова замечались мысли. Итак, решение о создании танка с новым типом броневой защиты, которая, «разрушаясь, защищает», принято. Что же делать?

В конструкторских бюро до сих пор усиленно разрабатывались новые типы тяжелых танков, рассчитанных на стойкость против снарядного обстрела, теперь же все эти работы затормозятся, а возможно, если нас обяжут особенно ревностно реализовывать тип экранной брони, то все другие работы вообще прекратятся.

Нет, надо все же найти какие-то средства убедить в том, что принято неправильное решение.

После долгих размышлений я пришел к выводу, что есть только одна реальная возможность — как можно быстрее изготовить танк с «активной» броней и наглядно показать всю нелепость конструкции. Но прежде чем сооружать танк, необходимо вначале создать эту самую экранную броню.

Начальник Автобронетанкового управления, Герой Советского Союза комкор Д. Г. Павлов ко мне относился хорошо. Я решил обратиться к нему за содействием.

— Вы мне говорили, что по вашему указанию экранированную броню изготовляли. Не можете ли вы сообщить мне что-нибудь о том, как ее изготовляли и какого состава сталь была выбрана для этих целей?

— Я не металлург, как ее готовили, я не знаю, а состав стали у нас, по-моему, сохранился, и я вам его перешлю. Ну, а вы-то работы уже развернули?

— Начинаем кое-что делать.

— Не кое-что надо делать, а танк с экранной броней, которую вам поручили изготовить и представить для испытаний.

— Я именно это и имею в виду. Потому-то и обращаюсь к вам за содействием.

— То, что у нас имеется, pošлю.

Дня через два анализ стали от Павлова был получен. Это был состав обычной хромоникелевой стали, ждть от этой стали каких-либо необычных свойств не было никаких оснований.

В программы по отливке стальных слитков были включены экзотические составы с использованием почти всех элементов таблицы Менделеева. Слитки раскатывались на листы. Из листов вырезались «карточки». Их закачивали в самых различных условиях, используя все средства экспериментальной техники. На полигонах образовались уже целые горы расстрелянных образцов, но результаты были одни и те же — ни один из испытанных составов броневой стали даже близко не подходил по своим свойствам к тому, что нужно было получить.

Один из мастеров завода, когда мы встретились с ним на полигоне, сказал мне:

— А не добиваетесь ли вы горячего снега? Надо уж что-нибудь одно — либо вода, либо снег. Вы бы поговорили еще раз там, в Москве. Жалко добро-то переводить.

Надо еще раз поговорить с Павловым. Может, он объяснит, как же у него такая броня выдерживала обстрел с любой дистанции. Нет ли здесь ошибки? Как они определяли бронестойкость?

Возвратившись в Москву, я вновь отправился к Павлову.

— Ну, как дела идут? — встретил он меня вопросом.

— Дела у них, Дмитрий Григорьевич, идут неважно, — сказал один из работников Автобронетанкового управления.

— А из какой винтовки вы вели обстрел брони, когда ее испытывали? — спросил я Павлова. — Может быть, это была не наша винтовка? Может быть, стреляли из французской, лебелевской?

Павлов нахмурился.

— Ты что, думаешь, я не умею отличить русскую винтовку от французской? Я, может быть, в чем другом не сумею разобраться, а оружие я знаю. Стреляли мы из русской трехлинейной винтовки образца тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцать с начальной скоростью восемьсот шестьдесят пять метров в секунду. Так-то.

«Зачем я обозлил Павлова, — промелькнуло в голове, — только этого еще не хватало. Сейчас мне это совсем ни к чему».

А Павлов гневно продолжал:

— Вместо того чтобы тень на плетень наводить да рассуждения о стрелковом оружии вести, вам следовало бы делом как следует заняться.

— Занимаемся, вам это хорошо известно.

— Головой работать больше надо, стрелять-то и без вас есть кому.

Дальше оставаться здесь было нечего. Выход может быть только один: достать образец той стали, которую Павлов испытывал, — образец брони, которая, по его утверждению, выдержала все испытания.

Надо снова идти к нему и убедить его предоставить нам образец брони — той, испанской, изготовленной в Барселоне. Расстрелять его и показать, что они ошибались.

Через три дня я вновь поехал к Павлову.

Опять тот же вопрос:

— Ну, как дела?

— Пока что даже намека нет на то, что можно ждть успеха. Все испробовали, а результат один и тот же, — сказал я.

Павлов нахмурился и стал стучать карандашом по столу.

— Вы мне говорили, что испытывали такую броню; может быть, у вас сохранилась хоть одна карточка? Нам очень важно получить хоть один образец такой брони,— обратился я к Павлову с мольбой в голосе.

— Это зачем же? Проверять меня, что ли, хочешь?

Я решил схитрить и стал наговаривать на себя:

— Понимаете, мы, по всей видимости, где-то делаем ошибку в термической обработке.

— Но ведь я же анализы послал? Зачем тебе образец? — упрямо повторял Павлов.

— Да, анализы мы получили подробные, но ошибку делаем, вероятно, в другом. Нам надо добиться такой структуры металла, какая была у ваших броневых плит. Для этого необходимо сделать шлифы и под микроскопом посмотреть структуру стали. Это очень важно для нас. Я очень прошу помочь нам в этом.

Павлов любил, когда к нему обращались с просьбами о помощи. Он улыбнулся и сказал:

— Конечно, мне такие образцы получить нетрудно.

Я облегченно вздохнул. Образцы будут. Конечно, образцы, которые мы получим, будут не лучше, а может быть, даже хуже тех, что изготовляли и испытывали мы. Все, что имелось в арсенале, нами было использовано. Что же осталось? Верить в чудо?

Через неделю после разговора с Павловым мне доставили тяжелый пакет, перетянутый крест-накрест шнуром и опечатанный пятью сургучными печатями. В письме сообщалось, что направляется оригинальный образец броневой плиты, выдержавшей обстрел броневой пулями с любой дистанции.

Наконец-то образец в руках! Теперь необходимо провести сравнительные испытания. Обстрелять полученный образец вместе с образцами броневых плит, изготовленных в институте и на заводах. Результаты должны быть примерно тождественны с теми, что были получены там, в Барселоне. Чудес на свете не бывает.

На основном полигоне, где производились испытания брони, были опытные, хорошо подготовленные специалисты. Они скрупулезно записывали результаты произведенных испытаний. Их записям доверяли все. «Испытания надо провести обязательно на этом полигоне,— подумал я.— Очень важно также создать авторитетную правительственную комиссию для оценки результатов испытаний».

Когда образцы для испытаний были готовы, я обратился к Павлову.

— Надо бы образовать правительственную комиссию для испытания образцов.

— А что, получается что-нибудь с вашей броней?

— Не с нашей, а с вашей,— смеясь, сказал я.— Ведь это была ваша идея экранированной брони.

— Помогли вам образцы? — спросил Павлов.

— Конечно, мы в точности такие же сделали, как и ваши, вот теперь надо провести испытания, а после испытаний и производство можно будет начинать. Кого предложите председателем правительственной комиссии?

— Кого же еще, тебя, конечно,— милостиво предложил Павлов.

— Меня председателем назначать нельзя. Я — лицо заинтересованное. Могут сказать, что необъективного человека назначили и он тенденциозно подошел к подготовке решений комиссии.

— Я тебе доверяю,— сказал Павлов.

— Вы-то доверяете, но ведь следует устранить всякие сомнения в правильности заключения комиссии. Ввести меня в состав комиссии

следует, а председателем должен быть человек с непререкаемым авторитетом. Лучше, если это будет не гражданское лицо, а военный. Ведь пользоваться танками будут военные, они и должны дать оценку новой танковой брони.

— Это правильно,— сказал Павлов.— Ну что же, можно назначить генерал-майора Алымова. Ему я доверяю, как самому себе.

Приехав на полигон за день до начала испытаний, я привез пять броневых плит — четыре, изготовленные нашими заводами, и одну, полученную от Павлова. Во всех деталях договорился с работниками полигона об испытании и стал ждать приезда остальных членов комиссии.

Когда вся комиссия была в сборе, генерал Алымов сказал:

— Посмотрите, он совершенно не верил в эту броню, а теперь заботится о проведении работ больше, чем сам автор предложения.

— Я держусь правила,— ответил я Алымову,— до принятия решения можешь спорить и возражать сколько угодно, а если решение принято — выполняй.

— Это по-военному,— одобительно произнес Алымов.

— Ну что же, можно приступать? — спросил я Алымова.

— Начнем с самой короткой дистанции.

После первых выстрелов работник полигона, ответственный за испытания, сказал:

— Пробиты все образцы.

Дистанцию увеличили вдвое. Опять пробиты все пять карточек, сообщили испытатели.

Алымов спросил:

— Какие пять? Мы должны испытать не пять, а четыре.— И он направился к месту закрепления броневых карточек. Подойдя к расстрелянным образцам брони, Алымов в сильном раздражении стал кричать: — Кто поставил эту карточку, по чьему распоряжению это сделано?

Он узнал образец брони, присланный мне Павловым.

— Это сделано по моей просьбе,— спокойно сказал я Алымову.

— Зачем вы это сделали?

— Вы вместе с комкором утверждали, что ваша «активная» броня полностью защищает от бронебойных пуль с любой дистанции. Теперь видите сами, что это не так и ваша броня пробивается так же, как и образцы, изготовленные нашими заводами.

— Не понимаю, что произошло! Почему она пробита,— в растерянности сказал Алымов.

— А я понимаю,— стараясь быть спокойным, сказал я,— вы ввели в заблуждение правительство. Эта броня и не могла выдержать тех условий, о которых вы докладывали правительству.

— Надо прекратить испытания,— потребовал Алымов.

— Нет, надо их довести до конца и выполнить всю намеченную программу.

Алымов махнул рукой и отошел в сторону.

Испытания были закончены. Журнал стрельб был составлен по всем существовавшим на полигоне правилам, и члены комиссии, включая Алымова, поставили свои подписи под составленным документом. Под расписку я взял с собой одну из копий.

Когда мы вернулись в Москву, ко мне в главное управление тотчас же буквально влетел разъяренный Павлов.

— Это ты что затеял?

Я уже знал, что битва выиграна, но этот выигрыш может только повредить мне. Броня не принадлежала больше ни автору предложе-

ния, ни Павлову. А доложить о том, что произошла ошибка и следует приостановить дальнейшие работы, никто не отважится.

Павлов теперь будет на моей стороне, и хоть он сейчас кричит, но у него нет иного выхода, как внести новое предложение. Надо ему в этом помочь.

— А знаете, Дмитрий Григорьевич,— начал я,— не пора ли вообще отказаться от танковой брони, защищающей только от пуль? Независимо от того, выдерживает она пулевой обстрел или нет. Появилась противотанковая артиллерия, и надо создать защиту от снарядов, а не от пуль.

Павлов насторожился. Это, пожалуй, выход и для него.

— А ведь ты правильно рассуждаешь. Я сам уже об этом думал. Давай об этом поговорим в следующий раз.— И он ушел, уже успокоенный.

Через несколько дней в разговоре с Павловым я опять поднял вопрос о новых танках с тяжелой броней, защищающей от обстрела снарядами.

— Создать такие танки нелегко, но если ты поможешь, то мы могли бы быстро приступить к работам.

Павлов усмехнулся и сказал:

— А я ведь тоже не лыком шит.— Он вынул из своего несгораемого шкафа листок бумаги и протянул мне.— Вот, смотри.

На короткой докладной записке о необходимости начать разработку тяжелых танков было начертано: «Я «за». Сталин».

С «активной» броней было покончено. Я в душе ликовал. Вот теперь танковое производство будет развиваться как следует— все входит в разумное русло.

Из Испании вернулись танкисты, и у нас непрерывно шли совещания. Водители танков подробно рассказывали о том, как вели себя наши танки в различных условиях боя. Они детально объясняли, что происходило с машинами, как они устраняли возникавшие помехи и неполадки и что, по их мнению, необходимо было бы сделать, чтобы избежать нежелательных сюрпризов в будущем. А мы слушали, задавали вопросы и записывали все это, чтобы все существенное незамедлительно использовать в наших конструкциях при проектировании новых машин. Во время этих совещаний кто-то рассказал, как один из летчиков — Героев Советского Союза — сам, по собственному разумению, защитил себя листом железа. Нам предложили немедленно заняться производством авиационной брони.

У нас не было тогда ни времени на долгие размышления, ни опыта, чтобы быстро наладить производство. И мы с Тевосяном и другими инженерами, работавшими на заводе Круппа, перебрав в памяти марки тонкой брони, изготовлявшиеся во время нашего пребывания в Германии, вспомнили одну из них и, приняв ее за основу, быстро начали ее производство.

Уже после того, как первые партии нашей авиационной брони прошли боевое крещение, нам сообщили, что на немецких «мессершмиттах» также установлены броневые щитки для защиты летчика, а когда нам доставили для исследования такие броневые щитки со сбитого немецкого самолета, то оказалось, что это наши же по существу броневые детали: они имели примерно тот же химический состав и форму. Круг замкнулся. Мы взяли эту броню с завода Круппа, немецкие фирмы — от нас, с наших сбитых самолетов.

Было ясно, что Испания стала международным полигоном империалистических стран, где идет практическая сценка различных видов

вооружений, и что мир стоит на пороге большой войны. Это тем более требовало напряжения всех сил, быстрее окончания реконструкции заводов и завершения разработки новых образцов военной техники.

Наша промышленность, в том числе и оборонная, шла в гору, ее большие успехи были очевидны, и особенно в области самолетостроения. Наша авиация становилась одной из лучших в мире. В те годы совершили свой исторический полет советские летчицы — Гризодубова, Раскова, Осипенко. Коккинали пролетел без посадки от Москвы до Владивостока. В это время было много и других примечательных событий.

Когда в Москву вернулся самолет «Родина», мы его встречали на Ходынском поле, где тогда был центральный аэропорт, а затем направились в Кремль на прием, организованный в честь советских героинь. Этот прием запомнился мне своей необычностью, простотой и душевностью.

Настроение у всех было приподнятое, все были возбуждены и наполнены радостным чувством большого подвига, совершенного советскими людьми.

\* \* \*

В начале 1939 года было принято решение разделить Наркомат оборонной промышленности на четыре наркомата — Наркомат авиационной промышленности, Наркомат вооружения, Наркомат боеприпасов и Наркомат судостроения.

Наркомом авиационной промышленности был назначен М. М. Каганович, наркомом вооружения — Б. Л. Ванников, наркомом боеприпасов — И. П. Сергеев, а с назначением наркома судостроения произошла заминка.

Среди сотрудников разделенных, но еще находившихся пока под одной крышей наркоматов начались разговоры о том, что Тевосян «качается». Кое-кто вспомнил, что партийный комитет хотел в свое время обсуждать персональное дело Тевосяна, требовать от него объяснения в связи с арестом сестры — жены арестованного раньше «правого уклониста» Мирзояна. Из Ленинграда был вызван на переговоры директор Балтийского завода Иван Исидорович Носенко.

Я видел, как нервничал Тевосян. Это был человек большой скромности. Он никогда, как мне кажется, даже не помышлял о том, чтобы быть на виду и занимать какие-то видные посты. Это был прежде всего человек долга. Каждую крупницу своего времени он старался использовать для того, чтобы делать что-то полезное для партии и страны.

Скромность Тевосяна и желание быть незаметным, не выделяться были широко известны всем, кто его близко знал. Мне вспомнилось, как еще в студенческие годы, когда мы уезжали из Баку учиться, Тевосяну выдали шубу на лисьем меху. Бакинские друзья боялись, что он в суровые московские зимы будет мерзнуть. Эту шубу он ни разу не надел, даже в самые сильные морозы, — ее износил живший тогда вместе с нами другой студент, а сам он ходил все в той же потертой кожаной куртке — единственной верхней одежде, которую он носил уже несколько лет.

Теперь вопрос состоял не в том, кто займет пост наркома, — все прекрасно понимали, что из всех руководящих работников Наркомата оборонной промышленности Тевосян лучше всех знает судостроение, и все ждали, что наркомом судостроения назначат его. С какой же стати искать кого-то другого. Сам Тевосян прекрасно понимал, что все это свидетельствует о чем-то тревожном, о каком-то недоверии к нему.

Я знал, как глубоко он это переживает и как тщательно скрывает



это от всех. И вот в один из этих тревожных дней мне позвонил секретарь Тевосяна:

— Я очень боюсь за Ивана Тевадросовича. Хорошо, если бы вы зашли к нему. Он сильно нервничает.

Со своего четвертого этажа я спустился на третий и вошел в кабинет. Тевосян был один. Он осунулся, и на фоне черной шевелюры особенно отчетливо выделялось бледное до зеленоватости лицо, на котором горели большие черные глаза.

Мы поздоровались.

Он улыбнулся вынужденной улыбкой больного человека.

— Уйду на завод. Снова буду работать мастером.

— Возьми меня в заместители,— предложил я.

— Я тебе серьезно говорю.

— А я тоже не шучу. Ты знаешь, как бы мы могли еще поработать.

В это время вошел секретарь и сказал:

— Только что звонили от Кагановича. Он созывает коллегия и просит немедленно прийти к нему.

— Вам тоже нужно быть на коллегии,— сказал он, обращаясь ко мне.

Войдя в зал заседаний, Тевосян направился к Кагановичу и занял место неподалеку от него.

М. М. Каганович любил собирать заседания коллегии по всякому поводу и даже без повода. Я уже не помню, какой вопрос обсуждался тогда, но хорошо запомнил, как в середине этого заседания раздался звонок телефона, который стоял на столе рядом с Кагановичем.

Лицо его сразу изменилось, когда он приложил к уху телефонную трубку.

— Здесь, товарищ Сталин,— услышали мы.— Сейчас передаю ему трубку. И затем, обращаясь к Тевосяну, сказал:— Возьми трубку, товарищ Сталин тебя вызывает.

Я вслушивался в каждое слово Тевосяна.

— Сейчас выезжаю, товарищ Сталин. Через пятнадцать минут буду у вас.

И он вышел из зала заседаний, а я провожал его глазами до тех пор, пока за ним не закрылась дверь.

Заседание коллегии быстро закончилось, и я прежде, чем подняться к себе, зашел в кабинет Тевосяна.

— Я прошу вас немедленно, как только Тевосян появится, известить об этом меня,— сказал я его секретарю.

Шли часы, а Тевосян не возвращался.

Но вот ко мне позвонил секретарь:

— Иван Тевадросович просит вас зайти к нему.

Когда я вошел, Тевосян поднялся с кресла и, вынув из сейфа бумагу, протянул ее мне.

— Вот, читай.

Это было постановление о моем назначении начальником металлургического главка Наркомата судостроительной промышленности.

— А кто же у нас нарком?

Тевосян помолчал, потом устало и смущенно улыбнувшись сказал:

— Наркомом назначили меня.

— Чего же ты до сих пор ничего об этом не сказал?

— Назначение состоялось несколько часов назад. Товарищ Сталин спросил, кого бы я хотел назначить начальниками главных управлений. Я назвал троих, в том числе тебя, и просил разрешить представить предложение относительно остальных несколько позже... Ну вот, опять

вместе работать будем... Надо будет подыскать здание для наркомата и главков.

Через несколько дней М. М. Каганович созвал прощальное заседание коллегии, были приглашены и все начальники главных управлений. Когда все собрались, он поднялся и еще раз сообщил о том, что наркомат разделен на четыре, перечислил, кто назначен наркомом вновь образованных наркоматов, пожелал новым наркомам всяческих успехов, а в заключение сказал:

— Вот вам по карандашу на прощание, и больше я вам ничего не дам. Я уже старик, а вы люди молодые, наживайте себе добро сами.

Каганович сдержал слово — выпустил новорожденных наркомов «голенькими», и пришлось им обзаводиться всем заново.

\* \* \*

Наркомату судостроительной промышленности было передано здание по Петроверигскому переулку. В здании этом разместиться все главки не могли. Для трех главков было передано пятиэтажное здание в конце Рождественки, ныне улицы Жданова. Два этажа в этом здании были отведены нашему главному управлению.

Переход нашего главного управления в новый наркомат совершенно не изменил его программы. Как было задумано, что главк наш будет заниматься производством броневой стали всех видов и назначений, так это направление деятельности и сохранилось, хотя программа производства броневой стали для судостроения и возросла. Нас только часто стали приглашать в Наркомат военно-морского флота, на заседаниях коллегии нашего наркомата постоянно присутствовали офицеры военно-морского флота, да альбомы с фотографиями военных судов всех стран мира стали у нас настольными книгами.

В то время некоторые деятели, имевшие касательство к созданию вооружений, сомневались в целесообразности строительства тяжелых кораблей — линкоров и крейсеров. А в Автобронетанковом управлении многие открыто выражали свое отрицательное отношение к созданию флота пяти морей и океанов.

— Всю броню нам надо использовать на сооружение не линкоров, а танков, — говорили они.

Мощности бронепрокатных цехов были пока невелики, и брони одновременно и для кораблей, и для танков не хватало. Строительство бронированных кораблей сдерживало строительство танков.

Не будучи военным, я не мог вначале оценить целесообразность строительства линкоров и крейсеров, но самые общие соображения вызвали у меня все же сомнения в необходимости строить тяжелые корабли.

Как-то Тевосян созвал коллегия наркомата, но только все собрались, как его вызвали в правительство. Тевосян попросил своего заместителя Редькина открыть заседание и начать работу без него.

— Я скоро вернусь. Вопрос, в обсуждении которого я должен участвовать, хоть и очень важный, но много времени не потребует, — сказал он перед уходом.

Редькин не хотел рассматривать намеченную повестку дня в отсутствие Тевосяна и предложил обсудить с судостроителями и моряками, следует ли в нынешних условиях строить линейные корабли и нельзя ли вообще без них обойтись.

— Ну, кто может обосновать необходимость иметь линкоры? — обратился Редькин к присутствующим. — Вы сможете? — спросил Редькин меня. — Ведь ваш главк для них броню делает, вам легче и доказывать.

Я сказал, что мне легче привести доводы, почему линкоры не нужны, а защищать необходимость их строительства должны наши заказчики — представители военно-морского флота.

Разгорелся спор. Аргументы военных моряков не могли меня убедить, зато я своей резкой критикой навлек на себя их гнев. Один из моряков, участвовавших в споре, сказал, что у него вызывает недоумение, как могли поручить человеку, который не считает целесообразным сооружение бронированных кораблей, руководить производством брони для них.

Редькин расстроился, он не ожидал, что его затея так закончится. — Зачем вы так резко возражали на его доводы? — корил он меня потом.

Но время шло, и события развивались.

Европу охватил пожар войны, вовлекая в нее все новые страны.

Высадка гитлеровских войск в Норвегии свидетельствовала о том, что тяжелые бронированные суда не находят применения. Германия оккупировала Норвегию, не имея по существу тяжелого флота, а Англия, обладая таким флотом, не могла ей воспрепятствовать в этом.

Уже значительно позже были прекращены работы по строительству линкоров и крейсеров, но я в это время работал уже в другой области.

\* \* \*

В Европе шла война, но мы ее ощущали только по скудным сообщениям газет. Она, казалось, происходит где-то очень далеко. Правда, война с Финляндией всколыхнула всю страну и выявила необходимость во многих средствах военной техники. Посыпались новые задания и стали уточняться мобилизационные планы.

Однажды в самом конце 1939 года меня вызвали в ЦК партии, к секретарю ЦК Маленкову. Когда я попросил заказать пропуск, мне сказали:

— Пройдете без пропуска через первый подъезд.

Я поднялся на лифте и прошел в приемную. Один из секретарей Маленкова, спросив, кто я, кивнул головой на дверь и произнес:

— Входите.

В кабинете было много народа. За длинным столом, у торца которого сидел Маленков, мест для всех не хватало; многие сидели на дополнительно принесенных стульях, и это создавало впечатление беспорядка. В стороне от стола стояли два небольших миномета. Я увидел здесь немало знакомых — И. А. Лихачева, П. И. Коробова, В. А. Малышева, П. И. Паршина и многих других руководителей нашей промышленности.

Когда я вошел, Маленков поднялся из-за стола и сказал, показывая на минометы:

— Вы можете быстро организовать производство вот таких труб? Нам необходимо срочно наладить выпуск минометов. Труба — их основная деталь. Без этих труб ничего нельзя будет сделать. Все зависит от заводов вашего главка.

— Они полуоси для автомобилей делают, это почти одно и то же как по технологии производства, так и по составу стали, — сказал с места Лихачев.

— Трубы нужны крайне срочно — первая партия должна быть поставлена через три дня. Без этого весь намеченный нами план развалится, — продолжил Маленков. — Технические условия вам сообщат. Если нужно, посоветуйтесь с работниками своих заводов. Можете поговорить с ними из соседней комнаты по телефону. Вас соединят.

Маленков вернулся к столу и сел.

Ко мне склонился Коробов и шепнул:

— Мы уже два дня заседаем. Практически и не уходили отсюда.

Я вышел из кабинета с представителем военной приемки. Он мне сообщил, какие требования предъявляются к минометным трубам, и я позвонил директору северного завода. Я продиктовал директору технические условия — и, обсудив с ним требования, предъявляемые к трубам, предложил ему немедленно, не теряя времени, начинать прокатку труб. Закончив разговор, я вернулся на совещание. Свободный стул оказался около Малышева, и я сел рядом с ним. Малышев в это время был наркомом тяжелого машиностроения.

В кабинете было шумно — шли горячие споры. Намеченное количество минометов трудно было разместить. Говорили сразу несколько человек. Все настаивали на том, чтобы на этот раз дать задание московскому автозаводу.

Лихачев энергично возражал.

— Не можем мы на себя взять производство этих деталей! — кричал он с места. — Эти изделия совершенно невозможно изготовлять на нашем оборудовании. У нас ни станков, ни приспособлений для этого нет.

Один из участников совещания все же настаивал на том, чтоб такое поручение автомобильному заводу дать.

В спор вмешался Маленков:

— Так. может быть, вам записать изготовление других деталей, а изготовление этих мы разместим на каком-нибудь другом заводе?

И Маленков стал перечислять, что можно было бы поручить ЗИСу.

— Да ведь это те же самые штаны, только гашником назад, — ответил Лихачев на предложение Маленкова.

Раздался было смех, но моментально замер.

Маленков поднял голову от просматриваемых им листов проекта постановления и строго посмотрел на Лихачева:

— Что же вы от всего отказываетесь?

— Не от всего, а только от того, что на наших заводских станках нельзя изготовлять.

Лихачеву трудно было навязать изготовление изделий, которые не соответствовали профилю завода. Все же он понимал, что если выход не будет найден, то поручение запишут ему. Трудновыполнимое, оно будет торчать, как заноза, и мешать основному производству.

Кто-то из военных, желая воздействовать на Лихачева, сказал с укором:

— Что это вы, Иван Алексеевич, не хотите нашей армии помочь?

— А на чем вы все перевозки делаете, на ишаках, что ли? — ухватился тут Лихачев. — Прежде чем предложение вносить, подумать надо. Если к делу серьезно относиться, надо эти изделия поручить заводу... — и он назвал завод. — В цехе механической обработки у них большой пролет шириной в восемнадцать метров да подкрановых путей четырнадцать метров. В пролете установлены пяти- и десятитонные краны, а станки один от другого так поставлены, что идти устанешь. Тридцать — сорок станков, если потребуется, можно дополнительно поставить. Да они и не нужны будут. И на том оборудовании, что там есть, всю эту программу играючи можно выполнить.

И Лихачев начал сыпать цифрами, приводить красноречивые доводы и убеждать, что изготовление изделий следует поручить именно этому заводу.

Присутствовавший на совещании нарком, в ведении которого был этот завод, попытался возражать, но он, по-видимому, знал свой завод

хуже, нежели Лихачев. Он не мог привести ни одного серьезного довода против сказанного Лихачевым.

Затем стали рассматривать программу и размещение производства мин.

Один из наркомов потребовал очень большого количества металла для их изготовления.

— Но ведь у вас часть металла есть, вы же не на голом месте начинаете производство? — сказал Маленков.

— Есть, но мало.

— Сколько?

Нарком назвал цифру.

Маленков, обращаясь к представителю Комитета обороны, сказал: — Проверьте и доложите нам. Так ли это? Я что-то сомневаюсь.

— В твое отсутствие обсуждался вопрос о премиях за выполнение программы по минометам, — сказал мне Малышев. — В проект постановления по всем организациям записаны средства для премирования за изготовление изделий в установленные сроки. Ты поставь вопрос о том, чтобы за изготовление труб также была выделена премия. Мы тебя поддержим: я поддержу, Паршин, Лихачев. Я уже говорил с ними об этом. Если не будет труб, мы ничего сделать не сможем.

— В трубу вылетим, — добавил Лихачев.

Я поднял руку и попросил слова.

— Вы что хотите сказать? — спросил Маленков.

— Я просил бы предусмотреть в проекте постановления выделение средств для премирования за изготовление труб.

Маленков поморщился.

— Мы уже закончили составление документа, он перепечатывается.

— Следует все-таки включить пункт о премировании. Эти суммы можно выделить из тех средств, что предусмотрены для наших заводов. Как бы вообще без труб не остались, если этого не сделаем, — сказал Малышев.

— Мы ему сами можем кое-что подкинуть из премиального фонда, что нам выделяется. — вдруг сказал Лихачев.

— Я знаю, как ты подкидываешь. У тебя зимой снега не выпросишь. Пальцы-то на руках у каждого к себе загорают, а не от себя, — смеясь, сказал Малышев. — Я предлагаю все-таки включить в постановление пункт о премировании за своевременное изготовление труб, — повторил он.

Малышева поддержали другие.

— Сколько же вы хотите? — спросил Маленков.

— По десяти рублей с трубы для каждого миномета.

Кто-то крикнул:

— Ого!

Остальные промолчали.

Предложение было принято, и один из секретарей Маленкова пошел включать его в документ, который печатали на машинке в соседней комнате.

Все делалось в большой спешке. Почему я назвал десять рублей? Не знаю. Может быть, потому, что это круглая цифра. Проект постановления о производстве минометов читали по пунктам, по мере того как листы поступали с машинки.

Но вот все откорректировано, и нам предложили поставить под документом свои подписи, завизировать его. Под словом «согласовано» я вместе с другими поставил свою подпись, и документ взял Маленков. Просматривая подписи, он спросил:

— Все расписались?

А когда дошел до моей фамилии, спросил:

— Это чья подпись?

Я сказал, что моя. И он против моей подписи в скобках, каллиграфическим почерком написал мою фамилию.

— Ну как же можно так расписываться? Вы знаете, к кому этот документ идет? К товарищу Сталину.— И, растягивая слово, стараясь вложить в него особую торжественность, он повторил: — К Ста-ли-ну!

На меня, иронически улыбаясь, смотрел Малышев. Он подписывался аккуратно.

Заводы нашего главка выполнили в установленные сроки задание, и я был спокоен, хотя задание было очень трудным — нам дали всего три дня на сдачу первой партии труб.

Третий день еще не кончился, как раздался звонок Маленкова.

— Как обстоит дело с отгрузкой заводам труб?

— Все отгружено в установленный срок,— ответил я.

— Но завод ничего не получил и еще не приступил к работе. Почему вы не проверили?

— Но ведь еще и срок не вышел. Все, что положено, завод получит в конце дня.

— Надо тщательно следить не только за тем, что делается у вас на заводах, но также поинтересоваться, прибыло ли вовремя то, что отправлено. А вы вытолкнули за заводские ворота и успокоились. Проверьте и позвоните мне!

Я бросил все дела, отпустил людей, приглашенных на техническое совещание, передал всем ожидающим приема, что никого, к сожалению, сегодня принять не смогу, и, засев за телефонный аппарат, стал непрерывно звонить. У директора завода узнал номера вагонов, в которых отправлены трубы. Затем, связавшись с начальником станции, узнал, когда эти вагоны вышли с завода и маршрут их следования. Звонил на узловые станции, промежуточные станции, на станцию назначения и наконец директору завода, которому были предназначены трубы. От директора я узнал, сколько труб поступило на завод и сколько уже обрабатывается на станках.

Собрав все эти сведения, я позвонил Маленкову и сделал подробное сообщение.

— Вот теперь все в порядке. Надо лично все самому проверять, а не доверять другим.

«Доверять доверяй, но и проверяй. Из этой мудрой формулы, выходит, остался только конец. Доверяй исчезло, а вместо него — не доверяй, не верь никому. А ведь это вовсе не укрепляет чувство ответственности за порученное дело»,— подумал я.

\* \* \*

Решено было производить тяжелые танки, и можно было приступить к производству броневых корпусов для них. Началась прокатка первых листов броневой стали.

Одновременно с изготовлением первых опытных броневых корпусов для тяжелых машин и детальной разработкой всех стадий процесса производства завод стал готовить небольшую серию их.

Осенью 1939 года первые образцы новых машин были представлены для государственных испытаний. Однажды мне позвонили к концу рабочего дня и сказали, что наутро необходимо к восьми часам быть на

месте испытаний, просили сообщить номер машины, на которой я поеду. В половине седьмого я выехал из дома. За городом военные регулировщики флажками указывали путь. На опушке леса, где должны были происходить испытания новых танков и броневедомостей, уже стояли подготовленные к испытаниям машины. Вскоре подъехали Ворошилов, Вознесенский, Жданов и Микоян. Мне очень нравилась конструкция танка «Т-34».

Во время испытаний водитель одного из этих танков повел машину на крутой холм. Я стоял рядом с Ворошиловым и видел, как он забеспокоился: куда водитель полез — ведь машина сейчас перевернется, разве можно взбираться на такую кручу?! Но водитель упорно поднимался вверх. У меня замерло сердце, но вот последнее усилие — и машина, преодолев крутой склон, уже на вершине. Все зааплодировали. Тут к Ворошилову подошел Павлов и попросил разрешения «повалить лес». Ворошилов засмеялся и сказал:

— Тебе только разреши, ты весь и повалишь. Одно дерево, и хватит.

Павлов отошел и передал водителю танка «Т-34» указание повалить дерево. Водитель направил машину на высокую сосну у берега речки и ударил по ней. Сосна качнулась и упала на танк, а танк пошел дальше, накрытый ее огромным стволом. Вот машина спустилась в речку — течение воды снесло дерево с танка, и оно поплыло дальше, машина же форсировала реку и вышла на другой берег. Снова раздались аплодисменты — все были радостно возбуждены и явно довольны результатами испытаний.

Вскоре после этого испытания новых машин Павлов получил повышение — его назначили командующим войсками Белорусского военного округа, а начальником Автобронетанкового управления был назначен Я. Н. Федоренко.

\* \* \*

В наркомате все упорнее поговаривали о том, что Тевосян от нас уходит. Подтверждалось это и тем, что он все чаще отлучался: ему поручили разобраться с положением дел в Наркомате черной металлургии. Он проводил там буквально дни и ночи.

Состояние нашей металлургии внушало тревогу. Не хватало металла. Многие отрасли промышленности требовали новых марок стали и новых сплавов. За границей такие марки изготавливались, а у нас их не было. Да и нашему наркомату выделялось далеко не все, что было необходимо для выполнения программы.

Правительство решило заслушать доклад наркома черной металлургии. Когда доклад рассматривался, Тевосян выступил с подробным разбором основных причин, задерживающих развитие отечественной металлургии. Он изложил также разработанный им план срочных мер. Сообщение Тевосяна свидетельствовало о том, что он прекрасно понимает проблемы металлургии и знает, что следует делать, — предложенный им план был конкретен и реален.

Вскоре после этого заседания Тевосян был назначен наркомом черной металлургии, а наркомом судостроительной промышленности утвердили Ивана Исидоровича Носенко.

Работников нашего наркомата и заводов очень огорчил уход Тевосяна. В Тевосяне сочетались большие организаторские способности и знание дела, умение наметить реальный план действия и огромная воля к его реализации. Помимо всего прочего, он был еще просто хорошим, душевным человеком. Работать с ним было легко и приятно.

\* \* \*

Новые конструкции танков прошли испытания, и теперь можно было развертывать производство. Но было еще не совсем ясно, какую технологию принять для массового изготовления броневой защиты, особенно танковых башен. На легких танках башни сваривались из отдельных деталей, вырезаемых из листовой броневой стали. Часть деталей имела выпуклую форму, и их штамповали на прессах. Такая же технология была принята и для производства башен тяжелых танков. Но толстая броня требовала более мощного прессового оборудования. Такие прессы на заводе были, но в недостаточном количестве. Ну, а если программа будет увеличена, как быть тогда? Прессовое оборудование станет узким местом. А ведь дело явно идет к войне, и тяжелые танки понадобятся не для парадов, понадобятся тысячами. Как же быть?

И вот тогда-то и возникла мысль отливать танковые башни — в этом случае прессы не понадобятся. А как увеличатся производственные возможности! Практически на любом металлургическом заводе в любом сталелитейном цехе можно будет производить отливку башен. Но как убедиться в необходимости перейти на новую технологию? Только путем постановки прямых опытов и показом, что литые башни могут служить не хуже сварных.

На этот раз мне повезло. На заводе оказался разумный и смелый военпред — Дмитрусенко. Он сразу же согласился с моим предложением попробовать изготовить литые танковые башни. Он полностью разделял мою точку зрения относительно преимуществ новой технологии. «Давайте пробовать: отольем, обстреляем на полигоне — и сразу все станет ясно».

Обстреляв наши литые башни снарядами, соответствующими толщиной брони, мы принялись их осматривать. Результаты оказались поразительными. В некоторых из сварных башен после попадания в них четырех-пяти снарядов по сварным швам появились трещины, в то время как литые никаких дефектов не обнаружили. Решили провести более жесткие испытания и дополнительно обстрелять каждую башню еще пятью-шестью снарядами. Новые испытания снова подтвердили высокое качество литых башен.

— Ну что же, все ясно! Давайте переходить на новую технологию,— предложил я.

— По рукам! — И Дмитрусенко ударил по моей протянутой ладони.— Давайте переходить на литые.

С хорошим настроением вернулся я в Москву. Вскоре другие сложные дела отвлекли внимание от литых башен, а недели через три об этом мне напомнил звонок наркома.

— Завтра в три часа дня на заседании Комитета обороны будет рассматриваться вопрос о литых танковых башнях. Нас просят присутствовать. Кстати, а у нас что-нибудь делается в этой области? — спросил меня Иван Исидорович.

— У нас-то делается. А разве кто-то еще этим занимается? В первый раз слышу. Вот это здорово!

Я коротко изложил результаты проведенных опытов. Затем позвонил на завод и спросил, что практически сделано со времени испытания первых башен. Директор сказал, что все идет хорошо, производство сварных башен прекращено, а литых уже сдано на танковый завод сто тринадцать штук.

— Все идет очень хорошо,— уверенно повторил директор.

На следующий день ровно в три часа нарком и я были в Комитете обороны, но пока еще обсуждались другие вопросы. Наконец нас пригла-



силы войти. Рассматривались работы завода, которому правительство, как оказывается, давно уже поручило провести опыты с литыми башнями, хотя мы — главк, непосредственно занимающийся броней, — ничего об этом не знали. Один из конструкторов Комитета обороны, проверявший, как выполняется решение правительства, представил подробный доклад о состоянии дел на заводе. Он заканчивал свое сообщение, когда мы с Носенко вошли в зал заседания. Нарком тяжелого машиностроения В. А. Малышев — этот завод был в его системе — и представители завода не соглашались кое в чем с конструктором. Председательствующий К. Е. Ворошилов выражал явное недовольство состоянием дел, но резкой критики все же не было. Завод недавно начал заниматься литыми башнями, а задача была не из легких. Это понимали все.

Ворошилов вдруг обратился к моему наркому:

— Товарищ Носенко, вы вчера сказали мне по телефону, что у вас в наркомате ведутся такие же работы, — может быть, доложите, что сделано у вас?

Носенко поднялся и сказал:

— Лучше, если доложит начальник броневых главка — он эти работы проводил, ему и карты в руки.

— Расскажите, что сделано у вас по литым башням, — обратился ко мне Ворошилов.

Я вынул из папки карточки с результатами полигонного обстрела броневых башен и подошел к столу, за которым сидел Ворошилов. Делать длинные доклады я был не мастер.

— Мы начали работы около двух месяцев назад. Первые отлитые башни испытали на заводском полигоне. Сварные башни после попадания в них пяти снарядов разваливались по сварным швам, в то время как литые даже при попадании десяти—двенадцати снарядов оставались в хорошем состоянии. Вот результаты обстрела тех и других башен.

И я выложил на стол карточки испытаний.

Заканчивая свое краткое сообщение, я, не подумав, брякнул:

— Дело настолько ясное, что мы решили эти башни принять на вооружение.

Ворошилов поднял голову и, глядя на меня снизу вверх, спросил:

— Кто это мы?

— Мы с Дмитрусенко.

— А кто такой Дмитрусенко?

— Да военпред на заводе.

«Святая простота!» — читал я на лицах членов Комитета.

— Вам никто права принимать военную технику на вооружение не предоставлял, — строго сказал Ворошилов. — Вот когда правительство примет ее, тогда она и будет направляться на вооружение армии.

И все же по всему было видно — все довольны доложенными результатами. Последовало несколько вопросов. Присутствовавший на заседании председатель Госплана Н. А. Вознесенский спросил:

— Сколько потребуется никеля или других дефицитных металлов и сплавов, если мы перейдем от сварных к литым башням?

Я ответил, и моими ответами были, видимо, удовлетворены, и Ворошилов, улыбаясь, сказал:

— Мне кажется, что следует принять эту башню, тем более что начальник броневых главка вместе с Дмитрусенко ее уже приняли.

Все засмеялись.

С заседания я уходил со смешанным чувством удовлетворения и раздражения на самого себя. Ну как же можно так по-детски докладывать?!

Носенко был доволен. Прошло три дня, и вдруг звонок: приглашают на заседание в Кремль. Вопрос о литых танковых башнях будет рас-

смагиваться на этот раз уже в Политбюро. Отправляемся в Кремль. Народу приглашено много. В приемной главным образом военные из Автобронетанкового управления. Здесь же Тевосян — уже нарком черной металлургии.

— Ну, как дела? — здороваясь со мной, спросил он.

Я коротко рассказал о наших работах по отливке башен. Не понятно, почему этот вопрос рассматривается второй раз? Никто же не возражал.

Докладывал Ворошилов, держа в руках проект. В руках его было решение, подготовленное Комитетом обороны. Сталин подошел к нему и взял листок. Прочитал его и, обращаясь к начальнику Автобронетанкового управления Я. Н. Федоренко, спросил:

— Какие тактико-технические преимущества имеет новая башня?

Федоренко стал говорить о том, что литью башню можно изготавливать в литейных цехах, в то время как для изготовления башен старого типа требуются для штамповки некоторых деталей мощные прессы.

— Я вас не об этом спрашивал. Какие тактико-технические преимущества имеет новая башня, а вы мне говорите о технологических преимуществах. Кто у вас занимается военной техникой?

Федоренко назвал генерала И. А. Лебедева.

— Здесь он?

Генерал Лебедев поднялся. Сталин повторил вопрос. Лебедев заколебался и начал по существу повторять сказанное Федоренко.

Сталин нахмурился и сердито спросил:

— Вы где служите — в армии или в промышленности? Я третий раз задаю вопрос о тактико-технических преимуществах новой башни, а вы мне говорите о том, какие возможности открываются перед промышленностью. Может, вам лучше будет перейти на работу в промышленность?

Генерал молчал. Я почувствовал, что решение о переходе на литые башни может быть не принято. Я поднял руку и попросил слова. Сталин, увидев поднятую руку, сказал, обращаясь в мою сторону:

— Я спрашиваю о тактико-технических преимуществах.

— Я об этом и хочу сказать, Иосиф Виссарионович.

— Вы что, военный? — спросил Сталин.

— Нет.

— Что же вы хотите сказать? — с недобрим выражением лица спросил Сталин.

Я вынул из папки карточки с результатами обстрела брони и подошел к Сталину.

— У старой башни, сваренной из отдельных деталей, есть уязвимые места — сварные швы. Новая — монолит, она равнопрочна. Вот результаты испытания обоих типов на полигоне путем обстрела.

Сталин посмотрел карточки, вернул их мне и сказал:

— Это соображение серьезное.

Он отошел в другой конец комнаты.

— Скажите, а как изменится положение центра тяжести танка при переходе на новую башню? Конструктор машины здесь?

Поднялся конструктор.

— Если и изменится, товарищ Сталин, то незначительно.

— Незначительно — это не инженерный термин. Вы считали?

— Нет, не считал.

— А почему? Ведь это военная техника.

Я хотел высказать свое мнение и, подняв руку, громко произнес:

— Иосиф Виссарионович!

Сталин посмотрел в мою сторону, и вновь я увидел на его лице прежнее выражение. «Почему он так смотрит на меня?» — подумал я.

А Сталин отвернулся и прошел в противоположный угол комнаты. Я сел. И вдруг шепот сидящего сзади меня разъяснил все:

— Никогда не называйте его по имени и отчеству — он это позволяет только очень узкому кругу близких людей. Для всех нас он — Сталин. Товарищ Сталин.

Вдруг, обернувшись к конструктору и не спуская с него глаз, Сталин спросил, как изменится нагрузка на переднюю ось танка.

Конструктор, встав, тихо сказал:

— Незначительно.

— Что вы твердите все время «незначительно» да «незначительно». Скажите, вы расчеты делали?

— Нет, — тихо ответил конструктор.

— А почему?

Конструктор молчал.

— Я предлагаю отклонить предложенный проект постановления как неподготовленный. Указать товарищам, чтобы они с неподготовленными проектами в правительство не входили. Для подготовки нового проекта выделить комиссию, в состав которой включить Федоренко, его, — он указал на наркома автотракторной промышленности С. А. Акопова, — и его. — Палец Сталина указывал на меня.

Все приглашенные на рассмотрение вопроса о литых танковых башнях быстро поднялись и направились к выходу.

Ко мне подошел И. И. Носенко.

— Ты меня подвел, немедленно дай телеграмму о прекращении производства литых башен. Твои башни не приняты. Военные их принимать больше не будут. Ты остановил все производство танков. Ты знаешь, чем это пахнет?

Спускаясь по лестнице, я почувствовал, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулся. Это был генерал Щербаков.

— Не падай духом, — шепнул он. — Пойдем к Савельеву, он человек хороший и подскажет, что надо делать.

Савельев — один из ответственных работников Комитета обороны — уже знал, что проект по литым танковым башням не принят. Надо было быстро подготовить новый.

— И самое главное — подготовить справки по всем вопросам, которые задавал Сталин. В проекте запишите, что наряду со сварными разрешается также сдавать и литые, — советовал Савельев.

Я составил проект решения и показал его Савельеву. Савельев поправил немного и сказал:

— Теперь получите визы Федоренко и Акопова и быстро подготовьте справки, а остальное сделаю я. Но торопитесь, имейте в виду, дело очень серьезное.

Придя к себе в наркомат, я перепечатал подготовленный проект и стал звонить Федоренко. По телефону долго никто не отвечал, и наконец дежурный сообщил, что сегодня Федоренко на работе не будет. Он уехал за город.

Акопов был на месте. Он без разговоров подписался под проектом. И только спросил:

— А как со справками?

— К утру будут, — устало ответил я.

Домой вернулся в начале третьего ночи. Меня всего трясло. Заснуть так и не удалось.

Утром голова разламывалась. Я поехал в главк и вновь начал звонить Федоренко. Справки с расчетами об изменении положения центра тяжести и нагрузки на переднюю ось лежали у меня на столе. Наконец знакомый голос ответил:

— Слушаю.

— У меня готов новый проект решения. Акопов его уже завизировал, можно к тебе подъехать?

— Только быстро, а то я уеду.

Я немедленно отправился к Федоренко. Он прочитал проект и спросил:

— А нас не погонят опять?

— Нет, я говорил с Савельевым, он заверяет, что примут.

— Ну, Савельев знает.— И Федоренко поставил внизу рядом с подписью Акопова свою.

Теперь все зависит от Савельева.

Савельев прочитал справки, взял проект решения, положил его в папку и сказал:

— Постараюсь быстрее дать на подпись.

Савельев свое слово сдержал. Решение было подписано без правок.

Когда мне принесли пакет и я, расписавшись в получении, вскрыл его, мне вдруг захотелось спать. Никогда за свою жизнь я ни разу не засыпал днем и не страдал сонливостью. Я попросил секретаря вызвать машину.

— Я поеду домой. Если будут спрашивать, скажите, что заболел.

\* \* \*

...В 1939 году, когда был подписан договор с Германией о ненападении, в Советский Союз прибыла комиссия Шнурре для переговоров о торговом соглашении. Члены этой комиссии были приняты в Наркомате судостроительной промышленности. Мы нуждались в станочном оборудовании, и нам было поручено выяснить, что именно могут поставить немецкие заводы и в какие сроки. В составе комиссии находился морской офицер Шотки. Фамилия Шотки мне напомнила о знакомом металлурге с завода Круппа. Во время переговоров я сидел рядом с этим офицером и спросил, нет ли у него родственника на заводе Круппа в Эссене.

— Там у меня работает дядя,— ответил он.

— Если вы встретитесь с ним, передайте ему привет от меня.— И я назвал свою фамилию.

— Откуда вы знаете дядю? — спросил меня офицер.

— Я работал у него в лаборатории в Эссене в течение нескольких месяцев.

Мое знакомство с дядей и наш разговор без переводчика на немецком языке повели к тому, что беседа приняла непринужденный характер.

Во время переговоров немцы упорно доказывали, что оборудование, к которому мы проявляли интерес, не может быть поставлено в предлагаемые нами сроки, и называли свои, невероятно длительные — насколько я помню, там не было сроков короче двадцати четырех месяцев.

«Только через два года мы сможем кое-что от них получить,— думал я.— А ведь то, что им требуется, они хотят получать немедленно».

Пребывание комиссии Шнурре в Москве сказалось, как это ни может показаться странным, на моей личной судьбе. И вот почему.

Для выполнения некоторых наших заказов немцы потребовали поставить им никель. В первой половине 1940 года наши торговые организации отправили в Германию первую партию никеля. Получив его, немцы заявили, что он не подходит для производства тех марок сталей, для которых предназначался, так как в нем содержится много меди, а присутствие меди в никеле вообще крайне нежелательно. Вопрос о

качестве никеля стал предметом разбирательства в правительстве. В Кремль вызвали наркома цветной металлургии. Он заявил, что никель по всем своим показателям полностью соответствует стандарту.

— А кто у нас утверждает стандарты? — спросил кто-то из участников обсуждения.

Оказалось, что существовавший когда-то Комитет стандартов, утверждавший стандарты, был ликвидирован, а разработка стандартов и их утверждение были поручены наркоматам и ведомствам, изготавливающим соответствующую продукцию. Сложилась странная система — производители продукции сами на нее и устанавливали все технические условия. Кто ликвидировал существовавшую ранее всесоюзную организацию по стандартизации — никто не мог вспомнить. Обсуждение вопроса о качестве приняло острую форму и завершилось тем, что Сталин предложил снять наркома цветной металлургии с его поста. Было решено создать Комитет стандартов, чтобы он, как общесоюзный орган, утверждал технические законы страны — стандарты. К созданию комитета приступили немедленно.

В понедельник, 15 июля 1940 года, я пришел к себе в главк.

— Поздравляю вас! — сказала мой секретарь.

— С чем вы меня поздравляете? — удивился я. — Уж не со вчерашним ли днем отдыха?

— А разве вы сегодня газет не читали?

— Нет еще. А что там?

— Вот смотрите.

На последней странице газеты было короткое сообщение о моем назначении первым заместителем председателя Комитета стандартов.

Я был поражен: никогда я вопросами стандартизации не только не занимался, но и не интересовался. У нас в Главном броневом управлении работа по стандартизации была поставлена неважно, и при рассмотрении на коллегии наркомата отчетов о выполнении плана по стандартизации и унификации изделий нам всегда указывали на то, что этой работе управление и его начальник не придают значения. И вот теперь я должен буду не только заниматься, но и организовывать эту работу в масштабе всей страны. Я позвонил своему наркому и в раздражении выпалил:

— Так, значит, я больше не нужен тебе, да?

Он в еще большем раздражении сказал:

— Немедленно приезжай и не болтай глупости!

Когда мы с ним встретились в его кабинете, то оба уже успели поостыть. Носенко вынул из сейфа постановление правительства о создании Комитета стандартов и назначении председателя Комитета и первого заместителя председателя.

Председателем был назначен Павел Михайлович Зернов, способный и энергичный человек, по специальности инженер-механик.

— Ну вот, видишь? Я сам только из постановления узнал о твоём назначении.

Вечером, когда я пришел домой, у нас была сотрудница газеты «Известия», давнишняя приятельница жены. Она, поздравив меня с назначением, вдруг задала вопрос:

— Скажите, пожалуйста, что такое ОСТ?

Я задумался и мысленно стал расшифровывать. «О» — видимо, особый, а что означают «С» и «Т»? Я не мог ответить на поставленный вопрос и в душе обозлился на нее: «Ну чего она этот вопрос задала мне именно сегодня? Вот если бы это было вчера, то я просто ответил бы: «Не знаю». Но что я отвечу теперь? Сказать «не знаю» я не мог. Ну как это не знаю, если я назначен на такой высокий пост по стандарту-

зации. Второй человек в стране в этой области. Положеньице!» От ответа я ушел, переведя разговор на другую тему. Но что я буду делать дальше? Спрашивать-то кого буду, что такое ОСТ? Надо будет поговорить с Шейниным. Он у нас в управлении занимался стандартизацией.

Вот с такими познаниями я вступил в новую, совершенно незнакомую для меня область.

Снова надо приниматься за учение. Но что поделаешь — придется — в который уже раз? — приниматься опять за совершенно незнакомое.

\* \* \*

Во главе Комитета стандартов были поставлены люди, работавшие в самых разных областях техники и промышленности: председатель комитета Павел Михайлович Зернов — инженер-механик; я — металлург; профессор А. Г. Касаткин — химик; А. В. Богатов — инженер-текстильщик; А. Н. Буров — инженер-механик. Но никто из нас специально стандартизацией ранее не занимался. Мы не имели ни малейшего представления о том, как вести эту сложную и тонкую работу по составлению технических законов страны, которые должны неукоснительно выполняться во всем народном хозяйстве.

По существу речь шла о том, чтобы создать рычаги для управления производством и с их помощью поднять качество промышленной продукции.

Зарубежным опытом в этой области воспользоваться мы не можем, потому что там функцию такого рычага выполняет конкурентная борьба — именно она вынуждает фирмы следить за качеством и непрерывно повышать его. Попробуй выпусти там изделия низкого качества — сразу лишишься покупателей и обанкротишься. Стандарты там играют совершенно иную роль — они лишь взаимно согласуют некоторые, самые необходимые показатели, причем такие, которые поддаются измерению. Они не могут сдерживать производство или быть мерилем качества.

В нашей же технической документации, и в частности в стандартах, были внесены такие записи, которые нельзя найти ни в одном стандарте мира. У нас, например, указывалось, каким технологическим процессом должно быть изготовлено то или иное изделие, как и в какой цвет должны быть покрашены станки, приборы и аппараты, как должна быть произведена их упаковка. Для всех деталей были указаны марки сталей, чугуна, сплавов, из которых они должны быть изготовлены.

Какими же средствами мы можем и должны воздействовать, чтобы держать на высоком уровне качество промышленных изделий и на низком — стоимость их производства?

Поиски в этой области велись непрерывные. Чаще всего тогда можно было слышать, что для решения проблемы качества необходимо использовать три элемента: убеждение, поощрение и принуждение.

Указ об ответственности за качество, изданный 10 июля 1940 года, не казался нам жестоким, хотя исходил он только из одного элемента триады — принуждения. В первые дни после его опубликования большинство считало, что он направлен против тех, кто не радеет за свое дело, — против злостных бракоделов, не желающих выполнять свои обязанности. Но жизнь, как известно, всегда вносит свои коррективы. Да и дорога в ад тоже вымощена благими намерениями.

Возникло сразу много новых осложнений. Производственники, боясь судебной ответственности, старались понизить качественные показатели, записываемые в стандарты; потребители и в особенности те, кто использовал изделия других фабрик и заводов в качестве деталей или сырья для своих промышленных изделий, настаивали на высоких тре-

бованиях. Работники Комитета стандартов, стремясь поднять качественный уровень продукции, также заносили в стандарты высокие показатели. Обсуждение новых проектов стандартов превращалось в горячие споры между потребителями и производителями продукции, во время которых становились очевидными многие дефекты не только в изделиях, но и в методах работы учреждений.

При обсуждении стандарта на ткани мы пригласили руководителей ряда текстильных предприятий.

— Почему наши ткани такие блеклые, при стирке линяют и быстро выгорают на солнце? — спросил как-то Зернов директора одной текстильной фабрики. — Ведь текстильная промышленность у нас одна из наиболее старых отраслей промышленности.

— Химики не дают хороших красителей, — ответил он. — Но дело, конечно, не только в красителях, а и в других химикатах, которых мы не получаем. Чтобы повысить стойкость окраски ткани и сохранить яркость, необходимо после крашения закреплять ее в растворе четыреххлористого олова. Но где его взять? Нам его не дают. — Он заметен волновался. — Мы знаем, что надо сделать, чтобы ткани не выцветали и не выгорали, здесь секрета нет... Я на что уже пошел, чтобы олово достать, — школьников поднял, консервные банки предложил им собирать. Соорудили специальную ванну для электролиза и стали снимать олово с консервных банок. Мы у себя на фабрике сами стали четыреххлористое олово изготавливать. А что из этого получилось? Узнали об этом — и бах! — нам дополнительную программу по производству этого самого олова. Ну хорошо, программа программой, мы не против порядка, программа, так сказать, дисциплинирует производство, но нам из Госплана прислали указание все олово отгрузить по присланному разрядкам... Как же я могу поднять качество, если то, что мне необходимо, я не получаю, и даже то, что сам организую для повышения этого самого качества, так и это у меня отбирают?!

— Вот вы нас здесь стыдите, — вступил в разговор другой директор, — но скажите, а что мы еще не сделали, что могли и должны были сделать, чтобы выпускать ткани только отличного качества? Что еще мы не сделали то ли из-за нашей нерадивости, то ли из-за нашей тупости, то ли по злому умыслу?

Все это были вопросы конкретные, и на них необходимо было давать такие же конкретные ответы.

Многие из руководителей не любили обсуждать такого рода вопросы. Обычно оратора старались сбить окриками — нечего, мол, ссылаться на объективные причины.

В Комитете стандартов мы нередко принимали промежуточные решения: разрешали до установленного срока сдавать продукцию с отступлениями от стандарта и обязывали наркоматы произвести к этому сроку на заводах все необходимые работы с таким расчетом, чтобы требования стандарта были выполнимы.

Жизнь показала, что Указ об ответственности за качество фактически бил не столько по бракоделам, сколько по разумным, инициативным людям. Он лишал их возможности искать наиболее целесообразные решения для данного момента и для конкретных условий.

Мне пришлось в те времена заняться разбором одной просьбы. Директор Ижорского завода мог отпустить для ремонта паровозов трубы, а директор Коломенского завода соглашался их использовать. Но толщина этих труб была выше, чем этого требовал стандарт. Формально завод не мог эту продукцию отправить в Коломну — отдел технического контроля протестовал, боясь ответственности.

И вот заместители двух наркоматов, в ведении которых были заводы, явились в комитет за решением этого простого вопроса.

— Разрешите нам отправить трубы, а нам—принять,—стали в один голос просить оба.— Мы понимаем, что размеры этих труб отступают от требований стандарта так же, как и старый паровоз не соответствует требованиям нового, но ведь его мы ремонтируем и используем.

А что Ижорскому заводу делать с этими трубами? Вновь их переплавлять?

Конечно, разум говорит о том, что эти трубы надо использовать. Но на Комитет стандартов все время сыпались упреки — мы, мол, очень либерально подходим к бракоделам. В это время ко мне зашел Зернов, и мы приняли правильное решение — использовать эти трубы, хотя ряд работников комитета и считал такое решение неверным.

Меня все это чрезвычайно тревожило. Страх — не стимул для повышения качества. Не лучше ли решать проблему путем заинтересованности, поощрения за выпуск высококачественных изделий? Еще работая в Наркомате оборонной промышленности, мы пытались найти решение проблемы качества с помощью метода поощрения. Предлагали установить лимиты на брак: если брак будет ниже установленного лимита — предполагалось выплачивать премию. Но это предложение не было тогда принято.

А вот теперь вышел суровый закон об ответственности за выпуск нестандартной и некомплектной продукции.

Зато печать, усиленно пользуясь методом убеждения, привлекает внимание общественности к необходимости повышать качество продукции. Но этого было недостаточно.

Нам, в Комитете стандартов, хорошо видна была работа промышленности, ее слабые места. Мы знали, что в лесной промышленности отсутствие оборудованных складов, сушилок ведет к тому, что потребителям отправляется лес с высокой влажностью. Однажды я присутствовал на совещании по топливу в Госплане, и работник Госплана убеждал представителя из Эстонии в том, что у них огромный запас дров, а тот отвечал ему, что это не дрова, а заготовка для дров, дровами это станет только тогда, когда просохнет, а для естественной сушки нужно длительное время. Тут я вспомнил, как хранится лес в Швейцарии, через которую я проезжал в 1932 году. Там пиленный лес, аккуратно уложенный штабелями вперемежку с деревянными прокладками, весь находится под навесом.

Вспомнил я и как относятся в Германии к бумажным отходам, как там собирают каждый клочок бумаги, каждую пустую папиросную коробку. Когда я жил в Эссене, я каждое воскресенье встречал в привокзальном скверике старичка. У него за плечами был рюкзак, а в руках палка с острым наконечником. Он подбирал, протыкая им, папиросные коробки, бумажки от конфет, куски газет и все прочие бумажные отходы и складывал в рюкзак. Вначале я думал, что он следит за чистой сквера, убирая мусор, но оказалось, что он просто собирает бумагу и сдает ее на фабрику и ему платят за каждый доставленный килограмм,— на это он живет.

У нас же сбора бумажных отходов по существу нет, их собирают время от времени школьники. Педагогически это, может быть, и правильно, но практически одного этого недостаточно.

В машиностроении большими вопросами были нормы точности и долговечность станков.

В металлургической промышленности, помимо точности проката и увеличения количества сортов, наибольшие трудности вызывали цеха по отделке готовой продукции.



На всех тех заводах за границей, где мне пришлось бывать, в прокатных цехах отводились большие площади для контроля и исправления дефектов прокатных изделий. Ведь и там в производстве стали и ее прокате бывает брак, но он исправляется, и изделия доводятся до кондиции. Небольшая мощность отделочных цехов у нас вела к тому, что потребителям листовая сталь, например, отправлялась волнистой, с рваными краями. Это вызывало у них справедливые нарекания и становилось предметом разбирательства в Комитете стандартов.

В пищевой промышленности не было хорошо оборудованных складов, не хватало холодильных устройств. Этой отраслью промышленности в комитете занимался профессор Касаткин. У него всегда было полно народу. Там вечно спорили и стояли специфические запахи. Мой кабинет был рядом, и я, зайдя как-то к Касаткину, наблюдал ожесточенную баталию: заместитель наркома рыбной промышленности М. Н. Николаев, чудесный человек, из балтийских моряков, с жаром доказывал, что принесенная им в качестве образца рыба не только съедобна, но превосходна. Работник же санинспекции не соглашался с ним и предупреждал, что он не позволит снабжать население такой рыбой. Николаев с неприязнью глядел на инспектора и кричал, что такую рыбу с руками оторвут в лучших ресторанах Европы.

— Всех убеждаешь, что она съедобная, а сам небось другую потребляешь.

Николаев рывком схватил скальпель, отхватил большой кусок осетрины и на глазах изумленного инспектора съел его.

— Тоже мне гурман! — Потом, обращаясь к Касаткину, спросил: — У тебя здесь водка есть?

— Вон экспонаты в шкафу.

Николаев подошел к шкафу, вынул бутылку, выбил пробку и запил съеденную рыбу.

— А наш-то герой боится все-таки, — сказал, смеясь, инспектор. — Водки на всякий случай хлебнул.

— А что же мне ее — клюквенным морсом запивать?

Все рассмеялись, и спор приобрел более спокойный характер

Так, в спорах и поисках, рождались наши технические законы. В них отражался уровень развития отдельных отраслей промышленности и ее общая направленность.

Скоро комитет завоевал известный авторитет, и те его решения, которые вызывали какие-либо трудности, представители наркоматов предпочитали обсуждать с самим комитетом, а не обжаловать эти решения в правительство, хотя такое право было им предоставлено.

Комитет стандартов свои решения принимал на основе анализа научных и технических исследований, опираясь на опыт лучших предприятий страны, в то время как в наркоматах приходилось часто принимать волевые решения.

Многие, кто не знаком с работой по стандартизации, считали и, вероятно, считают до сих пор, что из всех центральных учреждений Комитет стандартов — самое спокойное место. На самом деле это совершенно не так. Особенно нервной и напряженной была работа комитета в первые дни его существования.

Уже с первых же шагов своей деятельности комитет обнаружил, что немало из записанных в стандарты технических показателей промышленностью не соблюдаются, а на многих заводах в стандарты никто никогда и не заглядывал. С другой стороны, стало ясно, что во многих стандартах записаны технические требования, не имеющие ничего общего с реальными возможностями производства. Наконец после внима-

тельного изучения было установлено, что многие стандарты содержат ненужные, часто противоречивые и ошибочные показатели, совершенно не определяющие качество промышленных изделий. По всей видимости, при разработке стандартов никакой общей идеи не было, и среди стандартов на важные и массовые изделия промышленности мы обнаруживали стандарты, разрабатывать и устанавливать которые не было никакой необходимости. Особенно запомнился мне стандарт на раков. В нем среди прочего было записано: «Рак первого сорта должен быть живым и шевелить усами». Ну, а что будет с тем поставщиком раков, если этот самый рак будет отчаянно бить хвостом, но откажется «шевелить усами»?! Перед глазами вставали грозные строки Указа: за несоблюдение стандартов виновные подвергаются тюремному заключению на срок от пяти до восьми лет.

Однако было много и таких случаев, когда руководители некоторых наркоматов и заводов, желая во что бы то ни стало обеспечить выполнение производственного плана, снижали требования к изготавливаемой продукции.

В некоторых отраслях технический уровень производства был низок из-за того, что промышленность не получала того вида сырья, из которого исходили качественные показатели стандартов.

Рассматривая вопросы, связанные со стандартизацией, мы, как в большом зеркале, видели отражение всех слабых сторон нашей промышленности, ее сырьевую базу, оборудование заводов, состояние технологии производства, уровень технической подготовки кадров и многое другое. И — что особенно ценно — мы видели в этом зеркале и людей, их отношение к производству. В ходе обсуждения практических дел самых разных калибров вдруг обнаруживались тупость и бездарность иных руководителей, обнаруживались честолюбцы и очковтиратели, и часто совсем неожиданно среди работников «второго плана» выявлялись технически грамотные и смелые рационализаторы производства, болеющие за порученное дело, пекущиеся о прогрессе страны, о том, чтобы советские изделия были и хорошими и дешевыми.

Прежде мне никогда не приходилось видеть стандарты. Работая в Челябинске на заводе ферросплавов, я никогда не брал в руки ни одного стандарта, а при работе в оборонной промышленности мы пользовались преимущественно техническими условиями, во всяком случае броневая сталь сдавалась военным приемщикам по совместно подписанным техническим условиям.

И вот теперь мне надлежало не только всю эту документацию изучать, но и утверждать.

Ознакомление со стандартами обнаружило много любопытного. Как археологи по отдельным предметам материальной культуры судят о том, кто населял ранее изучаемый ими район и насколько высока была культура живущего там народа, так и при изучении стандартов можно было видеть, кто насаждал в той или иной отрасли промышленности технологию производства, откуда поступило оборудование и специалисты каких стран организовывали здесь производство. В одном из стандартов на шелковые ткани я встретил слова: «пюсиный цвет».

— Что значит пюсиный цвет? — спросил я сотрудника комитета — текстильщика.

— Темно-коричневый, — ответил он.

— Но почему же так и не записать?

— А в шелковой промышленности за тканями темно-коричневой расцветки так и закрепилось это название — ткань пюсиного цвета.

Оказывается, корень этого слова происходит от французского

«пюсе» — блоха. Русские дамы считали неприличным произносить — ткань блошиного цвета, но то же самое, сказанное на французский манер, звучало благороднее.

В цветной металлургии много терминов было перенято у англичан. Металлургическая печь для выплавки меди, никеля и других металлов называлась ваттер-жокетом (водяная рубашка). Слиток из меди носил наименование вайер-барса. В сочетании с русскими словами эти часто исковерканные английские слова вели к смешным выражениям. В стандарте на медные слитки было, например, записано: «Рожа вайер-барса не должна быть морщинистой», что должно обозначать: «Лицевая поверхность слитка должна быть гладкой».

А ведь стандарты были техническими законами.

В первые дни работы в комитете, особенно в приемной председателя, всегда было полно народа. Наркомы, их заместители, директора заводов — все шли в комитет в поисках решений: только ему было предоставлено право отменять стандарты и вводить новые.

Нарком, руководивший рыбной промышленностью, в ведении которой находилось, в частности, производство бочек, с мольбой в голосе просил Зернова отменить стандарт на бочки.

— А почему его надо отменять? — спросил Зернов.

— Да по этому стандарту даже лучший бондарь страны не сможет изготовить ни одной бочки! — с возмущением объяснял нарком. — Вот смотрите, чего только здесь не записано! Диаметр бочки в середине, а также сверху и внизу, расстояние между обручами, их толщина, ширина, зазор между обручами — и на все эти величины установлены жесткие допуски. Даже в авиационной промышленности требования к точности меньше, чем здесь.

Когда мы рассмотрели стандарт, то увидели, что кто-то так перемудрил, что действительно ни одной бочки по этому документу изготовить нельзя.

— Да кто же утверждал этот стандарт? — спросил Зернов.

Нарком опустил глаза и с горечью произнес:

— Вот в том-то и дело, что я сам. Подсунули мне вместе с другими документами — я и утвердил. А отменить его теперь не имею права.

Из Ленинграда приехал директор завода «Светлана» Восканян.

— Три дня не выпускаем лампы. Ни одной лампы не могли сдать. Все забраковано. Раньше никто не обращал никакого внимания на то, сколько часов лампа проработает. Установленной стандартом норме ни одна лампа не соответствовала. Это мы обнаружили, когда отдел технического контроля стал проверять показатели качества.

— В чем же дело? Почему лампы не работают положенное число часов? — спросил я Восканяна.

— Цоколь лампы изготавливается из металла фурудита. Мы штампуют его из металлической ленты. Так вот, эта лента не держит вакуум — металл пористый. Не металл, а марля какая-то.

— А кто вам эту ленту поставляет?

— Московский завод «Серп и молот».

Я стал вспоминать. Ведь мы изучали производство фурудита в Германии — на заводах Круппа и Рёхлинга. За техническую помощь Советский Союз уплатил им большие деньги. Кто же изучал это производство? Я вспомнил: инженер Фрид с московского завода «Серп и молот». Может быть, он еще работает на заводе?

Я позвонил директору завода Ильину и спросил, работает ли у них еще Фрид?

— Работает.

— Нельзя его направить к нам, в Комитет стандартов?

— Когда?

— Если можно, то сейчас же. Мы разбираем очень важный вопрос. Он нам может помочь в этом.

Через несколько часов Фрид был у нас в комитете.

— Вы ведь изучали производство фурудита в Германии?

— Да, изучал.

— Чем вы объясните, что лента из фурудита, изготавливаемая вашим заводом, такая пористая?

Фрид стал нам подробно объяснять особенности кристаллизации сталей этого типа.

— Для уменьшения величины кристаллов, как вам хорошо известно,— сказал Фрид, обращаясь ко мне,— на заводах Круппа и Рёхлинга в такую сталь вводят азот. Они производят у себя для этого азотированный феррохром. Но азотированный феррохром необходимо специально изготавливать, а это довольно сложное дело. Так вот, для упрощения производства работники нашего завода решили изготавливать фурудит на обычном феррохроме без азота. Это первое отступление от сложившейся мировой практики. Но есть и второе. Содержание углерода в фурудите должно быть очень низким, а наши умники решили увеличить его содержание вдвое против норм, принятых на всех европейских заводах. С предложениями повысить содержание углерода в фурудите и исключить из его состава азот директор завода обратился в Наркомат черной металлургии. Заместитель наркома связался с наркомом радиотехнической промышленности И. Г. Зубовичем и предложил ему внести в действовавший тогда стандарт указанные поправки. Как мне рассказывали, присутствовавшие при разговоре с Зубовичем работники Наркомата черной металлургии заявили: «Если вы откажетесь принять новые условия на фурудит, то совсем ничего не получите». Зубович дал согласие. Новые условия были подписаны, и затем они были утверждены заместителем наркома черной металлургии и наркомом радиотехнической промышленности. «Серп и молот» стал выполнять план по фурудиту и поставлять его «Светлане», а «Светлана» — изготавливать из негодной фурудитовой ленты негодные лампы.

Как досадно было все это слушать! Еще десять лет назад изучили мы производство фурудита и умели изготавливать его не хуже немецких заводов. Зачем же в погоне за упрощением технологии производства снижать качество?

Вопрос о фурудите был предметом разбирательства в Совнаркоме. Начальники, изменившие стандарт, были наказаны, а заводу был дан месячный срок для восстановления прежней технологии производства.

...Примерно через две недели после опубликования Указа об ответственности за качество продукции председателя комитета вызвал Молотов.

— Очень неприятный разговор был,— сказал мне Зернов, возвратившись из Кремля.— Когда я вошел в кабинет Молотова, я застал там генерального прокурора В. Н. Бочкова. Они с Молотовым до моего прихода вели, видимо, какой-то разговор. Молотов, обращаясь ко мне, сказал: «На вас жалуются, вы не помогаете прокуратуре. Прошло уже две недели со дня издания Указа, а до сего времени никто не привлечен к ответственности. Что, у нас в стране исчез брак и промышленность сразу же преобразилась? Бракоделов не стало, что ли?» А Бочков, кивая в мою сторону, стал жаловаться, что в комитете собрались какие-то академики, оторванные от жизни. Они, кроме документов, ничего не

видят. Я сказал, что нам в первую очередь надо как можно скорее навести порядок в стандартах — это дело очень запущенное. Разве можно кого-либо привлекать к суровой ответственности, когда в технической документации полный беспорядок?..

В Комитете стандартов постепенно образовался коллектив квалифицированных работников, больших специалистов в своей области. С ними стали считаться работники промышленности, но были среди них, конечно, и слабые работники. Они становились в тупик, когда складывались необычные обстоятельства.

Огромное большинство проектов на стандарты поступило в комитет с разногласиями: некоторыми показателями были недовольны производители продукции, другими — потребители, а нередко и те и другие.

Работники комитета, занимающиеся соответствующей отраслью, собирали заинтересованных лиц и рассматривали эти разногласия. Постепенно у некоторых из них сложилось представление, что главная их задача — ликвидация разногласий, и они считали большим достижением, когда им удавалось добиться согласования документа. До сего времени у меня перед глазами стоит один из таких недалеких людей, которые, к несчастью, до сего времени еще не перевелись в наших учреждениях. Назовем его Петровым.

Петров получил как-то проект стандарта, полностью согласованный между производителями и потребителями того изделия, стандарт на которое устанавливался. Петров растерялся: как быть? Если бы возникли разногласия, он собрал бы людей и стал рассматривать эти разногласия, пытаясь убедить стороны прийти к какому-то соглашению. Ну, а если разногласий нет, что делать тогда? В чем должна заключаться его роль?

Петров обратился ко мне:

— Мы получили проект стандарта, никто никаких замечаний по нему не сделал. Как же нам быть? Может быть, организовать разногласия?

Я вначале даже опешил.

С тех пор выражение «организовать разногласия» стало ходить по комитету.

Иногда грубые ошибки в документах пропускали крупные специалисты, и их обнаруживали сотрудники комитета, не имеющие специального образования.

В разработке стандарта на котельно-топочные листы принимали участие несколько десятков крупных специалистов. Проект стандарта наконец поступил в комитет. Он входил в перечень стандартов, утверждаемых не комитетом, а правительством, и его необходимо было направить на утверждение Совнаркома. Комитет подготовлял только проект. Ввиду особой важности документа мы решили создать экспертную комиссию и поручить ей еще раз тщательно просмотреть разработанный проект стандарта. В состав экспертной комиссии входили два академика, пять главных инженеров основных заводов, производящих этот тип стали, четыре профессора — в общей сложности семнадцать экспертов, все они, ознакомившись с документом, поставили под ним свои подписи.

Я также завизировал его. Документ поступил на регистрацию, где ему должны были присвоить номер. Регистрацией стандартов у нас занималась Иванова. Человек умный, с сильным характером, она в высшей степени добросовестно выполняла порученное ей дело. Когда стандарт поступил к ней на регистрацию, Иванова, хоть и не была специалистом, все же внимательно прочитала его, а затем вместе с проектом стандарта пришла ко мне.

— Стандарт нельзя направлять на утверждение правительства,— заявила она.

— Это почему же нельзя?

— А им нельзя будет пользоваться, здесь записаны невыполнимые требования,— уверенно ответила она мне.

Между нами началась перепалка.

— Вот еще новый специалист по металлургии объявился. Стандарт смотрели крупнейшие специалисты страны и считают его хорошим, а вы не признаете.

— А вы не шумите и посмотрите сами, что здесь написано.

Действительно, в методах испытания было, в частности, указано, что из стального листа для проверки пластических свойств стали должна вырезаться проба длиной шестьдесят миллиметров и сечением десять на десять миллиметров.

— Прочитали? — спросила Иванова с чувством превосходства в голосе.— Ну а теперь посмотрите на таблицу, из листов какой толщины необходимо вырезать эти пробы.— (В таблице стояло шесть миллиметров, восемь и так далее.) — Хотя я и неспециалист, но все-таки разбираюсь, что из шести- и восьмимиллиметрового листа нельзя вырезать пробу сечением десять на десять миллиметров... Надо все-таки смотреть, что подписываете!

Чувство раздражения у меня моментально улетучилось. Ну какой же она молодец! Все проглядели, а она заметила! Не только заметила, но не допустила до ошибки, уничтожавшей весь документ.

— А как же в старых стандартах было? — спросил я Иванову.

— В старом стандарте было сделано примечание о том, что этот вид испытания не относится к листам толщиной шесть и восемь миллиметров.

А кто-то это примечание исключил.

После этого случая для меня окончательно потеряло значение деление работников на ответственных и рядовых. Нет, такое деление для нас не подходит.

...Дни шли, комитет постепенно укреплялся, рос численно и выработывались методы работы над стандартами.

Зернов был очень хорошим организатором. Он умел подбирать людей и устанавливать с ними правильные отношения.

В первые месяцы нам приходилось работать не только дни, но и ночи. Запущенность дела стандартизации и суровость мер наказания за несоблюдение стандартов вызывали необходимость принятия быстрых решений.

Когда волна срочных дел схлынула и все начало входить в нормальную колею, мы смогли вводить плановость в свою работу. Появились наметки, что следует в первую очередь разрабатывать и поправлять.

Научно-технические материалы, на основе которых создавались стандарты, поступали от наркоматов и ведомств, и нередко в тех сведениях, которые мы получали, чувствовалась необъективность и ведомственный подход. Это вело к тому, что споры относительно того, что необходимо записывать в стандарт для объективного суждения о качестве, превращались в схоластические дискуссии, отнимали много времени и мешали принятию разумных решений.

Мы постоянно опирались на исследовательские институты и конструкторские бюро и установили обширные связи с основными научными учреждениями страны. Вопросы качества волновали всех. Многие понимали, какие огромные дополнительные резервы можно будет

использовать, если ликвидировать брак и удлинить срок службы изделий промышленности. К работе в комитете было привлечено много талантливых специалистов, пользовавшихся большим уважением в тех отраслях промышленности, откуда они к нам пришли. Их связи с промышленностью и исследовательскими организациями давали обильный и ценный материал для разработки научно обоснованных норм и правил.

На коллегии комитета обсуждались перспективы дальнейшей стандартизации и необходимости укрепления научной базы для проведения исследований, связанных с разработкой стандартов. Готовились предложения об организации своего исследовательского института.

Но в это время за рубежами нашей страны вынашивались другие планы.

### В дни войны

Наступила весна 1941 года, пришло время отпусков. Последний раз я отдыхал, и то всего две недели, в 1937 году, и Зернов предложил мне, первому из руководства комитета, поехать в отпуск.

Всей семьей — я, жена, дочь, сын — мы готовились к поездке в Сочи. Я получил путевки в санаторий Совнаркома, купил четыре билета в скорый поезд — все складывалось очень хорошо, но какая-то ничем не объяснимая тревога не давала покоя. Мне почему-то не хотелось выезжать из Москвы. И вот в субботу 21 июня я решил посоветоваться с Тевосяном — стоит ли мне ехать сейчас на курорт или нет? «Но он ведь обязательно спросит: «Почему же, собственно, не ехать?» — подумал я. — Что я ему на это отвечу?» И я решил позвонить и просто попроситься с ним перед отъездом. Я был уверен, что, если он располагает какими-нибудь сведениями относительно военных дел — а ведь в это время война в Европе охватила много стран, вернее, под гитлеровским сапогом уже находились почти все европейские государства и тревожиться, в общем-то, было чего, хотя договор о ненападении, заключенный с Германией, формально не давал для этого основания, — он найдет способ, чтобы предупредить меня.

Я так и сделал. Поговорив о том, о сем, я как бы невзначай сказал Ивану Тевадросовичу:

— Собираюсь завтра ехать в отпуск.

— Куда же отправляешься? — спросил он.

— В Сочи.

— Один или с чадами и домочадцами?

— Забираю всех.

— Ну, рад за тебя. Желаю хорошенько отдохнуть.

После этих слов я осмелел и уже спросил напрямик:

— Так ты советуешь ехать?

— Конечно, какой еще может быть разговор. А почему ты сомневаешься?

— Да обстановка какая-то такая, не для отпуска...

— Напряженная обстановка уже давно на нашей планете. Они воюют, а мы пока еще нет, так что следует воспользоваться передышкой и набирать силы. Ты даже и не сомневайся. Езжай и отдыхай.

Этот разговор с Тевосяном снял лежавшую на душе тяжесть. Итак, мы едем в воскресенье.

Поезд отправлялся из Москвы в одиннадцать часов с минутами. В десять часов утра я запер квартиру и, поворачивая ключ в замочной скважине, услышал телефонный звонок. Ну нет, дудки, я уже в отпуске и никаких телефонных звонков слушать не буду.

В нашем вагоне народу было немного. В соседнем купе ехал — так же, видимо, на отдых — полковник, а через купе от нас — работник Совнаркома. Он ехал в тот же санаторий, что и мы.

Перед Курском полковник стал собирать вещи. Когда я проходил мимо его купе, он спросил:

— Вы не сходите в Курске?

— Нет, мне дальше.

— И мне тоже нужно было дальше, но вот приходится сходить.

— Что же делать, раз нужно, то нужно. Разные бывают обстоятельства.

Полковник недоуменно посмотрел на меня.

— Вы что же, ничего не знаете?

— А что такое?

— Мы вступили в войну с Германией! Немецкие войска перешли нашу границу. Идут бои.

Это было как удар обухом по голове.

В это время поезд остановился у платформы станции Курск. Полковник взял свой чемодан и, прощаясь, посоветовал мне тоже немедленно возвращаться в Москву.

Я решил сойти в Харькове: там у меня были знакомые, отсюда мне легче будет добраться до Москвы. К тому же сходить в Харькове решил и мой второй сосед по вагону, работник Совнаркома. В Белгороде поезд остановился, и в соседний вагон сел новый пассажир. Мы стали его спрашивать о новостях, и он подробно рассказал нам все, что знал сам.

— Сегодня в шесть утра я сам слушал радиопередачу, — говорил он. — В Германии государственный переворот. Гитлер арестован. К власти пришло правительство Риббентропа. Советские войска вошли в Варшаву. Новое правительство Германии просит перемирия...

Мы слушали его и верили всему, что он говорил. Верили потому, что для нас война все же была полной неожиданностью. К тому же все мы находились под впечатлением так легко закончившихся военных операций в Польше.

Пассажиры, направлявшиеся на отдых в Сочи, стали держать совет, как быть: возвращаться в Москву или же ехать дальше. Пришли к выводу, что надо еще раз попытаться получить точные сведения в Харькове и уже тогда принимать окончательное решение.

В Харькове на вокзале нам подтвердили, что такие радиопередачи действительно были. Снова посоветовавшись, мы все же решили ехать дальше, до Ростова, — там одного из пассажиров должны были встречать и там мы получим достоверную информацию.

От веселого отпускного настроения не осталось и следа. Тревога сжимала сердце. Дети перестали резвиться. Мы с женой молчали.

В Ростове в соседнее купе вошел полковник госбезопасности. Мы познакомились. Я сказал ему, где и кем работаю.

— Ну, а кто я, вы сами видите. Да, неудачно вы выбрали время для своего отпуска, — сказал он.

Я рассказал ему о том, что мы услышали от белгородского пассажира и на харьковском вокзале.

— Глупости все это! Идет война. Гитлеровская армия перешла во многих местах нашу границу. Я советую вам ехать до Сочи, а оттуда уже в Москву. Иначе вы можете застрять где-нибудь на промежуточной станции. Кстати, я тоже еду в Сочи. Но, конечно, не отдыхать. Правда, и в Сочи вам будет нелегко сесть в вагон. Оттуда в первую очередь будут отправлять офицеров — им надо немедленно вернуться в свои части. Но вам-то помогут получить место в вагоне — директор санатория Совнаркома сумеет сделать это.



Поезд остановился у станции перед самым Туапсе. Я вышел из вагона и у окна одного из вагонов встречного поезда увидел И. И. Носенко.

— Ты куда направляешься? — спросил он меня.

— В Сочи.

— Сумасшедший! Как ты оттуда выбираться будешь? Знаешь, что там сейчас делается? Сколько вас в вагоне?

— Шесть человек.

— А я от самого Сочи сгую у окна — у нас в купе двенадцать.

— Но что же делать? Ведь если я сойду здесь, мне вообще не попасть на поезд.

— Ну, смотри.

Раздались свистки паровозов, и поезда тронулись — один, перегруженный людьми, — на север, второй, полупустой, — в Сочи.

На сочинском вокзале нас встретил сотрудник санатория, и мы быстро попали на его территорию. Здесь ничто не говорило о войне. Казаюсь, все сообщения о военных действиях просто вымысел. Тишина, покой. На берегу — никого. Тихо. Только плещет волна. Сияет солнце, на небе ни облачка...

Я попросил директора санатория отправить меня с первым же поездом в Москву.

— Вряд ли я сумею это сделать завтра, но на послезавтрашний постараюсь обязательно устроить... А может, война через несколько дней и закончится? Как вы думаете? — с надеждой спросил он меня.

Как я думаю?.. Что мог я ему на это ответить? Я был окончательно сбит с толку. Ведь еще за несколько часов до начала военных действий даже члены правительства ничего не подозревали. Я же вечером 21 июня разговаривал с Тевосяном, и он пожелал мне хорошего отдыха...

А может быть, действительно все быстро закончится? С этой мыслью я и заснул.

Утро было чудесное, синело море. Где-то послышался гул самолетов, к Сочи приближалось звено, и вдруг по нему началась стрельба из зенитных орудий.

— Что это за самолеты? Почему в них стреляют? Неужели немецкие? Здесь, в Сочи!

Это так и осталось загадкой. Одни утверждали, что самолеты были немецкие, другие — что наши зенитчики, растерявшись, открыли огонь по своим.

На следующий день утром директор санатория сообщил, что мы можем ехать и он устроит нас даже в мягком вагоне. Приехав на вокзал, мы обнаружили, что к вагону трудно добраться, — все было запружено людьми. С большими усилиями мы протиснулись в забитый чемоданами узкий коридор вагона, и вдруг в конце его я увидел знакомого полковника госбезопасности. Он знаками показал, что в его купе есть свободное место. Жена с детьми устроилась на верхней полке, я сел на поставленный в коридоре чемодан.

На всем пути от Сочи до Москвы все станции были буквально запружены народом; разговоры шли только о военных событиях, а газеты содержали скудные сводки военных действий. Всей серьезности происходящего еще никто отчетливо не представлял.

Когда я вернулся в Москву, то Зернова в комитете не застал — он был направлен в западные районы страны для эвакуации промышленных предприятий. В Москве формировались дружины народного ополчения, и некоторые сотрудники комитета были зачислены в эти дружины. Началась эвакуация детей.

Только мы отправили дочь вместе со школой, вышло решение об эвакуации всех сотрудников комитета в Барнаул. На сборы дали сутки.

Для эвакуации Комитета стандартов выделили эшелон товарных крытых вагонов-теплушек.

Начался долгий процесс погрузки. Наконец состав тронулся — по нашим расчетам, мы должны были находиться в пути около недели. На следующий день обнаружилось, что и впереди нас, и за нами движутся эшелоны с эвакуированным населением. Казалось, что все города европейской части Советского Союза пришли в движение и начали отходить к Волге и дальше, освобождая место для великой битвы.

В Барнаул приехали на тринадцатый день утром и стали разгружаться. Для размещения комитета выделили большой старинный дом. Когда-то здесь была резиденция генерал-губернатора, в последние годы — Дворец пионеров.

Еще из Москвы, как только состоялось решение об эвакуации комитета в Барнаул, мы направили туда двух сотрудников для переговоров с местным начальством о выделении служебных помещений для работы и под жилье для сотрудников.

Уже в Новосибирске мы встретились с нашими посланцами, и они сообщили, что представители местной власти очень тепло их приняли и обещали оказать всяческое содействие и на следующий же день предложили несколько десятков комнат для жилья. Так что по пути в Барнаул мы смогли приступить к распределению ордеров на комнаты. А когда эшелон прибыл в Барнаул, многие из сотрудников комитета вместе со своими семьями и имуществом сразу же направились по переданным им адресам на новое место жительства, а большинство было отправлено в здание Дворца пионеров. Большой старый дом с садом моментально превратился в шумный лагерь. Прибывавшие на грузовых машинах небольшими группами сотрудники комитета располагались прямо на полу, среди чемоданов и узлов. Во дворе запылали костры — кипятили воду и готовили в котелках и кастрюлях пищу. Часть прибывших направилась осматривать предложенные им для поселения комнаты, а часть разбрелась по городу.

Я же сразу пошел знакомиться с местными властями. Секретарем обкома был товарищ Лобков. Он — по всему видно — очень любил свой Алтай и, как истый энтузиаст, с места в карьер стал рассказывать мне о богатствах края.

— Вы знаете, что мы месяц в году всю страну хлебом кормим. Здесь очень плодородные земли — чернозем, но не хватает людей, чтобы поднять еще больше земли. А сколько рыбы в реках! Но реки у нас безлюдные. Стоишь на берегу Оби и только водную гладь видишь. Здесь не то, что на Волге! Там вся река запружена — пароходы, плоты, лодки, а здесь иногда за день что-нибудь проплывет по реке, а другой день совсем ничего нет. А в горах сколько богатств! Здесь люди нужны. Ох, как нужны!

\* \* \*

Не успели мы еще как следует разместиться, как меня пригласили в обком, к Лобкову. Иду в обком — он совсем рядом. Лобков говорит:

— Звонили вам из Москвы, из ЦК. Просили разыскать вас и связаться по телефону.

Соединившись с Москвой, Лобков передал мне трубку. Телефонная связь Барнаула с Москвой была хорошей.

— Через несколько часов будет подписано решение Государственного Комитета обороны о назначении вас уполномоченным ГКО по производству танков в Челябинске, — сказали мне. — Ваш мандат мы пере-

шлем в Челябинск. Вы его получите у секретаря Челябинского обкома. Вы можете лететь?

— Лететь в самолете могу.

— Передайте трубку Лобкову.

Я не знал, о чем они говорили, и слышал только ответ Лобкова.

Обращаясь ко мне, Лобков пояснил:

— Мне приказано немедленно отправить вас в Челябинск самолетом. Из Новосибирска до Свердловска самолеты летают, а вот как я переправлю вас до Новосибирска? Попробуем что-нибудь сделать.

Он позвонил начальнику летной школы. Переговоры были долгими, наконец договорились.

— Начальник школы обещает отправить вас на учебном самолете «У-2» до Новосибирска, а оттуда можно лететь рейсовым самолетом,— сообщил мне Лобков.— Я в Новосибирск позвоню, там вам помогут.

Через час я уже был на летном поле.

Устроился я в открытой кабине самолета сзади летчика. Шляпу зажал в коленях и поднял воротник. Мы взлетели, шли низко. Погода была неважная, моросил дождь. За шиворот стекали струйки воды.

Наконец и Новосибирск. Весь мокрый, я вылез из самолета. Еще через час я был уже в другом самолете. К вечеру мы прибыли в Свердловск. В здании аэропорта было много народу. Я зашел к начальнику аэропорта и назвал свою фамилию.

— Немедленно отправим, я уже получил указание,— сказал он мне.

В здании аэровокзала я встретил группу инженеров из ленинградского Гипромеза. Одного из них я знал.

— Вы как сюда попали? — спросил я его.

— Едем на Магнитку — туда эвакуировали бронепрокатный стан. Надо будет срочно спроектировать его размещение и привязать все коммуникации. Да вот никак не можем выбраться из Свердловска — уже третий день торчим на аэродроме. Вы не поможете нам отсюда выбраться?

— Попытаюсь,— пообещал я и снова пошел к начальнику аэропорта.

Я объяснил ему, какое значение имеет для нас быстрый пуск на Магнитке бронепрокатного стана.

— Вот чудачки! Чего же они мне толком не объяснили? У меня есть один шестиместный самолет, вот его я, пожалуй, и отправлю с ними. Вас высадят в Челябинске, а они полетят дальше.

«Где же мне придется работать, на каком заводе?» — думал я, находясь в самолете.

Незадолго до начала войны я с группой специалистов выезжал на Урал для выбора заводов, где можно было бы в случае необходимости организовать производство танков,— вот тогда мы и высмотрели на энском заводе заводские площадки, на которых, по нашему мнению, можно было бы обрабатывать броневые детали и собирать корпуса танков. На этом заводе тогда не было больших прессов, и мы предложили смонтировать один такой пресс мощностью в несколько тысяч тонн. «Как-то сейчас обстоит там дело с прессом?» — подумал я, когда самолет приближался к Челябинску.

Вот и знакомый аэродром. Небольшое деревянное помещение аэропорта. От Свердловска до Челябинска летели около часа.

— Сколько километров от аэродрома до города? — спросил я одного из служащих.

— Вам в какое место города нужно?

— В центр, к обкому.

— Если измерять в километрах, то не больше двадцати, а если по времени считать, то часа полтора затратите. Здесь дорога плохая — прошли дожди и все развезло.

— Вот так так! От Свердловска и часа не прошло, а от аэропорта — полтора часа!

Автобус долго не приходил, и я решил позвонить на ферросплавный завод. Там меня еще, вероятно, не забыли, а директор завода вроде как бы мой старый соратник. В телефонной трубке услышал знакомый голос Дыханова:

— Вы откуда? С аэродрома? Сейчас же посылаю за вами машину. Приезжайте прямо к нам в заводоуправление, в обком всегда успеете.

Через час с завода пришла машина, а еще через час я был уже в кабинете директора. Собралась вся старая гвардия ферросплавщиков. На таких заводах кадры устойчивые. В то время в стране было всего четыре завода, занимавшихся производством ферросплавов, и нередко, как жидкость в сообщающихся сосудах, люди перетекали с одного завода на другой, редко ускользая в сторону.

Появился чай, бутерброды.

— Как у вас жизнь?

— Пока все есть. С жильем только трудно становится. Помните, у нас всегда в резерве две-три квартиры были? Теперь всех пришлось уплотнить. Почти ежедневно прибывают эвакуированные. Мы все ванн-ные комнаты ликвидировали — ванны выбросили, а комнаты заселили. На время войны можно и без них обойтись, в бане помыться.

Я рассказал о цели своего приезда.

— А где жить-то будете?

— Еще не знаю, вероятно, где-нибудь поблизости от завода.

— А может быть, у нас? — хором предложили директор и главный инженер завода. — Вас-то мы поместим, чего вам к чужим-то ехать? Хотя теперь чужих нет — война всех спаяла. Все стали своими.

— Нет, это очень далеко от завода, а мне надо быть все время на производстве.

Я поблагодарил ферросплавщиков и отправился в обком.

Секретарем Челябинского обкома в это время был Сапрыкин. Я зашел к нему.

— Вы очень быстро добрались к нам из Барнаула, — пожимая мне руку, сказал он. — Я не думал, что вы сегодня у нас будете. Ваш мандат еще из Москвы не прибыл, получим, вероятно, завтра. Мне об этом звонили.

Во время разговора Сапрыкин пристально смотрел на меня, а затем спросил, не помню ли я его.

— А я ведь у вас курс лекций по ферросплавам слушал в московской Горной академии. Вот теперь вместе поработаем. Все знают о том, что вы назначены уполномоченным ГКО по производству танков в нашем городе. Я их об этом известил. Вас там ждут. Директор Тырышкин — новый человек, он назначен совсем недавно. Административного опыта у него еще мало, но дело знает. До этого он был главным инженером одного из снарядных заводов. Я думаю, у него дело пойдет, хотя, конечно, помогать надо. Ну, желаю успеха. Если нужна будет помощь, заходите.

Я поблагодарил Сапрыкина и отправился на завод.

Тырышкин, худощавый брюнет с приятным открытым лицом, сразу расположил к себе.

— Ну, рассказывайте, что у вас тут делается? Сколько корпусов изготавливаете за день?

— А мы к производству и вовсе еще не приступали. Механическую обработку деталей производить сможем, но изготавливать детали у нас не из чего. Во-первых, на заводе нет ни листа броневой стали, а во-вторых, и это самое главное, мы вот только-только получили штамповочный пресс. Фундамент для него соорудили, а к монтажу еще и не приступали. У нас-то ведь и специалистов таких нет — на заводе никогда крупного прессового оборудования не было, да и опыта тоже.

— Что же делать будем? Без пресса танковые башни не изготовишь. Хорошо, правда, что Магнитка рядом,— броневые листы мы во всяком случае получим. Они, вероятно, уже наладили производство брони.

— Как знать, ведь они тоже этим делом никогда не занимались.

Тут я вспомнил ленинградских инженеров, с которыми летел из Свердловска. Верно, верно, на Магнитке только еще собираются проектировать размещение бронепрокатного оборудования, эвакуированного с Юга. Так что пока получение брони с Магнитки проблематично.

На завод был уже назначен военпред для приема броневых корпусов. Мы познакомились.

— Все необходимо начинать с азов,— сказал он.

— С чего именно? Без броневой стали ни одного корпуса нельзя сделать. Пока монтируют пресс, нужно было бы завезти броневые листы и начать изготовление деталей, не требующих обработки на пресах. Необходимый инструмент весь имеется?

— На первое время как будто бы есть. Кое-что заказали в Златоусте. Что заказ на инструмент дан, я точно знаю, а вот получено ли что-нибудь по этому заказу — не знаю. Не проверял,— признался военпред.

Вызвал начальника отдела снабжения.

— Для броневого производства у нас на заводе все имеется,— уверенно заявил тот.

— Инструмент для механической обработки деталей есть? — спросил я.

— Инструмент будет. Мы послали в Златоуст заявку уже более месяца.

— А получили что-либо по этой заявке? Вы проверили, в каком состоянии ваш заказ? Для обработки требуется много специального инструмента. Как обстоит дело с его изготовлением?

Снабженец опять повторил:

— Требования, поступающие с производства, я у себя не держу. Меня еще никто не упрекал, что бумаги задерживаю. Я все заявки посылал.

— А не пошлют ли они вас подальше с вашими заявками? — раздраженно заметил военпред.— Вы уже, мне говорили, не одну работу на заводе сорвали из-за того, что вовремя не обеспечивали производство всем необходимым. Вы сами или кто-нибудь из ваших работников в Златоусте были? Проверяли, как идет изготовление инструмента?

— А зачем нам еще деньги на командировки тратить? Я вам сказал уже, что все заказы уже направлены.

Я чувствовал, как во мне закипает раздражение против этого классического представителя управленческой бюрократии.

— Так вот, завтра в десять утра вы доложите мне, как в действительности обстоит дело с выполнением заказа на инструмент, когда и что будет изготовлено и когда заказанный вами инструмент будет на заводе,— сказал я снабженцу.

Вместе с военпредом пошли в цех. Зашли в конторку начальника цеха.

— Как вы думаете, где у вас могут возникнуть узкие места?

— На обработке обычаек. Это, знаете ли, деталь, на которой вращается башня. Обычайки надо обрабатывать на больших карусельных станках, а у нас всего один такой станок. Это скорее всего и будет сдерживать производство.

Утром меня известили, что в Челябинск прибыл эшелон эвакуированных из Ленинграда. Я пошел на вокзал — может быть, встречу кого-нибудь из знакомых. И вдруг почти лицом к лицу столкнулся с инженером Никоновым. Лоб у него забинтован.

— Что это у вас? Ранены?

— Да так, слегка царапнуло. Последние дни под снарядным обстрелом программу выполняли, — как о чем-то совершенно обыденном сказал он.

— Куда же вы направляетесь?

— В Саратов. Ведь здесь нас целая бригада — семнадцать человек. Да еще медицинская сестра — раненые все-таки, без присмотра нельзя.

«Да ведь он же большой специалист по прессам! — чуть не хлопнул я себя по лбу. — И как раз штамповкой деталей занимался. Зачем же ему ехать в Саратов, когда его место в Челябинске — пресс для штамповки броневых деталей монтировать да налаживать».

— Послушайте, Никонов, оставайтесь здесь со всей бригадой — танки делать будем.

— Мне-то все равно, где работать. Но согласовать это надо.

— Это я беру на себя.

Прямо с вокзала я забрал всю бригаду вместе с медицинской сестрой и повез на завод. И сразу же в цех, где необходимо было монтировать пресс. Зашли к начальнику цеха.

— Ну что вам объяснить, товарищи, вы и без меня все хорошо понимаете, — сказал я. — Немцы под Москвой. Нужны танки. Их без брони не изготовить. А для изготовления броневых деталей нужен пресс. Фундамент под пресс уже сделан, но к монтажу пресса еще не приступали. Нам надо составить график производства броневых корпусов. Нужно знать, другими словами, когда мы сможем начать штамповку броневых деталей...

Никонов, казалось, меня не слушал, о чем-то напряженно думал. Когда я закончил, он поднял голову и сказал:

— Оставьте нас одних минут на двадцать. Нам посоветоваться нужно... одним посоветоваться.

Я пошел к себе. У меня была небольшая комната в бытовых помещениях цеха механической обработки. В ней я и жил.

Сколько же времени они будут монтировать этот пресс? До войны, когда мы составляли графики монтажных работ для подобного оборудования, то давали четыре — шесть месяцев. Но теперь, в дни войны, у меня не повернется язык назвать такой срок. А что скажут сами монтажники?

Через двадцать минут я вернулся в цех. Вся бригада вместе с Никоновым была на площадке около фундамента. Никонов, когда я подошел к нему, произнес:

— Распорядитесь, чтобы нам в бытовках поставили несколько лежаков. Спать не придется, отдыхать будем, когда нельзя будет выдерживать без сна. Скажите также, чтобы еду нам сюда из столовой приносили, чтоб время зря не терять. Если эти условия выполняете, то мы монтаж пресса закончим через семнадцать дней. Так, что ли? — обращаясь к бригаде, спросил Никонов.

— Так, так,— раздалось несколько голосов.

Я не верил своим ушам. Это выходило за пределы всех инженерных расчетов и сложившейся практики.

Я сказал, что все, что они просят, будет сделано.

— Ну тогда нечего и время терять. За работу!

На следующий день монтажные работы шли уже полным ходом. Люди работали молча, сосредоточенно и, я бы сказал, ожесточенно.

\* \* \*

Необходимо было обеспечить начало работ броневой сталью, и я поехал на Магнитку. Завод я знал плохо, но знакомых там было много, и я быстро освоился.

— Катать листы мы уже начали, не дожидаясь пуска бронепрокатного стана,— сказал мне главный инженер завода.

— На чем же? — удивился я.

— На блюминге. Поставили гладкие валки и катаем. Сами сильно сомневались — ведь никто раньше листовую сталь на блюмингах не катал,— но что делать? Надо было находить выход. Получается. Хотя управлять станом и нелегко.

Мы договорились о поставке первых же листов в Челябинск, и я возвратился на завод. На блюминге осваивали прокатку толстого листа, тонкий же броневой лист предполагалось изготавливать на Кузнецком заводе. Надо ехать туда.

На следующий же день выехал в Кузнецк. В пути ничего съестного достать нельзя, придется взять чего-нибудь. Езды-то до Кузнецка всего три дня. В заводской столовой во время обеда вспомнил, что никаких продуктов у меня нет. И я завернул в кусок газеты два ломтика хлеба, положив между ними кусочек мяса, вытасченного из супа. Доеду. Не пропаду.

Доехал до Новосибирска. Вечером сел в вагон поезда, идущего в Барнаул,— надо хоть на денек заглянуть в Комитет стандартов, поглядеть, что там делается. С меня ведь никто ответственности за его работу не снимал.

В Барнаул приехали рано утром. «Денек» пролетел быстро — разговоры в комитете и обкоме заняли все время.

В комитете познакомился с директором эвакуированного в Рубцовку Харьковского тракторного завода. Я его раньше не знал.

— Приехал к вам помощи просить. Помогайте, братцы, весь завод из Харькова в Рубцовку вывезли. Надо быстро монтировать оборудование и начинать действовать.

— А электроэнергия есть? — спросил член коллегии комитета Д. И. Миттельман.

— Вот и надо нам со строительства электростанции начинать.

— А как с водой? В Рубцовке как будто и воды нет. На чем электростанция работать будет?

— Воду нашли. Вода есть.

— Хорошая?

Директор засмеялся.

— Вода богатая — всего в ней много: и солей разных, и бактерий. Все нормы по всем показателям превышаются. Мы всю степь перед Рубцовкой в табор превратили. Вы посмотрите, чего только мы туда не завезли!.. Товарищ Миттельман, поедемте к нам. Эх, и дела мы там развернем. Ну сами не можете, так отпустите со мной тех, кого я угворю, не препятствуйте им. Пустим завод, наладим производство — они снова к вам вернутся. Такой завод получится — любо посмотреть будет.

Директор был полон оптимизма и своей жизнерадостностью заражал всех.

— Да, с таким работать будут — он сам, как мощная электростанция, своей энергией может питать и приводить в движение других!

Он уговорил трех наших инженеров поехать с ним, и мы их отпустили.

Наладить работу в комитете было трудно — связи с наркоматами и ведомствами разорваны, людей мало: кто ушел на фронт, кто в оборонную промышленность. Оставшиеся занялись такими вопросами техники, которые требовали срочного решения. А они возникали непрерывно — работа промышленных предприятий в новых условиях, на новых видах сырья требовала внесения коррективов в стандарты.

В те дни в Барнауле все необходимое для того, чтобы жить и работать, еще было. Но люди изменились — стали как-то строже, дети повзрослели...

На Кузнецком металлургическом заводе встретили много знакомых — сюда были эвакуированы профессора и преподаватели Московского института стали.

С металлургами завода легко и быстро договорился о брневой стали для Челябинска.

В Челябинске меня встретила радостная весть. Пресс смонтирован!

— Вчера проводили на нем первые пробные штамповки, — сказал мне военпред танкового производства. — Подумать только — за четырнадцать дней всю работу закончили!

У прессы я встретил Никонова. Он за эти дни осунулся, но на утомленном лице можно было видеть радость, а в глазах горели огоньки еще не израсходованной энергии.

— Ну вот и закончили, как обещали!

— Даже значительно раньше, — сказал я, здороваясь с ним.

— Это у нас уже в кровь и плоть въелось — перевыполнять планы. Когда я вам называл семнадцать дней, я оставил небольшой резерв времени на разные случайности, а их не оказалось, поэтому и закончили раньше, чем обещали.

В эти дни большинство людей работало с огромным напряжением — и физическим и умственным. Требования фронта росли и росли. Не хватало станков, многих инструментов, не было даже посуды, чтобы кормить прибывающих на завод людей...

В брневом корпусе танка была одна небольшая деталь с узкой щелью, через которую, используя систему зеркал, водитель мог просматривать местность. Эту щель называли «визирной щелью». Обработка этой детали сложная. Вначале в брневой стали высверливались отверстия, а затем поверхность обрабатывалась специальным инструментом — пальчиковой фрезой. Московский завод «Фрезер», где изготовлялся ранее такой инструмент, был эвакуирован из Москвы, но еще не организовал на новом месте производство всех видов инструмента. Без детали с «визирной щелью» нельзя было изготовлять танковые корпуса.

Как же быть?

Могло быть два пути — организовать производство пальчиковых фрез самим или же найти новый метод производства деталей, который даст возможность обходиться без таких фрез.

Какой путь избрать, чтоб быстрее найти решение проблемы?

Может быть, стоит попытаться изготовлять детали без механической обработки — например, путем литья? На заводе есть прекрасные литейщики. Надо идти к ним, советоваться.



Опасность, нависшая над страной, побуждала к интенсивной деятельности. Мозг людей работал с небывалой напряженностью. Рождалось много дельных предложений, которые помогли быстрее образом, без необходимого инструмента наладить изготовление броневых деталей. В горячих спорах отшлифовывались наиболее реальные решения. Детали с «визирной щелью» следует отливать, только отливать!

Первые же отлитые детали показали, что избранный путь реальный. Но выдержат ли детали положенные испытания?

Немедленно несколько литых деталей отправили на полигон и обстреляли. Результаты отличные!

Здесь же, на полигоне, принимается окончательное решение — изготавливать детали с «визирной щелью» путем отливки. Пальчиковые фрезы больше не нужны.

О решении перейти на новый метод изготовления этих деталей известили Свердловск. Там те же трудности с инструментом. В этот же день отправили туда несколько деталей. На новый метод перешли и свердловские станкостроители.

А с фронта непрерывно шли разного рода запросы и сообщения. Немцы приспособились стрелять по нашим танкам так, что снаряды заклинивали башню, и она не могла вращаться. В захваченных немецких танках обнаружили эскизы наших танков с указанием, что снаряды следует направлять в стык между башней и корпусом танка. Надо было срочно ликвидировать это слабое место. Я не помню, кто внес это простое предложение — закрепить на танковом корпусе броневые детали, которые позволяли башне вращаться и вместе с тем полностью устраняли возможность ее заклинивания. Немедленно все корпуса стали выпускаться с этими дополнительными деталями, а на фронт направляли комплекты деталей для установки на уже действующих танках.

Разве можно даже просто перечислить все, что рождали сметка и страстное желание советских людей добиться победы над врагом в эти тяжелые годы? И все эти плоды рабочей и инженерной инициативы и придумки тут же на месте проверялись и реализовались. Времени на согласование не было, все строилось на инициативе и доверии к коллективу, к людям. И эффект был колоссален.

Расширялось производство снарядов. На завод стали прибывать в большом количестве рабочие, главным образом подростки, эвакуированные из различных городов европейской части страны. Их надо было не только размещать где-то для житья, но и кормить. Около заводской столовой, на дворе, установили походные кухни, но что же делать с посудой?

— Если бы достать листовое железо да нарезать кружков, то штамповать из него тарелок можно было бы на нашем заводе — это дело нехитрое. Полудить — вот и посуда, — предложил один мастер.

На складе нашлось такое железо, толщиной более миллиметра. Изготовленные тарелки были тяжелы и неуклюжи, но есть из них было можно — еще одна проблема решена.

Приехав как-то во время войны по делам на Уралмашзавод, я пил в заводской столовой чай. Сосуд, в который мне его налили, был довольно странный на вид, да и держать его в руках, не то что пить из него, было трудно: он был сделан из шамота — огнеупорного материала. Трудно, но все-таки можно. Мастера цеха огнеупорных материалов, используя технологию изготовления деталей из шамота для разлива стали, решили задачу обеспечения столовой чайной посудой.

\* \* \*

С нового года я вернулся к своим обязанностям руководителя Комитета стандартов и жил в холодной, насквозь промерзшей Москве. Здесь находилась оперативная группа комитета.

В начале февраля 1942 года меня вызвал к телефону Н. А. Вознесенский.

— Готовится проект решения по Сталинским премиям. Я помню, вы вносили предложение относительно литых танковых башен, но вас почему-то среди кандидатов на премию не было. Эту ошибку мы исправили. Скажите ваше имя и отчество — фамилию я уже вписал.

На следующий день по радио передавалось сообщение о присуждении премий за достижения в области науки и техники. Среди прочих была названа и моя фамилия.

Прошло еще несколько дней, и я получил приглашение в Кремль, на совещание, которое созывал Вознесенский. В приемной у него я встретил Тевосьяна, Малышева, Ломако и еще нескольких человек.

Николай Алексеевич Вознесенский выглядел очень уставшим. Он общил, как тяжело обстоит дело с никелем.

— Мы по существу даем никель только на производство брони, оружейной стали и авиационной промышленности — для изготовления коленчатых валов, — говорил он. — Чтобы выполнять программу, нам необходимо иметь... — и он назвал количество необходимого никеля. — У нас же есть его только... — и он вновь назвал цифру. — Вы специалисты и вместе с тем коммунисты. Я не могу брать всю ответственность за оборону на одного себя — подскажите, что нужно делать? Где взять недостающий никель? Как выйти из создавшегося положения?

Я вдруг почувствовал и товарищеское доверие, которое оказывал Вознесенский, делясь с нами своей озабоченностью, и всю серьезность поставленной им технической задачи.

Участники совещания высказывали свои соображения, как использовать арсенал науки, чтобы выйти из трудного положения с никелем. Родилась и отшлифовалась в процессе обсуждения идея сталей-заменителей. Выход был найден. Трудная задача была решена.

Работы в комитете все прибывало, и из Барнаула мы постепенно, одного за другим переводили работников в Москву. Это требовало дополнительных продовольственных карточек, и, кроме того, надо было где-то размещать прибывших работников — у некоторых дома были повреждены бомбардировками. Возникало много новых забот.

Как-то мне пришлось обратиться за содействием в получении дополнительных продовольственных карточек для вновь прибывших сотрудников комитета к Анастасу Ивановичу Микояну — в то время он был и заместителем Председателя Совнаркома и наркомом внешней торговли. У него шло к концу одно совещание и сразу же должно было начаться другое.

— У вас вопрос небольшой, и я советую вам зайти сейчас, — сказал мне его секретарь. — Как только совещание закончится, подойдите к нему и переговорите, иначе придется долго ждать.

Я вошел. Кабинет был полон. Анастас Иванович рассматривал просьбы об увеличении фондов на бензин, металл. Представитель Грузии слезно просил выделить тысячу тонн железных прутьев для подвязывания виноградной лозы.

— Виноградники пропадут, деревянные подпорки у нас гниют, лоза гибнет, — со страдальческим лицом говорил докладчик. — Нам подойдет любой металл. Ведь есть такой, который другим не нужен, а нас он просто спасет.

Перед моими глазами встали горы неиспользованного металла, громящиеся во дворах многих металлургических и машиностроительных заводов. Еще два месяца назад на одном из уральских заводов я обратил внимание, как в мартеновскую печь загружали недавно прокатанную стальную заготовку квадратного сечения.

— Что за металл вы загружаете в печь? — спросил я тогда мастера.

— Снарядную заготовку.

— Зачем же вы ее переплавляете?

— Брак. Высокое содержание фосфора.

— А сколько же в ней фосфора?

Мастер назвал. «Но ведь это в пределах ошибки химического анализа, — подумал я. — Ну хорошо, нельзя использовать в снарядном производстве, так пригодится еще для чего-то».

— Сколько же вы такой заготовки уже переплавили?

— Да, вероятно, тонн триста, если не больше.

На дворе второго завода я видел сложенные штабелями стальные прутки.

— Что это за металл у вас лежит? — спросил я сопровождавшего меня инженера.

— Сами еще не разобрались — завод получил металл без паспорта, а бирки, закрепленные на прутках, оторвались. Теперь единственная возможность узнать, что это за металл, — брать пробу от каждого прутка и делать анализ. Но вы представляете, какая это работа? Куда разумнее передать его такой организации, которая использует его просто как металл.

Все это встало в моей памяти, когда я слушал просьбу представителя Грузии. Я даже забыл, зачем пришел к Анастасу Ивановичу. Как только закончилось совещание, я подошел к нему и сказал, что можно было бы использовать металл, который в немалом количестве находится и не используется на заводах, и привел примеры этого.

— Что надо сделать, чтобы использовать этот металл? — спросил Микоян.

— Направить на заводы специалистов, просмотреть этот металл и подготовить предложение о том, где и для каких целей он может быть использован.

— Возьметесь за это?

— Возьмусь.

— Что вам для этого надо?

— Во-первых, откомандировать в мое распоряжение нескольких инженеров сроком на две-три недели. Людей я подберу сам. И, во-вторых, дать указание, чтобы за каждую тонну отобранного нами металла, годного для использования, платили, ну, скажем, по десять рублей с тонны.

— А зачем вам нужны деньги? — спросил Микоян.

— Во-первых, надо инженерам, которые поедут на заводы, что-то заплатить и, во-вторых, придется заняться сортировкой металла на заводах, делать анализы, отбирать пробы и производить механические испытания. Директорам заводов этот металл в выполнение плана включать не будут. Поэтому мало кто согласится выделить людей для такой работы. Надо будет нанимать их или оставлять на сверхурочные работы и, конечно, платить.

— Какой номер вашего телефона, я вам позвоню, — сказал Микоян. Затем, как бы напоминая мне, спросил: — Что это у вас за бумага, дайте.

И я получил разрешение на дополнительные продовольственные карточки.

Мы попрощались, и Анастас Иванович еще раз повторил:

— Я позвоню вам.

Через час, подняв трубку зазвонившего телефона, я услышал знакомый голос:

— Вы можете быть у меня сегодня в четыре часа?

— Могу.

— Хорошо. Но не в наркомате, а в Кремле. Послушаем еще раз ваше предложение.

В четыре часа я застал в кремлевском кабинете Микояна, Маленкова и Вознесенского. Я еще раз, теперь уже трюим, изложил то, о чем рассказал утром Микояну.

— А откуда появилась эта цифра — десять рублей за тонну? — спросил Маленков.

— Самая низкая цена на железо — около шестисот рублей за тонну. Мне кажется, что можно израсходовать десять рублей, чтобы спасти шестисот.

— Но почему десять, а не пять или пятнадцать? — стал допытываться Маленков. — Вы хоть какой-то расчет делали?

— Нет, не делал.

— Почему же вы с такими неподготовленными предложениями в правительство входите?

Меня задел этот назидательный, пасторский тон.

— Извините за причиненное беспокойство, — вырвалось у меня. А сам я с обидой и болью подумал: «Во-первых, я не входил в правительство ни с каким предложением. Я просто по-человечески поделился с Анастасом Ивановичем своими наблюдениями и опытом, подсказал простой выход: предложил использовать то, что не используется! Почему же так недоволен Маленков?»

Я почувствовал, что мое присутствие излишне.

— Можно идти?

— Можно, — холодно сказал Маленков.

«А может, я действительно не прав? Лезу со своими предложениями, в то время как люди заняты важнейшими делами обороны страны, — думал я по дороге в комитет. — Но что же делать, ведь это тоже важные вопросы, а без вмешательства членов правительства они не решаются. Если самим нет времени их решать, тогда надо поручать кому-то принимать решение, а не принимать все на себя».

Не успел я войти к себе в кабинет — раздался телефонный звонок. Поднял трубку и услышал голос Анастаса Ивановича:

— Приезжайте ко мне. Сможете сейчас приехать?

— Еду.

Снова в Кремле. Вхожу в тот же кабинет. На этот раз Микоян один.

— Слышали? Может быть, сделаем так? Я, как заместитель Председателя Совнаркома, могу выдать вам тридцать тысяч рублей на расходы, связанные с сортировкой металла, а также для оплаты инженеров, которых вы направите на заводы, а вы организуете это... Поступим по-американски, — сказал, улыбаясь, Микоян. — Вам выпишут чековую книжку, и вы будете расходовать эти деньги по своему усмотрению.

Я поблагодарил Анастаса Ивановича за доверие и отправился в комитет.

К концу дня мне позвонил председатель Госбанка Голев и сказал, что мне выписана чековая книжка и открыт счет на тридцать тысяч и я должен послать кого-то в Госбанк с доверенностью и получить ее.

Я договорился с руководителями ряда учреждений о том, чтобы они выделили названных мною инженеров. На совещании, когда все откомандированные в мое распоряжение специалисты собрались в комитете,

было названо несколько заводов, где, как я знал, было значительное количество неиспользованного металла.

Через десять дней мы представили Анастасу Ивановичу свыше двенадцати тысяч тонн металла с рекомендациями, на какие нужды можно его использовать. Нам предложили продолжить работу, и через месяц мы представили для распределения еще более тридцати двух тысяч тонн металла. Около сорока пяти тысяч тонн никому не нужного металла было спасено и направлено тем, кто в нем действительно нуждался.

Из тридцати тысяч рублей, выделенных Анастасом Ивановичем, я израсходовал менее двадцати пяти тысяч — на каждом заводе нашлись люди, которые хотели помочь нам.

«Сколько же у нас еще неиспользованных резервов и какие огромные возможности для улучшения производства и поднятия экономики! — думал я, получая от заводских работников разумные предложения, как лучше использовать то, что не использовалось. — Все — в людях, в их инициативе и в руководстве, не сдерживающем, а поощряющем эту инициативу».

\* \* \*

В начале 1943 года мне позвонил Молотов:

— У меня сейчас начинается совещание. Вы можете быстро приехать в Кремль? Будем обсуждать вопрос о качестве танков. Намереваемся послать на заводы, изготавливающие танки, несколько технических комиссий, чтобы изучить причины дефектов, которые обнаруживаются на некоторых машинах. Вас мы назначаем председателем одной из таких комиссий. Комиссия уже сформирована, но, если у вас будут какие-либо замечания относительно ее состава, можно будет внести изменения. Приезжайте!

Совещание шло к концу, когда я вошел в зал. Собрались преимущественно военные: несколько командующих армиями и другие высшие военачальники. Один из генералов — фамилии не помню — докладывал о том, как во время танковых боев на Курском направлении семнадцать танков остановились во время наступления и были расстреляны артиллерийским огнем противника. Что послужило причиной остановки танков — неизвестно. Кое-кто из участников совещания говорил о том, что в некоторых машинах была обнаружена течь масла, в других — неплотности в системе подачи топлива. Все пришли к общему мнению, что необходимо провести тщательное расследование замеченных недостатков и принять необходимые меры к их устранению.

После совещания я вместе с Молотовым зашел к нему в кабинет и он ознакомил меня с составом комиссии, председателем которой, как он уже говорил мне, я был назначен.

— Кроме вашей комиссии, мы создали еще две. Председателем второй назначен Малышев, а третьей — генеральный прокурор Бочков.

— Но ведь Бочков не специалист, — заметил я, — как он может разбираться в причинах брака?

Молотов нахмурился и сказал:

— Специалисты помогут, а он человек острый.

В состав моей комиссии входило шестнадцать человек, в том числе академик Гудцов, которого я хорошо знал, остальные же были мне незнакомы. Один из них — Васильев, секретарь партийной организации Наркомата госконтроля — оказал мне впоследствии большую помощь своими дельными советами. Я попросил включить в состав комиссии работника Комитета стандартов Миттельмана, очень знающего инженера-механика.

— Разберитесь в причинах дефектов и примите все необходимые меры к их устранению. Директор завода и секретарь обкома знают о вашем назначении и окажут необходимое содействие. О результатах информировать меня.

На следующий день я выехал на Урал.

На мое счастье, военный приемщик Зухер, занимавшийся танковым производством, оказался моим знакомым, и он быстро ввел меня в существо дела. Зухер сказал, что дефекты встречаются и в броневых корпусах, и в ходовой части танка. Но самое тяжелое, что больше всего нервирует всех работников завода,— это совершенно ничем не объяснимые поломки зубьев шестерен коробки перемены скорости.

— Как вы знаете,— объяснял мне Зухер,— эти шестерни изготавливаются из хромоникельмолибденовой стали. Это одна из лучших конструкционных марок стали. После сборки узлов и завершения всех работ по монтажу каждая машина проходит заводской пробег. Затем работники заводского технического контроля, прежде чем сдать машину военным приемщикам, проводят ходовые испытания — каждую машину прогоняют на расстояние в несколько десятков километров. Если в танке никаких дефектов не замечается, он предъявляется военной приемке, и мы в свою очередь снова проводим такие же испытания — проходим на нем несколько десятков километров. Танкодрома у нас пока еще нет, и ходовые испытания мы проводим на дорогах за заводом — это вы увидите сами, все дороги здесь так изуродованы танками, что на машинах ездить теперь по ним невозможно. И вот только после всех этих испытаний, если машина выдерживает, она направляется в воинскую часть. Иногда во время заводского пробега, а иногда во время уже наших ходовых испытаний у некоторых шестерен ломаются зубья, и мы находим в коробке перемены скорости один, а иногда два сломанных зуба. Объяснить причины поломки мы пока еще не смогли. Да вот и сегодня такой же случай произошел. Пойдите и посмотрите сами, так оно лучше, нежели объяснять на словах.

Мы пошли в цех, где проводилась приемка коробок перемены скорости. На устроенном для проверки стеллаже стояла раскрытая коробка, и рядом на листе бумаги лежал вынутый из нее покрытый слоем масла зуб. К нам подошли один из контролеров отдела технического контроля и член нашей комиссии, прибывший на завод вместе со мной,— академик Гудцов.

— Чем же вы объясняете поломку? — спросил я контролера.

— Просто теряемся в догадках — все проверили. Никаких, даже малейших, отступлений от технологии не установили, а зубья ломаются. Самое необъяснимое заключается в том, что поломки происходят не часто. Сдаем двадцать — тридцать, иногда пятьдесят машин, и вдруг на пятьдесят первой авария — машина останавливается иногда при заводском, иногда при военпредовском пробеге — поломка зубьев.

— Может, при расчете нагрузки на зуб принят слишком малый запас прочности? — спросил я.

— Проверяли. Запас прочности достаточен.

— В чем же дело? Может быть, сцепление зубьев плохое или сборка недостаточно тщательно выполнена?

— Все проверяли. Сцепление исследовано на оптических приборах. Сборка шестерен проводится и проверяется с большой тщательностью.

— Ну что же, давайте проверять все вместе и все от начала до конца.

Распределив между членами комиссии обязанности — кому что следует проверить,— я решил побывать в основных отделах заводоуправления и познакомиться с работниками. Необходимо все-таки посмотреть,

как считали нагрузку на зубья шестерен и какой запас прочности приняли.

Я направился в конструкторское бюро. Мы долго разговаривали с главным конструктором завода — он непосредственно занимался этим узлом. Но ничего такого, что могло внушить хоть какие-нибудь сомнения, я не смог установить.

Из конструкторского бюро направился в заводскую лабораторию — большую, хорошо оборудованную. Здесь я встретил Миттельмана.

— Ну как, что-нибудь прояснилось?

— Нет. Здесь все в порядке. Было бы просто великолепно, если бы на всех наших заводах так идеально обрабатывались зубья шестерен. Да вот вы сами посмотрите.

Действительно, придраться здесь было не к чему.

— А где Гудцов? — спросил я Миттельмана.

— Я видел его в металлографической лаборатории, он рассматривал шлифы, изготовленные из поломанных зубьев. Пойдемте к нему.

Академика Гудцова я застал за микроскопом — он рассматривал рабочую поверхность поломанного зуба.

— Цементационный слой — идеален. Вы только взгляните.

Это действительно было так. Структура стали безупречна.

— Нет, я не могу предъявить ни одной претензии к качеству самой стали.

— В чем же дело?

— Не знаю, надо искать.

Вечером позвонил Малышев. Он занимался исследованием дефектов машин на другом заводе.

— Обнаружили что-нибудь?

— Нет. А вы?

— Тоже пока еще ничего. А Бочков в Челябинске отдал под суд несколько человек.

Поздно вечером мне позвонил Бочков.

— Сколько человек привлекли к ответственности? — был его первый вопрос.

— Ни одного.

— Вы что же, думаете, брак у вас исчезнет сам собой? — иронически прозвучал его второй вопрос.

— Необходимо разобраться в причинах брака и только после этого принимать какие-то меры, — сказал я, пытаясь быть спокойным.

— Ну смотрите, вам виднее, только я не думаю, что вы таким путем добьетесь каких-нибудь результатов.

На следующий день мы прошли по всей технологической цепочке производства шестерен. Знакомились с каждой производственной операцией, но ничто не давало нам оснований подозревать, что во время них происходят нарушения, влияющие на качество.

На третий день мы созвали заводских специалистов. «Что же все-таки вызывает поломки — давайте, товарищи, думать. И искать вместе». Думали, судили, рядили. Но по-прежнему ничего не разъяснилось.

Огорченные и озабоченные шли мы в заводскую гостиницу. По дороге меня догнал один из работников завода.

— Я хочу вам высказать свои соображения насчет поломок зубьев. — сказал он. — На завод, несомненно, проник немецкий шпион, а может, и не один. «Он» или «они» подбрасывают в коробку перемены скорости небольшие металлические предметы — винтик, гаечку, гвоздик. Попадая между зубьями, они и ведут к поломкам.

— Но ведь никто никаких посторонних предметов в этих коробках никогда не обнаруживал.

— А может быть, «тот», кто их туда клал и кладет, успевал и убирать их. Ведь никто не знает, кто этот шпион и где он работает. Советую вам, присмотритесь к людям. Чем же еще объяснить поломки?

Пока это было действительно необъяснимо.

И самым худшим было то, что не удавалось установить никакой закономерности: все шло хорошо — и вдруг на одной, двух, трех шестернях ломались зубья.

— А как вы, Николай Тимофеевич, можете объяснить эти загадочные поломки? — спросил я академика Гудцова.

— Могу повторить: металл хороший, никаких дефектов ни в одном образце я не обнаружил, а просмотрел я их немало. Единственное, что приходит мне в голову, — это не много ли промежуточных термических операций претерпевает эта деталь. Стремясь полностью снять все внутренние напряжения, возникающие в металле, и тем добиться высокого нагрева, технологический процесс предусматривает многократную термическую обработку. Мне кажется, что они переусердствовали с термической обработкой. Слишком много, например, проводится отжигов. Я все больше склоняюсь к тому, что поломки — результат термической «усталости» металла. Мне кажется, что следует пересмотреть все термические операции, введенные в технологический процесс, и сократить их число.

Мне стало не по себе. Если мы внесем предложение об изменении технологии, то окончательно запутаем все. Меня испугало само объяснение причин поломок термической «усталостью» металла. У заводских работников могут появиться сомнения в правильности технологического процесса, а это расшатает всю технологию производства. Гудцов — крупный специалист, на заводе работало немало его учеников, для них слово Гудцова — закон.

— Я прошу вас, Николай Тимофеевич, никому пока не высказывать ваших соображений о термической «усталости». Вас могут неправильно понять, а ваш авторитет в данном случае может не помочь, а повредить делу. По заводу сразу же пойдет слух: перемудрили с технологией, академик Гудцов сказал... и начнется, буквально как лесной пожар, поток предложений, что и как следует менять. Давайте мы сначала сами как следует разберемся, и когда нам будет все предельно ясно, тогда и скажем об этом во всеуслышанье.

А в это время разговоры о том, что на заводе действует чья-то вражеская рука, распространились все шире. Уже третий человек обращался ко мне, предлагая заняться людьми.

— Кто же они, по-вашему, эти люди?

Мои советчики только пожимали плечами и дальше рекомендации «надо присматриваться» не шли.

«А может быть, это действительно так? — промелькнула тревожная мысль. — Здесь я почти никого не знаю. Кто они, эти люди, изготавливающие детали, производящие сборку и контроль? Чтобы разобраться, надо проверить все самому, проследить за всем лично. Не исключено, что я замечу то, что не замечают другие».

Прежде всего я решил все коробки перемены скорости осматривать сам и ставить свое клеймо. Распорядился, чтобы ни одну коробку, если в ней будет обнаружен какой-нибудь дефект, без меня не вскрывали.

Дня через три мне сообщили, что произошла поломка зубьев у шестерни в коробке перемены скорости с моим клеймом.

Иду в цех, коробка снята с машины и поставлена для осмотра, но не вскрыта. Снимаю пломбу, поднимаем крышку. На дне коробки в масле лежит сломанный зуб одной из шестерен. В коробке больше ничего нет. Тщательно разбираем систему передач. Осматриваем каждую шес-



терню. Через слой масла просматриваем днище коробки. Осторожно сливаем масло. Никаких даже пылинок посторонних в коробке нет.

Осматриваем зуб. Излом чистый, никаких признаков того, что здесь был какой-то дефект, который катастрофически развился при больших нагрузках и повел к излому.

— Давайте все-таки произведем полный химический и металлографический анализ поломанного зуба.

Направляем его в лабораторию с предложением сделать полный химический анализ.

Наутро сенсация.

— Вы знаете, что оказалось? Сталь-то не хромоникельмолибденовая, не ха-эн-четыре, а хромистая — ше-ха-пятнадцать!

— Что-о-о?!

Это казалось невероятным.

Ше-ха-пятнадцать — марка стали, из которой готовились кольца для шариковых подшипников, — она хорошо сопротивляется истиранию, но совершенно не годится для условий службы шестерен.

Кто же направил эту сталь на штамповку шестеренных дисков? Надо идти туда, где начинается производственный процесс, туда, где сложены стальные заготовки, из которых изготавливаются диски шестерен.

Даю указание сделать химический анализ также и других поломанных зубьев.

Химический анализ сломанного зуба открыл глаза на многое. Когда же я пришел в цех штамповки, кое-что стало проясняться.

В этом цехе, в соседних пролетах, стояли два прессы. На одном из них штамповали кольца для шариковых подшипников крупного размера, на втором — диски для изготовления шестерен. Стальные заготовки, поступающие к прессам, были одного и того же сечения — сто пятнадцать миллиметров. По всей видимости, часть заготовок попадала не по назначению — вместо того чтобы направлять к прессу, штампуемому шарикоподшипниковые кольца, их направляли к прессу, где штамповались шестеренные диски. По всему это так.

Наконец-то раскрыта тайна поломок. Но это надо убедительно доказать.

Материалы для доказательства получены были быстро.

Когда я находился в штамповочном цехе, в него подали вагон со стальными заготовками. Я подошел и спросил:

— Что за металл доставили?

— Ше-ха-пятнадцать, диаметр сто пятнадцать. — ответил мне один из тех, кто давал указание разгружать металл.

Началась разгрузка прибывшего в цех на железнодорожных платформах металла. Я видел, как рабочие разгружали стальные бруски и перевозили их на тележках к нагревательным печам, складывая штабелями.

Но вот один рабочий уложил на тележку две стальные заготовки и направился с ними в соседний пролет ко второму прессу, где штамповались диски для шестерен, и уложил их на уже сложенные там заготовки.

Я подошел к рабочему и спросил:

— Почему вы сложили металл здесь?

— А к тем печам уже много доставлено, теперь сюда возить будем.

— Но ведь это другой металл, сюда этот металл нельзя складывать, он не годится.

— Как не годится? Размер-то один там и здесь.

В транспортном цехе завода работали новые рабочие. Им никто толком не разъяснил, куда и как доставлять поступающие в цех заго-

товки, а контроля за их работой не было. Это и вело к тому, что в те дни, когда в цеху разгружали платформы с металлом, стальные заготовки иногда путали, и они попадали не туда, куда следует. В общем потоке выловить детали, изготовленные из другой марки стали, было уже трудно.

— Неужели у вас не было никакого контроля по всей цепочке производственного процесса? — спросил я технолога.

— Как не было! Был и есть. Мы проводим, во-первых, выборочный контроль и, кроме того, проверяем химический состав каждого диска «пробой на искру».

— Но ведь «пробой на искру» вы отличаете хромосодержащие стали от сталей, не содержащих хрома, и только.

Технолог задумался.

— Да, конечно, вы правы. Обе марки стали — и для шестерен, и для шарикоподшипниковых колец — содержали хром. Отличить одну от другой «пробой на искру» очень трудно.

Вот так создавались условия, при которых в поток попадали заготовки из стали, непригодной для изготовления шестерен. Они попадали случайно. И именно это долго не позволяло раскрыть природу поломок.

Когда «загадка» шестерен была со всей очевидностью раскрыта, всем стало как-то не по себе.

— Вот так всегда, — твердил Гудцов, — мы ищем трудные объяснения сложным путем, а они находятся там, где их вовсе и не ждешь. Ну кто бы мог подумать, что шестерни изготавливались из хромистой стали! Удивительно, как они вообще выдерживали и не ломались при первом же движении танка.

Итак, один вид брака ликвидирован, но это был не единственный, хотя и наиболее тяжелый.

Мы пробыли на заводе месяц, изучая и устраняя многие помехи, мешающие производству.

В марте 1943 года в Москву вернулись из Барнаула все наши эвакуированные сотрудники. Возвращались уже в пассажирских вагонах, а не в теплушках. Жизнь в Москве налаживалась. Хотя действовали жесткие нормы на расход электроэнергии, топлива, бензина, не говоря уже о продовольствии и прочем.

Все ждали окончания войны. Гитлеровские полчища откатывались все дальше на запад.

В освобожденные районы направлялись представители наркоматов и ведомств для ознакомления с нанесенным ущербом и составления планов восстановления разрушенных городов и промышленных предприятий.

Начали вскрываться страшные картины зверств фашистских карателей. Те, кто возвращался из оккупированных гитлеровцами районов, рассказывали, когда мы встречались в кремлевской столовой, о виденном, и у нас буквально мурашки бегали по телу от всех этих кошмарных историй.

Я часто встречался здесь с Александром Александровичем Фадеевым, с которым мы дружили еще со студенческих лет, но в последние годы виделись редко. Нередко мы, пообедав, выходили вместе с Фадеевым, и он провожал меня до комитета.

Как-то — это было в феврале или в марте 1945 года, — когда мы шли с Фадеевым из столовой, он мне сказал:

— Задумал новую вещь. Только что вернулся из Донбасса. Открыта героическая эпопея с трагическим концом — о работе группы молодежи в тылу у гитлеровцев. Сейчас собираю материал — буду писать. Невоз-

можно слушать без волнения, что делала наша молодежь в тылу врага. Не знаю, как удастся мне все это изложить. Одним словом, начинаю писать повесть.

Прошло несколько месяцев, и он позвонил мне:

— Хотел бы почитать то, о чем я тебе говорил когда-то. Я написал первые главы. Может быть, соберешь тех, кто слушал мои прежние вещи? Так хотелось бы почитать тем, кто раньше слушал «Разлив», «Разгром», «Последний из удэге».

Я охотно согласился.

Кто же тогда был на этих читках?

Это было так давно. Стал вспоминать. Нет, трудно их сейчас собрать. Поразбросала жизнь в разные стороны. «Иных уж нет, а те далече».

Позвонил Фадееву:

— Кроме меня, будут еще двое из «стариков».

— Не возражаешь, если я приглашу моего приятеля Володю Луговского? Ты его должен знать, — сказал Фадеев.

Состав аудитории определился. Решили собраться у меня дома в ближайшую субботу.

В шесть часов вечера Фадеев начал читать главы «Молодой гвардии». Читал великолепно. Впечатление было огромное.

Сделали перерыв. Стали вспоминать первые годы революции, годы студенческой жизни. Владимир Луговской прочитал чудесные стихи о плюшевом медвежонке.

Фадеев был в приподнятом настроении. Вспомнил, как в годы гражданской войны, зимой, ему пришлось пробираться от одного села до другого на санях во время снежной пурги.

— Сбились безнадежно с дороги и вдруг видим огонек. Одинокая усадьба, хутор, что ли. Полуокоченевшие, стали стучать в ворота. На неистовый собачий лай из дома вышел с фонарем старик, батрак видно. Открыл ворота, и мы въехали. Я, вылезая из саней, спросил: «Есть кто-нибудь из хозяев?» — «Хоть и есть, да толку-то в нем мало, — грустно ответил старик. — Вторую неделю пьет мой хозяин, и что есть он, что нет его — все едино. Да вы проходите — отогрейтесь. Заночуйте у нас, и мне, старику, все-таки будет приятно поглядеть на человеческие лица. В нем-то я и не знаю, что осталось, — всего себя вином растравил». Когда я разделся и вошел в просторную горницу, на середине ее увидел полулежащего на большом ковре поручика. Кругом валялись бутылки и стаканы, а на тарелках лежала разнообразная снедь. «Садись, странник, — сказал он мне, — и будем пить вдвоем. Мы все странники, и несет нас всех куда-то в неизвестность. Все кружится, вертится и несетя. Земля, Солнце, вся солнечная система находится в постоянном движении. А я вот остановился. Я лег и пью. Садись или ложись, но пить ты должен. Пить один я больше не могу. Все рухнуло, остановилось...» Эта картина одинокого богатого хутора, занесенного снежной пургой, этот осколок старой России запечатлелся у меня в памяти на всю жизнь. Давно хочу написать об этом...

Мы сидели с ним вдвоем. Все давно разошлись, а он все вспоминал, рассказывал о своих замыслах.

-- Да, замыслов много, не знаю, когда все это выполню...

Фадеев ушел от нас уже утром...

\* \* \*

Война шла к концу. Это было уже ясно всем. Наши механизированные армии, наши танки и авиация громили врага на его территории.

Каждый день приносил известия о новых успехах. Третьего мая «Правда» вышла с передовой: «Знамя победы водружено над Берлином!»

На первой странице — большая фотография: Берлин. На здании рейхстага водружено знамя Победы. На переднем плане — танк «Т-34». На его башне надпись: «Боевая подруга». На третьей странице еще две фотографии — митинг танкистов генерала Кривошеина у «Колонны Победы» в Берлине и колонна пленных немцев, проходящих через Бранденбургские ворота.

Увидев эти фотографии, я долго не мог оторвать от них глаз. Мне здесь все было знакомо. Я знал рейхстаг не по картинкам, я неоднократно проходил через Бранденбургские ворота и бывал не раз у «Колонны Победы». Но мог ли я думать о том, что через Бранденбургские ворота воины Красной Армии погонят пленных солдат гитлеровской армии, — тех, которые десять лет назад горланили песни, что они завоюют весь мир, что они непобедимы, раз во главе их стоит великий фюрер. И вот они, сдавшись в плен, идут под конвоем советских воинов...

Война закончилась. Но новые трудные задачи встают со всех сторон. Необходимо восстанавливать разрушенное и переводить промышленность с военных на мирные рельсы.

Начинают разрабатывать планы перевода военных заводов на производство товаров широкого потребления. Об этом ведется много разговоров и в столовой, где за стаканом чая можно услышать много интересных мыслей и соображений, которые редко высказывались на официальных совещаниях. Здесь встречаются люди, работавшие в самых разных областях промышленности, в самых разных звеньях государственного аппарата.

Как-то во время обеда меня позвали к аппарату.

— Здравствуйтесь. Вы уже пообедали? — услышал я.

— Да.

— Можете ко мне приехать, только не в Госплан, а в Совнарком? Это говорил Вознесенский.

— Сейчас выеду.

В кабинете он был один. Поздоровались. Вознесенский начал излагать суть вопроса, по которому вызвал меня к себе.

— Нам необходимо учредить контроль за расходом металла. На машиностроительных заводах мы много металла переводим в стружку. Конечная деталь отличается по весу от того куска металла, из которого она изготовлялась, в несколько раз. У меня создается впечатление, что в ряде случаев основным продуктом производства является металлическая стружка, а побочным — детали. Мне думается, что следует пересмотреть многие технологические процессы производства и на металлургических и на машиностроительных заводах. Нам необходимо изготавливать для машиностроения такие профили металла, которые можно будет использовать с минимальной механической обработкой, а на машиностроительных заводах создавать такие процессы, которые позволят значительно снизить механическую обработку металла или даже совершенно исключить ее из технологического цикла. Дело, как видите, очень важное. Мы дадим вам большие полномочия. Вы будете моим заместителем и главным контролером Советского Союза по рациональному расходованию металла. Подумайте над этим предложением.

Я сказал, что подумаю, и ушел.

Но долго думать мне не пришлось. В это время возникла новая проблема еще большей важности: проблема укрепления оборонной мощи нашей страны на основе новейших достижений науки и техники.

Еще на Потсдамской конференции президент Трумэн заявил о создании в США нового вида оружия — атомного. И тогда же, в Потсдаме, стало ясно, что антифашистская коалиция распадается, а атомное оружие создано не для того противника, для которого его предполагали создать ученые-антифашисты, когда обратились к Рузвельту, предлагая свои услуги и свои знания для разработки атомной бомбы.

Вскоре после разговора с Вознесенским, в сентябре 1945 года, когда я вернулся в комитет с какого-то заседания, секретарь передал, что мне звонили и просили обязательно позвонить по такому-то номеру.

Когда я набрал этот номер и спросил, кто мне звонил, мне сказали, что Ванников обратился с письмом, в котором просил перевести инженера Козлова, работающего в Комитете стандартов, к нему.

— А зачем Ванникову понадобился Козлов? — (В комитете он занимался разработкой стандартов на метизы.) — Не представляю, что будет делать Козлов у Ванникова...

— Возможно, произошло какое-то недоразумение, — ответили мне. — Переговорите с Ванниковым, а о результатах сообщите нам.

Я позвонил Ванникову.

— А у тебя, вероятно, шестое чувство? — услышал я веселый голос Бориса Львовича. — Не можешь ли ты приехать к нам в наркомат?

— Когда?

— Да вот прямо сейчас, увидишь своих старых знакомых.

— Ну, а как же с Козловым? — спросил я Ванникова, рассказав ему, что за специалист Козлов.

— Да оставь ты Козлова. Приезжай, я буду тебя ждать.

У Ванникова я действительно застал старых знакомых: Завенягина, Малышева и других.

— Тебе не надоело работать в Комитете стандартов? — спросил меня Малышев.

— Ты же знаешь, как я попал туда.

— А может, ко мне перейдешь? — спросил Ванников.

Не успел я ответить — новый вопрос Малышева:

— Ты знаешь, чем занимается Ванников?

— Знаю.

Малышев прищурил глаза и насмешливо улыбнулся.

— Чем же?

— Разрабатывает атомную бомбу, — безучастным тоном произнес я. У всех, что называется, отвисла челюсть — они никак не ждали от меня такого ответа. Это было в то время большим секретом.

— Откуда ты знаешь? — в один голос вскричали они.

— Мне лично об этом по крайней мере человек двадцать говорили.

Когда замешательство, вызванное моим заявлением, прошло, Ванников снова спросил:

— Ну как же, пойдешь ко мне?

— А чем я буду у тебя заниматься?

— Наукой. Необходимо организовать в стране многочисленные исследования, связанные с решением атомной проблемы, — они ведутся, но пока еще в недостаточном масштабе... Так что, по рукам?

Я заколебался и сказал:

— Це дило треба розжуваты. Я должен подумать.

— Думай, но недолго.

Тем разговор и кончился. Я попрощался и поехал к себе в комитет. А к концу дня принесли мне пакет за пятью сургучными печатями. На нем стояло: «Вскрыть только лично». Когда я сломал печати и вынул из конверта большой лист, на нем было всего две строчки поста-

новления о назначении меня на новую работу в совершенно незнакомую для меня область.

Это была путевка в новый мир — мир атома.

\* \* \*

Прошло более двадцати лет. Мне вновь приходится часто бывать за границей, много наблюдать, сопоставлять, снова ворошить в памяти пережитое, вспоминать героину прошлых лет, все трудности — объективные и субъективные — и былые ошибки. В те дни мы вели упорные бои за наше будущее.

Народ нашей страны первым из всех стран мира начал прокладывать пути к новому социальному строю. На этих неизведанных путях все было новым, нигде и никем еще не опробованным. Мы искали новые формы государственного управления и руководства огромной страной, населенной многими народами, порою еще сохранявшими социальные уклады прошлых эпох.

Только героизм народа и воля Коммунистической партии провели нашу страну через все трудности и позволили возвести фундамент могучего государства.

Опираясь на этот прочный фундамент, воздвигнутый в героической борьбе, наша страна первой в мире зажгла ленинские огни электрификации и ввела в действие двигатели от нового источника энергии — энергии ядерных процессов. Впервые с территории нашей страны взлетел в космическое пространство искусственный спутник Земли, и первыми людьми, преодолевшими силы всемирного тяготения, были советские люди; они увидели Землю как планету — из космических далей. На этой планете мы помогаем другим народам строить заводы, электростанции, больницы, воздвигать плотины и прокладывать дороги.

Пройдут годы, и многие, многие страны мира в своем неизбежном историческом развитии придут к социализму. Трудно предвидеть, какие препятствия они встретят на своем пути и какие ошибки совершат. И все же их путь будет легче нашего.

Советский народ — народ-пионер, народ-первооткрыватель — принял на себя основную тяжесть создания нового, социалистического строя. И мы не сомневаемся, что трудящиеся всех континентов, которые строят в своих странах социализм, будут с благодарностью вспоминать о героической эпохе, когда народы бывшей Российской империи создавали первое в мире социалистическое государство, отмечающее в этом году свое пятидесятилетие.



---

---

ДМ. КЕДРИН

★

## ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

В феврале 1967 года исполнилось шестьдесят лет со дня рождения советского поэта Дмитрия Кедрина. В годы Великой Отечественной войны он написал книгу «День гнева» — своеобразный стихотворный дневник войны. Некоторые стихотворения из этой книги вошли в посмертные сборники поэта.

Ниже мы публикуем два не публиковавшихся ранее стихотворения.

### НОЧЬ В УБЕЖИЩЕ

Ложишься спать, когда в четыре  
Дадут по радио отбой.  
Умрешь — единственная в мире  
Всплакнет сирена над тобой.

Где звезды, что тебе знакомы?  
Их нет, хотя стоит июль:  
В пространствах видят астрономы  
Следы трассирующих пуль.

Как много тьмы, как света мало!  
Огни померкли, и одна  
Вне досяженья трибунала  
Мир демаскирует луна.

...Твой голос в этом громе тише,  
Чем писк утопленных котят...  
Молчи! Опять над нашей крышей  
Бомбардировщики летят!

13 августа 1941.

### ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО

Хлеб зреет на земле, где солнце и прохлада,  
Где звонкие дожди и щебет птиц в кустах.  
А под землей, внизу, поближе к недрам ада,  
Железо улеглось в заржавленных пластах.

Благословляем хлеб! Он — наша жизнь и пища.  
Но как не проклинать ту сталь, что наповал  
Укладывает нас в подземные жилища?..  
Пшеницу сеял бог. Железо черт ковал!

7 апреля 1942.

---

---

---

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

## ВОСПОМИНАНИЕ

### ДИРИЖАБЛЬ

Один и тот же незабываемый  
Я вижу полдень вдалеке:  
Бегу босой по теплым плитам  
К нагретой солнечной реке.

Туда, где лодки пахнут краской,  
Где на лугу стоит яхт-клуб,  
Где довоенный мост Чернавский  
С перилами из старых труб.

Бегу с бугра тропой полынной  
В дремучей чаще лебеды.  
В моей руке пятак старинный,  
Позеленевший от воды.

И все доступно,  
Все открыто,  
И ничего еще не жаль.  
И надо мной плывет, как рыба,  
Огромный сонный дирижабль.

Куда он плыл светло и прямо —  
На дальний полюс, на парад, —  
Забываемый, вымерший, как мамонт,  
Несовершенный аппарат?

Канатов черные обрывки  
Под ним чертили высоту.  
И было видно на обшивке  
Ряды заклепок  
И звезду.

Он пролетел над лугом желтым,  
Где в лужах светится вода,  
И утонул за горизонтом  
В дрожащей дымке —  
Навсегда.

А я его так ясно помню.  
А я всю жизнь за ним бегу  
В мир непонятный  
И огромный  
С былинкой тонкой на лугу.



### УТИНЫЕ ДВОРИКИ

Утиные Дворики — это деревня.  
Одиннадцать мокрых соломенных крыш.  
Утиные Дворики — это деревья,  
Полынная горечь и желтый камыш.

Холодный сентябрь сорок пятого года.  
Победа гремит по великой Руси.  
Намокла ботва на пустых огородах,  
Увяз «студебеккер» в тяжелой грязи.

Утиные Дворики...  
Именем странным  
Навек очарована тихая весь.  
Утиные Дворики...  
Там, за курганом,  
Еще и Гусиные, кажется, есть...

Малыш хворостиной играет у хаты...  
Утиные Дворики...  
Вдовья беда...  
Все мимо  
И мимо проходят солдаты.  
Сюда не вернуться уже никогда...

Корявые вербы качают руками.  
Шуршит под копной одинокая мышь.  
И медленно таю в белесом тумане  
Одиннадцать мокрых  
Соломенных крыш.

### ПОДМОСКОВЬЕ

Гулко эхо от ранних шагов.  
Треск мороза — как стук карабина.  
И сквозь белую марлю снегов  
Просочилась,  
Пробилась рябина.

А вдали, где серебряный дым,—  
Красноклювые краны, как гуси.  
И столбов телеграфные пусли  
Все тоскуют над полем седым...  
У дороги, у елок густых.  
Если в зыбкую чашу взглядеться,  
Вдруг кольнет задрожавшее сердце  
Обелиска синеющий штык...

А простор —  
Величав и открыт,  
Словно не было крови и грусти,  
И над белой, сверкающей Русью  
Красно солнышко  
В небе горит.



---

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

★

## РОДНЫЕ

Рассказ

1

Старухе Арсеньевне было уже много лет, она мало спала и под утро видела всякие сны. Снов она побаивалась, верила в них, запоминала все до мелочей. В последние годы часто снилось ей что-нибудь нехорошее: то видела она себя верхом на лошади, то застилало глаза сплошь черное, а черное, как известно, либо к болезни, либо с детьми приключится беда. Обычно она пересказывала сны дочке Кате, с которой жила после воронежской деревни около тридцати лет.

Но нынче она промолчала. Приснилось ей, будто пролетел вокруг ихнего дома самолет, повернул в поле, выкинул белый парашюг и Арсеньевна побежала туда, к тому месту, где он упал, надуваясь зонтом, споткнулась, поранила руку, прижала ее к губам, радуясь выступившей крови... К чему бы это?

Дочь Катя собиралась на работу, внучка — в школу. Арсеньевна разогрела вчерашний борщ, сорвала в огороде помидоры, убрала в стайке у коровы, отправленной в стадо с телочкой на заре, посыпала курам последнее пшено и сунулась на минуту в дверь, чтобы спросить: «Кать, ты курей шупала?»

Потом она ловила кур, приседала, надавливала там, где созрело яичко, и, отпуская, считала, сколько их снесется сегодня, мысленно наказывала себе последить днем за темной курицей, бившей свои яйца.

Работы хватало на каждый день. Если не то, так это.

Когда умер ее муж после германской войны, осталось на ее руках шестеро. Соберешь их вокруг себя кучей и не знаешь, чем завтра кормить, к кому приткнуться. Сватались к ней овдовевшие богатые мужики со своими детьми, да куда же: разве можно свести в один угол такую ораву, разве заменит чужой дядька родного отца? Много лет подряд она ждала: вот уже на следующий год станет легче и с покосом и с мясом, тогда освободит их коровушка от забот, ранних вставаний, маяты и тревог. Ждала, и теперь ей уже семьдесят семь лет.

Истоптались ее ноги, состарилось тело, высохли руки, и хочется уже лежать, лежать и лежать. К обеду еще расходуется кое-как, а вечером трудно, даже вилку руки не держат.

Как и все не получавшие пенсии, боялась она одного: не стать бы лишней в своем доме и не умереть никому не нужной. Она знала своих детей и не могла поверить, чтобы они поступили с ней плохо, но наслушалась и навиделась за свой век всякого.

— Вы, мам, ничего, ничего,— обижалась Катя,— а потом как скажете такое... Ай, да ну вас. Прямо до слез доводите. Что ж мы, позво-

лим вам по дворам ходить? Или под порог положим? Лезет вам в голову...

— Та я так.

И обе заплачут.

Катя с детства жила у нее на глазах, и, как самую младшую, жалела ее Арсеньевна пуще всех. Поедет на месяц к сыну — и через неделю уже не может гостить.

— Да поживите еще, мама,— скажет сноха.— Отдохните, Андрею приятно. Или не любите нас? Или стесняетесь чего? Живите, как у себя, я сама все сделаю — отдыхайте.

Потерпит еще неделю и посылает сына в район за билетом.

— Если уж надумала,— ругался сын,— то ей хоть дождь, хоть мороз. Вот не пойду провожать, как хотите.

Только вернется домой — и, если опоздает письмо от сына, захлопочет:

— Чего письма нет, чего нет?

Как будто и не ездила. Сколько ни приглашал ее Андрей жить у него постоянно, не соглашалась и хотела умереть возле дочки, в своем углу, где перебороли они все трудности и где каждое поленце сложено ее рукой.

— Мама,— сказала Катя, уходя на работу,— поросенку не давайте много.

Через час постучалась женщина со станции, дальняя родственница по воронежской деревне. Ее послал сын Арсеньевны Павел передать, что вчера вечером померла его жена. Арсеньевна как стояла, так и не сдвинулась с места, вспомнила: вот тебе и сон.

«Господи,— перекрестилась она,— позавчера еще я ее видела на базаре, лук к поезду выносила».

В последние годы ей все чаще случалось хоронить. Кажется, давным-давно выехали их семьи из воронежских деревень, прижились в Сибири, попривыкли друг к другу и считали за родню даже тех, кто там, в России, и не знался между собой. «Наш, деревенский», — говорили о помершем и шли за гробом, все меньше насчитывая старых людей.

Потихоньку прошла Арсеньевна шесть километров до станции, передохнула на лавочке возле магазина и пошла к сыну. Еще только крышу завидев, отчего-то заплакала. У крыльца, в сенях и в комнате, где лежала Павлова жена, стояли знакомые. В комнате расступились, подпустили Арсеньевну к гробу. Покойница лежала в простом убранстве, с церковной бумажкой на лбу. Арсеньевна заплакала, и сил не достало запричитать. Сын Павел стоял поодаль с сомкнутыми толстыми губами, старый, лысый, рад был бы заплакать, да не мог. «Плачь не плачь,— думала Арсеньевна с осуждением,— теперь поздно, раньше надо было жалеть, она еще молодая была и нас бы еще схоронила, а теперь останешься один, ни постирать тебе некому, ни словом обмолвиться — вот и живи...».

Будто поправляя складки покрывала, она тихонечко пальцами подняла краешек, поинтересовалась, в каких тапочках положил Павел свою жену. Тапочки, к удивлению, были новые. Сама Арсеньевна давно приготовила себе смертное, сложила в ящик и в смиренные минуты, представляя себя в гробу, желала, чтоб несли ее без музыки, без этих дующих в трубы мужиков, которые еще до проводов наберутся в ларьке и потом на поминках будут хлестать стаканами. Нет, она не согласна.

Ночью Арсеньевна не спала. Павел ворочался, несколько раз вставал курить, и Арсеньевна вспоминала, как держался он нынешний день.

Она чувствовала по его лицу, что он будто стесняется случившегося и готов поскорее унести свою жену на кладбище.

Утром опять появились земляки и соседи. Все плакали и жалели покойницу, знали, как намучилась она с Павлом. Пришла и первая жена Павла, Лизавета. Она жила в тридцати километрах от станции, в городе. По старой привычке, как некогда любимая сношенька, навещала она Арсеньевну всегда с подарком, и старушка, радуясь ей, угощая и провожая, все же скрывала это от Павла, боялась, как бы не дошли слухи до второй жены, покойницы, как бы не повредило это их жизни.

После похорон Арсеньевна вышла из дому вместе с Лизаветой, подцепила Лизавету за руку и потянулась по пыльной дороге к гаснувшему полю. Павел легко отпустил ее, ему стало легче при расставании, он позабыл и спросить мать, не испугается ли она темноты, дойдет ли — все-таки шесть километров.

Миновали они с Лизаветой клуб, вышли на черный простор, заговорили. Сперва обсуждали похороны, вспоминали, как хоронили раньше в деревне, как хоронила Арсеньевна своего мужа, а Лизавета — мать. Потом Лизавета рассказывала о себе, о том, что хочется ей иногда проведать свою воронежскую деревню; теперь, видимо, и не узнать ей своих мест, никого нет, одни старики, а новые люди ничего не помнят. Арсеньевна была там последний раз сразу же после войны и встретила Степу, дряхлого, в заплатанных штанах, с белой бородой и такого молчаливого, что думала — обозналась: Степа был первый болтун в округе.

— Не узнаешь меня? — спросила Арсеньевна.

— А чья ты?

— Та я Лопушка. Голычева.

— А-а, та неужели ты Лопушка? Откуда ты взялась?

— Проведу брата.

— Как же ты меня признала?

— Та по походке. А ты меня бы и не признал?

— Нет, милая, не признал бы. Гляжу, идет чья-то.

Лизавета тоже помнила этого Степу. К нему часто захаживал Павел, не любивший вечерами сидеть рядом с женой. И как ни грешно было в день несчастья, да еще при матери, обсуждать Павла, Лизавета все-таки не сдержалась и заметила: мол, каким он был, таким и остался, таким и помрет.

Был он в молодости красивый, статный, но какой-то неразговорчивый и себе на уме. Придет в гости, не поймешь — то ли он поздоровался, то ли спросил что-то. Смотришь ему в синие глаза и догадываешься по губам, что он имел в виду. Сядет, закурит и молчит. Отец не советовал выходить за него. Такой муж и приласкать не сумеет, и слова доброго от него не услышишь. Но сосватали. Горе, великое горе с ним быть. Это целая мука — вспоминать свою жизнь с Павлом.

А потом, как ушел он, так и жила она в обиде рядом с чужим счастьем. С ревностью следила она за семьями, в которых все ладилось, стыдно было одиноко сидеть в уголке в компаниях.

Однажды, не вытерпев, завернула она по пути к Арсеньевне, прослышав, что будет там Павел. Затихла она на пороге, сказала сквозь зубы: «Здравствуйте»... Свекровь и Катя усадили ее, мало-помалу разговорились, и Павел, в свежей рубашке, откормленный и богатый, без сердца и внимания спросил, как она поживает, и ни словом не упомянул про детей своих, хоть бы заикнулся: «Не помочь ли тебе, ты одна, тебе трудно воспитывать». И начал хвалиться, какая красивая родилась

у него дочь, какую завел обстановку, какое начальство зовет его в праздники. Катя молчала, Арсеньевна махнула незаметно рукой и вышла к корове. А Лизавета заплакала, задрожала от обиды и сказала, поднимаясь с табуретки:

— Что ж... Живи. Я в твою жизнь не полезу.

## 2

Утром придет кто-нибудь из соседей попросить молочка для ребенка, взять тяпку на прополку картошки или так забегит — осведомиться, посплетничать. В то утро, после похорон Таши, прибежали к Арсеньевне двое насчет покоса и попутно выпытывали о поминках.

— Три стола было, — говорила Арсеньевна. — Десять бутылок водки, творог, рыба, мяса брали, я своих двадцать рублей положила. Может, и меня не забудут, когда помру.

— Павел здорово плакал?

— Его и не поймешь. То ли он плачет, то ли нет. Он у нас такой.

Катя болела и не выходила на работу три дня. Бабка сама управлялась с коровой, варила, отправляла внучку в школу и ложилась отдыхать. Изредка вздрагивала во сне. Стукнет кто-нибудь из детей палкой по заборчику — она отрывается от подушки, сует ноги в тапочки и бредет на крыльцо. Небо чистое, скучно и безлюдно в деревне.

Вечерами внучка Оля никуда не ходит, читает книжки. Она перешла в восьмой класс, красивенькая, тощенькая, как ребенок, ничего еще не понимает. И слава богу. Нынешние дети больно ранние, все-то они знают и стремятся к тому, чего старые люди в их возрасте и в голове не держали. Сама Арсеньевна хоть и вышла замуж в шестнадцать лет, так что ж она тогда понимала? Ничего.

Вечерами чисто и свежо в комнате, как на воздухе. Набегавшись возле двора, поев молока с хлебными крошками, внучка садится за книжку.

Оля обыкновенно читает вслух громко, с выражением. Арсеньевна, лежа с закрытыми глазами на кровати, всегда слушает, сравнивает описание с тем, что она знала по жизни, порой прерывая вопросом:

— А где ж это было? Чего-то не помню такого.

— Баушка! — позвала Оля. — Послушай-ка...

— Ну, ну.

— Ты спишь?

— Та не сплю, я так.

— Пушкина послушай.

— Не хочу и слушать вашего того Пушкина.

— Да ты послушай!

— Про чего ж он там брешет?

— Ничего он не брешет. Про таких, как ты.

— А ну-ка, а ну.

— «Она хранила в жизни мирной преданья милой старины...»

— Та ты не скадай, я не поспеваю за тобой.

— «Она хранила в жизни мирной преданья милой старины...» Понимаешь? «У них на масленице жирной водились русские блины...»

— У-у, — затянула бабушка, — правда, правда. В старое время последнюю неделю перед великим постом заводили тесто, пекли блины, ели мясо, сметану, чтоб потом до самой пасхи ни кусочка не брать в рот скоромного. Так, так. Я сколько прожила, сроду блюла. А нынче у нас прощенное воскресенье было второго марта, а пасха двадцатого апреля. Правильно, правильно.

— Подеянсья, баушка, я с тобой лягу.

Скинув туфли, Оля лезет через бабушку к стенке.

— Задави, задави мне бабу,— ворчит Арсеньевна.

— Я тебя обниму.— Оля умащивается, кладет голову на бабушкину руку и глядит в потолок.— Баушка. Расскажи про старину. Как жили. Нам на лето сочинение задали. Одно про человека старого времени, одно про современное.

— Так ты хочешь бабушку списать? Пропиши, как бабушка богу молилась, деда любила. Венчали нас с батюшкой,— с ударением сказала она.— Теперь вон поведут в загс, распишут — и никакой церемонии, а мы на лошадях катались, невесту откупали, отца с матерью славили.

— Ба-аб... Расскажи, как дед за тобой ухаживал.

— Дед красивый был. Вот как на карточке. Усы носил.

— А ты?

— И я была справная, раз дед увел со двора. Если б не война, досе бы жил. Простудился, пришел с германской, чахоткой взялся. Помню, пришел под ночь, соседка прибегает: «Тетка, твой пришел с фронта!» — «Да брось, брешешь!» — «Честное слово, в мельницу зашел». Я скорее ребятишек побудила, повскакали. «Ну, становитесь, сейчас отец придет». Выстроила их от порога в голову друг другу, твоя мать, самая меньшая, сзади. Как вошел, обнял меня и давай детей целовать. «Ой, доченька,— на Катю,— какая большая стала!» Гостинцу вытаскивает, атлас, бусы...

Арсеньевна сморкнулась, вытерлась и замолчала.

— Он в августе помер; — продолжала она, — хлеб начинали убирать. Я в поле аккуратно была. Послали за мной Андрея, дядю твою. Прибегает: «Мама, скорей, отец плохой!» Я побросала — и в деревню. Бегу и богу молюсь: не дай смерти, господи, пожалей, их у меня шестеро, на кого я их? Захожу: он лежит на полу со святым полотенцем на груди (такая примета — или скорей отпустит, или скорей померет, без муки). Плохой, вижу, совсем плохой. Бывало, болел, подзывает твою мать к себе: «Как только выздоровлю, так буду Катюшку учить, отдам на портниху». Не тут-то было: помер; так я плакала да причитала, и мать твоя — маленькая была, а причитать умела. Горе и несчастье заставят. Как вспомнишь, какие они остались маленькие, как лесенки, один другого ниже, — не захочешь, так заплачешь. А Катя как упала перед гробом да как запричитала: «Миленький наш папочка, зачем же ты нас оставил таких маленьких, и кому ж мы нужны будем, и некому нас будет на толк наставить, для всех мы чужие. Да миленький наш папочка, да откуда мы тебя будем ждать-выглядать? Да зарастут твои дорожки, да никогда мы тебя-й не дождемся, да не забыть нам тебя никогда!»

Бабушка покрыла лицо платком, и Оля затихла. Она видела перед собой двор, и домишко с земляным полом, и деда в гробу и слышала голос своей маленькой матери.

— Когда помер, — начала снова бабушка, — Павел был уже большой, да Андрей, Алексею, покойнику, тринадцатый шел, Федору и матери твоей по десять (они двойняшки). Митиной матери одиннадцатый шел. Стали жить. Дал нам дядя, брат мой, корову, двух овечек, десять штук курей. Мельницу сам держал. Плохо жили.

— Ну и что?

— А ничего. Такие мы и богачи были, что, когда дед заболел, кормить нечем. Павел женился — на стол покрыть нечего. Дам ребятам по комочку сахару, они чай пьют, а сахар в руках держат, потому что сахару больше нет, не как сейчас — сахару завались. А Андрей вот чего придумал: залезет под амбар, просверлит буравчиком дырочку, наточит пшеницы сколько может и утащит к соседу. Сосед по дешевке купит, на второй день Андрей пьян приходит. Я с осени наказую: «С этого сусека

не берите, будет на семена». Когда пойду туда — ах, батюшки, полсусека нету. Ровно на той неделе больше было, как подтаяла. Приходит Андрей вечером, чую: несет от него водочкой. Он еще не женатый был. Парубковал. «Ты ж где опять пил?» — «Да там меня угостили». — «Кто тебя угощает без денег? Наверно, что-нибудь таскаешь?» — «Да нет, просто подали стаканчик». — «А пшеница куда делась?» — «Какая пшеница, да, ей-богу, провалиться мне!» — «На тебя надеешься, как на хояина, а ты последнее с дому воруюшь!»

А такой был: как пропустит стопочку — всю деревню обойдет, еще и в соседние ходит, там у него шмара жила. Давай я с этого время уговаривать: «Как хочешь, Андрей, женись, иначе с тебя путя не будет». Вот уговорила, дал согласие. «Куда идти сватать?» Была у него знакомая Марфа Бражникова, у ней отец неродной, а мать родная. Андрей Марфу любил, и она его, но отец не хотел Андрея. За Голычева? Голопузый! Нет, и не думай. Ходили сватать два раза, так и не отдал. Через месяц пошли в другое место, там высватали. Я скажу тебе, как сватали у нас раньше. Вот невеста живет километров за восемь, а то и больше, не знает жениха. Не так, как теперь: сосватаются сами, провожают друг друга, в кино ходят. В старину, еще как новая власть пришла, сватали так. Кого отец с матерью повелят — тот и жених и невеста.

Значит, и мы Андрею высватали. Сирота. Запили магарыч, повенчали, сгуляли свадьбу. Стал наш Андрей будто за ум браться. А все ж жалел Марфу. Марфу отдали за другого, она мужа не любила, по Андрею тосковала. В одно прекрасное время где-то они встретились. Марфа и позови его к себе. Муж на заработки уходил. Андрей дождался темна, будто на рыбалку пошел. Это он уж после сам рассказывал. Стукнул в окошко, посидели, погутарили, вспоминали, жалели друг друга. А то не подумал: надо ж идти, скоро светать. И тут, слышит, муж ее стучится. Телега в дороге сломалась — вернулся. Стучит муж — куда деваться? Андрей успел носки надеть, а сапоги не нашел сразу и выпрыгнул в окно в одних носках, по свежему снежку. И лапы оставил, следы. Пришел домой: как жене сказать, что наутро обуваться, а сапог нет? В сенках носки скинул — и в комнату. Жена: «А где ж твоя рыба?» — «Да неудача, ветер поднялся». Скорей в постель. Назавтра встал идти, сидит — ну что обуть, чтоб скрыться от жены, жену он больше шинство звал «дорогуша». «Принеси мне ботинки». — «А сапоги почему не обуешь?» — «Да чижело в них, ноги болят». Принесла ему жена ботинки, а про сапоги и ни к чему. Так он по пьянке сам похвастался. Заговорила вся деревня: Андрей у Марфы сапоги забыл! Жена похватила платишки — и с концом. Через два дня и он пропал. Ой, я искать, я переживать, да что ж такое, я думала, как лучше устроить, а оно вот тебе. Жена не идет. На праздник стучит цыганка: «Тебе сегодня гости будут». — «Какие гости? У меня каждый день гости». — «Нет, моя хорошая, у тебя горе, а сегодня ты обрадуешься». И молотит, молотит язычком, а сама глазами шныряет. Платок висел — я, мол, возьму платок, всю правду расскажу. А другой из сундука вытащила, я и не ахнула. И правда: приходит. Да не домой сперва, а к соседу. Стыдно. «Мать, наверно, не примет». Вот видишь, раньше как: хоть и не послушается когда старшего, а долг уважения есть. «Мать не примет». А куда ж мать денется? Переплачет и простит. Положились мы спать, слышим (в деревне раньше не закрывались) — зажег кто-то свечку. «Мам, иди сюда». — «Чего там такое? Вечерять, так возьми, молоко на полочке». — «Да нет, я не один». — «Ну, привел, так что ж...» — «Мам, простите, последний раз...» — «Живите. Ложитесь, там в углу подушки...» Есть, есть бог, — вздохнула Арсеньевна и перекрестилась. — Я гадала у

монашки, как раз евангелие сосед читал, меня спрашивают: «Ну, чего ж ты там поняла?» Все, говорю, поняла. Как спасителя пытали, распинали. Как он терпел. Ну вот, говорит, и у тебя такая жизнь пойдет. Слушай бабу, в бога не веришь, не молилась смалу, теперь уж не захочешь. а бога никогда не ругай и не смейся над верующими. Мы перемрем, другие люди придут, пусть как знают, а наша доля такая. Не смейся.

— Я не смеюсь.

— Как же не смеешься: баба станет на коленки перед образом, а ты: «Ой, ха-ха, бабушка-то наша. Коленки протирает». Ра-азве так можно на старого человека? Перекривляешь бабу. Пройди мимо, как будто и нет тебя. Я же над вашей верой не смеюсь.

— Ну, смотрите. Мама не молится, дядя Андрей не молится.

— И-и! То-то у них и жизнь такая.

— Одинаково же: что у вас, что у них. У них даже лучше.

— Ты еще маленькая,— смешалась бабка.— Вон рассказывали, как люди на фронте молились. Генералы в церквах стояли.

Оля немножко устала от историй и спросила уже просто так:

— Баушка, а тебе не хочется в свою деревню?

— А чего там я не видела? Старики перемерли, дом наш в войну сгорел. Писал кто-то: стоит один колодезь. Вот я тебе еще сказку расскажу — и ставни пойдем закрывать. Когда помер дед, стала я скитаться с детьми, то вспоминала, как счастье меня бросило, и сказку вспоминала.

— Чего вы свет не зажигаете?

Они и не слышали, как вошла Катя.

— Мы, мам, про старину вспоминаем,— сказала Оля.

— Ты ходила,— спросила Арсеньевна,— насчет покоса?

— Обещали на той неделе выделить. Корову подоили?

— Чтой-то мало она дала.

— Писем не было?

— Андрей прислал.

— Мам, мам! — закричала Оля.— Дядя Андрей в гости обещает!

— Да он только обещает.

— Нет, нет. Пишет: точно приеду, соскучился — сил нет.

— Так тогда что ж: дрожжи есть, заварим ведра два, водки наберем, он, наверно, и досе попивает.

— Та нет,— сказала Арсеньевна.— Я тогда была в гостях — не пил.

— Ну вы разговаривайте, а я еще пойду узнаю про покос.

Катя ушла.

— Баушк... Сказку...

— А сказка такая.— Арсеньевна тоже устала и говорила медленно, грустно.— Пошли девки купаться. Уже большие. Покупались они. Все рубашки понадели, а одна вылезла с речки, только взялась за свою: «Ой, козявка на моей рубашке! Де-евки!» Вот ей и шепчет козявка голосом: «Пойдешь за меня замуж, то сползу с рубашки». Та и говорит подругам: «Девки! Что это она мне предлагает!» — «У, козявкам веришь. Скажи, что пойду за тебя замуж». Через сколько время идут сваты. А в ней неродная матка была. Ей, видишь, счастье попало. Приходят сваты, отдали ее замуж за эту козявку. Посадили за стол, свадьбу сделали и повезли ее к морю. И она жила год, жила другой. В лесу, где мачеха ее, никто не знает, как они там живут. Нашелся у них мальчик и девочка, ага. Время идет. То она ему и говорит, мужу, козявке этой, Куприком звали: «Я, говорит, хочу в гости съездить, хоть и мачеха, а хочется поклон сделать». Она и пошла. Посадил тот Куприк ее в баркас и повез. Перевез, она и говорит: «Как же мне тебя кликать?» — «Подойди и кричи: «Куприк, Куприк, твоя жена с гостей идет, гостин-



цев несет». Я и встречу». Приходит к мачехе. «Ну как же, дочечка, живешь?» — «А хорошо, мам. У меня ж сыночек есть Ванечка и дочечка Танечка». Она погостила у мачехи. «Ну, ляжь, отдохни», — мачеха ей. Легла отдыхать. А мачеха косу на плечо и пошла к морю Куприка кликать. Подходит и кличет: «Куприк, Куприк, твоя жена с гостей идет, гостинцев несет». Он подплывает, только на берег, а мачеха — цап ко сою, голову и сняла зятю этому. Потом провожает дочку домой. Подходит, беденькая, к морю, кличет, кличет — нет ее миленького нигде. Подходит к кустику — стоит баркасик, и плавает по воде голова Куприка. Уж она плакала, уж она каталась по земле, каталась да ручками всплескивала, об детях печалилась: «Ну, миленький сыночек, лети ты теперь соловейчиком, а дочечка пташечкой, а я горькою кукушкою буду всей век!»

Рассказывала мне сказку моя бабушка, и я эти слова запомнила — как осталась без деда, то все говорила: «Лети, миленький сыночек, соловейчиком, а ты, дочечка, пташечкой, а я горькою кукушкою буду всей век». И пустила детей по свету, а сама, как кукушка...

## 3

Осенью, когда уладили с сеном, Арсеньевна вздохнула свободней. Сено досталось нелегко — потратили много денег, косили то сами, то нанимали соседей. Беспокоились только, как бы не подвела их корова, не оставила бы на зиму без теленочка. Тому были приметы: корова никак не принимала быка, мычала и в поле и в ограде и, сколько ее ни водили на пункт, просилась еще. Катя и Арсеньевна досадовали и переживали. Но обошлось, и корова стала полнеть. Свинью они наметили резать к приезду Андрея. Он пообещал, что нынешней осенью непременно зайвится в гости хоть на недельку. Кажется, сдал брат, постарел, охотней вспоминал своих. Читая его письма, которые в это лето шли от Андрея как никогда часто, мать с дочкой плакали и говорили между собой: «Кабы жили поближе да водились деньжата — так каждую б осень можно... А то живешь ровно для огорода да коровы. И не заметишь, как перемрем. Почти двадцать пять лет не приезжал сюда, ну да, двадцать пять, как ушел на фронт, пропал после плену...»

С августа Андрей перенес встречу на сентябрь: не пускало начальство, да и самому было неудобно бросать бригаду в самую урожайную пору. Он никогда не писал про свои дела, и лигаш со слов жены было известно, что сын Арсеньевны — передовой бригадир, в почете у всего края, часто вызывают его в Москву, был и за границей, так далеко, что тысячу раз можно бы доехать к своим, и вот к своим-то ему добраться как раз тяжелей. «Не сомневайтесь, — утешал он спять и опять, — уж этой осенью побросаю дела и приеду».

Мать была согласна и на это. Она чувствовала, что жизнь ее кончается, и боялась не увидеть сына совсем.

Наконец дождалась последнего письма. Андрей выезжал в понедельник и в четверг утром должен был приехать на станцию. В понедельник Арсеньевна поднялась совсем рано, бродила в потемках по комнате, глядела на часы.

— Наш Андрей теперь уже в дороге, — сказала она дочери в восемь часов. — Уже сидит, чай пьет.

Посчитали они деньги, прикинули, сколько чего купить, и порешили, что сегодня, однако, хорошо бы и свинюшку зарезать. Катя отпросилась с работы, попутно купила пять бутылок водки, несла и немножко сокрушалась, высчитывая, хватит ли денег на остальное. Она знала: брат привезет с собой подарков и денег, накупит на другой день водки,

колбасы и конфет, скажет: «Вы одни тут, экономьте». Но не могла она пожадничать, потому что когда она думала о брате, о долгой разлуке с ним, то вспоминала не то, как он выпивал и ругался в деревне, а вспоминала тридцатые годы, когда мать привезла ее сюда, и брат кормил и воспитывал ее, и то, как он ушел на фронт. И как все годы они ждали друг друга в гости, но жизнь не пускала. И вот теперь посидят они вместе. И поговорят, и обнимутся, и поплачут. Катя вздыхала, чувствуя сердцем мелькнувшую жизнь, и представляла день приезда, станцию, поезд, брата на подножке вагона, и плакала, давала себе волю, когда шла тихой стороной улицы. Она хотела испечь брату любимых им в детстве пирожков с капустой. Водились у них с матерью и огурчики, засолили целую кадушку маленьких с пупырышками, и капусты наквасили кадочку, поливали целое лето грядки от засухи. И еще не забыть бы, соображала Катя, приготовить гостю хорошую подушку и рукомыльник прибить к забору, мыла достать душистого и напомнить матери, чтоб довязала внукам теплые носки в подарок.

Повсюду встречались ей знакомые, ахали, глядя на ее сумку с покупками.

— Да брат же приезжает,— объясняла Катя.— Иду и думаю: ох, как опять отложит. Прошлый год написал — я бражки заварила. И случись же несчастье с моим. Пошла эта бражка на поминки, а брат не приехал...

Зашла по пути в промтоварный, искала дочери обувку на осень. Дочь подрастала и требовала новых забот. Матери хотелось отдать ее в техникум, а не посылать на какие-то курсы портних или поваров. Примером ей служил крестник Митя, сын покойной сестры. Вся ее родня была малограмотной или вовсе неученой, и порой, сопротивляясь дочкиным планам («в институте помогать нечем!»), Катя все же благословляла ее в душе на институт и учительскую работу. Коли есть стремление, то и толк будет, думала она, заставляя дочь вечерами за стихами в журналах.

После обеда Катя упросила соседа зарезать свинью. «Чем к Павлу идти,— подумала она,— лучше чужого попросить». Подчистили в стайке, приготовили топор, ножи, клеенку и ведро под кровь, и сосед, созвав помощников, закрылся, поплывал на руки и ударил свинью обухом в лоб. Когда ободрали и разделали тушу, Арсеньевна обмыла почки и сердце, прочистила кишки и спустила в погреб со льдом. Ноги и голову отложили на холодец.

Вечером задумались: кого пригласить. Кровной родни почти не осталось. В первую очередь наметили одиноких, самых верных и хороших людей, тех, кто целые годы тянулся к ним и в несчастье и в радости.

— А этих не надо,— сказала Арсеньевна про одну семью.— Сроду нами брезговали. Не пиши. Пиши лучше соседку Морозышкину, у нее никого нет, посидит с нами на здравье. И Пахома Ивановича со старухой, Дуню Головкову, она нас сильно выручала.

Обсудив список, Арсеньевна полезла в шкафчик считать посуду: тарелки, вилки, стаканы.

— Не хватит — у соседей возьмем,— успокоила ее Катя.— Мам! А Павла-то нашего мы и не посчитали!

— Пиши.

— Так его, видно, с этой писать? Или как?

— А куда же денешься.

Полмесяца назад Павел привел в дом новую жену, ту соседку, которая хлопотала у пеки во время похорон. Арсеньевна и на этот раз была недовольна сыном: старый уже, без жены бы дожил.

Накануне приехала Лизавета. Она привезла рыбы, колбасы, подарила Арсеньевне красивый платок, и старушка, заплакав, открыла свой сундучок, похвалилась, кто что дарил ей в разные годы:

— Внук в Москву ездил, так кофту прислал, а до этого сколько раз на платье давал, как праздник — смотришь, то черевички, то платок. Это Люся набирала, это Толик. А это сноха, покойника сыночка баба... И по десятке в месяц стала высылать, хуже жила — не давала, а теперь говорит: «Мама старенькая» — и посылает когда по месяцу, а когда за три месяца сразу. Та дочка ее на зиму обувь сшила. Теплая обувь, да мала. Катя пусть носит. Один внук только забыл бабу, Митя. Давно уже не дарил. И не пишет.

— Он чего-то совсем отбился. То ли женился, то ли заматался. Никому не пишет, — сказала Лизавета, думавшая между тем о себе, о своих детях, о том, будут ли они ей дарить на старости или откажутся от нее. — Я ему писала: чего отбиваешься от родни, у тебя бабушка, крестная, я хоть и дальняя теперь родня, а тоже... — Лизавета скривилась, сдерживая слезы. — Да нет, пишет, я их люблю, но и не о чем как-то писать. Далеко живу. Вы написали ему, что дядя едет?

— Ну а как же.

Наступил четверг. От знакомых проводников Арсеньевна узнала о расписании. Скорый поезд, которым приезжал Андрей, обычно стоял вечером в Омске, в шесть утра в Новосибирске, в одиннадцать показывался из-за поворота на станции Топки. Арсеньевна проснулась чуть свет. Встречать выходили и в четверг и в пятницу, но ни из одного вагона не вышел сутулый Андрей, и они, гадая и прикидывая, возвращались в деревню.

— Это опять не пустили, — говорила Катя. — Брага переиграет, надо будет сахару добавить — скиснет. Не приедет — и пить некому.

В пятницу принесли телеграмму: «Приеду субботу накрывайте столы».

Повеселели, заулыбались и пошли на станцию раним-рано, пошли и свои, и друзья-соседи. Арсеньевна по старости могла только выглядывать сына у ворот. Лизавета, все утро стряпавшая с Катей, тоже не утерпела, предчувствуя, какая встреча будет у вагона, сколько радости, слов, слез...

— Надо было все же за Павлом сбегать, еще раз сказать.

— Он, — сказала Лизавета, — видно, сразу к столу попадет.

— И в кого он такой? — поворчала Катя. — В нашей породе все ласковые, дружные. Придет когда, буркнет и хоть бы матери гостинца выложил. Сказал бы: «Мама, вы старенькая, нате десяточку».

— Он смолоду.

— Как-то при покойнице Тасе зашли к нему, — оживилась Катя. — Он вышел из стайки в рукавицах и не сказал: «А, проходите». Ну не обязательно, чтоб выпить. Побеседовать, как ни говори, родня. Так он и к столу не пригласил. Не то что уж мы голодные, но ради, как говорится, приличия сказал бы там: «Садитесь, немножко пообедаем». Ни даже, даже! Ровно чужая тетка зашла. Вышла я на крылечко, а сама плачу. Покойница Тася следом: «Чего ты? На меня рассерчала?» — «Да, говорю, чего я рассерчала, я чужая стала, хоть бы рукавицы снял». Уж прямо боялся рукавицы снять: мол, засядут — не вытащишь. То б я его объела. Так я и не хожу теперь.

— Слабохарактерность наша, — сказала Лизавета.

Едва по радио объявили о приближении поезда, женщины в надежде, что брат еще на ходу заметит кого-нибудь и помашет рукой, перебрались на второй путь. Катя кинулась в хвост поезда, соседи де-

журили посередке, Лизавета искала впереди. Андрей был во втором вагоне. Лизавета подняла руку, вытянулась на носках и крикнула, уже моргая, уже плача:

— Андрей, мы здесь!

Андрей с мешком за спиной и с чемоданом в левой руке слез с подножки и остановился, поджидая Лизавету, поблескивая глазами. Лизавета обнялась с ним, целуя, вздрагивая и тычась ему в грудь. Без слов, только голосом и слезами могла она пожаловаться сейчас Павлову брату, какая у нее жизнь прошла за те годы, что они не виделись. Мелькнуло и перед Андреем старое время, пока он держал Лизавету в обнимку и бормотал:

— Ну чего плачешь, ну чего...

Тут подскочила Катя, вскрикнула и повисла на нем, прижалась, причитая:

— Братишка, братик мой родной... откуда ты и взялся?

— Чего плачешь,— заплакал и Андрей,— чего... радоваться надо, живые...

На станции все, кто был тут поблизости, точно сошлись поглядеть, как уроженцы села Елизаветинского Голычевы встречают своего брата Андрея, как обнимают и плачут, и кое-кто из женщин, случайных, не близких, тоже заплакал, вспоминая что-то свое, кровное, может быть, тех, кто не приехал и никогда не приедет, может быть, вспоминая время, когда и с ними было такое или будет еще...

— Ты чего ж, брат,— сказала Катя,— один? Мы вас обоих ждали. И детей бы привез. Мама так хотела глянуть на вас.

— Да приболела. «Ладно, говорит, проведает, а потом они к нам...»

— Нам и вовсе не вырваться,— сказала Катя.

Поезд еще стоял, сбоку станции торговали на прилавках овощами. Молоком, вареной картошкой. Тут оказался и Павел. Павел выносил к поезду овощи, терпеливо выстаивал утром и вечером, никогда не пускал по дешевке, непроданное заворачивал и уносил домой на засол. Выгоднее всего ему было по весне, по той ранней поре, когда еще пусто у людей на огородах, а из его парничков можно тащить на рынок рассаду и первые огурчики.

Катя увидела его и ткнула Андрея под бок.

— Гляди, брат... Павел наш торгует. А ну, а ну подойди, мы в сторону, а ты иди, прикинься. Попытай, почему, мол. Узнает, нет?

Андрей поставил чемодан, передал сестре мешок, кашлянул, пошел с улыбкой к прилавку. Начал с конца, медленно подвигался, почти у каждого спрашивал: почему?

— А у вас, молодой человек? — взглянул он искоса на лысого брата все с теми же синими-синими глазами.

— Эти,— показал пальцем Павел, не замечая Андрея,— по тридцать копеек, эти по двадцать.

— Прошлогонние небось?

Павел недовольно поднял глаза — и вдруг стушевался, вздрогнул, протянув через прилавок руки, уткнулся губами в небритую щеку Андрея.

— Брат... Ты чего ж... приехал, что ли? Без телеграммы...

Катя, Лизавета, соседи издали наблюдали за ними и, когда братья обнялись, опять потянули к глазам руки с платочками и подошли к прилавку.

— Ты, оказывается, с утра караулишь брата,— сказала Катя.

— Та вышел... распродать остатки. Ну, пошли к нам.

— Не-ет,— не уступила Катя.— Он уж к нам пойдет. Давай сворачивай и тоже приходи часикам к четверем.

День выдался прохладный. В деревню они пошли пешком. Почти у самой калитки стояла Арсеньевна.

— А я уж выглядела, выглядела,— слабо сказала она, протягивая руки к сыну,— нет и нет, нет и нет. Ох, миленькие мои детушки, да поразъехались по разным сторонам, никак я вас не дождусь.

В комнате присели, стали рассматривать Андрея. Похож он был на покойного отца, глазами немножко на мать, но ухватки, рот, жесты отцовские.

Вошла Оля в белом платице, тихо поздоровалась и несмело подступила к дяде, и тут снова они заплакали, дядя поцеловал племянницу, удивился, какая она взрослая, почти невеста, и Арсеньевна вспомнила своих дочек в таком же возрасте.

— А чего вы опять плачете? — шумно вскрикнул Андрей.— О ясное море, я за этим к вам приехал? А ну, прекратите!

— Как же, брат,— сказала Катя,— шутишь, столько не виделись. Мы с радости, а потом уж не будем плакать до самого отъезда.

Андрей раскрыл чемодан и достал подарки. Матери — шерстяную кофту, летний цветастый платок, чесаные валенки. Кате от жены своей вручил пуховый платок за шестьдесят рублей, домашний сарафан, племяннице — яркое платье, венгерские теплые ботиночки, ленты для волос, босоножки, варежки. Лизавете он подарил комбинацию. Дороги были не вещи — дорого было внимание. Его благодарили и опять не сдержались, вытерли слезы.

— Будете плакать,— погрозил Андрей,— я повернусь и уеду.

— Не будем, не будем,— сказала Катя.— Тебе нагреть воды? Или лучше в баню?

— Вода есть,— сказала Арсеньевна.— Я два чугунка нагрела. В сарае помойся, хочешь.

— О ясное море, вы не волнуйтесь. Успею.

— Ступай, ступай,— толкала сестра.— Вот тебе мочалка, полотенца, одно для ног, одно для головы. А мы начнем накрывать.

Баню Андрею указала племянница. Она шла и стеснялась дяди. И она тоже ждала дядю в гости, и она боялась проспать поезд, и она считала дни в календаре, представляла себя в семейном кругу веселой и говорливой. А тут застеснялась.

Когда Андрей вернулся, в ограде сидели первые гости — старые знакомые по воронежской деревне. Стали обниматься и вспоминать, кто каким был много лет назад. Племянница, подсевшая к дяде, не пропускала ни единого слова. Она никогда не видела тех, кого называли сейчас старшие, кого вспоминали то грустно, то со смешком. Вот о ком-то слышали, кого-то, уже покойного, видели в июле сорок второго на станции, когда формировалась ударная часть, и этот неизвестный ей человек просил рассказчика: если, мол, кто из нас останется в живых — передай тогда родственникам, что так и так, виделись перед боем, обменялись табачком, расцеловались, заплакали. Больше об этом человеке не слышали.

Звенели на кухоньке вилками, расставляли рюмки, мама чем-то делилась с тетей Лизаветой, а дядя Андрей расспрашивал и расспрашивал о своей деревне у тех, кто посещал ее в последние годы. Сам он так и не заглядывал туда после войны. А так хотелось повидать кого-нибудь. Оказывается, Марфа Бражникова, которую он любил в молодости, померла прошлой осенью в том же доме, куда он крался в погемках когда-то. Тут же он вспомнил, как гуляли по молодости,

как таскали из двора в двор тарелки с киселем, ведь были еще совсем-совсем зеленые, такие же, как их дети и внуки сейчас.

Шаркая галошами, вошел в ограду высокий дед, перевел дух, посмотрел белыми глазами, стал.

— Где он тут?

В переулке появился Павел, и Арсеньевна вышла, сказала всем:

— Давайте будем садиться.

Сели тесно друг к дружке, стульев не хватило, вдоль крайнего к входу стола положили на табуретки доски. Андрея с Арсеньевой поместили в центре возле окна. В белом насиненном платке, в широком с большими пуговицами платье Арсеньевна высоко сидела рядом с сыном и следила, всем ли поданы вилки, тарелочки, рюмки. Рюмки были разные, одна пузатенькая, одна высокая, одна такая, другая такая, но никто не приглядывался к этому, главное — на столе ни в чем не было недостатка.

— Жалко, Митя не приехал,— сказала Арсеньевна.— Писал: «Бабушка, когда соберетесь да меня не будет, выпейте за меня».

— Может, еще и зайвится,— взглянула Катя на стенные часы.— Полшестого. Хабаровский прошел, а в восемь должен кемеровский идти.

— Такой у меня внук был,— покачала головой Арсеньевна,— такой уж ласковый, такой выюн, а тут забыл бабу.

— Он когда учился,— сказала Катя,— прислал раз письмо и пишет: «Здравствуйте, тетя Катя!» А мне так обидно стало: сукин сын, подумаешь, какой грамотный стал, не хочет и крестной назвать. Маленький всегда крестной звал. Пусть в бога не веришь, я тоже, грешная, не молюсь с каких пор, ну и что ж, крестной же можно звать. Оно как-то ближе. Молодым свое, а нам свое. Мы привыкли.

— Всему свое время, сестричка,— засмеялся Андрей.— Я уже на это и внимания не обращаю. Как назовут, так и ладно. Теперь дети не те. Они больше нашего понимают.

— Та знаешь, брат... Одно другому не мешает. Молодым еще жить да жить, пусть они вынесут все, как мы, а тогда гордятся.

Разлили по рюмкам водочку, слабым и непьющим налили винца, соку. Даже племяннице капнули на доньшко, чтоб чокнулась с дядей.

— Ну...— со вздохом, с предчувственным слез подняла рюмку Катя и попросила всех встать.— Давайте за встречу,— мягко предложила она,— давайте... чтоб почаще, чтоб не последний раз... теперь только жить да жить...

Тут все потянулись друг к другу рюмками.

— Берите, берите,— подталкивала гостей Арсеньевна.— Не стесняйтесь.

— Ладно,— сказал кто-то из соседей.— Все хорошо. Мы как одна семья.

Какая-то женщина случайно оказалась в ограде, заглянула по делу. Катя выбежала и затащила, нашла место, быстро налила, заставила выпить:

— У нас чужих нет. Выпей за брата, это же брат мой, помнишь, я ждала в прошлом году?

— А-а...

Когда налили и выпили по второй, по третьей, по четвертой и захмелели, когда начались рассказы, Арсеньевна склонилась под шумок к сыну и сказала давно заготовленное:

— Андрей... ты ж... ты ж... как помру, да если уж не сможешь приехать, то денег вышлешь на похороны...

— Мама, ну вы как маленькие,— махнул рукой Андрей.— Ей-богу! Об этом ли сейчас думать! Да неужели мы... а! И слушать не хочу. Вот сидите и радуйтесь!

— Ах ты беда какая...— сказала Катя Лизавете.— Мити только и нет.

## 4

А Митя в эти минуты сидел в скором поезде и глядел в окно. За станцией Тайга, с которой провожали в далекое время на фронт дядю Андрея, понеслись памятные с детства места.

Летом ему исполнилось двадцать пять лет, он закончил университет и жил самостоятельно недалеко от Москвы. Любил он старинные места и в отпуск обязательно куда-нибудь ездил, всегда один, тихий и сосредоточенный. Особенно любил он речные излучья средней полосы, ночные палубы пароходов, дощатые настилы пристаней и деревни, деревни, некогда отмеченные летописью и книгами, деревни, еще таинские в своих уголках приметы сокрытого времени. И каждое лето откладывал свою поездку в родные сибирские места и в воронежские, в село Елизаветинское. Отца его убили на фронте, мать так и не порадовалась его успехам, умерла, когда он учился на втором курсе, умерла в зимние бураны, и он даже самолетом не успел долететь попрощаться. С тех пор его уже не слишком тянуло домой. Все реже посылал он письма крестной, только по праздникам напоминал о себе подарками, открытками и спрашивал о здоровье бабушки. Но письма от крестной хранил в отдельном чемоданчике, точно предчувствуя, что с годами они вновь расскажут ему о родных, о той их жизни, которая прошла без него.

Годы бежали. Незаметно для себя он стал взрослей и спокойней.

Так же незаметно стал дорожить Митя всем, чему он обязан был своей жизнью, своими успехами и веселой молодостью. Стал дорожить он родными. Запоют ли по радио воронежские девчата — он вспомнит бабушку и крестную, и грустно станет, что нельзя выйти из комнаты и прийти к ним. Нет их рядом, не доедешь ни за день, ни за два. Упадет ли густой снег — он вспомнит сибирские бураны, неровную, в высоких сугробах дорогу к бабушке и представит их в поздний час возле печки — и опять затоскует. Напишет ли крестная: «Наверно, нет того человека, чтобы у него не было никакого горя, очень мало найдешь, чтобы ни горя, ни забот человек не знал» — он почему-то почувствует себя виноватым. Каждый год спешили они сообщить ему во первых строках, что долгожданный ответ его получили и благодарят, что живут они помаленьку, бабушка часто прибаливает, что держат они корову, поскольку без коровы совсем нелегко.

Этой весной ему предлагали заграничную путевку, он было загорелся, накинулся на справочники и книги, подкопил денег. Но вскоре пришло письмо от крестной. «Дорогой наш крестничек,— писали ему,— осенью к нам явится в гости дядя Андрей. Так хочется, чтобы и ты приехал, посидим вместе, столько разговоров будет. Приезжай, отчуждаться не надо. И еще просим тебя, если у вас есть там валенки 22 и 28 размера, то возьми, я деньги тогда отдам...»

Уж к осени он взял отпуск и поехал сначала в родительскую деревню под Воронеж. По рассказам матери он давно представлял ее себе, но не удивился, когда угадал перемены, и никак не мог найти то место, где стоял дом бабушки, где был огород, по которому мать его ходила на свидание с отцом. На месте этом разросся колхозный сад, и лишь в нескольких шагах торчал забросанный камнями колодезь. Сколько же лет прошло! Поздно появился в деревню. Еще бы каких-нибудь пять лет назад поводили его по деревне старики. Их уже нет.

Кажется, и уезжал-то он из деревни по старой дороге, по которой мать с отцом навсегда отправлялись в дальние края. «Вот здесь где-то они стояли, ждали поезда,— думал он.— Отцу было двадцать пять лет, как и мне, матери двадцать. Мать боялась соваться в чужую сторону и вздыхала: «Вань, кто ж нас там ждет. Как бы вернуться не пришлось».

Но никто не вернулся. Никто не захотел снова ладить жизнь у отчего крова, и Мите в юности казалось это странным. Во время расспросов в школе он с гордостью причислял себя к воронежским, а позднее, как ни экзотично звучало слово «сибиряк», любил прибавить в беседе, что деды и прадеды его были воронежские. Он вырослел, и чувство его раздваивалось. Теперь и у него было прошлое, еще не столь протяженное, но было, и оно связано с Сибирью, с бабушкиным двором, с воспоминаниями родных о селе Елизаветинском. Не было уже на свете ни матери, ни отца, не будет скоро и бабушки, и время постепенно сделает его хранителем и бывшего и нынешнего. «А ведь уходит целое поколение,— думал он, пристально оглядывая все уголки станции, представляя молодость матери и отца, но не за тем, чтобы она повторилась, чтобы самому пожить ее трудностями и обидами (их не минует ни одно время).— Уходит целое поколение,— повторил он про себя.— Поколение русских крестьян. А я уже не такой... не такой, как они...»

На встречу с дядей он немножко запаздывал. Поезд пришел в сумерки, Митя вынес наполненный подарками чемодан, осмотрелся, обрадовался своей земле. Мимо белой школы, мимо дома, в котором он когда-то жил, прошел к остановке в надежде поспеть к последнему автобусу в деревню. Пока ждал, почему-то представилось ему, что дядя уже уехал, и он стал думать, как его провожали, как они шли по этой же улице на станцию. Они, наверно, вышли перед вечером, когда уже гнали в деревню коров с оскудевшего пастбища. Собрались они к поезду заблаговременно, взяли друг друга под руки и пошли, занимая дорогу, через длинное поле на станцию. Стоял, наверно, теплый день осени. Провожать пошли все, кроме бабушки. Она долго-долго глядела им вслед, пока они не скрылись и не запели за деревней что-то старое, и горевала, что, может быть, в последний раз провожает она своих детей. Шли они медленно, солнце садилось на глазах. На маленькой станции сели на лавочку; веселая соседка-вдова вытащила из сумки четверть бражки, обнесла всех по очереди из одного стакана. С поля дул ветерок, и в этой скучающей тишине, после объявления о поезде, они так плотно обнялись, так закричали и заплакали, как будто снова расставались на целую жизнь.

И Митя, пережив это в воображении, вышел из автобуса, ускорил шаг, прошел в темноте одну улицу, другую и еще издалека заметил необычайно яркий свет в бабушкином окне. А поближе услышал, как надрывно тянули в доме старинную песню про Ермака, которую он еще пятилетним ребенком знал наизусть. Там, за сплошной белой занавеской, сидели, раскачивались и пели, и каждый не жалел своего голоса, потому что пел о себе. И он понял, что, как только он войдет с послабевшим сердцем в сени, появится на пороге, к нему кинутся и закричат: «Крестничек, миленький, все-таки приехал!»

Он сжал ручку чемодана и остановился.





---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ЛИСИЧКИН,

*кандидат экономических наук*

★

## СПУСТЯ ДВА ГОДА

**В**есной 1965 года, когда закладывался успех очередного урожая, партия приняла решения о неотложных мерах по подъему сельского хозяйства. Что говорить — бывает и так, что надежды, связываемые с осуществлением намеченных планов, не совпадают с результатами, которые преподносит жизнь. Во всяком случае перед этим так было несколько лет подряд с сельским хозяйством. Теперь уже можно видеть, какую оценку новым мерам дала жизнь, а не логика того или иного работника.

Прошло два года — срок небольшой, чтобы исправить все, что требует исправления. За два года трудно восстановить правильные севообороты и ввести все культуры в те рамки, которые для них положены. Есть поля, где пшеница годами сеялась по пшенице, и за одну-две весны эту ненормальность ликвидировать просто невозможно. Нельзя быстро изменить и положение с травами: если в хозяйствах даже понимают их значение, то теперь очень не хватает семян трав. Не так скоро совершенствуются и экономические представления, вырабатываются новые методы хозяйствования... Но во всех этих направлениях начата энергичная работа, которая чем дальше, тем большие плоды будет приносить. Иными словами: чтобы правильно оценить эффект принятых решений, следует учитывать не только уже достигнутые результаты, но и будущие, для ускорения роста которых условия заложены именно сейчас.

Из двух прошедших после мартовского Пленума ЦК КПСС лет один в погодном отношении был неблагоприятным для сельского хозяйства, другой — хорошим. А вместе с тем их результаты как раз и позволяют видеть реальную ценность принятых мер. Как известно, общий объем продукции сельского хозяйства в 1965 году был больше, чем в благоприятном 1964-м. Поступление денежных средств в колхозах увеличилось в сравнении с 1963 годом на 25 процентов, резко снизилась просроченная задолженность Госбанку и поставщикам. Зарботки колхозников в расчете на один человеко-день повысились против 1964 года примерно на 16 процентов. Возросли средства, выделенные колхозами для пополнения общественных фондов.

Прошлая осень еще больше порадовала наших земледельцев. Да и не только их: весь наш народ доволен результатами сельскохозяйственного года. Выращен хороший урожай, получено много животноводческой продукции. В государственных закрома к началу ноября поступило более четырех миллиардов пятисот миллионов пудов, или около 75 миллионов тонн зерна нового урожая. Это на миллиард с лишним пудов больше предусмотренного планом. Такое количество хлеба заготовлено в нашей стране впервые.

Важно отметить, что значительный рост производства хлеба был достигнут в результате повышения урожайности. На Украине получили более 20 центнеров зерна с гектара. В Краснодарском крае собрали по 29 центнеров. А ведь посевные площади Краснодарского края больше посевных площадей ряда западноевропейских государств. В целом колхозы и совхозы Российской Федерации продали государству свыше двух с половиной миллиардов пудов.

В Казахстане, на целинных землях, также получен хороший урожай. В Северо-Казахстанской области, засеваемой зерновыми около двух миллионов гектаров, получено в среднем по 16 центнеров с гектара. Казахстан дал стране один миллиард пудов. Таким образом, только две союзные республики засыпали в закрома государства свыше трех с половиной миллиардов пудов. Другие тринадцать союзных республик, и среди них такой крупный поставщик хлеба, как Украинская ССР, продавшая государству свыше 700 миллионов пудов, также значительно перевыполнили установленный государством план закупок зерна. Запасы зерна удовлетворяют потребности страны и по количеству, и по своей структуре, качество хлеба стало много лучше. Успехи в производстве зерновых способствовали быстрому росту животноводческой продукции.

Земледельцы гордятся и другими своими достижениями: выращен хороший урожай сахарной свеклы, хлопчатника, подсолнечника.

По предварительным расчетам, валовая продукция сельского хозяйства возросла в прошлом году приблизительно на 10 процентов. Для сравнения напомним, что в предыдущем пятилетии среднегодовой темп прироста составлял в сельском хозяйстве 1,9 процента.

Урожай минувшего года увеличил продовольственные ресурсы нашей страны, позволил улучшить снабжение сырьем пищевой промышленности, увеличил доходы сельскохозяйственных и соответствующих промышленных предприятий, благотворно повлиял на рост национального дохода и на жизненный уровень народа.

Благодаря чему достигнуты такие результаты? Безусловно, большое значение имело то обстоятельство, что условия погоды в прошлом году во многих зонах страны были благоприятными. Но дело не в одной погоде. Погодные условия, подобные тем, что были в том году, складывались и раньше, однако урожаи были гораздо ниже. Хотя погода — важный фактор в обеспечении урожая (она во многом определяет развитие растений), но производство, коль скоро в нем участвует человек, регулируется не одними биологическими законами. Не меньшее значение имеет познание и использование объективных экономических закономерностей, игнорирование которых может свести на нет эффект дождя и солнца.

Итак, что же такого особенного произошло в этой области народного хозяйства, если она дала такой значительный прирост производства? Может, колхозы и совхозы получили за это время много новой техники? Может, им дали в два-три раза больше удобрений? Может, в конце концов заменили многих специалистов и они на научных основах повели свое хозяйство?

Ни то, ни другое, ни третье. Колхозы и совхозы получили после мартовского Пленума не на столько уж больше машин и удобрений в сравнении с предыдущими годами, чтобы объяснить только этим их нынешний успех; да и специалисты, руководители хозяйств остались в основном те же, что и были раньше.

В чем же тогда дело?

Прежде всего в том, что были приведены в действие экономические рычаги управления сельским хозяйством. Цены, действовавшие до мартовского Пленума, не обеспечивали многим хозяйствам не только расширенного, но даже и простого воспроизводства. Недостатки в развитии колхозов и совхозов часто списывались в прошлом за счет нарушения принципа материальной заинтересованности. При этом могло создаться впечатление, что все остальные части продукта (воспроизводство основных и оборотных средств, уровень накопления) восстанавливались нормально. Однако прежний уровень был как раз потому плох, что не только на нормальную оплату, но и на пополнение оборотных и неделимых фондов в хозяйствах подчас не оставалось средств или же оставалось слишком мало. В таких случаях хозяйства работали на износ.

Взять хотя бы колхозы Дубровского района Брянской области. Почти 80 процентов валового дохода они израсходовали в 1964 году на оплату труда, а на пополнение недслимого и оборотных фондов осталось... три процента. Или же Жуковский район. Здешные колхозы использовали на оплату труда 76 процентов валового дохода и лишь восемь — на расширение производства. Но даже при таких пропорциях распределения валового дохода оплата в колхозах оставалась крайне низкой. Общехозяйственная рентабельность была в Брянской области за последние годы ниже нуля, а порой доходила

и до минус 10 процентов. Как свидетельство грубого нарушения глубинных экономических процессов, стоят еще кое-где покосившиеся, убогие производственные постройки, крытые соломой жилые дома.

Новые цены, а также расширение прав колхозов и совхозов совершили перелом в экономической жизни села. Уже в 1965 году общехозяйственная рентабельность составила в совхозах той же Брянской области 22 процента, а в колхозах — 40 процентов. Экономический градусник зафиксировал температуру, свидетельствующую о постепенном выздоровлении. Причем в районе, где прежние ошибки в ведении сельского хозяйства сказались особенно пагубно.

Но если бы все дело состояло только в том, чтобы повысить закупочные цены! Работало раньше хозяйство с убытком — подняли цены, и в бухгалтерских книгах автоматически «минус» превратился в «плюс». Нет, не этого добивались партия и правительство, повышая цены, — они рассчитывали вызвать этой мерой рост производства.

Каким же образом повышение рентабельности повлияло на состояние производства? Достигнуто это не каким-нибудь техническим чудом, а куда более простым, но верным средством. Увеличилась оплата труда колхозников и специалистов — повысилась и их трудовая активность. Она-то и обеспечила рост производства. Если до недавнего времени многие колхозы не могли ежемесячно оплачивать труд своих членов, то с переходом в 1966 году на гарантированную оплату положение здесь резко изменилось в лучшую сторону. Люди стали жить лучше, и это сказалось на производстве.

Стали больше платить людям — стало больше рабочих рук. Стало больше рабочих рук — смогли в две смены вывозить на тракторах удобрения. Те же самые машины — а работали с двойной производительностью, тот же самый скот, та же самая земля — а за счет нового отношения к ним дают иные результаты. Да это и понятно: не может быть проку даже от механизированной типовой фермы, пока труд доярки и скотника оплачивается плохо. Статистика показывает, что в прошедшем году трудовая активность на селе серьезно возросла. Отработано гораздо больше человеко-дней, чем прежде, причем в некоторых областях прирост составил 18—25 процентов к соответствующему периоду прошлого года.

Происшедшие перемены лишний раз подтверждают неоспоримые преимущества стимулирования производственной активности ценой на продукцию по сравнению с «должностными» окладами, а также с оплатой лишь по тарифам и расценкам за норму. Свое благополучие, свой личный заработок колхозники все более осязаемо связывают теперь с ростом производства, увеличением продажи продукции. Поэтому сейчас и собрано то, что раньше, при более низком заработке, просто недобирали.

Не менее важно отметить и другое — осуществление принятых мер создает реальную базу для пропорционального роста не только оплаты труда, но и всех элементов воспроизводства: и накопления, и фондов возмещения. В брянских колхозах отчисления в неделимый фонд (включая амортизацию) увеличились за один год, прошедший после мартовского Пленума, на 28 процентов (в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий), средства на капитальное строительство (в том же расчете) — на 13 процентов, а кредиторская задолженность колхозов снизилась на 29 процентов. Как видим, даже здесь идет активная нормализация процесса расширенного воспроизводства. И это сейчас не менее важно, чем уже достигнутый рост производства, так как в этом залог успеха в будущем. Любопытно: больше всего выиграли тут сейчас те хозяйства, где быстрее сумели поднять заработок колхозников, ограничив порой до минимума капитальные вложения. Ускорив тем самым темпы роста валового дохода, они обеспечили и рост той его части, которая необходима для коренной модернизации производства, требующей крупных капиталовложений.

Не меньшую роль в достижении нынешнего успеха сыграло и то, что хозяйства получили возможность более самостоятельно решать производственные вопросы, смогли по своему усмотрению совершенствовать структуру посевных площадей. Они сократили посев одних культур и расширили других, приводя структуру хозяйства в большее соответствие с уровнем своего экономического развития, с резервами труда и задачей повышения рентабельности. Как и следовало ожидать, во вред себе никто не действовал, а в условиях, когда цена правильно информирует производителя об экономическом

заказе государства, работа, так сказать, «на себя» оборачивается работой на государство. Достигается гармоничность интересов, необходимая для любого успешного экономического развития. По сравнению с 1964 годом посевы пшеницы увеличились почти на два миллиона гектаров, посевы кукурузы на зерно сократились на 1286 тысяч гектаров. В то же время площади, занятые многолетними травами, возросли на два с половиной миллиона гектаров, увеличились площади под парами и т. д. Эти цифры важны не только сами по себе. Они отражают нормализацию системы земледелия, восстановление севооборотов, чередование культур, что является важнейшим условием достижения высоких урожаев не только сегодня, но и завтра.

Зримым подтверждением действенности мартовских решений служат для нас привалки магазинов. За короткое время они как-то даже неожиданно наполнились исчезнувшими было маслом, мясом, колбасой, разными крупами...

Прошедшие два года убедительно показали, что курс в развитии сельского хозяйства, выработанный на мартовском Пленуме, правильный. Он основан на широком использовании экономических законов социализма, демократизации общественной и экономической жизни на селе, на расширении инициативы колхозов и совхозов, на стремлении к гармонии, к совпадению интересов государства, хозяйства и отдельного труженика. Последовательное осуществление этого курса дает хорошие результаты. Накопленный за это время опыт подсказывает одновременно и направление дальнейшего совершенствования методов руководства сельским хозяйством, основанного на применении провозглашенных принципов к решению конкретных проблем, неизбежно возникающих в ходе развития производства.

#### НЕВКЛЮЧЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

В 1966 году решил я вновь побывать в Красногвардейском районе Крымской области, где впервые мне пришлось сравнивать работу колхоза и совхоза. (О неожиданных для меня выводах я рассказал в девятом номере «Нового мира» за 1965 год в статье «Гектары. Центнеры. Рубли».) В производственном управлении специалисты, сделав колхозные и совхозные показатели сопоставимыми, дали мне такую справку: валовое производство в колхозах на сто гектаров сельхозугодий увеличилось за первый год действия мартовских решений с 24 100 до 36 500 рублей, то есть больше чем на 50 процентов! В совхозах производство выросло тоже, но гораздо меньше — с 18 300 до 21 400 рублей, то есть приблизительно на 17 процентов. Если сравнить колхозы и совхозы по количеству реализованной с гектара продукции, то картина будет еще более впечатляющей. Тут не обойтись без таблицы, но заинтересованному читателю она скажет больше, чем самые выразительные слова.

**Количество реализованной продукции с одного гектара  
с.-х. угодий в колхозах и совхозах Красногвардейского района  
Крымской области (в центнерах)**

	К о л х о з ы		С о в х о з ы	
	1964 г.	1965 г.	1964 г.	1965 г.
1. Зерно . . . . .	3,0	3,7	4,2	4,3
2. Подсолнечник . . . . .	0,42	0,44	0,15	0,19
3. Овощи . . . . .	1,52	1,27	0,13	0,07
4. Бахчевые (продовольств.) . . . . .	0,97	1,06	0,13	0,06
5. Фрукты . . . . .	0,17	0,34	0,01	0,04
6. Виноград . . . . .	1,38	2,19	0,65	0,82
7. Молоко . . . . .	2,91	3,96	1,92	2,45
8. Мясо всех видов . . . . .	0,33	0,43	0,33	0,36
9. Шерсть (кг.) . . . . .	0,39	0,26	0,79	0,74

Цифры свидетельствуют о том, что в этом районе колхозы откликнулись на мартовские решения активнее, чем совхозы. Любопытно, что и в других местах — там, где специализация хозяйств приблизительно одинакова, границы неизменны, а уровень установленных цен обеспечивал нормальный процесс воспроизводства, — обнаруживается та же закономерность. Еще более благотворно сказались решения Пленума на оплате труда в колхозах. В том же Красногвардейском районе годовая оплата труда колхозников возросла в среднем с 699 рублей в 1964 году до 1004 — в 1965 году. На один человеко-день здесь выдано деньгами и продуктами 3 рубля 73 копейки, тогда как в совхозах — 3 рубля 30 копеек, а общегодовая оплата увеличилась с 922 рублей до 949. Этот разрыв в оплате совхозного и колхозного труда не случаен: ведь в здешних колхозах, как мы видели, получен и больший доход, произведено больше продукции. На первый взгляд такая разница в результатах хозяйствования кажется несколько странной, но если разобраться в существе дела, то все становится понятным.

Заработок рабочего совхоза по-прежнему зависит в основном не от того продукта, который он производит, а от установленных тарифов, расценок, норм. При этом даже не преследуется цель соразмерять участие каждого в создании валового дохода. В то время как для колхозников каждый производственный успех все больше превращался в зримое, растущее вознаграждение, поощряющее к еще более производительному труду, в совхозах натуральный подход, оценка по «валу» выполненных работ, а не по конечному продукту и доходу продолжали сковывать инициативу тружеников.

Важно и другое обстоятельство. Колхозники, в принципе, в большей степени хозяева произведенного ими продукта.

Выполнив государственные планы продажи, они распределяют между собой ту часть натуральной продукции, которая им нужна для семьи, для ведения своего подсобного хозяйства. И морально и экономически эта особенность колхозного производства действует самым благотворным образом на трудовую активность. Рабочий совхоза на свою зарплату натуральной продукции не получает. А в условиях, когда торговля на селе поставлена плохо, это на трудовой активности сказывается гораздо хуже, чем может показаться, если расчеты вести только в деньгах.

Директор совхоза «Боклань» на Брянщине Иван Акимович Шемелинин, да и не он один, справедливо жалуется на «неравноправие»:

— Почему колхозник может от произведенного им урожая получить немного зерна для личных нужд, а рабочий совхоза такой возможности лишен?

Видимо, это один из тех вопросов, которые еще предстоит решать. Значит, не только размер оплаты определяет степень материальной заинтересованности. Сравнение результатов хозяйствования колхозов и совхозов наводит на мысль, что форма оплаты, степень зависимости оплаты от конечного, вновь созданного продукта не менее важны для усиления трудовой активности. Насколько сильно влияет связь оплаты труда с величиной вновь созданного продукта на структуру производства, прекрасно видно на примере колхозов и совхозов того же Красногвардейского района.

Земли у них — почти одинаковое количество, но посмотрите, как по-разному они ее используют. Колхозы из 95,8 тысячи гектаров держат под пашней 79,2 тысячи, под виноградниками — 7,4 тысячи, под садами — 4,4 тысячи гектаров. У совхозов 93,9 тысячи гектаров; пашни — 70,8 тысячи, а под виноградниками всего 3 тысячи и под садами лишь 1,2 тысячи гектаров. Овощи, фрукты — дело хоть и доходное, но уж очень хлопотное. Доход совхозам, в общем-то, ни к чему: оплата рабочих и служащих идет не от его размера, фонды хозяйства тоже величина, почти не зависящая от этого показателя, поэтому-то вот такая разница в уровне интенсификации!

Но на самом деле она еще больше. Большинство колхозов сбывает свою продукцию не «сырьем» и даже не полуфабрикатом, а в переработанном виде — вино, консервы, соки. Оборудование для этого колхозы достают буквально из-под земли. Инициатива совхозов в этом отношении сковаца до предела. Иное дело колхоз. Он на подлинном хозяйском расчете, и его кормяг, помимо всего остального, «ноги», а точнее — смекалка. И это оказывается выгоднее как для хозяйства, для труженика, так и для государства.

Но не только несовершенство системы оплаты труда мешало совхозам использовать свои резервы лучше, чем это получалось. Во многом препятствовала этому и сложившаяся система планирования прибылей. У совхоза «Боклань», например, в 1964 году по плану прибыль составляла около 7 тысяч рублей. Хозяйство сумело добиться 109 тысяч. Большая часть сверхплановой прибыли была оставлена хозяйству и пошла на нужды коллектива. Казалось бы, радоваться надо. Но вот на 1965 год план по прибыли уже устанавливается в размере 85 тысяч рублей. Зачем такое увеличение? Видимо, чтобы впредь не было повадно так сильно перевыполнять план.

Планирование «от достигнутого уровня», порожденное субъективистским методом руководства народным хозяйством и уже не раз подвергавшееся обоснованной критике, все еще продолжает тормозить развитие совхозов. Оно направляет инициативу руководителей не на то, чтобы добиваться максимальной прибыли, а на то, чтобы прибедниться перед плановыми органами и получить план поменьше, полегче.

Но даже выполнив и перевыполнив план, директор и коллектив совхоза не всегда уверены в том, что их труд и инициатива будут достойным образом вознаграждены.

В совхозе «Красная заря» Ново-Александровского района Ставропольского края 1965 год был удачным. Планы производства продукции были перевыполнены, получена сверхплановая прибыль. На счету совхоза было оставлено 147 тысяч рублей. Они предназначались для дополнительных капиталовложений и для материального поощрения рабочих. Но сумма эта недолго числилась за совхозом. По решению вышестоящих организаций шестьдесят тысяч рублей было переброшено на совершенно иные цели, чем это рассчитывал коллектив. Но даже и в тех случаях, когда все подводные камни, казалось бы, обойдены и совхоз все же добивается полагающейся ему прибыли, радоваться преждевременно. Чаще всего расходование ее заранее расписано. И получается: совхозу нужно обзаводиться школой, яслями, детским садом, зерноскладом, а предписания заставляют его строить свиноферму или птичник.

Трудно сейчас найти человека, который бы не понимал отрицательного влияния всех этих ограничений на рост производства. В середине августа прошлого года в Крыму прошли проливные дожди невиданной еще здесь силы. Этого не учли соответствующие высокие инстанции, когда год назад решали, какому совхозу что разрешить строить. И вот в то время как колхозы бросились спасать зерно, спешно создавая бетонированные площадки, накрывая их навесами, совхозы оказались в смешном, если не драматическом, положении: им предстояла длительная переписка по поводу дождя, выпавшего «не по плану». То же и с овощами, фруктами. Совхозы «Родина», «Краснознаменский» вырастили хороший урожай вишни, черешни, сливы. Сбыта на месте нет. Колхозы срочно заказали вагоны, даже самолеты, договорились с потребителями о ценах и нашли сбыт своей продукции. Совхозы же погубили часть своего урожая: такая «вольность», как поиски потребителя для своей гибнущей продукции, им не дозволена.

Все это — и незаинтересованность в величине дохода и вновь созданного продукта, и чрезмерная регламентация хозяйственной деятельности — приводит к тому, что совхозы не дают того количества продукции, которое при других условиях могли бы дать.

Могут спросить: а зачем так подробно расписывать все «горести» совхозного хозяйственника? Делаю я это отнюдь не из желания вызвать к нему жалость, а для того, чтобы сказать: в колхозах такие проблемы, как правило, не стоят так остро. Может быть, как раз поэтому колхозы и набирают сейчас более быстрые темпы в развитии производства, хотя материальная база совхозов крепче, да и средств дают им больше.

Мне могут возразить: не к чему противопоставлять колхозы совхозам. Нет, есть к чему. Но только противопоставлять надо не формы собственности, а степень использования хозрасчетных принципов в колхозах и совхозах. В первом случае действуют элементы подлинного хозрасчета, особенно после решений мартовского Пленума, во втором же — хозрасчет формальный, который скрывает инициативу и материальную заинтересованность работников.

Впрочем, мы отнюдь не хотим сказать, что в колхозах хозрасчетные принципы

утвердились уже полностью и что теперь здесь нет трудностей, мешающих им еще быстрее набирать темпы.

В прошлом году я побывал в нескольких хозяйствах Ново-Александровского района Ставропольского края. Здешние хозяйства научились выращивать стабильно высокие урожаи. Даже в 1965 неблагоприятном году колхоз «Россия» получил более 32 центнеров зерновых с гектара, колхоз «Дружба» — около 30, и в целом по району средняя урожайность за последние годы была около 25 центнеров. Ново-Александровский район — зерновой. Из 175 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходится здесь 145 тысяч гектаров, то есть распаханно все, что только можно распахать. Да это и понятно: растениеводство дает тут самый высокий доход. В колхозе «Россия», например, рентабельность производства пшеницы достигла 300—350 процентов, а подсолнечника — даже 700. На каждый вложенный в производство этих культур рубль хозяйство получает в первом случае три — три с половиною рубля, а во втором — семь рублей. Выгодно — это даже не совсем то слово, которое отражает материальную заинтересованность хозяйства в производстве зерна, особенно если сравнить с показателями животноводства.

В том же колхозе «Россия», о высокой культуре производства которого можно судить хотя бы по урожайности, молоко приносит убыток. Даже при новых ценах он составляет пять рублей на центнер. 500 тысяч рублей убытка дали в 1965 году и овцы. А вот производство мяса, особенно свиного, рентабельно.

Поэтому когда знакомишься здесь со структурой хозяйств, то ожидаешь, что вся она подчинена главным, самым прибыльным культурам, и в первую очередь увеличению производства пшеницы, а остальные отрасли если и существуют, то лишь постольку, поскольку помогают или по крайней мере не мешают росту основных. Эта уверенность тем больше, что стремление хозяйств к максимальной прибыльности в данном случае полностью отвечает интересам государства: ведь при этом увеличиваются возможности заготовок дешевого зерна.

Но странная вещь! На деле это оказывается не совсем так. Тот же колхоз «Россия» мог бы засеять пшеницей до 55 процентов пашни без риска нарушить правильное чередование культур, а сейчас она занимает здесь всего лишь 37 процентов. Может быть, это местное явление, не имеющее большого значения для общегосударственных интересов? Нет. В целом на Северном Кавказе в 1965 году пшеницей на зерно засевалось всего около 33 процентов пашни. Специалисты же считают, что если хозяйствам не мешать, то они могли бы довести клин под пшеницей хотя бы до 40 процентов, что, по самым скромным расчетам, дало бы дополнительно только тут не менее двух миллионов тонн зерна.

Каким же культурам отдают землю, по праву принадлежащую пшенице? Кормовым. А точнее — той же озимой пшенице и другим зерновым, которые, не дожидаясь их созревания, косят на корм или же просто стравливают скоту. Передо мной письмо директора известного в стране совхоза «Гигант» Д. Ангельева. Он пишет: «В «Гиганте», да и в других известных зерновых совхозах Ростовской области весной начинают косить пшеницу, когда она только еще выбрасывает колос. Зелень нужна для кормления коров. Во многих хозяйствах ввели специальные посевы озимой пшеницы на корм скоту. Разве это экономично? Просто озимь раньше вырастает. С таких прекрасных черноземов, как поля совхозов «Гигант», «Целинский» и других, получают по 150 центнеров зелени и этим довольствуются. А ведь здешняя земля способна давать значительно больше продукции. Но что делать? Гонит нужда».

Массивы пшеницы, наполовину стравленные скоту, я видел и в совхозе имени Кирова Шпаковского района. В совхозе «Грачевский» на замечательных посевах ржи пасли телят. В колхозе «Дружба» буйные озими косили на корм, хотя агроном был уверен, что на этом поле он может получить не менее 25 центнеров зерна с гектара. В целом по Северному Кавказу однолетних культур, в основном зерновых, стравливают скоту 1688 тысяч гектаров. И, что самое главное, не по злему умыслу, а по нужде, вызванной необходимостью выполнить план по животноводству. С точки зрения экономической эти факты кажутся невероятными и необъяснимыми: гектар пшеницы дает в

хороших хозяйствах до 150 рублей чистого дохода. А каждый гектар, вырванный у зерновых и переданный животноводству, приносит хозяйству убыток.

Нельзя же все мерить рублями и прибылью, говорят порой хозяйственники. За зерно нам платят хорошие деньги, от продажи его хозяйства имеют большие доходы. Грешно поэтому роптать на неудобства, связанные с животноводством, жалеть отдать ту дань, которая, в общем-то, даже посильна.

Но отвечает ли это интересам общества и государства? Попробуем проверить.

Специалисты колхоза «Россия», освободившись — пока в мечтах — от двойственности своего положения (экономический интерес и долг), наметили некоторую перестройку структуры производства в колхозе. В основном она сводилась к увеличению площадей под пшеницей за счет кормовых культур и к сокращению поголовья овец с 18 до 10 тысяч голов. Даже сохраняя в неизменном виде остальные отрасли животноводства, колхоз при такой структуре производства превращал свое убыточное ныне животноводство в рентабельное. Общая рентабельность производства повысилась бы на 9 процентов, что означало бы дополнительную возможность для ускорения роста хозяйства. Увеличение посевных площадей под пшеницей увеличило бы производство зерна почти на пять тысяч тонн. А это немало — город с населением в двадцать пять тысяч человек можно прокормить только этой прибавкой.

В других хозяйствах, где мне удалось побывать, расчеты специалистов также вскрывали большие резервы производства зерна.

Итак, на одной чаше весов лежит большая прибавка дешевого зерна, а на другой — некоторое сокращение дорогой животноводческой продукции. И в натуральном и в стоимостном выражении первая чаша намного перетягивает вторую.

Все это так, могут согласиться с нами, а вернее с теми, кто стремится к зерновой структуре производства на Ставрополье. Но если дать волю хозяйственному расчету, то кто же тогда будет производить шерсть, баранину, молоко?

Ставрополье обширно. Надо проехать несколько часов в машине, прежде чем окажешься в его противоположном конце — в Шпаковском районе. И по мере удаления от Ново-Александровского района меняется пейзаж. В степи появляются холмы и долины. Вместе с изменением ландшафта меняется экономический интерес производителя. И это естественно. Распаханных угодий здесь гораздо меньше, почти половина на полонину. Скот пасется на дешевых естественных пастбищах, поэтому тут и иная стоимость производства животноводческой продукции. В районе около 400 тысяч овец, и секретарь райкома партии Иван Егорович Бойко говорит:

— Овцеводство — самая доходная отрасль в большинстве наших хозяйств, и никакими уговорами нельзя никого убедить сокращать поголовье во имя чего-либо другого.

В колхозе «Темнолесский», земли которого лежат на самой высокой части Ставропольского плато, я столкнулся с совершенно иной картиной, чем в ново-александровских хозяйствах. То, что там обуза, от чего там отказываются, здесь — самое заветное желание. Колхозники мечтают поставить овцеводство на широкую ногу. На это их подталкивают сами природные условия. В колхозе 25 тысяч гектаров земли, а пашни из них — лишь 10 тысяч. Пшенице отдано 6 тысяч гектаров. Урожай ее весьма пестрый. На ровных полях она дает 18—20 центнеров зерна с гектара и больше, а на крутинах, где хлеб решаются убирать только смелые и очень опытные комбайнеры, намолачивают 5—6 центнеров. Поэтому хлеб здесь получается дорогой. Руководители колхоза хотели бы крутогорья залужить, а пшеницу сеять не на 4600 гектарах, как сейчас, а на 3200, но зато увеличить посевы кормовых культур. При такой структуре колхоз мог бы иметь в общественном стаде на 10 тысяч овец больше и получать свыше 3 миллионов рублей дохода, то есть на 1200 тысяч больше, чем сейчас.

Получается странная картина: в одном случае, там, где для выращивания зерна наиболее благоприятные условия, производство его сдерживают во имя животноводства, а в другом, там, где есть все условия, чтобы давать дешевую продукцию животноводства, его оттесняют во имя зерна, производство которого обходится гораздо дороже. Пример двух хозяйств — «Россия» и «Темнолесского» — говорит о том, как



несовершенство планирования нарушает, тормозит естественную специализацию, выгодную и для государства, и для самого хозяйства, и для каждого труженика, работающего там. И это в пределах одного края. А ведь страна наша обширна, и в ней есть сколько угодно мест для производства молока, помимо черноземов Ставрополя.

Каждому понятно, что такое положение дурно влияет на рост производства сельскохозяйственных продуктов и, следовательно, на ход государственных заготовок. Значит, «высшие» интересы, о которых идет речь при оправдании требований развивать нерентабельные отрасли, не только не соблюдаются, но, наоборот, грубо нарушаются. Не рождено ли это явление прежним неверием в возможность достигнуть гармонии интересов хозяйства и государства на экономической основе? Не признается ли тем самым ограниченная роль действия экономических рычагов, то есть то, что при доведении заказа на производство продукции принцип экономичности можно игнорировать, а при выполнении уже доведенного плана требовать учета его? Вряд ли такая постановка полезна для развития производства.

— За что же ратует автор статьи? За бесплановость? — может спросить читатель.

Нет, речь идет вовсе не об отмене планирования в сельском хозяйстве, а, напротив, о его укреплении, о придании ему подлинной силы. Если мы составляем «хорошие» планы, доводим до хозяйств, а те из года в год их не выполняют, то защищать такое планирование равносильно защите бесплановости, стихии производства. Чтобы план не оставался пустой бумагой, необходимо, на наш взгляд, усовершенствовать методологию планирования.

Государство, исходя из общего анализа условий производства, устанавливает в плановом порядке цену на пшеницу и другие культуры. В ней, в этой цене, зашифрованы условия расширенного воспроизводства того или иного продукта. Плановая цена информирует производителя, какие затраты на данную продукцию сейчас общественно необходимы. Сам уровень цены определяет экономический ареал производства данной продукции. Повышая (понижая) цену, можно сужать (расширять) район производства продукта. Каждый колхоз, совхоз примеряет установленную цену к своим условиям и определяет, может ли он в этих условиях успешно вести производство. Задача состоит, следовательно, в том, чтобы собрать заявки от колхозов и совхозов на продажу той продукции, производство которой при данном уровне цен и в данных условиях наиболее выгодно для хозяйства. Сравнивая полученный таким образом результат с тем, который желателен для общества, можно было бы планировать меры, способствующие их сближению. В число их войдет и уточнение цен, условий и объема кредитования, а также форсирование производства удобрений, увеличение поставок техники, развертывание научно-исследовательских селекционных работ с постоянным расчетом на то, что все это будет усиливать интерес непосредственного производителя к увеличению того или иного производства. Полученный после этого вариант плана, основанный на гармонии интересов государства и хозяйства, на совпадении натуральных и стоимостных показателей, должен стать документом, исполнение которого строго обязательно для всех участников его составления. Отношения между партнерами по производству (не только и, может, даже не столько между отдельными хозяйствами и предприятиями, но объединениями, куда они входят) должны строиться на договорных началах, и нарушение одним из них условий и сроков поставок продукции должно повлечь за собой ответственность не только моральную и административную, но и экономическую. Конечно, система эта обрисована схематично. В жизни она стала бы многограннее и разнообразнее по отдельным своим решениям. При ней потребовались бы долгосрочные, краткосрочные планы и договоры со спецификой и разной степенью свободы условий контракции отдельных продуктов. Планирование превратилось бы в этом случае в непрерывный процесс, направленный на постоянное совершенствование, улучшение условий производства. Но важен принцип: оценку того, насколько созданные условия соответствуют интересам производителя, должны давать люди, которые на полях и фермах испытывают непосредственно эффект принятых мер, — никакая организация не может взять на себя функцию окончательной оценки того, что она сама же для других разработала.

Предложение о переходе на такую контракцию на первый взгляд может показаться нереальным по причинам чисто экономического свойства. Следует возразить: ведь

даже в Ставропольском крае почти никто прошлой весной не предусмотрел сверхплановой продажи зерна, а тут вообще предлагается все закупки построить на условиях добровольной контрактации. И правда, почему это в нынешних условиях, когда за каждый центнер сверхпланового зерна платят в полуторакратном размере, такая сдержанность? Неужели и сейчас, при новых ценах, не действует материальный стимул в заготовках зерна? Ведь себестоимость пшеницы на Ставрополье колеблется около двух рублей за центнер, цена же за сверхплановое зерно — одиннадцать рублей. Значит, продавать это зерно хозяйствам очень выгодно.

Некоторые экономисты, сталкиваясь с такого рода фактами, делают поспешный вывод: а не переоцениваем ли мы вообще значение экономических рычагов в заготовках сельскохозяйственной продукции, не слишком ли поспешили и с отменой заданных хозяйствам по сверхплановой продаже? Поспешен этот вывод потому, что факты берутся вне целого, вне связи с другими экономическими явлениями. Постараемся проследить логику хозяйственника.

### СКОЛЬКО СТОИТ РУБЛЬ?

Такой вопрос если и возникает в быту, то на него очень быстро находится ответ: рубль стоит столько, сколько стоит десяток яиц, или полкило мяса, или трехлитровый бидон молока, или... Так происходит в нашей повседневной жизни, поэтому стремление человека иметь тот или иной набор натуральных благ в нормальных условиях равнозначен стремлению больше зарабатывать. Эта естественная логика в нашем народном хозяйстве имеет пока очень узкое хождение.

Сложившаяся практика планирования прибыли в совхозах, перераспределительные тенденции, сохраняющиеся здесь, а также то обстоятельство, что ни прибыль, ни кредит, получаемые совхозом, не обеспечиваются, как правило, материально-техническими фондами, — все это сводит, как мы показали выше, на нет материальную заинтересованность хозяйства в повышении товарности, в получении дополнительного количества средств. Полуторные цены для совхоза, «сверхприбыль», полученная за счет этого, превращаются здесь скорее в морально-условные категории поощрения. И тот совхоз, что много продает продукции, и тот, что сидит на дотации, живут в нынешних условиях почти одинаково, а иногда даже наоборот: кто хуже работает, получает больше помощи, окружен вниманием.

Лишний рубль, заработанный совхозом, не означает для него сейчас возможности купить лишний трактор, построить еще одну ферму, школу, незаметно его воздействие и на фонд оплаты. Это порождает пассивность в хозяйственной жизни.

Ну, хорошо, в совхозах «перераспределительные» тенденции, регламентация по фондам сокращают стремление к максимальным продажам продукции, но в колхозах это нет! Почему же и они так сдержанны в этом отношении? Попробуем разобраться.

В станице Григориполисской на Ставрополье зашел я в сельмаг. Сюда ежедневно станичники приносят тысячи яиц. Потребкооперация платит им по 60 копеек за десяток. Добавив свои трудовые сбережения, люди покупают в магазине то, что нужно для семьи. В магазине хорошо знают «конъюнктуру» заготовок. Вам могут сказать с точностью до сотни, сколько и когда при нынешних закупочных ценах поступит яиц в магазин. Подскажут также, как можно перевыполнить план заготовок. Крестьяне продают кооперативу продукцию и тогда, когда она не лишняя в семье. Несколько лет назад приходилось видеть семьи колхозников, которые продавали потребкооперации почти все молоко от своей коровы. Поступали они так потому, что строили себе новые дома и им были нужны деньги, а кооператоры давали им не только деньги, но помогали купить шифер, цемент, лес. Больше продавая продуктов, колхозник мог больше купить необходимых ему товаров. Здесь мы видим пример экономического подхода к заготовкам. Кооператор, устанавливая цены на продукты, заставляет человека задуматься: что для него лучше — самому использовать их или обменять какую-то часть на товары, более нужные ему в данный момент?

А как обстоит дело в колхозах?

Известно, что сейчас материально-технические средства распределяются между колхозами скорее из расчета инженерно-технических норм, чем из соображений экономических. Есть деньги в хозяйстве, нет ли их, независимо от этого под запланированную структуру посевов каждый получает поначалу приблизительно одинаковое количество техники, минеральных удобрений. Экономически слабому хозяйству недостающие средства восполняют кредитом. Иногда это бывает необходимо. Но нередко хозяйствам не хватает денег именно на то, что им по существу и не нужно.

Вот и получается, что, несмотря на сохранение в колхозном секторе товарного принципа распределения материально-технических средств, то есть через куплю-продажу, здесь, так же как и в совхозах, действует порядок фондирования всех основных товаров. Нормальным путем богатый колхоз не может достать на свои деньги для себя больше тракторов, машин, удобрений, чем их получает любое другое хозяйство района. Правда, этим хозяйствам удается все-таки находить обходные пути, но стоят они не дешево.

«Теоретически» такое равенство выглядит очень справедливым, но на практике все происходит наоборот. Формальное равенство оборачивается и против «слабого» и против «сильного», а деньги теряют свой смысл, свое стимулирующее для производства значение.

Во время своих поездок по стране мне приходилось видеть колхозы в богатых районах, у которых в банке на счету лежит по десять миллионов рублей; встречался я и с председателями хозяйств из тех областей, которые гораздо скромнее по своим доходам, но и у них сейчас имеется по 500—600 тысяч, которые они не могут реализовать так, чтобы это было выгодно хозяйству, способствовало росту производства. При таком положении и хорошая рентабельность производства не сможет влиять так на выполнение наших планов, как это должно было бы быть. Не все ли равно, сколько продавать продуктов, если даже и имеющиеся деньги нельзя отovarить.

Откуда этот дефицит?

Несомненно, в значительной мере он определяется недостаточным еще уровнем производства сельскохозяйственных машин, удобрений, химикатов. Но есть и другая причина: неправильное распределение и использование материальных ценностей, поступающих в сельское хозяйство.

Любое производство, чтобы быть успешным, требует вполне определенного минимума затрат.

Зависимость выхода продукции с гектара от величины вложений совершенно очевидна. Особенно если учитывать не столько натуральный показатель (урожай), сколько денежную выручку с гектара, которая убедительнее любого другого показателя.

В колхозе «Путь к коммунизму» (Опочецкий район Псковской области) в каждый гектар льна вложено 502 рубля. В соседнем «Красном пахаре» — 125. Результат: «Путь к коммунизму» дает в два с половиной раза больше товарной продукции, чем «Красный пахарь», где вложения далеко отстают от среднеобходимого минимума.

К сожалению, оптимальный размер вложений и их структура в зависимости от природно-климатических условий у нас не изучаются. Между тем беда наших отстающих колхозов состоит как раз в том, что в каждую из имеющихся у них в производстве отраслей они вкладывают меньше того, что обеспечивает максимум продукции на рубль затрат.

Возьмем два других соседних колхоза того же Опочечского района: «Вперед» и имени Жданова. О таких обычно раньше говорили: условия у них одинаковые, а результаты разные. Природные условия у них действительно одинаковые, но возможности их использования очень и очень отличаются. У колхоза «Вперед» почти 300 рублей основных средств производства в расчете на каждый гектар сельхозугодий да почти до 100 рублей оборотных. Колхоз имени Жданова соответственно располагает 160 и 47 рублями (да и то при низкой оплате труда колхозников). С экономической точки зрения абсолютно ясно: что может позволить себе «Вперед», то ни в коем случае не может быть примером для ждановцев. Следует ли этому выводу правление артели имени Жданова? К сожалению, нет. Структура производства в этом хозяйстве не только не уступает по интенсивности колхозу «Вперед», но, пожалуй, даже и еще выше.

Так, льном здесь занимают 14,8 процента пашни, то есть немногим меньше, чем у соседнего хозяйства, зерновыми — почти 48 процентов против 29 в колхозе «Вперед»; многолетними же травами, напротив, — 17 против 27. Конечно, в этих условиях привести в соответствие имеющиеся средства с объемом производства не представляется возможным, а это пагубно сказывается на выходе продукции, на рентабельности ее производства. В 1964 году каждый гектар льна дал в колхозе «Вперед» 351 рубль чистой прибыли, а в колхозе имени Жданова всего лишь 120. Еще большая разница и в прибыльности гектара картофеля: 653 рубля и 80. Вот к чему ведет шаблон в выборе структуры производства, несоответствие между объемом производства и наличными средствами. Тем не менее описанный случай — распространенное явление. Раньше это происходило из-за шаблонного планирования посевных площадей, теперь это может повторяться в случае уравнительного распределения заказов на продажу продукции государству.

Все это так, но при чем здесь дефицитность? — могут возразить мне.

Именно здесь, по нашему мнению, она и зарождается. Наметив засеять большие площади, чем это позволяет экономическая зрелость, колхоз тем самым автоматически получает право требовать от государства технику, удобрения, горючее, химикаты и прочее в размерах не меньших, чем получают и все остальные хозяйства. Производственные управления, снабженческие организации стараются распределить все фонды по принципу: хоть понемногу, зато всем поровну. Тем, у кого нет денег, чтобы выкупить выделенные фонды, срочно дают ссуды.

Вот тот же колхоз «Вперед». На его счету сейчас большие деньги. Председатель колхоза Василий Алексеевич Васильев с тоской мечтает о том, чтобы купить на них стройматериалы, удобрения, машины. В 1965 году правление артели на 70 гектаров сократило посеvy льна, а если бы колхоз мог купить на свои деньги то, что ему нужно, этого делать не пришлось бы. В таком же положении и многие другие передовые артели: хозяйства созрели для нового скачка вперед, на их счетах скопились немалые деньги, а они сдерживают свой рост, не находя нужных для себя товаров.

Может быть, хоть отстающие хозяйства от этого выигрывают? Вряд ли! Опочечное производственное управление распределило все фонды на удобрения из расчета 7 центнеров на гектар посевов льна, причем передовым колхозам планируют дать по 6,5 центнера, отстающим — по 8. Само по себе это неплохо. Тем более что отстающие хозяйства имеют большие резервы роста и даже могут давать значительно быстрее прибавку продукции, чем хозяйства передовые: ведь начинают они с более низкого уровня. Но при нынешней структуре производства, часто не соответствующей экономической зрелости хозяйства, даже такое благо, как удобрения, для них порой оборачивается убытком. В отстающем хозяйстве, которому удобрения даются под площади, явно превышающие его физические и экономические возможности, они не могут принести ожидаемого эффекта. Здесь, как правило, мало автотранспорта, удобрения со станций иногда не успевают вывезти в срок, все это дорого обходится хозяйствам. Не везде благоприятны и условия для хранения этой ценной продукции.

Но даже и приняв все меры к сохранению удобрений, хозяйство должно затратить еще много сил и средств, чтобы эффективно ими распорядиться. Не у каждого они есть в достаточном объеме. Прежде всего не хватает машин для внесения удобрений. В том же колхозе имени Жданова, если ему дать полную норму удобрений, не хватит сил, чтобы разбросать их в поле. Специалисты колхоза думают управиться с этими работами вручную. Но технико-экономические расчеты показывают нереальность их планов, не говоря уже о качестве и сроках выполнения работ. При таких условиях любая помощь, не направленная на поддержание в хозяйстве экономически обоснованной пропорциональности, может нанести ему только ущерб.

Вот почему многочисленные фонды, поступающие по ссудам в отстающие колхозы, часто дают вместо прибылей убытки. Колхозу имени Жданова в 1964 году, например, списали более 50 тысяч рублей ссуд, но техника, фонды, купленные на эти деньги, отнюдь не повысили продуктивности этого хозяйства. Вот и выходит: в одном месте

действительная нехватка материальных фондов не удовлетворяется, а в другом — с лихвой перекрывается мнимая.

Чтобы получить максимальное количество продукции и обеспечить стабильный доход, хозяйство, следовательно, должно добиться в первую очередь согласованности всех сторон своего производства.

Не предлагается ли тем самым прекратить помощь экономически слабым хозяйствам, сосредоточив все внимание на хозяйствах крепких? Речь идет, конечно же, не об этом. Если нуждающийся в хлебе человек с трудом несет к себе домой мешок пшеницы, согнувшись под его тяжестью, то вряд ли будет помощью, если вы даже из самых добрых побуждений взвалите ему на спину еще один такой же мешок. Так и в нашем примере. Если бы колхоз имени Жданова посеял льна поменьше, по своим силам, то помощь районных организаций дала бы здесь значительно больший эффект.

О том же самом говорит и приведенный выше пример с хозяйствами Шпаковского и Ново-Александровского районов Ставропольского края.

Колхоз «Темнолесский», сохраняя нынешнюю структуру своего производства, продиктованную «спущенным» ему планом-заказом, получает для своих высокогорных, низкоурожайных зерновых полей технику, которая не приносит ему пользы. Эту технику отрывают, недодают зерновым колхозам и совхозам. В Арзгирском районе, где исторически сложилась животноводческая специализация (овцеводство), за последние годы резко увеличили посевные площади. В сборот было пушено много солончаковых земель, на которых можно пасти овец, но просто невозможно получать стабильные и высокие урожаи. И вот что получается: на полях безо всякой пользы (урожайность — 3—4 центнера с гектара) работают замечательные машины, а в то же время в прикубанских степях не хватает машин, чтобы справиться с уборкой большого урожая, провести все работы в лучшие агротехнические сроки.

Созданный таким образом искусственный дефицит приводит к тому, что на деньги, которые получают колхозы и совхозы за проданную государству продукцию, они не всегда могут купить необходимую для них технику. А хозяйства, не имеющие денег, получают от государства то, что вряд ли может исправить их положение. Чтобы укрепить авторитет денег, не нужно их давать тому, кому они не нужны. Такая практика лишь принижает ценность рубля, его покупательную способность и вредно сказывается на росте производства. Если бы человеку, зарабатывающему 50 рублей в месяц, подарили «Волгу» без права ее продать, то это был бы самый лучший способ разорить его. Налоги, бензин, гараж — все это оказалось бы ему не по карману. С колхозами и совхозами происходит подчас то же самое.

Вернемся к колхознику, сдавшему свою продукцию кооперативу. Им движет не абстрактное желание иметь денежные знаки. Продав в магазин яйца, молоко, мед, он реально видит, сколько и каких товаров может купить на них. Иначе бы он и не отдавал своих продуктов. Точно так же каждый новый рубль, полученный колхозом или совхозом, должен означать рост его шансов на покупку новой тонны удобрений, машин, запасных частей.

Конечно, при такой постановке вопроса можно ожидать, что хозяйства, работающие в более благоприятных условиях, смогут получить незаслуженно большие привилегии при покупке машин, химикатов, стройматериалов. Но этому легко воспрепятствовать. Интересна в этом отношении практика Чехословакии. С нынешнего года здесь введен налог на землю. Ее лучшие участки облагаются почти в десять раз более высоким налогом, чем относительно худшие, а за производство на некоторых видах почв государство не только не берет налога, но даже доплачивает хорошие премии в расчете на сто крон проданной государству продукции. Дифференциация налога по условиям хозяйствования использовалась раньше и в нашей стране. У нас уже давно раздаются голоса, предлагающие восстановить погектарный налог, дифференцированный от его природной ценности.

В направлении выравнивания условий хозяйствования могла бы действовать и кредитная система. Банку, при экономическом подходе к делу, выгоднее дать кредит то-

му хозяйству, где урожай, скажем, 10 центнеров зерна с гектара, чем тому, где 30. И это понятно: рубль затрат в первом случае обеспечит несопоставимо больший эффект, при нормальных условиях, конечно. Для особо запущенных хозяйств могут потребоваться особые меры, но они уже будут исключением из общего экономического направления.

Жить по средствам — дело нелегкое, но пока предприятие не научится этого делать, разговоры об экономике будут мало эффективны.

Итак, даже невооруженным глазом нетрудно увидеть самую тесную зависимость между нынешней системой планирования заготовок, порядком распределения материально-технических средств, принижением авторитета рубля в хозяйственной жизни и низкой эффективностью сельского производства. Одно вытекает из другого: если дать заказ производить зерно там, где оно плохо родит, то надо дать сюда и машины. Поскольку такая заявка не подкреплена платежеспособностью хозяйства, приходится выделять технику, недодавая ее там, где существует настоящий, то есть платежеспособный, спрос на нее, а от этого в одном месте растут убытки, в другом недополучают продукцию. Поэтому-то и нельзя ратовать за улучшение действия одного звена в экономическом механизме, не рассматривая его во взаимосвязи со всеми остальными. Еще и еще раз доказывается этим ошибочность взгляда тех, кто считает, что ценой регулировать заготовки хуже, чем административными предписаниями. В нашем случае с 10-полнительными закупками зерна слабость проявляет не цена, а ее материальное обеспечение.

Оживление товарно-денежных отношений, происшедшее у нас после мартовского Пленума ЦК КПСС, со всей остротой поставило задачу укрепления того рубля, который обращается в производственной сфере. Его авторитет должен быть по крайней мере не ниже авторитета тех денег, что мы получаем как заработную плату. Без этого разговоры о роли прибыли, хозрасчета рискуют повиснуть в воздухе.

И сельское хозяйство может, на наш взгляд, сильно помочь общему делу. В этой связи, видимо, большую пользу оказало бы и логическое продолжение мартовских решений о стимулировании производства зерна. Речь идет об отоваривании денег, полученных за дополнительную продукцию техникой, удобрениями, строительными материалами. Во время последних поездок я часто спрашивал у хозяйственников, какое влияние могла бы иметь эта мера на производство зерна и заготовки. Как только речь заходила об отоваривании дополнительных продаж зерна, председатели колхозов, директора совхозов сразу оживлялись, выражая готовность сильно пересмотреть баланс расхода зерна в своих хозяйствах, лишь бы получить то, что повысит их эффективность.

Подобный подход к делу был бы справедливым, потому что хозяйство, больше других продавшее зерна государству, значительно больше изнасило (амортизировало) техники, гораздо больше изыло питательных веществ из почвы с урожаем. Эти расходы надо восполнить, чтобы не обескровить его. В целом же свободное отоваривание той продукции, в которой государство особенно заинтересовано, углубило бы специализацию, укрепило бы роль рубля в хозяйственных связях.

Но откуда взять дополнительные товары под дополнительную продукцию? Думается, что из той же самой дополнительной продукции, производство которой особо стимулирует государство. Увеличение закупок зерна — это увеличение фонда иностранной валюты или по крайней мере соответствующая ее экономия. Так уж лучше часть этой экономии отдать колхозам и совхозам, закупив для них машины, удобрения за рубежом.

Впрочем, и собственными силами можно, видимо, сделать очень многое для того, чтобы повысить покупательную способность того рубля, который имеет хождение в сфере производства.

В этом году я побывал на Бахчисарайском межколхозном цементном заводе. Возник он недавно и рождением своим обязан ста тридцати местным колхозам, сложившимся на его постройку. Еще несколько лет назад крымские хозяйства буквально задыхались от нехватки цемента. Без него они не могли наладить массовое производство бетонных кольев для виноградников, расширить бытовое и производственное строительство.

Сейчас область не узнать. Не только колхозы, но и совхозы, да и местные жители получают этой продукции в достатке. Значит, тот рубль, который создается здешними хозяйствами на нужды строительства, обеспечен неизмеримо лучше.

Когда знакомишься с такого рода производственными объединениями, то невольно задумываешься, до конца ли мы оценили эту важную форму кооперирования. Ведь речь идет об очень интересном принципе, когда сами производители решают, какой объект, какого профиля и в какие сроки им построить. И вот в то время как газеты, журналы пестрят заметками, что плановые органы открыли здесь завод, там фабрику, продукцию которой никто не хочет брать,— в это самое время возникают предприятия по прямому заказу тех, кому они крайне нужны. И что же оказывается? Подобная форма заявок на создание предприятий гораздо более эффективна, чем та, при которой голос потребителя заглушен, и почему-то кажется, что, действуя такой принцип шире, вряд ли возникли бы заводы «елочек», но уже наверняка расширились бы предприятия, производящие автомашины, минеральные удобрения и т. п.

Однако прямая связь между потребителями продукции и ее производителями и финансирование последних первыми оценивается пока невысоко. Этой форме отводят место в кустарных и полукустарных предприятиях. Тот же Бахчисарайский цементный завод, на котором работает тысяча рабочих, возник как предприятие именно межколхозное. Ни совхозы, ни торговые предприятия, продающие сейчас цемент жителям, получая на этом солидные прибыли, ни тем более местные промышленные предприятия, не говоря о хозяйствах и предприятиях соседних областей, не смели принять участия в создании этого объекта. Инструкции это запрещают. Оттого и завод построен здесь минимальной проектной мощности — 240 тысяч тонн в год, во много раз меньше тех, что рекомендуют строить. В настоящее время бахчисарайский завод расширяется, но, возникнув без учета оптимальных размеров, он и сейчас дает продукцию в два раза более дорогую, чем на передовых заводах. Жизнь подсказывает, что в производственном кооперировании должны быть сняты территориально-ведомственные барьеры. И не будет особого греха, если деньги колхоза объединятся со свободными средствами совхоза или промышленного предприятия, скажем, при строительстве дороги, на которой сейчас без учета ведомственной принадлежности застревают и раньше времени изнашиваются их машины, или в разработке лесного массива, или в любом другом деле, где их интересы совпадают.

В городах идет бурное жилищно-кооперативное строительство. Спрашивается, а почему бы этот же принцип не применить и в производственном строительстве? Свободные средства, ассигнуемые хозяйствами, предприятиями на конкретные нужды, центральная организация могла бы использовать эффективней. В одних случаях собранные дополнительные средства целесообразно передать на уже действующее предприятие, и оно, организовав с их помощью свою работу в две-три смены, удовлетворит своих пайщиков; в других, может быть, потребуется модернизация и расширение того или иного завода, на что и будут использованы средства потребителей, и лишь в третьем случае может оказаться необходимым строить новое предприятие, но зато современное, отвечающее новейшим достижениям. Такое решение, опыт которого уже накопился в нашей стране, увеличит товарные ресурсы, улучшит обеспечение производственного рубля, серьезно поднимет, на наш взгляд, его авторитет. Тогда и на вопрос — сколько стоит рубль? — директор предприятия, председатель колхоза будет отвечать так же легко и конкретно, как домашняя хозяйка, вернувшаяся из магазина.

Нередко высказывают опасения: а не приведет ли это к перекачке средств из сельского хозяйства в промышленность, к углублению диспропорции? Думается, что этого можно избежать. И пример Бахчисарайского цементного завода — лучшая к тому иллюстрация. В 1960 году завод получил прибыли 1 миллион 160 тысяч рублей. И это — в первый же год работы! Не меньшие доходы приносит он и сейчас. Таким образом, возникнув на колхозные средства, завод может развиваться дальше за счет собственных прибылей. Более того, при правильной организации дела и пайщики получат свою долю от этих доходов. Значит, они не только не потеряют свои средства, но и увеличат их пропорционально своему вкладу в общее дело. В этом случае колхоз, совхоз,

любое другое предприятие могло бы не только удовлетворить потребность в определенных товарах, нехватка которых сдерживает их рост, но и повысить эффективность своих капиталовложений, передав их туда, где они сейчас нужнее с народнохозяйственной точки зрения. Принцип самофинансирования мог бы получить развитие и в перерабатывающей промышленности. Она, для укрепления своей сырьевой базы, могла бы поддерживать за счет своих прибылей те колхозы и совхозы, которые дают исходный продукт.

Итак, использование резервов в развитии сельского хозяйства связано с совершенствованием планирования заготовок, с переходом на подлинную контрактацию, а это в свою очередь зависит от укрепления курса рубля, обращающегося в производственной сфере, а решение этой задачи в свою очередь зависит от нового подхода к практике капиталовложений, материально-технического снабжения, к системе распределения доходов в хозяйствах и т. д.

### ОТВЕТ КРИТИКАМ

Мысли, наблюдения и предположения, подобные тем, что нами изложены здесь, высказывались в нашей статье «Гектары. Центнеры. Рубли» («Новый мир», № 9, 1965). Основные положения этого выступления наряду с взглядами других экономистов были подвергнуты критике. Академик ВАСХНИЛ С. Колеснев, доктор экономических наук М. Соколов, кандидат экономических наук И. Суслов и некоторые другие экономисты считают, что осуществление этих предложений «может нанести ущерб дальнейшему развитию сельского хозяйства и всей экономике страны».

Постараемся разобраться, почему оказалась возможной среди экономистов такая диаметрально противоположная оценка одних и тех же явлений.

Дело в том, что, сталкиваясь с фактами, подобными тем, которые встретились нам на Ставрополье, разные экономисты делают разные выводы о том, как оценить, как решить противоречие, встречающееся в жизни. Одни видят корни указанных явлений в несовершенстве нынешней системы планирования. Они предлагают не сковывать инициативу колхоза, совхоза в установлении оптимальной структуры производства. Такое решение, по нашему мнению, позволит углубить специализацию производства и достичь той гармонии интересов между государством, хозяйством и отдельным трудящимся, о необходимости которой так категорично было заявлено на мартовском Пленуме ЦК КПСС.

Другие экономисты смотрят на дело иначе. «В плане закупок сельскохозяйственной продукции,—безапелляционно утверждают они,—заинтересованы и государство, и сельскохозяйственные предприятия». Значит, факты, подобные ставропольским, для них — чистая случайность. О подобных явлениях они даже не упоминают, полагая, что в их возникновении виновата не методология планирования, а сидящий где-то че на месте плановик Иванов, нерасторопный Петров и недобросовестный Сидоров. Найдите и уберите эту недостойную троицу — и проблемы, которые мы описали выше, сразу исчезнут. Они так и пишут: «От органов Госплана, министерств сельского хозяйства, водного хозяйства и мелиорации, «Союзсельхозтехники», по нашему мнению, требуется повышать уровень аналитической работы, больше внимания уделять научно обоснованному прогнозированию в планировании». Все дело, значит, в неквалифицированности наших плановых работников.

К сожалению, на проверку правильности таких мыслей уже потрачено немало времени, энергии и средств. Было сделано уже много всяких перестановок и реорганизаций, которые позволили окончательно убедиться, что дело не в этом. Не может один человек или даже тысяча уловить из центра особенности всех хозяйств, не может составить за них план, который был бы им скроен по плечу: нигде не жал, нигде не висел бы мешком. Это, кстати, правильно видел тов. С. Колеснев. В журнале «Экономика сельского хозяйства» (№ 4, 1965) он писал: «Если отдельным колхозам и совхозам доводят плановые задания по продаже 10-ти, а иногда и 15-ти видов продуктов, то хо-



зйству практически остается только разместить культуры по полям, как это было и при определении структуры посевных площадей сверху». Сейчас у него сомнения исчезли, а у нас — углубились. На мартовском, сентябрьском Пленумах ЦК КПСС, на XXIII съезде КПСС попыткам решать трудные народнохозяйственные проблемы за счет отыскания каких-то чудо-хозяйственников была противопоставлена задача совершенствования экономического механизма, действие которого создавало бы благоприятную атмосферу для максимального развития инициативы предприятия и направления ее в нужную сторону. Наши оппоненты, видимо по инерции прежнего этапа, прошли мимо этого. Они смешивают возможность достижения гармонии интересов государства, предприятия и отдельного труженика с реальным положением вещей и благодушно ставят знак равенства между этими понятиями. Жизнь показывает, что до этого пока далеко и предстоит еще крепко поломать голову, чтобы достичь желаемого. Такова первая ошибка оппонентов.

Тех, кто предлагает совершенствовать планирование в направлении перехода к подлинной контрактации, наши оппоненты с необычайной легкостью характеризуют противниками плана. После такого оглупления своих оппонентов (иначе это и назвать нельзя, потому как даже буржуазные экономисты в большинстве своем окончательно признали преимущества планового ведения хозяйства) они уже без труда расправляются с вымышленными ими же аргументами. Но не будем упрощать. Сейчас среди экономистов утвердилось два представления, два подхода к плану. Согласно одному план представляется жесткой директивой, его детализированные до мелочей показатели доводятся в административном порядке до предприятия «сверху» и по утвержденным инженерно-техническим нормам осуществляется материально-техническое снабжение на основе фондирования. Такое планирование для них — синоним централизованного руководства. Недостатки такой системы планирования достаточно глубоко вскрыты и проанализированы на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС: излишняя регламентация, сковывающая инициативу предприятий; субъективизм в постановке целей, показателей планов; разрыв между производством и сбытом. Общий результат — низкая экономическая эффективность.

Сентябрьский Пленум положил начало новому подходу к плану, потребовав увязки (не формальной, а по существу) производства товаров и их реализации, существенно расширил права и обязанности предприятий, переходящих на работу по-новому, ориентировал на переход от распределения средств производства к их продаже. В этих условиях старые формы планирования бессильны подключить волю отдельных предприятий к решению общих задач. Нужна новая форма связи, взаимозависимости в хозяйстве, которая держалась бы не на одних административных приказах, а на действии экономических рычагов.

Нельзя не видеть, что уже сейчас, при тех правах, которые получили колхозы и совхозы, чисто административные методы дают серьезные осечки, а отставание в создании механизма, способного решать прежние задачи новым способом, ведет к убыткам. Вот пример с хлебозаготовками. Перед нами данные о продаже хлеба государству в 1965 году по Краснодарскому краю по 33 зерновым совхозам. Удельный вес проданного зерна в валовом сборе колеблется от 41 процента до 84! О чем говорят эти цифры? Изъять из хозяйства по-старому зерно никто не имеет права, а экономическая логика, экономический пресс не заставляют хозяйства поспешить расстаться с зерном. Административная система уже в этой части не действует, а экономическая еще не включилась. Таким образом, защитники централизованного руководства в старом, административном его понимании на деле оказываются проводниками стихии в системе народного хозяйства.

Надо сделать так, чтобы предприятие было свободно в выборе цели и путей к ее достижению, но ценой, налогом, кредитом, банковским процентом и т. д. принуждать его незаметно к движению в общем, намеченном плане направлении, — возражаем мы авторам статьи. Нужно позволить хозяйствам свободно избрать наиболее желанную для них при данных экономических условиях структуру производства и полученный вариант такого плана сравнить с тем оптимальным, который намечен «вверху». Регу-

лируя дальше цену, кредит, научно-селекционные работы, материально-техническое обеспечение и т. д., можно добиться совпадения оптимального плана и плана хозяйств, который будет меняться при каждом повороте того или иного экономического рычага.

Итак, мнимые противники плана совсем не против планирования в сельском хозяйстве. Но они предлагают планировать не только конечную цель, но и все пути-подходы к ее осуществлению. Надо планировать так, чтобы достижению конечной цели не противоречили. Как это часто случалось до сих пор, цена, кредит, налог, размер капиталовложений и т. д. Означает ли такое понимание плана отрицание централизованного руководства в народном хозяйстве? Совершенно очевидно, что нет. Речь идет о том, чтобы к составлению и выполнению плана подойти иным, чем прежде, способом, основанным действительно на демократическом централизме, на действительно, а не формально-дисциплинарной гармонии интересов государства, предприятия, каждого труженика.

В свое время В. И. Ленин при переходе от административных принципов управления народным хозяйством, утвердившихся в период военного коммунизма, к экономическим, получившим распространение в период нэпа, писал: «Новая экономическая политика *не меняет* единого государственного хозяйственного плана и *не выходит* из его рамок, а *меняет подход* к его осуществлению» (т. 54, стр. 101). Эти слова очень актуальны для нашего времени и перекликаются с директивами XXIII съезда в отношении путей совершенствования планирования. Там записано: «Сосредоточить централизованное плановое руководство хозяйством в первую очередь на совершенствовании основных народнохозяйственных пропорций, улучшении размещения производства и комплексном развитии экономических районов; обеспечении высоких темпов производства и поставок важнейших видов продукции; проведении единой государственной политики в области технического прогресса, капитальных вложений, оплаты труда, цен, прибыли, финансов и кредита; экономическом контроле за эффективным использованием производственных фондов, трудовых, материальных и природных ресурсов».

Противоречат ли этому пути предлагаемые способы контрактации? Думается, что нет. А укладывается ли в эту систему планирования нынешняя разрядка хозяйству на производство пятнадцати и более продуктов? Ниоим образом.

Наши оппоненты склонны считать только тот документ, который спущен «сверху вниз», завизирован, подписан, скреплен соответствующими печатями. Всякий иной его вариант они не признают законным, считают актом анархии. Для них областной, республиканский договор даже о долгосрочной контрактации, заключенный изготовителем с производителями продукции,— не план, не солидный документ.

К чему приводит такой бюрократический подход к плану, можно видеть хотя бы на следующем примере. Министерство торговли СССР в начале 1965 года попыталось разместить заказ на производство ранней капусты в хозяйствах Средней Азии. Хозяйства согласились взять только часть заказа, доказывая, что весь им будет не под силу. Министерство с трудом разместило остаток заказа в других местах. Под его выполнение были подогнаны все остальные условия: вагоны, тара и т. д. Но вот хозяйства из Средней Азии сообщают, что они собрали гораздо больше того, что было намечено в плане. Естественно, сбыт этой «сверхплановой» продукции проходит очень трудно, с потерями. Непредвиденные погодные условия создали такую ситуацию? Вряд ли. Дело в том, что хозяйства в нынешних условиях заинтересованы в заниженных планах, перевыполнение которых сулит материальные и моральные поощрения.

Чтобы не попадать в глупое положение, наиболее разумные изготовители, пока экономисты спорят, находят выход из положения. Управление «Абхазплодош» создало особую комиссию из специалистов, которая обследовала обслуживаемые хозяйства, изучила перспективы их производства в 1966 году. Получилась интересная картина: возможности производства в ряде случаев оказались гораздо большими, чем это было предусмотрено цифрами плана-заказа. Что делать? Решили для отчетности, для исчисления моральных и материальных поощрений считать ориентиром план-заказ, а для жизни, работы — контрактационный договор, за нарушение которого предусмотрены

строгие санкции. Такой компромисс устраивал обе стороны, и разница при этом получилась такая (в тоннах):

	План	Договор
Капуста (ранняя) . . .	100	140
Огурцы . . . . .	50	100
Помидоры . . . . .	140	360
Прочие овощи . . . .	20	410

Что же считать в этих условиях планом? Административную цифру, выведенную из каких-то средних норм, или экономический показатель производства, исчисленный на основе действительных производственных возможностей хозяйств и способностей посредника реализовать произведенный продукт? Нам кажется, что последнее будет правильным, наши оппоненты придерживаются противоположного мнения.

Остается теперь ответить на вопрос: чем объяснить такое расхождение в понимании роли и характера плана у нас и у наших оппонентов?

Едва ли можно считать случайным тот факт, что наши оппоненты ни разу даже формально не упоминают о сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, о хозяйственной реформе, проходящей в нашей стране. Почему? Да потому, что развитие экономических предствлений они обрывают мартовскими решениями. Но ведь значение мартовского Пленума тем и велико, что он открыл, начал цепь экономических преобразований, тесно связанных друг с другом единством логики и методологии.

Мартовский Пленум подготовил почву для сентябрьских решений. Материалы этих Пленумов, обогащающие и расширяющие наше экономическое мышление, неотделимы друг от друга. Однако наши оппоненты, видимо, считают, что реформа, идеи, заложенные в нее, — дело локальное, необходимое лишь в промышленности. Это нас искренне тревожит, тем более что сельское хозяйство, ведущие экономические институты, занимающиеся его проблемами, сделали очень мало для того, чтобы перенести положения хозяйственной реформы в эту важную отрасль народного хозяйства, и сейчас здесь намечается потеря темпов, отставание от преобразований в промышленности.

Те экономисты, которые предлагают для дальнейшей мобилизации резервов подъема сельского хозяйства переход к свободной контрактации, всякий раз оговариваются, что эта мера может дать успех лишь в комплексе с рядом других серьезных экономических преобразований. В их числе и дальнейшее совершенствование цен на сельскохозяйственную продукцию, и переход от фондирования техники и материалов к их оптовой продаже, и укрепление авторитета, покупательной способности того рубля, что обращается в сфере производства, и связанное с этим совершенствование банковско-кредитной системы и т. д. и т. п.

Можно ли все эти задачи решить сразу, одним махом? Конечно же, нет! Оттого на мартовском Пленуме и была соблюдена очередность в решении проблем, обеспечен практический подход к их решению: не все, что с точки зрения перспективы кажется разумным, осуществимо сразу. При переходе от продразверстки к продналогу партия не случайно ввела сначала систему натуральных заданий для хозяйств, но как только эта мера дала успех, как только укрепился рубль, появился червонец-валюта с золотым обеспечением: так натуральные задания были заменены стоимостными — налогами. Это позволило сделать следующий шаг в развитии производства. Наши оппоненты сужают понимание экономических факторов, сводят все дело к цене, роль которой безусловно велика, но обходят молчанием задачу создания новой экономической системы хозяйствования на селе по типу той, что разрабатывается для промышленности. Вставляя предложение о переходе к свободной контрактации в ныне существую-

щих условиях, они разводят руками и справедливо говорят: не подходит! Но в том и состоит наше разногласие с уважаемыми учеными, что стимул дальнейшего развития сельского хозяйства они ищут в одном, двух, трех факторах, а не в создании логически завершенной, последовательной системы хозяйствования в целом.

Наши оппоненты противопоставляют дух мартовских решений букве и за деревьями не видят леса. Они не замечают, что принятые тогда решения являются лишь частью общей деятельности партии по созданию новой системы экономических инструментов, тесно взаимосвязанных в один единый механизм. Поэтому всех, кто пытается применить методологию этих решений для поисков ответа на вопросы, возникающие в ходе успешного осуществления линии мартовского Пленума, они склонны, естественно, выставить чуть ли не его противниками. Но оставим на их совести этот старый прием, от которого, видимо, не так легко избавиться.

По основному вопросу о соотношении плана и рынка в социалистической экономике позиция наших оппонентов непоследовательна и эклектична. С одной стороны, они совершенно справедливо говорят о неправомерности противопоставления плана и рынка, с другой — дают двусмысленное определение: «План и рынок — это не однопорядковые явления».

В условиях социализма регулятором развития производства выступает система экономических законов, а не закон стоимости, возражают нам оппоненты. С этим можно было бы согласиться, если бы авторы несколько определеннее высказались о том, какую же роль в этой системе они отводят все-таки закону стоимости. К сожалению, они уходят от этого вопроса. Несколько яснее на сей счет (мы не берем формулировок определенной давности) высказывается М. Соколов. В 1966 году, в период хозяйственной реформы, он, определяя роль цены при социализме, утверждает, что она лишь «выполняет функцию учета и распределения» (см. «Цены и ценообразование на сельскохозяйственные продукты». Издательство МГУ, 1966, стр. 5). Подобное понимание цены, лишающее ее такой важной функции, как средство эквивалентного обмена, весьма симптоматично. Через цены, как известно, собственно, и выражает себя закон стоимости. Следовательно, для М. Соколова роль закона стоимости при социализме сводится лишь к учетно-распределительной. Поддержание же эквивалентности в обмене — это основное условие действия закона стоимости — оказывается совсем не обязательным. Из закона стоимости, как видим, выхолащивается существо. Распределение — дело, безусловно, нужное, но каким принципом при этом руководствоваться — вот в чем загвоздка. Можно распределять из принципа «чего моя левая нога хочет», а можно из условия: «сколько дал — столько получай». Первая ситуация устраивает М. Соколова, но она дает широкий простор для субъективистских решений, осужденных партией; вторая ситуация ставит им мощную преграду и создает гарантию против повторения субъективистского подхода к решению экономических проблем.

Отчего у наших оппонентов, да и не только у них, такое настороженное и недоверчивое отношение к закону стоимости? Конечно же, оттого, что закон стоимости, рынок, товарно-денежные отношения они по-прежнему не могут никак примирить с социализмом. Признавая сейчас жизненную необходимость в их использовании, они лишь мирятся с этим, делают уступку, пытаются «откупиться подешевле» от требований действительности.

При таком взгляде игнорируются новые условия действия закона стоимости и стирается грань в результатах его действия при социализме и капитализме. Предполагается, что допусти закон стоимости в практику социалистического планирования — он неизбежно приведет к анархии производства, кризисам, безработице и в конечном итоге — к восстановлению капитализма. Отсюда и стремление выхолостить, лишить закон стоимости его основной функции. Между тем еще в первые годы социалистического строительства В. И. Ленин подчеркивал принципиальную особенность нашего товарного производства.

«...Государственный продукт — продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле, во

всяком случае не только товар, уже не товар, перестает быть товаром...» — писал он (т. 43, стр. 276). Понять правильно эти слова можно только одновременно и в связи с призывами В. И. Ленина развивать коммерческие начала в социалистическом секторе. «Учитесь торговать!» — призывал Владимир Ильич коммунистов, вкладывая в это понятие гораздо более широкий смысл, чем повышение квалификации у работников прилавка. Но почему же тогда такая характеристика продукта социалистической фабрики? Дело в том, что при капитализме товар — это элементарная клетка, в которой в зародыше уже заключены все антагонистические противоречия общества: частная собственность на средства производства, эксплуатация человека человеком, превращение рабочей силы в товар, частное присвоение прибавочной стоимости и т. д. Развитие этих внутренних качеств товара ведет с неизбежностью к анархии производства, безработице, кризисам и всему тому, что связано с этим в жизни капиталистического общества. С такой политэкономической категорией товара до победы Октябрьской революции и имели дело все экономисты.

Является ли в этом смысле продукт социалистического предприятия товаром? Конечно, нет! Общественная собственность на средства производства, ликвидация всех форм эксплуатации, распределение по труду, совершенно новый характер производственных отношений, когда рабочий из бесправного продавца своей рабочей силы превращается в хозяина всего общественного производства, — вот чем характеризуется товар в условиях социализма. Это и позволяет организовать плановое, бескризисное производство, целью которого является удовлетворение потребностей трудящихся. В этом принципиальное отличие и абсолютно новая сущность товара при социализме. Само собой разумеется, что в таких условиях и социалистический рынок отличается от капиталистического, как и политэкономическое существо товаров, обращающихся на нем. Из-за этого создаются иные условия для функционирования и учета действия закона стоимости: открывается возможность опознать, предусмотреть характер и направление его действия в планах.

Вот почему В. И. Ленин в более сложных условиях, чем сейчас, безбоязненно шел на широкое развитие коммерческих начал в социалистическом строительстве. Не все экономисты тогда, при его жизни, да и сейчас видят то новое в законе стоимости при социализме, что раскрывал В. И. Ленин в своих теоретических работах и особенно в практических делах. Боязнь социалистической коммерции привела к вырождению хозрасчета в категорию формальную.

Партия в своих последних решениях по хозяйственным вопросам восстанавливает ленинские нормы хозяйствования применительно к новым условиям социалистической экономики. Остро поставлен сейчас вопрос о превращении формального хозрасчета в подлинный. А это в первую очередь связано с иным, чем прежде, чем у наших оппонентов теперь, взглядом на закон стоимости. Отрицание сущности этого закона, игнорирование необходимости поддержания эквивалентности в обмене как раз и ведет к формальному хозрасчету, к диспропорциям в экономике.

Энгельс в «Анти-Дюринге» характеризует закон стоимости как основной закон товарного производства. Экономистам начала нашего века казалось, что капиталистическое товарное производство — последняя высшая стадия его развития вообще. В. И. Ленин показал, что в переходный период от социализма к коммунизму неизбежна еще одна стадия — социалистическая. Развивая взгляды В. И. Ленина, наша партия доказала, что отмирание товарно-денежных отношений при переходе к коммунизму будет происходить не путем их сужения, а путем развертывания и всемерного использования.

Попытки выхолостить существо экономических законов и категорий, по нашему мнению, не соответствуют выполнению этой задачи. К тому же они и бессмысленны, так как новые условия, в которых им приходится действовать, позволяют использовать закон стоимости, стоимостные категории не во вред, а на пользу общества.

В каком же отношении находится закон стоимости к другим экономическим законам социализма — основному экономическому закону социализма, закону планового, пропорционального развития, распределения по труду и другим?

Все остальные законы не могут в наших условиях быть выражены сами по себе, без закона стоимости и основанных на нем категориях, таких, как цена, прибыль, хозрасчет и т. д., так как сами по себе они не дают ответа на вопрос о соотношении между затратами и результатами производства. А без выяснения этого вопроса невозможно установление народнохозяйственных пропорций. Закон стоимости и основанные на нем категории составляют тот инструментарий, при помощи которого выясняется, что выгодно и что невыгодно обществу, какой из имеющихся проектов плана следует принять, какой отклонить. Отказать закону стоимости в его регулирующей роли — значит по существу отказаться от попытки экономично руководить хозяйством, превратить стоимостные категории в учетные.

Значит ли это, что в хозяйственной жизни мы должны следовать исключительно требованиям закона стоимости и обрекать себя на роль его послушных исполнителей? Конечно, нет!

В своей практической деятельности плановые органы могут «нарушать», и порой основательно и серьезно, этот закон, ведя, однако, строгий учет тому, какой ущерб наносит это нарушение экономике и какой выигрыш в какой области достигается благодаря этому. Примеров такого удачного «нарушения» закона стоимости можно немало привести из истории нашей страны, других социалистических стран, когда наносимый этим актом ущерб с лихвой перекрывался достигнутыми за счет этого результатами, — индустриализация страны, создание военного потенциала, послевоенное восстановление нашей экономики. Отсутствие сопоставления ущерба и выигрыша от «нарушения» закона стоимости создает базу для волонтаризма и принятия субъективистских решений.

Таким образом, признание регулирующей роли за законом стоимости ни в коей мере не умаляет активного воздействия плана на развитие экономики. Оно лишь препятствует субъективизму в экономике. План и закон стоимости диалектически, взаимопроникновенно связаны в наших условиях. Наши оппоненты эти две категории соединяют в лучшем случае механически. Хозяйствам даны задания, и они должны выполнять их без дискуссий о том, выгодно это или нет. Но вот «доведенный» уже план пусть стараются осуществить возможно экономичнее, говорят обычно люди, стоящие на позициях наших оппонентов. Стоимостным категориям в таком случае отводится место лишь «от сих» и «до сих», а прибыль как синтезирующий показатель работы предприятия отступает куда-то на второй план. За размер прибыли при этом можно похвалить или пожурить, если выполнено самое главное условие — план по «валу». Такой подход, на наш взгляд, противоречит укреплению за прибылью того значения, которое было сформулировано в последних партийных решениях. Правда, добиться того, чтобы прибыль стала основным показателем деятельности предприятия, дело не легкое. Во многом это связано с правильной оценкой роли денег в социалистическом хозяйстве, но без этого явления типа ставропольских изжить невозможно.

Нас печалит и другое. Наши оппоненты странно толкуют понятие рынка. «Массовое крупное производство предполагает массовую, оптовую реализацию продукции на гарантированных договорных началах. Свободная реализация значительной части продукции на рынке нужна была колхозам тогда, когда закупочная цена не обеспечивала им получение нормального дохода». В этом и ряде других мест неожиданно выясняется, что, споря о месте рынка в социалистическом хозяйстве, наши оппоненты имеют в виду... колхозный рынок, базар. Отсюда строятся далеко идущие выводы, делаются серьезные упреки. Простите, но, употребляя понятие «рынок», мы имеем в виду не базар, а комплекс всех условий, при которых происходит реализация общественного продукта и его отдельных частей.

И такому рынку, конечно, не противоречат, а, наоборот, присущи централизованные сбыт и заготовки, за судьбу которых так беспокоятся наши оппоненты. Узкое понимание категории рынка ставит авторов упомянутой статьи в безвыходное положение в вопросе расширения каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Наши оппоненты боятся свободной реализации продукции, усматривая в ней опасность анархии, стихии. Ну, а как же быть колхозам и совхозам с продукцией, произведенной сверх плана? Или им ее не нужно производить совсем? Странно, очень странно, что наши

оппоненты забыли полностью о судьбе сверхплановой продукции, тогда как на мартовском Пленуме особо подчеркивалось, что объем этой части товаров должен будет постоянно расти, увеличиваться. В этом суть мартовских решений, и доказательство правильности этого расчета — нынешний сверхплановый миллиард пудов хлеба. Сверхплановое производство стимулируется в нашей стране, и не задумываться о расширении каналов ее реализации — это значит отворачиваться от тревожных фактов в сфере сбыта, забывать об интересах производителя и потребителя. Оппоненты лишь милосливо «не исключают возможности реализации излишков товарной продукции на местных сельских и городских рынках». Но почему, к примеру, молдавские виноградари должны свои «излишки» реализовать только в пределах Молдавии? Не этот ли подход повинен в том, что ежегодно миллионы тонн овощей и фруктов скармливаются скоту, между тем как их следовало бы реализовать — правда, не только на «местных рынках»? Конечно же, у наших оппонентов не нашлось поэтому ни одного предложения о развитии прямых связей в сельском хозяйстве, о разветвлении коммерческих начал в работе Центросоюза. Все это не укладывается в их концепцию плана и рынка. Поэтому и подвергается осуждению.

Ориентация на рынки приведет «не к снижению, а к росту рыночных цен на продукты сельского хозяйства. В этих условиях главные усилия руководителей и специалистов колхозов неизбежно стали бы направляться не столько на увеличение производства продукции, сколько на умение «выгодно» ее сбыть», утверждают наши оппоненты. И с ними надо согласиться. Действительно, в условиях нынешних диспропорций, неоправданной дефицитности некоторых товаров резкий переход к рыночным отношениям имел бы вредные последствия. Но дело в том, что нынешняя дефицитность — следствие не рыночных отношений, действия закона стоимости и основанных на их учете планах, а как раз наоборот — результат их игнорирования. Нормализованный плановый рынок, основанный на гибком равновесии спроса и предложения, не даст оснований для тех отрицательных явлений, которых опасаются наши оппоненты. Но в то же время заставит экономично работать все социалистические предприятия. Значит, надо не бояться рынка, а планомерно вести дело к его нормализации и по мере успехов в этом трудном деле заменять административные методы руководства экономическими.

Противопоставление не на словах, а по сути плану рынка — серьезная ошибка наших оппонентов.

С. Колеснев, М. Соколов, И. Суслов не согласны с тем замечанием, что совхозная система оплаты плохо стимулирует конечный результат хозяйствования, не принимает к оценке предприимчивость, инициативу, ум работников. Интересно, чем они объяснят тогда хотя бы такой факт. Вот два зерновых совхоза Волгоградской области — «Коротковский» и «Динамо». Первый закончил год с убытком в 220 тысяч рублей, а второй получил 812 тысяч рублей прибыли. Однако в убыточном совхозе среднемесячная оплата одного рабочего составляет 80 рублей, а в прибыльном — 70. Таких примеров можно привести сколько угодно, и не только по совхозам, но и по промышленным предприятиям. Только там после сентябрьского Пленума уже не спорят о вещах, разжеванных для понимания каждого, а вводят более совершенную систему оплаты, учитывающую конечные финансовые результаты хозяйствования. До села понимание этих вещей еще не дошло. А жаль!

Наши оппоненты настроены решительно. Они за совершенствование оплаты труда, они не имеют ничего против улучшения системы планирования и цен. Но как, в каком направлении должно пойти практическое осуществление всех этих работ? Как видно из всего вышесказанного, по всем основным вопросам — о путях совершенствования планирования, о характере хозрасчета, о роли прибыли в нашем народном хозяйстве, о связи производства со сбытом — наши оппоненты, по сути, оказываются на второстепенных позициях. Во всяком случае не на тех, что разработаны партией в последних ее решениях в соответствии с новыми требованиями, продиктованными современным, возросшим уровнем социалистической экономики.

«То, что рынок активно воздействует на производство, общезвестно. Это азбучное положение, зафиксированное во всех учебниках политэкономики, всегда использо-

валось в хозяйственной практике», — утверждают оппоненты. Оказывается, поворот к сбыту, тесная увязка его с производством, провозглашенная в партийных решениях, переход к оценке работы предприятия по величине прибыли и реализованной продукции, критика формального хозрасчета и задача перехода к подлинно хозрасчетным отношениям не означают для наших оппонентов ничего нового. Все, оказывается, уже давно известно, на все вопросы уже давно готовы ответы, в хозяйственной практике уже все проверено-перепроверено. Зачем, спрашивается, тогда и хозяйственная реформа-то потребовалась?

В ответе на этот вопрос — наше главное расхождение с оппонентами. Мы склонны придерживаться другого мнения: успех экономического развития предполагает ломку многих старых представлений как в области экономической теории, так и в области методов хозяйственного руководства. Делать это нелегко, но время торопит.

## ДВА ХОЗРАСЧЕТА

Прошло два года с тех пор, как были приняты решения партии о неотложных мерах по подъему сельского хозяйства. Жизнь подтверждает правильность избранного пути тем, что заметно ускоряется темп роста производства. И достигнуто это не благодаря внедрению каких-то технических новшеств, не за счет расширения посевов какой-то чудодейственной культуры, а в первую очередь и прежде всего благодаря совершенствованию производственных отношений в нашем народном хозяйстве. На этом пути сделано еще далеко не все. Если обобщить впечатления, собранные за последнее время в поездках по колхозам и совхозам, то главный вывод, к которому невольно приходишь, столкнувшись с проблемами планирования, ценообразования и материально-технического снабжения, таков: дальнейшее ускорение развития нашего сельского хозяйства зависит сейчас от укрепления хозрасчетных начал в экономике.

О хозрасчете в сельском хозяйстве разговоров немало. Противников у него нет; может быть, потому нет и сдвигов в этом важном деле. Продолжаются академические споры и не поставлено ни одного сколько-либо серьезного опыта по совершенствованию системы экономического управления колхозами и совхозами.

Среди экономистов, единодушно выступающих за хозрасчет, нет единства в понимании его сути. Иным он представляется как метод хозяйствования, при котором происходит сопоставление израсходованных средств с теми, что отпущены предприятию вышестоящими организациями по разработанным нормативам. При таком понимании использование хозрасчета отождествляется с необходимостью лишь установить хорошие нормативы (цену на продукцию, планы продажи и т. д.) и после этого объявить хозяйствам об отказе им в дотациях. Разница между отпущенными хозяйству средствами и израсходованными именуется этими экономистами прибылью и ее расходование расписывается в тех или иных пропорциях в виде поощрения. В существе своем это прежний взгляд на хозрасчет, его формально-административный вариант. Часто говорят: «Надо перевести совхозы на хозрасчет». Под этим как раз и подразумевают описанную нами систему, сохраняющую в том или ином виде все нынешние ограничения «сверху» хозяйственной деятельности, но отказывающую хозяйству в покрытии убытков, когда таковые наступят.

Действие такого формального «хозрасчета» лучше всего можно наблюдать на заготовках животноводческой продукции. Совхоз, предположим, работает в зоне, где установленные цены обеспечивают хорошую рентабельность, достаточную для того, чтобы жить на хозрасчете, то есть без дотаций. Но вот мясокомбинат и молокозавод отказываются принять у него продукцию, не справляясь с переработкой, и положение хозяйства становится драматическим. Вот письмо с Пятигорского мясокомбината. Он оказался в описанной нами ситуации и, спасая продукцию, продал ее горюшечторгу. Результат — штраф 22 043 рубля. О каком хозрасчете здесь может быть речь? Если совхоз производит по плану убыточную для себя продукцию, если не хозяйство определяет очередность капиталовложений и т. д., то хозяйство в таких убытках чаще всего не виновато и поэтому государству же приходится их перекрывать. За чей счет? Да



в первую очередь за счет прибылей тех, кто их добился. Поэтому и продолжается перераспределение прибылей в совхозах, несмотря на официальное запрещение. Не печатным же станком действительно перекрывают убыточность?

Сторонники такого подхода к хозрасчету оказываются всякий раз в тупике и, поглядывая на огромную сумму совхозных убытков, говорят либо о дальнейшем повышении цен на продукцию, либо заявляют, что хозрасчет дело хорошее, но условия для него еще-де не созрели. Вот уменьшатся, мол, убытки, тогда можно будет перейти к делу. Получается замкнутый круг: хозрасчет нужен, чтобы повысить рентабельность совхозов, но его нельзя «ввести», так как рентабельность совхозов низка.

В действительности переход от формального хозрасчета к подлинному и сложный и проще, чем это думают сторонники «перевода» совхозов на хозрасчет. «Перевести» их прежде всего вообще нельзя, потому что использовать хозрасчетные отношения в совхозах — это значит просто учитывать объективные условия действия закона стоимости в нашей экономике. А это в свою очередь значит, что тот же совхоз должен работать не на деньги вышестоящей организации, ориентируясь на ее указания, а на средства потребителей, покупателей продукции.

Если так понимать хозрасчет, то его укрепление в сельском хозяйстве пролегает через последовательное совершенствование всей обстановки, в которой действует хозяйство, а не механическое вмешательство в его организм. И для этого необходимо прежде всего размер совхозных фондов, в том числе и зарплаты, поставить в зависимость от суммы, вырученной от реализации продукции, от валового дохода. Для этого нужен постепенный переход от распределения к продаже техники хозяйствам, внедрение банковского кредитования вместо бюджетного финансирования, устранение преград на пути продукции от производителя к потребителю, стабилизация цен на уровне спроса и предложения, укрепление авторитета рубля, обращающегося в сфере производства, внедрение заготовок по договорам о контрактации. Таковы, по нашему мнению, составные звенья экономического механизма, овладение которым позволит внедрить подлинный хозрасчет в нашем сельском хозяйстве.

Речь должна идти, следовательно, о таком варианте хозрасчета, при котором решение вопросов, связанных с ним, переместится из кабинетов министерств и ведомств непосредственно на предприятия, в совхозы и колхозы. В нынешних условиях это затруднено тем, что деньги на ведение производства в совхозах, например, даются не хозяйствам, а ведомствам, которые по своему усмотрению распределяют их по отдельным хозяйствам и по видам затрат: на коровники, свинарники, овощехранилища, мелиорацию и т. д. Оттого и происходят такие курьезы, как, например, в совхозе «Птицефабрика» Красногвардейского района Крымской области. Вышестоящие организации решили: быть хозяйству птицеводческим. Финансирование других отраслей, подлежащих изъятию у этого совхоза, сейчас прекращено. Но на «Птицефабрике» нет ни курицы, ни цыпленка и неизвестно даже, будут ли они когда-нибудь. Зато строительство коровников, телятников и т. д. уже прекращено, хотя коровы, не зная об изменении специализации, продолжают тельиться. Коллектив совхоза, директор его — не хозяева в своем собственном хозяйстве. Разве они сами смогли бы додуматься до такого?

Использование хозрасчетных отношений требует четкого разграничения круга хозяйственных проблем, за решение которых ответственна та или иная инстанция. Разумеется, решение о строительстве оросительной системы, о создании крупного ремонтного завода и т. п. целесообразнее принимать в централизованном порядке, так сказать «вверху», так же как разумнее, логичнее, если совхоз будет сам принимать решение о строительстве телятника, детского сада или теплицы. Такое разграничение крупных инвестиций от мелких лишь освободило бы центральные организации от дел, им не свойственных, и позволило бы сосредоточить внимание и силы на решении перспективных проблем.

Как же в этих условиях осуществить переход к хозрасчету?

Начинать это надо, пожалуй, с того, чтобы средства, отпускаемые совхозам на капиталовложения, попадали к ним не по административным каналам, а непосредственно экономическим путем — через цену на реализуемую продукцию, через банковско-кредитную систему. Как обстоит дело сейчас? На Юге колхозная пшеница закупает-

ся по 7 рублей 20 копеек за тонну, совхозная — по 3 рубля 50 копеек. На первый взгляд кажется, что совхозы очень ущемлены. Но это суждение поспешно. Они компенсируют эту разницу тем, что соответствующее ведомство «бесплатно» строит фермы, овощехранилища, выдает машины и т. д., руководствуясь, правда, при этом своими собственными представлениями о целесообразности. К чему это приводит, из приведенных примеров ясно. Пусть совхозы сами решают, что, когда и как строить у себя на свои собственные деньги, полученные за проданную продукцию. Тогда и рассчитывать будет не на кого, кроме как на свои силы. Одно это способно значительно повысить рентабельность совхозного производства, продвинуть их по пути укрепления подлинно хозяйственных отношений.

Сняв ограничения в реализации, предоставив совхозам право продавать лишнюю продукцию там, где она находит сбыт, по ценам, о которых свободно договорятся обе стороны, — вот второй резерв повышения рентабельности, который также не стоил бы государству дополнительных затрат. А о том, какие резервы интенсификации таятся сейчас в совхозах, это мы увидели, сравнивая, сколько дают колхозные и сколько совхозные земли в Крыму, в Красногвардейском районе. Думается, что при таком понимании хозрасчета круг, замкнутый сторонниками формального его варианта, может быть разомкнут.

Подлинный хозрасчет — не бухгалтерская затея. От успехов его внедрения зависят темпы роста производства.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

И. ДУБИНСКИЙ

★

## КОЛОКОЛ ГРОМКОГО БОЯ

*Виталий Маркович Примаков (1897—1937) — революционер-подпольщик, создатель и боевой вожак украинской конницы, прославившейся в первые годы борьбы за советскую власть,— личность очень яркая и сложная. Сын учителя из села Шуманы на Черниговщине, воспитанник и член семьи замечательного украинского писателя Михаила Коцюбинского, сам одаренный литератор, двадцатилетний коммунист Примаков в марте 1917 года был еще царским узником, а в декабре того же года уже командовал червонными казаками. Интересен и необычен и дальнейший жизненный путь Виталия Примакова. Об этом незаурядном человеке, с которым меня связывала боевая дружба, я написал книгу, которая выйдет в нынешнем году на Украине в издательстве «Радянський письменник». Мне хочется познакомить русского читателя с некоторыми фрагментами из этой книги.*

**Автор.**

Сорок лет назад Виталий Примаков вернулся из Китая, где находился в составе группы военных советников. Нашел он меня в Лесном общежитии Академии имени Фрунзе. Помещалось оно вблизи памятного многим москвичам храма Христа-Спасителя (теперь на его месте — плавательный бассейн).

По эспланаде, на которой высился этот храм, мы пошли к Примакову в гостиницу. Это был спокойный и очень тихий отель «Княжий двор» (теперь в этом здании находится одно из министерств) в одном из тихих переулков Волхонки, как раз напротив Музея изящных искусств.

В своем уютном номере хозяин усадил меня в кресло, положил на стол пачку тогдашней новинки — сигарет, — сам забрался на высокий подоконник и, раскурив хорошо мне знакомую походную трубку, широко раскрыл створки небольшого окна. Стал пускать дым на улицу. Распечатал я подаренную мне пачку лишь спустя полтора года. Может, иной тянется к куреву с радости, я же задымил первый раз с досады. Это когда неожиданно нас с Примаковым, изготовившихся в дальний путь, разлучили... Но об этом после.

В тот день, изнемогая от множества необычных впечатлений, Примаков горячо делился со мною множеством своих планов.

Сняв ботинки, упершись спиной в один откос подоконника, а ногами в другую, Виталий лукаво усмехнулся и загадочно выпалил:

— А я увлечен...

Я повел плечом. Нашел чем меня удивить. Наш Виталий увлекался всегда — и способен был увлекаться до самозабвения. Однажды, летом 1918 года, его увлеченность своим делом — он в то время занимался организацией вооруженной борьбы против оккупантов — вынудила кайзеровско-гетманские власти назначить награду в миллион карбованцев за его голову, хотя по возрасту он тогда по нынешней мерке был еще мальчишкой.

Заметив, что его сообщение ничуть меня не заинтриговало, Примаков раскрыл карты. Оказывается, он увлечен Фыном — маршалом Фын Юй-сяном, от которого недавно вернулся и приезда которого в Москву с нетерпением ждет. Ждет и хочет встретить его с почестью.

«Дело ясное, — подумал я, — если мы питаем слабость к человеку, мы склонны, не замечая его минусов, преувеличивать его достоинства». Может, нечто подобное было и в данном случае.

— Прежде всего он демократ, — говорил Примаков. — Маршал Фын разделяет все принципы доктора Сун Ят-сена, считается со мной. Хотя я и намного моложе его... Уважает нашу страну. Правда, не без колебаний, а выдал нам атамана Анненкова. Этого палача трудящихся Семиречья я мог доверить лишь Зюке. Он и доставил атамана в Москву. В двухместном купе сибирского экспресса Миша провел с этим бешеным волком почти полмесяца! — воскликнул Примаков.

Я хорошо помню, как Михаил Зюка — коммунист с 1912 года, узник царской тюрьмы, участник январского (1918 года) восстания в Киеве, а потом боевой начальник артиллерии червонного казачества, — сдав Анненкова, ввалился к нам в общежитие с посиневшим лицом, сразу полез на койку и проспал, не шелохнувшись, целые сутки. А потом уже рассказал о своей необычной миссии.

О маршале Фыне Примаков говорил долго и очень тепло. А потом с той же восторженностью рассказывал об Эгоне Эрвине Кише, с которым тоже повстречался в Китае. Рассказал он и о знакомстве с драматургом Сергеем Третьяковым, который в ту пору работал в Пекине над пьесой «Рычи, Китай!» для театра Мейерхольда. Говорил, как Третьяков «жмет» на него, стыдит: почему, мол, человек с такой биографией ничего не пишет?

Тут Примаков соскочил с подоконника, полез в незапертый неказистый чемодан, достал со дна пачку густо исписанных листков, поднес их к моим глазам, а сам, не без внутреннего волнения, прошептал, словно боялся чужого, недоброго уха:

— Это мое. Осталось уже немного... Как говорят французы: вернисаж, финиссаж, полиссаж... Подшлифую — и в Ленинград, в издательство «Прибой». И пусть наших товарищей не удивляет — не будет там моего имени. Будет другое. Так надо...

Кто из пишущих не испытал жгучей потребности прочесть написанное и еще не опубликованное сочувствующему сердцу? Этого, видно, хотелось и моему собеседнику. Но среди зажатых в руке листков чего-то не хватало. Виталий снова полез в чемодан. Нашел нужное и вместе с несколькими листками извлек вещицу. Это была украшенная свинцовыми бляшками монетница из монгольской плотной кожи. Он протянул ее мне. Жаль, не сохранился дорогой для меня подарок.

Словно извиняясь за незначительность презента, Примаков сказал, что накупил безделушек на всех, купил и для матери, к которой, в Шуманы, он, возможно, поедет вместе с маршалом Фыном. Пожаловался на то, как трудно было ему угодить «чертовому Йоньке» — Семену Туровскому, своей правой руке по червонному казачеству, — тот назло царским жандармам, гонявшим его по тюрьмам и ссылкам, носит теперь брюки только из жандармского сукна. Виталий извлек на свет божий отрез дорогой синей ткани — в поисках ее пришлось ему излазить пол-Пекина...

Только после этого Виталий отыскал в своих записках нужное место, уселся в кресло напротив и стал читать.

Это был рассказ о том, как создавалась в Китае Калганская офицерская школа.

Примакову — вожаку червонных казаков — довелось в гражданскую войну повидать немало, но его потрясли та деловитость и бесстрастность, а также систематичность, с которыми в Китае, и даже на подконтрольной маршалу-демократу территории, производились казни. Человек на виду у народа опускался на колени,

спокойно — во всяком случае внешне спокойно — клал голову на чурбак, а палач, не торопясь, длинным мечом отсекал ее.

Во время одной из бесед Виталий Маркович пересказал маршалу услышанное им когда-то на митинге выражение одного из ораторов, бывшего политка-торжанина: «Для успеха на фронте и в тылу надо побольше ораторов и поменьше милиционеров». Фыну эта мысль очень понравилась. Он в свою очередь процитировал изречение древнего философа, хвалившего того богдыхана, который допускает жестокость для блага народа, и осуждавшего того, у которого благом народа признается жестокость правителя.

Тонкий диалектик, Примаков трезво оценивал глубокие процессы, которые взбудоражили славший века китайский океан. Вспомнил он Бернарда Шоу. В одной из бесед с ним друзья завели речь о сорока томах, объяснявших причины падения Римской империи. А Шоу им: «Я это выражу всего лишь четырьмя словами: Рим перерос своих владык!»

— Вот и Кнгай, --- сделал заключение Примаков, — начал перерастать своих старых, тронутых глубокой эрозией повелителей. Ищет новых. Завтра, нет сомнения, будут социалисты, коммунисты. А нынче — вот они, такие, как маршал Фын...

Сунув на дно чемодана прочитанные листки рукописи, Примаков снова зажег трубку и, раскуривая ее, стал шагать назад и вперед по комнате.

— Вот, три года назад, — заговорил он, — после краткой учебы в Академии послали меня в Петроград. Сделали начальником высшей кавалерийской школы. Повез я как-то своих питомцев на линкор «Марат». Многое нас там поразило. А одного не могу забыть и поныне. На боевых кораблях есть своя система сигналов. Есть сигналы обычные, повседневные. Они призывают моряков к действию или же к покою. Но есть у них и необычный, особый сигнал — это колокол громкого боя. Своим набатным гулом он настраивает сердца на высший регистр боевой готовности, самопожертвования, отваги. Этот боевой призыв заставляет забыть обычную суету, все мелочи жизни. Колокол громкого боя подымает массу на большие дела и великие свершения...

Примаков помолчал немного и продолжал:

— А мы — команда большого корабля. Сквозь грозы и штормы он везет нас к далеким благодатным берегам. На нем множество прекрасных людей. Без их усилий мы бы не сдвинулись с места. Но есть еще и такие — их не так уж много, — без которых было бы худо, особенно в грозную, штормовую погоду. Эти люди — как колокол громкого боя. Своим набатным гулом, своей титанической энергией и незаурядным умом, своей дальновидностью испокон века зовут они людей к большим подвигам и великим свершениям.

«Какой чудесный образ!» — подумал я. Ведь колоколом громкого боя всегда представлялся мне и он сам, Виталий Маркович Примаков.

\* \* \*

Вручая недавно нашему прекрасному Киеву Звезду Героя, Леонид Ильич Брежнев среди прочих прославленных боевых единиц, созданных трудящимися Украины, чтобы отстоять на заре советской власти завоевания Октября, назвал и соединение Примакова.

О Гонте. Зализняке и других народных героях Украины складывались песни уже после их смерти. О вожаке червонных казаков богатый фольклор появился еще при его жизни. Под аккомпанемент своих почерневших от времени бандур на базарных майданах Украины слепцы пели: «Ой, Примак, душа голоти, лицарь ти залізний, потрошив без мирн, щоту ворогів Вітчизни!..» В изданные много лет назад фольклорные сборники вошло множество песен о Примакове и о его славных бойцах — червонных казаках.

Вспоминаю еще.

1927 год.

В один из последних дней погожего октября в Москве на скамейке Гоголевского бульвара сидели только что назначенные в Кабул военный атташе и его помощник — Виталий Примаков и я. Мы ждали часа приема у начальства, пригласившего нас в Наркомат обороны для последнего напутствия.

Два года прошло с тех пор, как Примаков в сопровождении большой группы соратников по червонному казачеству — Зюка, Кузьмичев, Петкевич, Столбовой — уезжал в Китай. В прокуренном до отказа купе мы прощались с теми, кто отправлялся на Восток, самозабвенно пели старинную «Засвистали козаченьки» и популярную в годы гражданской войны самодеятельную песенку «Тучки с громом прогремели, три дня сряду дождь идет. Наши славные червонцы собираются в поход. И вдруг солнце засияло, едет, едет сам Примаков...».

На этот раз нам двоим предстояла дорога за Гиндукуш.

В Китай в 1925 году бывший вожак червонных казаков ехал с величайшей охотой. Его горячее сердце жаждало борьбы во имя мировой революции, во имя всеобщей победы пролетариев всех стран. Напутствовал его добрым словом сам наркомвоенмор товарищ Фрунзе.

Теперь мы были вызваны к начальнику одного из управлений. В ожидании приема мы беседовали на бульварной скамье, и Примаков, вспомнив тот разговор с Фрунзе, горько сказал, что за это время он успел снова осиротеть. Первый раз, по его словам, он осиротел, когда умер его отец от гайдамацких истязаний. Второй раз, когда в 1920 году умерла горячо любимая жена Оксана. Третий раз, когда умер Ленин. Четвертый — недавно, когда ушел от нас Фрунзе.

— А сирота, — грустно усмехнулся Примаков, — что тот горох при дороге...

Без видимой связи он заметил вдруг, что за горячность, свойственную молодым годам, за свои срывы приходилось ему расплачиваться и в зрелом возрасте.

Я догадывался, о какой горячности и о каких срывах шла речь. Летом 1920 года Буденный наступал на Броды, Якир — на Почаев, а червонные казаки Примакова — на Подкамень. Памятные места! Вот летит на коне адъютант Ворошилова Роман Хмельницкий. Приглашает Примакова в штаб Конной армии. И тут, очевидно, чем-то ранее ущемленный, Виталий сгоряча ляпнул: «Я подчинен не Буденному, а Якиру. И то временно. Если я кому нужен, пусть едет сюда!..»

Да! Слово не воробей... Это было. И факт этот вовсе не говорит в пользу нашего командира.

Нравом своим он пошел не в отца и, конечно, не в мать. Мягкая, в сущности, его душа не терпела несправедливостей. Против них он бросался в бой сломя голову. В минуты вспышек отступало благородие, выходила вперед ярость. В гимназии за его вспышки был он прозван «печенегом». Пробовали его укротить гимназические начальники, но от крутой руки он делался еще круче. Тут творила чудеса одна только Оксана. Она звала «печенега» в гостиную, садилась за рояль. И ничто так не смягчало юношу, как музыка Шопена.

Когда Примаков, говоря о своей скорби по самым дорогим ему людям, назвал имя Владимира Ильича Ленина, мне вспомнился документ, составленный на моих глазах в 1922 году и опубликованный лишь через семь лет в газете «Харьковский пролетарий». «Командованием корпуса, — говорилось в газетной заметке, — послана по прямому проводу телеграмма на имя ВЦИК по поводу приглашения т. Ленина на Генуэзскую конференцию: «По поручению казаков доношу: червонные казаки считают, что т. Ленин может ехать в Геную не раньше, чем туда вступит Красная Армия. Командир корпуса Примаков».

Но о былом мы вспоминали недолго — Виталий заговорил о том, чем нам придется заниматься там, за тридевять земель. Он ясно представлял, что Афганистан не Китай. В то время Кабул находился на самом стыке наших и английских интересов на Среднем Востоке.

Предвкушая встречу с новыми впечатлениями, Виталий воскликнул:

— Вот там наши перья разгуляются!..

К тому времени имя Примакова-литератора уже было известно не только в военных кругах. Он опубликовал свои работы о гражданской войне еще в 1921—1922 годах. Одна из них — «Рейды червонных казаков». Спустя год вышел в свет его «Митька Кудряш». В образе обаятельного рядового бойца Митьки Кудряша вожак червонных казаков показал мужественный характер, чистую душу украинского парня, который не только делом, но и словом, до последнего вздоха, боролся за святое народное дело — за дело Ленина. Тем и до сих пор привлекательно это небольшое по объему произведение, что оно наполнено большой любовью Примакова, я бы сказал даже нежностью, к тем, кого приходилось ему посылать повседневно в бой, в огонь и даже на смерть.

Когда зашла речь о будущих произведениях, Примаков достал свою походную, изрядно почерневшую уже трубку. С этой самой трубкой в зубах ранней весной 1919 года он, не страшась залпового огня гайдамаков, засевших в замке Сангушко, повел дрогнувших было своих бойцов через мост, соединявший Старый и Новый Изяславль. Тогда червонные казаки, восхищаясь бесстрашием своего командира, твердили в один голос: «Нашего Примака и пуля не берет!»

Задумав, он стал жаловаться на неувлечимость нужных слов. Вот — в шутку досадовал он — если б можно было, как на фронте врага, догонять слова клинком или пойти на них глубоким рейдом...

Хотя, добавил он, слово и клинок не враги. Наоборот — лучшие друзья. Вспомнил Маяковского, мечтавшего, чтобы слово приравнивали к штыку. А я напомнил ему о его собственных словах, прозвучавших задолго до Маяковского: «В червонном казачестве удержится лишь тот комиссар и того комиссара полюбит казачья масса, кто до боя действует горячим ленинским словом, а в бою — острым казачьим клинком!»

Примаков сказал, что он этих своих слов не помнит. «Мало ли что приходилось говорить людям за четыре года походов и боев». Он искренне сокрушался, почему не сбылась его мечта, возникшая еще в Чернигове, в усадьбе на Северянской, когда они вместе с Юрком Коцюбинским, затаив дыханье, слушали горячие литературные споры старших — уже тяжело больного Михаила Коцюбинского с его молодыми собратьями — Павлом Тычиной и Васyleм Блакитным.

В гимназические годы Примаков писал стихи, а в 1917 году, вернувшись из Сибири, уже взялся было за перо серьезно. Громил на страницах киевского «Социал-демократа» меньшевиков-самостийников, с пылом неопита бегал в редакцию на Думскую площадь, чтоб схватить там свежий листок с только что напечатанной собственной заметкой. Но вскоре перо пришлось сменить на клинок.

Еще в гимназическом кружке красноречия, готовясь к рефератам, Виталий наседа на классика древнего Рима. Мог цитировать большие куски из Овидия, Горация, Цицерона. Не забывал наставлений древних и руководя боевыми действиями червонных казаков. Ссылаясь на Катилину, внушал своим командирам, что никакое убежище и никакой друг не защитят того, кто не обрел себе защиты в собственном оружии. А в случае перевеса в силах врага «боритесь, как настоящие мужчины, и оставьте врагу победу, насквозь пропитанную кровью и слезами».

Гуманизм Толстого и Шевченко, призывы к добру Горького и Коцюбинского, коими жили Примаков и его ближайшие соратники, сделали свое доброе дело. Молодые вожаки червонного казачества взвешивали не только то, что свершил враг, но и то, что было причиной его дел. Это и сохранило много человеческих жизней, сберегло народную кровь. И оно же делало чудеса — вчерашние враги перестраивались. Одни отходили вовсе от борьбы, другие поворачивали оружие против своих вчерашних кумиров.

Не так давно известный прогрессивный деятель Канады Петро Кравчук прислал из Торонто пакет. В нем, напечатанный на грубой оберточной бумаге, нахо-

дился призыв червонных казаков к «вільним козакам» Петлюры. Этот документ появился на свет в 1920 году в Тернополе, а оттуда неисповедимыми путями попал в Канаду, чтобы спустя более сорока лет вернуться снова к нам.

Ценность документа не только в том, что от него веет ароматом бурной эпохи, но еще и в том, что он написан пером того, кто высоко ценил силу страстного правдивого слова. Вот строки из того призыва:

«Не по приміру дідів і прадідів своїх йдете ви зараз класти свої буйні голови на широких просторах України... Робочий люд всього світу глядить на вас, як на катів, що вішають своїх братів... Та є ще пора згадати слова великого Тараса — «Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде...» Разом підемо новим шляхом життя назустріч сонцю золотому...»

Я хорошо помню то время, когда из-под пера Примакова появился на свет тот замечательный по силе воздействия документ. Помню и тех одиночек из вражеского лагеря, которые, склонив повинную голову, шли к нам. Помню и те организованные боевые единицы, которые вопреки воле своих атаманов поворачивали штыки и вместе с нами громили легионы пана Пилсудского.

Нет, слово не может заменить штык, но оно должно соединиться с ним в едином, неотразимом сокрушительном ударе...

Надо прямо сказать: были в ту пору командиры, которые умели хорошо воевать, но еще лучше умели обращать на себя внимание. Особенно внимание газетчиков. А Примаков был совсем иной.

Муза лирников баловала его своим вниманием куда чаще, чем бойкие перья. И сам он завидовал той силе, с какой поэзия народа умеет воспевать героические подвиги. А как много таких подвигов хранилось в его памяти! Только начни вспоминать — и возникают десятки неповторимых историй, одна за другой. Тут и подвиги, тут и озорство. А любая история по-новому открывает душу солдата революции. Он любил рассказывать о сотнике поляке Добровольском — старейшем червонном казаке. Случился с ним грех — проиграл всю получку сотни. Шум, крик, топот сапог в штабе — прискакала вся боевая орава. А тут им сказали: сотника будут судить. И скорым судом полевого трибунала. Притихли казаки. Пошушукались, а потом вновь загудели, потребовали лист чистой бумаги, усадили за стол своего грамотея, наспех составили раздаточную ведомость и тут же, хватая друг у дружки перо, а кто просто тиснув бумагу пальцем, все до единого расписались в получении месячного оклада. Ворвались с той ведомостью в трибунал, а оттуда вынесли на руках своего легкомысленного, но боевого командира.

Во время беседы на Гоголевском бульваре, заставившей меня так много вспомнить, Виталий сказал, что писатель подобен судье. Тот и другой судят дела и слова людей. А потом выносят к всеобщему сведению свой приговор. Но если судью прежде всего и больше всего интересуют факты, а потом уж обстоятельства, то для настоящего писателя основное — это обстоятельства, ибо только они помогают раскрыть душу человека. И опять же сокрушался, почему бог обошел его, не дал волшебной силы управляться со словом. Мне пришлось ему напомнить, что самое скупое существо в мире — это и есть бог. Редко кого он одаряет двойным талантом.

Однако Примаков сильно преувеличивал, жалуясь на то, что слова ему не даются. Литературная одаренность его была несомненной. Напомню хотя бы отрывок из новеллы «Песня», написанной Примаковым уже после Афганистана: «Бубны глухо загудели под переборами пальцев, загудели в ритм, в лад под плясовую, и в лад взмахнул бунчуком бунчужный, гремя серебряными тарелками и бубенцами. Все веселей и веселей под пальцами и рукоятками нагаек шел на бубнах плясовой перебор, все громче гудели, гремели и звенели тарелочками и тарелками бубны, когда запевалы, толкнув один другого локтем, разом подняли веселый, высокий и частый напев плясовой. И уже после первых слов подхватили песенники, а за ними полк, и плясовая с высвистом, с гиком, под громкий рокот бубнов закру-



жила над полками, — и казалось, кони пошли бойчее, и самые сонные и не выпавшие после ночной стражи казаки окончательно проснулись и пришли в себя».

Очень хотелось Примакову сделать портрет самого колоритного командира полка червоного казачества — Пантелеймона Романовича Потапенко. Этот барвенковский кузнец, которого с царской каторги вернуло падение царя, напоминал нашему Виталию Тараса Бульбу. Такая же мощная и яркая фигура. В своих записках автор упоминает его несколько раз, но лишь вскользь. А очень хотелось ему рассказать, как вместе с Потапенко воевал его родной брат Федор — сотенный командир, и старый его батько Роман, прижимистый дядько, которому сын доверил полковое хозяйство. И еще хотелось ему обрисовать пышную архиерейскую карету командира полка, которая подавалась лишь в торжественных случаях и то лишь для особо почетных гостей. Почетным гостем мог быть и вернувшийся из лазарета линейный казак, если только он был из тех, возвращения которых дожидается весь полк. Потапенко сразу же звал новичков-командиров на конюшню. Давал всем щетки, скребницы, конскую амуницию. Сам ходил вокруг и, кося глазом, тщательно присматривался. А потом собирал всех и говорил: «Ось ти, хлопче, підеш в сотню. Буде з тебе добрий командир. А ти, товаришок, поганяй краще до канцелярії. Підшвати бомажки теж треба зі старанієм...»

К командиру полка, который был старше его на целых полтора десятка лет, наш начальник дивизии относился, я бы сказал, с подлинно патриархальным сыновним почтением.

В памяти Примакова хранились неисчерпаемые клады. Если бы его жизненный путь, да профессиональному литератору...

Любил он вспоминать партийные командировки 1917 года. Поездки по анекдотической узкоколейке Чернигов — Круты. Поезда по ней двигались со скоростью чумацких волов. И юмористически вспоминалась идиллия на станции Вересочь. Предусмотренная расписанием пятиминутная стоянка порой растягивалась на целый час: оборотистая начальница станции не позволяла мужу отправить поезд, пока она не распродаст пассажирам состряпанные ею бисквитные торты...

Людам огромного жизненного опыта, когда они берутся за перо, почти не приходится прибегать к домыслу. Но Виталий говорил: «Славно перо, умеющее отобразить опыт жизни. Вдвойне славно перо, которое способно домысел поднять до уровня опыта жизни. И трижды славно то, у которого домысел неотличим от жизненной правды».

Думаю, не без влияния Третьякова главный военный советник Фын Юй-сяна, командующего войсками Северного Китая, вернувшись на родину, написал «Записки волонтера».

Пора была тогда сложная. И хотя весь мир знал, что по приглашению вожды китайской революции Сун Ят-сена отправилась на Восток большая группа советских товарищей — Блюхер, Примаков, Павлов и другие, — почему-то считалось неуместным об этом говорить в печати. Это и вынудило автора выступить под вымышленным именем английского волонтера-революционера лейтенанта Аллена. Но все тогда знали: лейтенант Аллен — это и есть непревзойденный рейдист, вожак украинской конницы Виталий Маркович Примаков.

Книга пользовалась большим успехом. Уже в то время она стала библиографической редкостью. Ее писал не наблюдатель, а активный участник событий.

Попав в необычную обстановку, столкнувшись с чуждой средой, с порядками в сеттльментах, Примаков не без тонкой иронии пишет: «Ведь нигде в мире нет таких удобств... не выезжая за городскую черту, можно познакомиться с юрисдикцией всех великих держав, кроме одной — самого Китая, слящего чтырехсотмиллионного гиганта».

Примакова возмущает положение рикш. Но он оцнивает эту категорию тружеников по-своему, по-военному, помня, для какой цели доктор Сун пригласил в Китай наших советников.

«Выносливость рикш: изумительна: по асфальту европейских кварталов... рикша способен бежать несколько километров без отдыха... В этих людях нет ни ун-

ции жиру... Из таких скороходов — а их в Китае несколько миллионов — можно создать отличную пехоту, неутомимую и легко маневрирующую».

Это мысли профессионального солдата. А вот и его чисто специальные, но доступные всеобщему пониманию наблюдения:

«Начальник штаба энергично поддержал мои доводы и восстал вместе со мной против линейной тактики... За время беседы мне удалось установить, что линейную тактику усиленно культивировали японские и немецкие инструктора в Баодинфусской военной школе. Они не хотели, да и не хотят теперь иметь в Китае сильную армию».

И что ж? Выслушав обстоятельный доклад Примакова, подкрепленный доводами младших советников (по артиллерии — Петкевича, по коннице — Зюки), маршал Фын одобряет инициативу Примакова, взявшегося объять необъятное — написать специально для китайской армии Полевой устав, который учитывал бы и новое оружие, и новейший опыт. Дав армии маршала Фына новый устав, он вызвал тем самым для себя и своих помощников новые трудности. И главное — сопротивление вековой рутины, а то и тайных слуг империалистов.

Это уникальное пособие, созданное советским полководцем для китайской армии и недавно обнаруженное, будет опубликовано Институтом востоковедения вместе с написанным к этому уставу предисловием маршала Фын Юй-сяна.

У Примакова рука военного специалиста соперничала с рукой художника. Как точны и выразительны строки примаковских записок о китайском народе, который представлялся автору совсем не одноликой массой.

«Работа в школе и в поле сблизила студентов с инструкторами, и перед инструкторами постепенно вставал живой Китай во всем разнообразии быта, верований и обрядностей:

крестьянский тихий Китай великой равнины, привыкший к упорному труду и плохому вознаграждению... Чье орудие — лопата и мотыга... Интересы — не дальше огорода;

приморский Китай, буйный, полупиратский, живущий за счет моря, научившийся понимать морские чудеса и тайны, Китай, выросший на морском черве и плавниках акулы, создавший мировую торговлю перламутром и жемчугом, первый вкусивший от плодов великих цивилизаций Запада — спирта, миссионерских поучений и матросского сифилиса;

горный Китай, давший подвижных, энергичных, несколько суровых и полудиких героев китайских военных легенд...

Китай дальнего запада, великих пустынь и песков, полукочевой и совсем дикий...

Китай северной Маньчжурии, богатой и суровой страны, строящей девятиэтажные пагоды и давшей Пекину династию пышных и жестоких богдыханов...

Китай дальнего юга, Китай джунглей Юн-Нани и горных громад Сы-Чуани — родина опиума и зеленого чая, где леса перевиты лианами и остатки древних племен мао и лоло охотятся на больших обезьян...»

Но вернемся к разговору на Гоголевском бульваре.

Приближался час приема. Чтобы попасть к начальству, надо было только перейти трамвайную линию бульварного кольца, по которой с лихим звоном летели вагоны «Аннушки».

В кабинете начальника управления, говорившего с нами весьма и весьма мягко и расположено, Виталий Маркович, нахмутив лоб, попросил его напомнить нарком, что он дал согласие лишь на короткую поездку в Кабул. Самое большее — на год-полтора...

Через несколько дней он уехал. Я думал, что пройдет два-три дня — и мне придется отправиться с этого же вокзала, догоняя своего шефа. И впрямь, спустя некоторое время с того же перрона меня увозил поезд на восток... Но... обстоятельства переменились, и я уезжал не в Кабул, а в Среднюю Азию. Вернувшись после проводов Примакова домой, в академическое общежитие, я застал там вызов к на-

чальству. Третьего ноября мне сказали, что в Каракумах вновь шалит Джунаид-хан и мне придется ехать на службу в среднеазиатскую конницу.

Провожая меня в далекую Туркмению, мои друзья — червонные казаки — дружески издевались надо мной, прожужжав мне уши арией Карася: «Теперь я турок. не козак...»

Ну, а у Виталия слово не разошлось с делом. В Афганистане он не сидел сложа руки. Взявшись со всей свойственной ему энергией за изучение совершенно незнакомой для него страны, основательно познакомившись с ее далеким прошлым и сложным настоящим, он там, в Кабуле, написал отличную книгу «Афганистан в огне».

Иные военачальники и полководцы пишут мемуары, дожив до глубокой старости. Многие не бывшее становится бывшим, и наоборот. Тут ничего не поделаешь. Память не алмаз, она с годами крошится. А Примаков писал о случившемся и пережитом по свежим следам. Недаром в беседе он сказал мне однажды, еще в двадцать первом году:

— Не спорю. О нашем времени напишут блестящие повести и романы, фундаментальные книги. И верно то — если читатель захочет попасть в мир прекрасного, он потянется к тем трудам, а если пожелает узнать правду тех дней, он будет искать и мои книжонки. В тех книгах будет сказано — как оно могло быть, а у меня — как оно было...

А было все не так просто, как это многие себе представляли и представляют, — и люди, которые защищали завоевания Октября на Украине, и обстоятельства, в которых они действовали. В ряды червонного казачества с первых же дней пришел самый тонкий из всех тогдашних первоклассных знатоков кавалерийского дела — Владимир Иосифович Микулин. Он прошел в царской армии путь от корнета до подполковника, командовал бригадой под Перекопом и во время боев за Галицию летом 1920 года.

Будучи комиссаром бригады, я очень хорошо изучил этого замечательного воина и человека. С командармом он мог свободно потолковать о тонкостях оперативного искусства, с командиром боевой сотни — о службе завесы и дальней разведки, с берейтором — об особенностях школы Филлиса; молодого сигналиста мог научить подавать все боевые сигналы, а молодого кузнеца — как подковать лошадь с хрупким копытом.

Когда на двадцатитрехлетнего Примакова легла тяжесть командования двенадцатой конными полками, в штаб корпуса взяли начальника второй дивизии червонного казачества Микулина. Дивизию от него принял Котовский, а от Котовского — Шмидт, тот, кому Багрицкий посвящал свою «Думу про Опанаса».

Гимназист Примаков, агроном Котовский, землекоп Шмидт, студент Туровский — прославленные вожаки украинской конницы, они многому научились у царского подполковника Микулина. Учились у него и прочие комбриги, командиры полков — все эти бывшие учителя, студенты, слесари, шахтеры, с первых же дней существования червонного казачества зарядившие его селянскую толщу рабочим духом и пролетарским напором.

— Да, пока свежа память — надо рассказать о наших рейдах, — продолжал Примаков.

И вот год спустя появилась работа Примакова «Рейды червонных казаков». Она и сейчас поражает ясностью мысли, убедительностью доводов и дальновидностью ее тогда еще совсем молодого автора. Он писал: «Рейд — это непрерывное сражение в тылах противника в условиях полного окружения».

Нет сомнения, в богатом опыте Примакова черпали силу и героические наши рейдисты Великой Отечественной войны. Чтобы утвердиться в этом, достаточно прочесть правдивые и волнующие мемуары генерала Белова.

В начале декабря 1965 года в кабинете полковника М. М. Зотова встретил я одного генерала армии. Его внешность говорила — это боец гражданской войны. Услышав мою фамилию, он схватил меня в свои железные объятия, стал по-мел-

вежи мять, а потом с юношеским пылом принялся нахваливать боевые достоинства червонного казачества, вспоминая, как оно вырвало конную армию Буденного на белопольском фронте. И под конец сказал:

— Это было настоящее рабочее войско, пролетарское. Я не раз говорил Семену Михайловичу: хоть мы и разбили осенью девятнадцатого белую конницу под Воронежем, а отборную белую гвардию под Орлом разгромил Примаков с его кавалеристами.

Когда не по возрасту экспансивный генерал вышел из кабинета, полковник Зотов сказал:

— А ведь это генерал Лелюшенко.

Ничего не скажешь — очень приятно было услышать столь лестную и, надо прямо сказать, объективную оценку из уст бывшего буденновца и прославленного полководца Великой Отечественной войны.

\* \* \*

Как Примаков и рассчитывал, в Кабуле он находился недолго. Вернувшись на родину, Виталий зачисляется в резерв наркома и выполняет функции инспектора. Шлифует свой труд «Афганистан в огне».

А за то короткое время, которое он провел в Кабуле, Примаков полюбился там всем. Мудрейшие ханские советники высоко оценили его. Выдержка и такт, тренированное спокойствие и рассудительность, которым он учился, по его же словам, у своего учителя и тестя Михаила Коцюбинского, пошли ему впрок. Своим безукоризненным тактом и знанием восточных обычаев тридцатилетний советский военный дипломат покорил самого Аманулла-хана.

И вспомнил о нем хан Аманулла в крутую минуту своей жизни. Обскуранты, подстрекаемые интриганом Лоуренсом, восстали против прогрессивных реформ хана. Изгнали его из столицы. Вот тогда, в 1929 году, по просьбе хана Примаков помогает верным афганскому правителю советникам.

Но не хватило стойкости у хана. Не имея мужества дожидаться результатов решающей битвы, он умчался искать пристанища в соседнем Иране. Прослышав об этом, дрогнуло и ханское войско. Вскоре Примаков вернулся на родину и воевал еще против басмаческих банд Ибрагим-бека в Средней Азии. И страна наградила его тогда третьим боевым орденом Красного Знамени.

Мы встретились с Виталием осенью 1929 года, вскоре после его возвращения. Он жил тогда на Таганке в той самой комнате, где недавно работал Маяковский. В кабинете, казалось, еще звучал зычный голос поэта. Мы сидели на широкой тахте, в трех шагах от освещенного лампой рабочего стола, за которым, думаю, родились слова: «Я славлю отечество, которое есть...»

Это не могло не придать особого колорита всему тому, что говорил Примаков в тот вечер.

Он сказал, что никогда не думал, что ему, одному из могильщиков царизма, придется защищать царский трон...

— Самодержавие — зло, — говорил он, — и Аманулла был неприкрытым самодержцем. Его сменил иной монарх. Но из двух зол выбирают меньшее. Большим злом было то, которое утвердилось в Кабуле с помощью английского разведчика Лоуренса.

А любое самодержавие и любое самоуправство держится на идолопоклонстве. Лишь народы, достигшие светлых вершин науки и техники, не могут опуститься в черную яму идолопоклонства. Где идолопоклонство — там идолы. Где идолы — там жрецы, а где жрецы — там жертвы. Не так страшны идолы, как страшны жрецы. Народы не хотят ни идолов, ни жрецов. Виталий привел тогда такие слова: «...До чего мы дики... сколько холопьяго, идололюбческого живет в темных, запутанных душах наших. Мучительно стыдно...» И он сообщил, что эти строки прислал в 1911 году с Капри в Чернигов русский Буревестник в своем письме к Буревестнику украинскому. С Юрием, старшим сыном Михаила Коцюбинского, они

не раз перечитывали то письмо. Виталий запомнил приведенные строки на всю жизнь. И не раз они приходили ему на память в горячее лето 1918 года, когда украинское народное войско ждало сигнала: «вперед».

А то войско состояло из регулярных сил и из партизанских отрядов — каждый со своим атаманом и атаманчиком, этими уездными и волостными наполеончиками, из числа которых, может, лишь половина стала настоящими советскими командирами.

Атаманщина и партизанщина — прямое следствие того же идолопоклонства, тех же поисков кумиров. Выскочит наверх какой-нибудь мелкий тщеславец, а тут сразу же его окружает свита крупных подхалимов — и пошла писать губерния.

Но тогда же Примаков добавил, что не мыслит себе общества без старших и младших. Партия — это особо. Перед ее решениями он всегда стоит «руки по швам». Не позволяет себе вольничать и перед старшими товарищами по партии и по армии. Но он уважает авторитеты, а не кумиров; он признает руководителей, а не повелителей. И высшим образцом идеального руководителя был, есть и будет Ленин.

Примаков вспомнил, как еще при докторе Сун Ят-сене открывался первый конгресс гоминдана, тогда еще вполне революционного. И вот начались церемонии. Делегаты стоя отвесили сначала три поклона знамени гоминдана, а потом один поклон своему вождю и создателю партии Сун Ят-сену.

— А теперь в Китае, — сказал Виталий, — отвешивают по три поклона пигмею Чан Кай-ши и по одному поклону партийному знамени гоминдана... В Китае верили доктору Суну, а теперь там заставляют верить Чан Кай-ши. Но страшна та вера в вождя, которая гребует не верить другу. А теперь там именно так, — с убежденностью заметил Виталий, не перестававший живо интересоваться китайскими делами.

Из лежавшей на столе полевой сумки он достал написанную по-китайски книжечку. Меж ее страниц были вложены листки с рукописным русским переводом. То был подаренный Фын Юй-сяном своему советнику «Трактат о военном искусстве», написанный знаменитым полководцем древности У-цзы.

— Мой старший друг не собирался пичкать меня премудростями ратного дела допотопных времен, — сказал Примаков. — Он обратил мое внимание на весьма достопримечательное место, где древний философ рассуждал совсем не о военных делах. Вот что он писал: «В древности все, кто заботился о государстве, непременно прежде всего просвещали свой народ и любили своих людей». А другой философ писал: «Что значит любить народ? Это значит действовать так, как выгодно народу, а не так, как ему вредно. Это значит — созидать, а не разрушать. Беречь жизни, а не убивать. Доставлять радость, а не страдания. Успокаивать, а не раздражать. И еще — когда безвинных не подвергают наказаниям, это означает, что народу дают жить!»

Снова пряча в сумку трактат У-цзы, Примаков высказал твердое убеждение, что на благодатной почве, возделанной доктором Суном, не удержаться японским марионеткам. Рано или поздно Китай станет коммунистическим, а Чан Кай-ши будет изгнан именно за то, подчеркнул собеседник, за что Гонга и Зализняк гнали с Украины шляхту, — «за те, що не вміли в добрі панувать...».

После Китая, после Пскова, где он командовал корпусом, после двух поездок в Афганистан Примаков недолго работал в Токио советским военным атташе, после чего написал книгу «По Японии». Затем вместе с большой группой крупнейших полководцев, в которую входили Якир, Дубовой, Дыбенко, Уборевич, его послали совершенствоваться в германскую, догитлеровскую, военную академию.

Шел 1932 год. С версткой своей новой книги о червонном казачестве я полетел в Ростов, где Примаков служил тогда заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом.

Мы беседовали в огромном, скудно обставленном казарменноподобном кабинете. И прежде чем просмотреть привезенную мною верстку, Виталий, теперь уже

выглядевший солиднее своих тридцати пяти лет, достал из ящика стола книгу о червонном казачестве «Перша червона».

Он не положил, а двинул эту книгу на занимавшую весь огромный стол, расчерченную цветными карандашами топографическую карту. И заговорил о том, что в Берлине, из которого недавно вернулся, рвется к власти черная сила. А если она станет еще и хозяином рейхсвера, тогда... Ткнув трубкой в карту, он сказал, что готовит труд о том, чему немецкий генштаб учит своих генералов и офицеров. Пусть об этом узнают все наши товарищи, вся Красная Армия, чтоб потом нас не застигли врасплох...

— Так что книги такие, — показал он на «Першу червону», — нужны и нужны. И не только о нас, червонных казаках. Наш народ, и молодежь в особенности, должен учиться на подвигах многих замечательных дивизий — Якира, Дубового, Федько, Чапаева, Азина, Котовского, Щорса, Буденного, Осадчего, Крапивянского. — Он снова стал жаловаться на недостаток времени. — Лето — пора лагерей, учений, маневров. А надо торопиться с этой работенкой, — повел он трубкой по карте.

После обеда Примаков поехал к себе в штаб, посоветовав мне осмотреть город. Вечером я его застал дома за работой.

Он снова заговорил о немецких впечатлениях:

— Это страшная сила. Страшная в своем стадном крысином напоре, в своей сколоченности по высшим законам опыта и науки. Это должно нас насторожить. Но... против них идет присущая им противоположность. Ведь есть анекдот: даже немецкие пролетарии уклонились от атаки берлинского вокзала, так как у них не было перонных билетов... Все, что идет вразрез с планом, вносит разлад. Почему? Потому что немецкому солдату внушено веками: «Покоряйся дисциплине. И не смей думать. За тебя думает офицер!»

Тут же Виталий напомнил, как белые генералы объясняли свои неудачи тем, что большевики воюют не по правилам. Да! Большевики воевали не по правилам, а они — по всей премудрости военной науки. Но отступали войска, предводимые учеными и многоопытными генералами, а наступали полки во главе с вчерашними солдатами, студентами, прапорщиками. Весь вопрос в том, что генералы не сумели разглядеть созданных революцией новых правил, по которым только и возможно было выигрывать не только бои, но и сражения, не только сражения, но и войну.

И основным правилом было — революционному солдату строго вменялось не только подчиняться дисциплине, но и думать. Думать, думать, постоянно думать.

Об одном таком думающем бойце я рассказал своему бывшему командиру корпуса. Это вызвало у него приступ смеха.

— Однажды против басмачей Джунаид-хана выступили три наши колонны. Из-за жары передвигались лишь ночью, а враг тем не менее знал, откуда и куда двигаются красные. Выдавали нас, как потом оказалось, ишаки четвертой обозной колонны, которая стала «пятой колонной», работающей в пользу басмачей. Ишаки подымали истошный крик, едва на их спины опускали поклажу.... Позвали аксакалов. Один посоветовал давать животным особые лепешки, другой — пустить в ход палки. Не помогло ни то, ни другое. И вот однажды старший обоза третьего полка Николаенко, который попал в Среднюю Азию вместе с тысячей добровольцев — червонных казаков, лукаво усмехаясь, говорит: «А моя худоба буде сьогодні працювати мовчки!» И в самом деле. В двух полках ишаки заливаются по-прежнему на все Каракумы, а в третьем молчат. Командир велит вызвать Николаенко. Спрашивают его: «Что? Палки или лепешки?» А он: «Нет! Обыкновенные камни!» А приметил наш червонный казак — перед тем как кричать, ишак задирает хвост. Боец и привязал ко всем ишачьим хвостам камни. Так солдатская смекалка лишила Джунаид-хана его «пятой колонны»...

Примаков вытер набежавшие от смеха слезы и вспомнил одну белую газету. В ней приводилась беседа двух генералов. Один сожалел, что ловкость эсеровской террористки оказалась ниже ее смелости. А другой отвечал собеседнику: «Ну, лад-

но, не стало бы Ленина. И думаете вы, что не стало бы с ним и Совдепии? Отнюдь не бывало! В чем сила красных? Поймите — у них в каждой губернии, в каждом уезде, в каждой волости и в каждом селе, на каждом заводе и в каждом цехе есть свой Ленин. Можете вы их всех уничтожить? Нет! Значит — не уничтожим мы и Совдепии...»

Виталий сказал:

— Попадись мне этот «философ», я бы даровал ему жизнь. За то, что сумел подметить в нашей системе основное. Ведь в самом деле — в чем была наша сила? В том, что в якирской дивизии, в фedyковской, в щорсовской, чапаевской, азинской, в каждом полку, в каждом взводе были свои Якиры, Федько, Чапаевы, Азины и так далее. Ясно — Ленин был, есть и будет один. Он неповторим! Но тех, кто у него учился и, не щадя себя, бился за ленинские идеи, — у нас миллионы. И в этом наш заклятый враг прав...

Из Москвы в декабре 1934 года Примаков приехал на празднование пятидесятилетия сформирования 1-й Запорожской дивизии червонного казачества. Там, в Проскурове, из всех уголков Советского Союза собрались бойцы корпуса, и все они горячо встретили своего любимого командира. Правда, торжество омрачалось отзвуками недавнего злодейского убийства Кирова.

Третьего декабря 1934 года «Правда» посвятила торжеству в Проскурове страницу. На этой странице была напечатана статья Виталия Примакова «Путь неувядаемой славы». А в другой статье на той же странице говорилось: «Пусть молодые поколения трудящихся изучат овевянную пороховым дымом и неувядаемой славой историю дивизии».

Тогда же, в Проскурове, червонному казачеству был вручен орден Ленина.

Указ о награждении был опубликован 3 декабря 1934 года, а самого Примакова вскоре перевели на ответственный стратегический участок: он был назначен заместителем командующего Ленинградским военным округом.

Хотя потом и были долгие годы незаслуженного забвения, многие наши ветераны во всех уголках Украины и за ее пределами самые светлые годы своей жизни связывают с именем Примакова, который вел их под ленинскими знаменами от победы к победе. То были годы их дерзновенной и необыкновенной молодости, годы незабываемых исторических побед.

А теперь не только ветераны, но и молодежь все чаще вспоминает имя Примакова, его дела. Новым поколениям дорога память о человеке, который служил делу партии и клинком, и горячим ленинским словом, и талантливым пером.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ТИМУР ГАЙДАР

★

## ИЗ ГАВАНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

*(Репортаж о революции)*

### I

**Е**сли все в порядке, телефон звонит в семь утра. Это значит, что чуткие приемные и мощные передающие антенны нацелены точно, что над Атлантикой нет электромагнитных бурь, что Серафима Дмитриевна, старшая телефонистка «Правды», сделала заказ вовремя и мои коллеги, гаванские корреспонденты ТАСС, «Известий» и АПН, не перехватили связь.

Я встаю примерно в четыре. Будильник заведен, но не успевает сработать, так как раньше просыпается и легонько сжимает сердце привычная журналистская тревога: «Может, уже что-то произошло, а я не знаю». Она поселилась давно, с той апрельской ночи 1961 года, когда после двухнедельной тишины океана я впервые очутился в Гаване и, ослепленный мельканием реклам, пламенем пожара в «Эль Энканто», оглушенный ритмами пачанги и маршей, пьяный от сладковатого, густого жаркого воздуха, почти раздавленный впечатлениями, чуть было не проспал начало вторжения на Плайя-Хирон.

— Силен спать! — в сердцах крикнул тогда мне ночью в телефонную трубку корреспондент ТАСС Николай Чигирь. — Десять минут звоню. Десант!

Но обычно я сплю чутко. Наверное, это осталось от службы на подводной лодке, где люди и во сне как бы подключены к общей сети высокого нервного напряжения. Все обычные лодочные шумы — завывание вентиляторов, лязг неосторожно захлопнутой переборки, плеск воды над головой, за сталью прочного корпуса — проходят сквозь сознание, даже помогая спать, так как подсказывают, что дела идут нормально. Любой неожиданный звук срывает человека с подвесной койки.

В Гаване, проснувшись, я тоже несколько мгновений прислушиваюсь к плеску моря, к урчанию «аэрокондишен». Высокой серой громадой дом стоит на берегу Мексиканского залива. Волны бьются о цоколь. Во время декабрьских штормов окна даже на десятом этаже покрываются налетом серой морской соли. Вдоль длинных, плавно изогнутых коридоров гнутся покрашенные в один и тот же голубоватый цвет двери квартир с медными цифрами. Как корабль, дом имеет и свое имя: «Риомар».

Верхний, одиннадцатый этаж «Риомара» занимает его бывший владелец — хмурый тучный старик. Там у него на крыше устроен сад, насыпаны дорожки, брызжет фонтанчик, покачивается тонкая пальма, на верхушке которой в безветренную погоду сидит попугай.

Вниз, к людям, отставной капитан «Риомара» спускается редко. Многие из прежних пассажиров этого когда-то богатого дома — адвокаты, чиновники, коммерсанты — бежали в Майами. Судовая команда — швейцары, слесари, уборщицы — надели форму милисиано и ходят с винтовками. На балконах, как сигналь-



ные флаги, хлопает белье. По вечерам раздаются попеременно кубинские, чилийские, болгарские, мексиканские, русские песни, и, наверное, старику кажется, что буря уже давно сорвала с якорей его «Рио-Мар», закрутила и теперь гонит неведомо куда, наверно, навстречу гибели...

Из прежних жильцов я знаю сеньору Хуану, нашу соседку, худую высокую старуху с белыми буклями на синих висках. Вот уже больше двух лет с самого раннего утра сидит она на застекленном балконе и раскладывает на бамбуковом столике бесконечный пасьянс. В дни карибского кризиса сеньора Хуана просиживала за пасьянсом ночи напролет, тасовала карты, раскладывая их по столику, шептала что-то и снова тасовала дрожащими руками. Моя жена называет ее «пиковая дама» и боится заходить в комнату, из окон которой виден этот балкон.

Я отношусь к сеньоре Хуане даже с некоторой внутренней симпатией. Я знаю, что вот сейчас встану, спущусь за газетами, затем сяду за стол, а вскоре зажжется и ее окно и мы будем вдвоем в огромном, еще спящем доме каждый колдовать над своим делом.

Газеты к часу или двум ночи привозят из редакций посыльные и оставляют у дежурного милисиано. Уже по тому, как он дремлет на раскладном стуле возле большой стеклянной двери, зажав между коленями винтовку и положив подбородок на дуло, а прочитанные газеты брошены на мраморный пол, можно понять, что ничего особого не произошло.

— Буэнос диас, Пепе! Какие новости?

— Буэнос диас, Тимур! Купили в Лондоне автобусы. Пятьсот штук. Вот их блокада! — И легкое, одной только кистью, движение руки показывает, как худо, по мнению Пепе, приходится американской блокаде.

В кабинете я включаю приемник, настраиваюсь на станцию «Национальные часы». Комнату заполняет тиканье маятника и напористый голос:

— ...Четыре часа семнадцать минут. В Гавану прибыло судно «Генрих Гейне», доставившее из Германской Демократической Республики ткацкие станки... Пять агентов Центрального разведывательного управления США арестованы в Гаване. Изъяты передатчик и оружие... В Пинар-дель-Рио закончил работу провинциальный форум табакалерос... Четыре часа восемнадцать минут точно!

Подгоняемый маятником, звук которого чем ближе к рассвету, тем явственнее будет переходить для меня в барабанную дробь, торопливо листаю «Революсьон», «Ой», «Эль Мундо», огмечая карандашом самое важное.

Сегодня и вправду обычный день. Газеты пишут о второй прополке сахарного тростника, с которой, по-видимому, не ладится, о завершении переговоров в Лондоне, рецензируют премьеру в кабаре «Тропикана», хваля певицу Селестину Мендосу и ругая кордебалет, сообщают подробности о сбитом позавчера над провинцией Лас-Вильяс самолете, сбросившем две бомбы на сахарный завод «Марселио Саладо».

На этом заводе я бывал. Он стоит у берега моря, неподалеку от порта Кайберие. Там запах патоки смешан с йодистым настоем водорослей. На ограде сидят ленивые бакланы. Маленький паровозик втягивает на заводской двор вагоны с тростником. В углу двора маленькая кофейня, над стойкой которой висит чучело голубого марлина с огромным, во всю спину, плавником, похожим на раскрытый бамбуковый веер.

Паренек, орудовавший за стойкой, рассказал, что, когда заканчивается переработка сахарного тростника, многие рабочие становятся рыбаками.

— Сам я в море не хожу, — сказал он и, набравшись сил для подвига откровенности, добавил: — Укачиваюсь.

Самолет, сбросивший бомбы на завод, имел бортовой номер 8365, вылетел из аэропорта Браун во Флориде. Пилот убит. Два других члена экипажа — Сан Себастьян и Вальдес — прыгнули на парашютах, арестованы.

Отложив газеты, я раскрываю блокнот со своими заметками об этом заводе и сажусь за пишущую машинку.

...Самое большое неудобство журналистской работы на Кубе вытекает из непреложного факта вращения Земли. Иногда я думаю о своем товарище, корреспонденте «Правды» по Индонезии. Когда в Москве утро, в Джакарте день кончился. На лотках уличных торговцев зажгли тысячи тоненьких свечей и удвоились в черной воде каналов. Газеты давно вышли и прочитаны. Индонезийские государственные деятели сделали все заявления, которые сегодня пожелали сделать. А «Правду» в Москве верстать не начинали... В Гаване разница во времени имеет противоположный знак.

— Рашель, как связь?

— Пока нет, позже.

— Но, Рашель, позже будет поздно!

Нет горше чувства, если корреспонденция написана и не передана и уходят последние минуты, когда она могла бы попасть в очередной номер. Я ношу три напечатанных на машинке странички из комнаты в комнату. И то и дело хватаю телефонную трубку.

— Рашель, как Москва?

Прямая радиотелефонная связь между Москвой и Гаваной была установлена в августе 1962 года. В тот же месяц я впервые услышал Рашель.

— «Правду»? — неожиданно по-русски переспросил меня тоненький голос.— Заказ «пресса»? Не кладите, пожалуйста, трубку...— И почти сразу в мембране зашелестело пространство океана.

Я никогда не видел Рашели, но голос ее узнаю из тысячи. Она понимает, что такое газета. Когда не бывало прямой связи, Рашель ухитрялась соединять меня через Нью-Йорк, через Париж или Лондон. Она помогала связаться с редакцией по полевому телефону штаба кубинского полка, занявшего оборону на побережье, с площади Революции во время демонстрации или из разрушенной ураганом деревушки в Камагуэе. Но особенно я полюбил этот так мило коверкающий русские слова голос, когда однажды, ожидая соединения, услышал, как Рашель умоляла московскую телефонистку вызвать правление колхоза «Рассвет» в Курганской области.

— Миленьякая,— просила Рашель.— Ну ты попробуй. Он ведь так ждет. Ты попробуй...

Видно, кто-то из наших специалистов, приехавших работать на Кубу, вдруг крепко затосковал под пальмами о родном доме.

— Миленьякая,— повторяла Рашель,— ну, пожалуйста!

К восьми наступает самый спокойный час в моей гаванской жизни. Голос сорван, но корреспонденция передана. Заботы о следующей еще не мучают. Можно посидеть на балконе, дышать влажным воздухом, чуть приправленным в этот час ароматом кофе, смотреть на Гавану, на Мексиканский залив.

У размытого маревом горизонта на своем обычном месте чернеет «Оксфорд» — американский военный корабль радиоразведки. Прямо под стенами «Риомара», гарахтя, проплывает самоходная баржа, везущая песок на стройку. С зеленых улиц доносится: «Уно, дос, трес, куатро... Уно, дос, трес, куатро... Марчандо! Марчандо!» — колонны бекадос<sup>1</sup> идут на занятия. Все знакомо, привычно. Слово прожиты здесь не три года, а целая жизнь.

## II

Моя первая встреча с Кубой состоялась 11 апреля 1961 года под вечер.

— Руль лево пятнадцать! — скомандовал капитан Таренков.— Отводи!.. Одерживай!

Он нацелил нос «Лесозаводска» между крепостью и фортом, точно на середину узкого входа в гавань.

<sup>1</sup> Бека — стипендия. Бекадос на Кубе называют юношей и девушек, которые учатся в средних и высших учебных заведениях и находятся на полном обеспечении государства.

— Так держать!

Еще раз метнул глазом, прикинул расстояние до мыска. Вздохнул. Поправил на голове парадную, с белым чехлом фуражку. Потом повернулся ко мне, показал рукой на берег:

— Ну вот, Тимур...

Впервые за месяц я уловил в голосе Таренкова нотку чуть смущенной торжественности и понял, что на этот раз капитан сказал гораздо больше.

«Ну вот, видишь, — как бы сказал он, — мы и пришли. Помнишь, ночью в Эгейском море нас окружили эсминцы из американского 6-го флота, хулиганили, перерезали курс под самым форштевнем, а мы не сбавили скорость... Потом, помнишь, возле острова Лампедуза заклинило рулевую машину. Когда чинились в Гибралтаре, негодяй шипшандер еще хотел надуть боцмана на краске... В Каабланке нас задержали похороны короля... Потом этот чертов зюйд-вест дул все время в левую скулу... Но вот мы пришли. И теперь я дарю тебе это чудо. Пожалуйста...»

Зубчатое, башенное, небоскрежное чудо надвигалось все ближе в красных и синих сполохах ранних неоновых огней, разворачивалось фронтом, растекалось улицами, дробилось по кварталам, громоздилось этажами и прорывалось к сердцу первой доверчивой подробностью: вдоль океанской набережной, как на Москвереке, держа удочки «на караул», замерли любители-рыболовы. На их жестяных банках с наживкой, расставленных по гранитному парапету, золотым пунктиром горело заходящее солнце.

«Лесозаводск» бесшумно скользил по алой воде гавани. Неподалеку катились бесшумные разноцветные автомобили. Бесшумная пестрая толпа текла по скованному мрамором бульвару. Возле бронзового всадника крутилась бесшумная карусель. Две девушки в белом помахали нам рукой.

Было так тихо, что захотелось, как в детстве в кино, крикнуть: «Звук!» Потом город целиком заслонили бетонные склады порта. Та-та-та-та... — выключила тишину рванувшаяся сквозь клюз якоря цепь.

— Приехали!

...Так как Евгений Таренков — торговый, а не пассажирский капитан, он не догадался сообщить радиограммой в агентство «Мамбиси»<sup>1</sup> о том, что на сухогрузе «Лесозаводск» есть пассажир. Представитель «Мамбиси» не пригласил с собой на судно иммиграционные власти. Без иммиграционных властей пассажир не может сойти на берег. Так возникло первое осложнение. Впрочем, может, виноват я сам.

Толстый, добродушный, потный представитель «Мамбиси» сразу оценил обстановку и нашел было выход.

— Дипломатико! — провозгласил он, возвращая мне паспорт. Он даже не спрашивал, а просто констатировал факт.

Но я развел руками.

— Нет, журналист.

Агент «Мамбиси» огорчился. Посерьезнел. Затем произнес речь. Из речи явствовало, что он всей душой хотел бы помочь сеньору журналисту, даже лучше сказать товарищу журналисту, так как товарищ из Москвы и, значит, амиго<sup>2</sup> и эрмано<sup>3</sup>. Однако в складывающейся ситуации он, к глубочайшему сожалению, сделать что-либо бессилен. Закон есть закон. А революционная законность даже больше, чем просто законность. Но завтра... Завтра все будет в порядке. Для этого он заберет мой паспорт. Завтра с паспортом на судно придут иммиграционные власти. До тех пор компаньеро журналисту как пассажиру сойти на берег невозможно. Он очень, очень сожалеет, но надеется, что компаньеро журналист его поймет...

<sup>1</sup> Именем повстанцев времен войны с Испанией за независимость (мамби) называется на Кубе морское агентство, ведающее погрузкой и разгрузкой судов.

<sup>2</sup> Друг (*испан.*).

<sup>3</sup> Брат (*испан.*).

Конечно, я крепко огорчился. В самом деле, когда до кубинской земли осталось только двадцать пять ступенек вниз по судовому трапу, легко ли ждать следующего дня? Но законность действительно есть законность. Тут уж ничего не поделаешь!

Возле трапа, прощаясь, агент похлопал меня по спине и сказал, что если я хочу, то вполне могу сойти на берег хоть сейчас, но не как пассажир, а как член экипажа.

...После океанского перехода, после зыбкой, убегающей палубы черная брусчатка портовой улицы упруго жмет на подошвы. Воздух пропитан непривычными запахами, наполнен смехом, обрывками торопливой речи, мелодиями бесчисленных баров и кофеен. На перекрестках мальчишки-повара жарят в кипящем масле рыбу и бананы. Жаровни поставлены на колеса.

Видимо, сегодня какой-то праздник. Улыбающиеся лица. Смеющиеся лица. Люди проходят, напевая. На тротуаре десятка два человек встали в круг. Высокий, нескладный, угловатый парень танцует с маленькой негрityнкой. Она в белой юбке и красной кофточке. Танцуют самозабвенно, как бы плавая в музыке.

Музыку обеспечивает человек-оркестр. Он дует в привязанную к груди трубу, растягивает меха аккордеона, нажимает ногой на педаль, бум! бум! — ударяет палка по барабану.

Парень закрыл глаза, согнул руки, прижал локти к бедрам, загребает воздух пригоршнями. На узкой юбке его партнерши извивается застежка «молния».

— Ола! — подбадривают зрители, хлопая в ладоши. — Асукар!<sup>1</sup>

По улице шествует патруль милисиано, одаривая встречных девушек улыбками и комплиментами.

Очень много красивых девушек и женщин. Цвет кожи матово-белый, чуть смугловатый, смуглый, коричневый. Прически сложны и законченны. Одеты или в затянутые, с большим вырезом платья, или в форму: зеленые брюки, голубые с погончиками рубашки и на широком брезентовом простроченном поясе в открытой кобуре — пистолет.

У табачного киоска девушка с испанской прической (волосы взбиты, отлакированы, на виски спущено по черному локону, похожему на большую запяную) покупает сигареты. Достала из сумочки пудреницу, маленький пистолет, кошелек. Расплатилась. Пистолет, кошелек, сигареты сунула обратно; отступив от прилавка, пудрится.

Мужчины с оружием встречаются еще чаще. Пистолеты, бельгийские и чешские автоматы, старые американские винтовки. Автоматы и винтовки несут или на ремне, или положив на плечо, или зажав под мышкой. Прислоняют к стене, к столику, вешают на спинку стула.

Возле подъездов и на перекрестках — баррикады из мешков с песком. Над ними торчат дульца пулеметов.

Первая кубинская сигарета. На губах сладковатый привкус — бумага пропитана сахаром. Черный табак убийственной крепости. Называются «аграриас» — по-видимому, «сельскохозяйственные».

Первый глоток кубинского ледяного пива. Владелец бара «Новый Генри» говорит по-английски. Он наливает пиво в высокие стаканы, на которых написано что-то синими буквами. Прошу перевести надпись.

«Потреблять то, что производит страна, значит служить родине», — торжественно переводит «новый» Генри.

Множество кубинских флагов. Они повсюду: свешиваются с окон домов, стоят в вазочке на столике бара, плещутся на фонарях.

Старик в соломенной шляпе, к которой тоже прикреплен маленький бумажный флажок, продает с возка ананасы. Острым ножом быстро стесывает колючую кожуру. Ананасы едят тут же, не разрезая, держа за хвост, как бомбу.

Когда спит Гавана? Уже третий час ночи. Красные неоновые надписи обжи-

<sup>1</sup> Сахарок! (Испан.)

гают узкую улицу. Некоторые на английском: «Открыто круглые сутки», «День и ночь», «Беспокойте всегда!» У стойки на высоких табуретках степенно ужинает семья: муж, жена, восьмилетняя дочка и пожилая сеньора, вероятно теща. Значит, Гавана, как все крупные города между тропиками Рака и Козерога, тоже страдает бессонницей.

Загляделся, задумался и вдруг почувствовал: что-то происходит с моим левым ботинком. Белозубый, глазастый чертенок уже намазал его ваксой. Подмигнув, весело орудует щетками.

И вот в носках ботинок отражаются, играют разноцветные огни. Отвыкшие от ходьбы ноги уже подкашиваются от усталости. Но все равно вперед! Ведь там, наверное, самое интересное...

Теперь я с улыбочкой вспоминаю ту первую, наугад, прогулку по ночной Гаване. Я не знал города. Еще не знал испанского языка. Был тороплив в выводах.

«Трансито» — старательно переписывал я в блокнот название приглянувшейся улицы. «Абстракционизм» — отмечал про себя, увидев на бетонном постаменте в сквере мрачную грудку причудливо изогнутого железа.

Где мне было тогда знать, что жестяная табличка на углу дома со словом «трансито» указывает машинам направление движения, а освещенное прожекторами бесформенное железо на постаменте — кусок «Ле Кувр», бельгийского судна, доставившего в марте 1960 года на Кубу боеприпасы и подорванного контрреволюционерами в гаванском порту. Да и прошел-то я, как теперь понимаю, не так уж много. От порта по набережной, потом по улице Обиспо до Капитолия, а затем, поплутав, через Кампанеллу опять к порту.

И все же как хорошо, когда, приехав в страну, ты можешь не толкаться у таможни, не волочить чемоданы, не устраиваться в гостинице, не разговаривать с кем-то из встретивших, чтоб «войти в обстановку», а просто так, разом, налегке шагнуть в неведомый мир.

Я заснул под утро в каюте, очень благодарный агенту «Мамбиси». Но, засыпая, я не знал, что теперь мне долго не удастся вот так, без цели, побродить по Гаване, потому что уже на следующий день налетят, закрутят события.

### III

Магазин «Эль Энканто» загорелся 13 апреля в 8 часов вечера. В 6.30 ушли последние покупатели. К 7.30, приведя в порядок товары своих секций, покинули магазин полторы тысячи продавцов. Остались дежурные милисиано.

В восемь часов чья-то рука швырнула кристаллический фосфор в центральную систему охлаждения воздуха. Рванувшись по широким трубам, соединяющим все помещения, огонь разом охватил десять этажей магазина.

Сдавленный молчаливой, угрюмой толпой, которую теснили цепи полицейских и милисиано, я смотрел на бушующее пламя. Огненный столб, метавшийся над улицей, был так ярок, что на небе снова погасли первые вечерние звезды. В раскаленном воздухе, подхваченные вихрем, кружили разноцветные нейлоновые тряпки. Превратившись в хлопья черной сажи, они медленно оседали на головы. За спиной пронзительно выли сирены патрульных машин. От гари першило в горле.

— О-о-ох! — толпа разом вздохнула, дрогнула, подалась.

Это рухнула боковая стена, обнажив железный скелет здания. Стало видно, как на третьем этаже в элегантных позах пылают манекены.

Я разыскал глазами в толпе Ислу и, с трудом высвободив руку, помаhal ему:

— Пошли!

Мы пробились к машине.

— Выродки! — сказал Исла, садясь за руль. — Здесь товаров на миллионы. Куда едем?

— В «Нотисиас де Ой».

Исла — мой первый кубинский приятель и помощник. Я сел в его машину вчера утром на стоянке возле бара «Майами» на Прадо<sup>1</sup>, и теперь мы почти не расстаемся.

У Ислы рыжие прокуренные усы, серые глаза кажутся особенно светлыми на загорелом лице, и вообще он очень похож на донского казака. Исла отлично знает Гавану, водит машину как бог, говорит по-английски, что пока для меня крайне важно, и он всей душой за революцию.

— Исла, но ведь раньше вы, вероятно, зарабатывали больше? Было много американских туристов.

— Ну и что? У меня седая голова. Мне надоело возить пьяных янки к проституткам и каждую ночь отмывать в машине заднее сиденье. У меня три дочери. Понятно?

С помощью Ислы я уже сделал немало. Был в посольстве, в банке, на телеграфе, в конторе «Мамбиси». Перевез чемодан и пишущую машинку с судна в большую пустую квартиру одного из наших дипломатов, уехавшего в отпуск.

Днем передал корреспонденцию о том, как на Кубе встретили сообщение о космическом полете Юрия Гагарина. Теперь нужно передать вторую.

Наш рыжий «додж» стрелой мчится по Малекону<sup>2</sup>. На щитке покачивается фигурка богородицы, осененная кубинским и советским флажками.

Темп кубинской жизни уже владеет мной и вносит коррективы в мои планы.

В Москве в редакции я договорился, что из Гаваны информацию и оперативные корреспонденции посылать не буду. Вместо этого поезжу по стране, побываю на заводах, в деревне, присмотрюсь. В блокноте отмечены темы: «Сельхозкооперативы и народные имена», «Управление промышленностью», «Кадры»...

Но сейчас понимаю, что на первое место выдвигается другое.

Еще по дороге на Кубу, в Гибралтаре, ко мне на причале подошел пожилой человек в синей с закатанными рукавами рубашке и заговорил по-русски:

— Вы советский?

— Советский.

— Я испанец. Вы с «Мира»? — Он кивнул на рейд, где стоял огромный советский танкер.

— Нет, с «Лесозаводска».

— Жалко.

— Почему?

Он помолчал. Я повторил вопрос.

— Понимаете, у нас о Кубе пишут мало. И вдруг. А «Мир» был в Гаване. Интересно узнать... — Затягиваясь сигаретой, он выкладывал вопросы: — Как организована на Кубе борьба с контрреволюционным подпольем? Расстреливают ли диверсантов? Хорошо ли охраняются правительственные учреждения? — Он расстегнул воротник и показал шрам возле шеи — маленькая розовая ямка. — Сквозное. Мы штурмовали крепость Алькасар в Толедо. «Пятая колонна» стреляла с чердаков в спины. Учитывают ли на Кубе опыт гражданской войны в Испании?

Он оборвал разговор и ушел, не прощаясь, как только заметил на дальнем конце причала фигуру таможенника.

В Гаване вопросы испанца стали и моими вопросами.

Первые наблюдения сбивчивы и противоречивы.

В доме, где я поселился, сегодня красили кабины лифтов. Идет война надписей. «Подождите, красные негодяи. Мы перережем вам глотки», — пишет кто-то на стене кабины, взлетая к тридцать пятому этажу. Ему отвечают: «Сидите мирно, червяки. Раздавим». Или решительнее: «Всех сикитриальдос<sup>3</sup> — к стенке!»

<sup>1</sup> Бульвар в центре старой Гаваны.

<sup>2</sup> Набережная в Гаване.

<sup>3</sup> С и к и т р и а л ь д о с — буквально «люди со сломанным позвоночником». Так на Кубе называют тех, кого революция лишила прежних богатств и привилегий.

Мне сказали, что за последний месяц кабины красили четыре раза.

Вчера, прежде чем войти на выставку трофеев, захваченных при разгроме контрреволюционных банд в горах Эскамбрай, я вывернул перед охраной карманы брюк, развинтил авторучку и сдал спички на хранение. На почтамте пришлось проделать то же самое. Это меня порадовало.

Но сегодня в «Мамбиси» я прошел мимо поста — двое милисиано мирно беседовали — и очутился в большом зале, заставленном металлической канцелярской мебелью американской фирмы «Голл-стилл». Усовершенствованные кресла бережно сохранили позы отсутствующих служащих: повернулись к телефонам, откинулись, склонились к столам. На столах лежали груды бумаг: радиограммы о прибытии судов, списки грузов, графики... И ни души!

Внизу часовой в ответ на мою жестикуляцию постучал ногтем по циферблату ручных часов и, открыв рот, три раза ткнул в него указательным пальцем: обед! Сочувственно мне улыбнувшись, он повернулся к товарищу и продолжал беседу.

Нет, ничего определенного не мог бы я еще сказать тому испанцу в Гибралтаре.

...Заскрежетав тормозами (так внушительно скрежещут тормоза только американских машин), «додж» встал у зеленых, покрашенных масляной краской колонн старого дома.

Из-за колонны шагнул негр, повел дулом автомата. За его спиной возникли еще двое.

— Советико,— хмуро глядя на автоматы, сказал Исла.— Моску. «Прауда».

И сразу я в кольце. Еще не различая лица, только улыбки, жму чьи-то протянутые руки, обнимаюсь, кто-то хлопает меня по спине так, что гудят лопатки, и я хлопаю гоже.

— Бьенвенидо!<sup>1</sup>

— Те густа Куба?<sup>2</sup>

— Ту каса, компаньеро!<sup>3</sup>

Теснясь, обнимаясь, толкаясь, гурьбой протискиваемся через коридор в просторную комнату, разделенную низкими перегородками на загончики-кабинеты. Строчат телетайпы, свистит радио, стучат пишущие машинки. Дымно. Шумно. Весело.

Я в первый раз в редакции газеты кубинской Народно-социалистической партии «Нотисиас де Ой».

Улыбающийся парень в форме, отутюженной так, что она кажется скроенной из жести, протягивает бумажный фунтик, наливает в него глоток густого, как ликер, кофе, и я еще не знаю, что мы станем друзьями, что буду плясать у него на свадьбе, а потом по кубинскому обычаю подарю его новорожденной дочке серьги — две золотые капельки. Не знаю, что с другим, вот тем худощавым, нахмуренным, мы будем лежать на обочине шоссе под бомбежкой, а одного из присутствующих убьют бандиты, когда он поедет с кинопередвижкой в матансасскую деревню. Что вот с теми ребятами мы не раз будем бродить по ночной Гаване и спорить о моральном факторе и материальной заинтересованности, о культуре личности, о нэпе, о том, что такое социализм.

Мы еще ничего не знаем друг о друге. Просто рады встрече, рады тому, что — революция!

...К двери редакторского кабинета приколот листок: «Прошу моих родственников и знакомых по вопросам, связанным с лицами, арестованными органами «Х-2»<sup>4</sup>, не обращаться. Разговаривайте с прокуратурой. Телефон М 2-00-41. Карлос».

Карлос Рафаэль Родригес то сидит за столом, то вскакивает, делает несколь-

<sup>1</sup> Добро пожаловать! (Испан.)

<sup>2</sup> Нравится Куба? (Испан.)

<sup>3</sup> Это твой дом, товарищ! (Испан.)

<sup>4</sup> Органы по борьбе с контрреволюцией.

ко шагов и снова возвращается в кресло. Он маленького роста, плотно сбитый, большелобый, в завершенности сдержанных жестов проглядывает пороховая энергия. Глаза поблескивают хитрецей.

Заглаживая кверху и покусывая кончик аккуратной седоватой бородки, сжато рисует обстановку.

Революция развивается успешно. Сейчас национализировано примерно семьдесят процентов промышленных предприятий, все банки, половина земель. На этих землях организуются «гранхас дель позбло» — совхозы и «кооперативас» — сельхозкооперативы, в которые объединяются аграрные рабочие — опора революции в деревне. Кроме того, в стране сто двадцать тысяч мелких крестьянских хозяйств. Крестьяне тоже за революцию. Неустойчивый, а иногда контрреволюционный элемент — пятнадцать тысяч хозяев, владеющих от семидесяти до четырехсот гектаров земли каждый.

Экономическая блокада США дает себя знать. Трудно с запчастями, с сырьем для ряда отраслей промышленности, с некоторыми видами продовольствия. Возможно, в ближайшее время придется ввести карточки на жиры и мыло.

Контрреволюционное подполье активизировалось. 3 апреля взорвана бомба на фабрике «Кока-кола» в Гаване, 5 апреля подожжен склад готовой продукции на сахарном заводе «Камило Сьенфуэгос». 8 апреля совершена попытка подорвать столичный водопровод. Сегодня пожар в «Эль Энканто»...

Органы «Х-2» ведут борьбу. Не хватает людей, опыта. Начали хорошо помогать комитеты защиты революции. Они созданы на предприятиях, в гранхах, в каждом городском квартале.

Активность контрреволюции не случайна. Фидель считает, что в ближайшее время нужно ожидать вторжения.

— Вот обратите внимание, — говорит Карлос Рафаэль, протягивая номер «Майами геральд»<sup>1</sup>. На первой полосе карандашом очерчена маленькая заметка:

«Тридцать пять пилотов, принадлежащих к различным антикастровским организациям, в том числе батистовцы, в воскресенье утром покинули Майами и направились в тренировочный лагерь, расположенный, вероятно, в Центральной Америке. Согласно сообщению друзей и родственников, они переоделись в штатское, оставили документы и другие знаки идентификации...»

#### IV

Бомбардировщики появились над Гаваной 15 апреля на рассвете. Потом мне рассказали, что шли они низко над морем с запада, строем уступа.

Как большинство гаванцев, я проснулся, когда уже начали рваться бомбы. Подбежал к окну. Город был розовым, сонным. Длинные цепочки оставленных на ночь машин обрамляли улицы. По ближней, 17-й, еле-еле ползла крошечная повозка. Вдали зеленели парки Мирамара<sup>2</sup>.

Над Мирамаром роились самолеты. Они кружили, падали, скрываясь за домами, и снова взмывали в голубизну.

Синие гнутые спицы пулеметных трасс тянулись от земли, старались дотронуться до самолетов. Те увертывались. И это бойкое мельтешение в ясном небе над рассветным городом можно было принять за игру. Если б здесь, в квартире, не звенели оконные стекла.

Они звенели все тоньше. К отдаленным отрывистым взрывам прибавлялись гулкие, раскатистые. Над Мирамаром поплыл черный дым. По-видимому, там рвались боеприпасы...

Исла позвонил через тридцать минут после налета.

— Я вам нужен?

— Сможем проехать в Мирамар?

<sup>1</sup> Американская газета, выходящая в Майами (Флорида).

<sup>2</sup> Западный район Гаваны.



— Конечно. Они бомбили аэродром. Это рядом.

Однако до аэродрома мы добрались не скоро. Рыжее такси не вызывало доверия у милисиано. Мой паспорт по-прежнему оставался в «Мамбиси». Журналистского удостоверения в кубинском МИДе я еще не успел получить. Только яркие речи, которые произносил Исла, размыкали перед нами цепь за цепью. Но на это уходило время.

Когда наконец последний часовой, поговорив по телефону, опустил перед машиной стальной канат и мы через бетонную арку въехали на аэродром, боеприпасы уже не рвались и пожары были потушены.

Меня провели к капитану Антонио Берри. Он находился на первом этаже разрушенного здания штаба. Провод полевого телефона с его стола тянулся через выбитое окно. Девушка в армейской форме мела по каменному полу осколки стекол. Капитан кивнул ей, она вышла и вернулась с маленьким кофейником.

— Налет произведен на три аэродрома, — сказал капитан. — Здесь, в Гаване, в Сан-Антонио-де-Лос-Баньос и в Сантьяго. Цель: вывести из строя наши ВВС. — Он говорил очень громко. — Вот перехваченные радиogramмы. На обратном пути пилоты докладывали: «В Сан-Антонио уничтожено пять самолетов... Сантьяго — восемь .. Гавана — четыре...»

— Врут! Но потери есть...

Мы вышли наружу. Возле стены перебитая пальма уткнулась в асфальт зеленой метелкой. На стволе запеклись пягнышки крови. По взлетной дорожке тракторы волочили остовы грузовиков. Обгоревшие шины оставляли на бетоне черные полосы. Слева торчало крыло опрокинутого самолета.

Капитан показал на приставленную к стене штаба лестницу и первым полез к круглой брешу с колючей бахромой разорванной арматуры.

— Ракета, — пояснил он. — Летят горизонтально. При встрече с препятствием взрываются.

Через пролом мы проникли на второй этаж. В воздухе висела белая пыль, косо прочеркнутая солнечными лучами. Перегородки между комнатами были раздавлены. На полу — сорванная с петель, пробитая осколком фанерная дверь.

— Вот, — сказал капитан. — Здесь погиб Дельгадо.

Потом я видел эту дверь на демонстрации. Она стояла в музее. Завернутая в холст, запаянная в цинк, летала на «ТУ-114» в Советский Союз, и специалисты Эрмитажа придумывали, как лучше сохранить ее для потомства.

Но сейчас она лежала на полу, засыпанная известью, битым стеклом, штукатуркой. По белой масляной краске крупно пальцем, смоченным кровью, было написано «Фидель» — последнее, на что перед смертью хватило сил у курсанта Эдуардо Гарсия Дельгадо.

— Семь убитых, около сорока раненых, — сказал капитан.

С аэродрома я поехал в редакцию «Нотисиас де Ой», и сделал правильно, потому что туда стекались все новости.

В редакции мне рассказали, что бомбардировщики остатками боезапаса обстреляли на обратном пути пляж в Мирамаре. Там тоже есть жертвы.

Один из сотрудников, связавшись по телефону с госпиталем, диктовал машинистке имена:

— ...Мария Герра, девятнадцать лет... Евгения Эскивель, двадцать один год... Мерседес Реносо, девятнадцать лет... Сильвио Эрнандес, четырнадцать лет...

Молодежь... Конечно, кто еще купается на рассвете?

Пепе Солис из экономического отдела газеты, вняв моим просьбам, коротко переводил текст коммюнике Фиделя Кастро, которое передало Пренса Латина:

— ...Бомбардировщики «Б-26»... Неожиданное и коварное нападение... Кубинская делегация в ООН получила инструкцию обвинить правительство США... Отдан приказ о мобилизации Повстанческой армии. Кубинский народ будет широко информироваться...

Текст отобрали и унесли в наборный цех.

Фотограф положил на стол первые снимки: дом на 80-й улице, развороченный

ракетой; крупнохвостовое оперение бомбы со словами: «Сделано в США»; малыш, окруженный людьми, с недоумением смотрит на свою перебинтованную ногу...

Люди по редакции ходили хмурые. Сегодня большинство было в форме. Один засмеялся, все разом обернулись в его сторону. Пристроившись за чьим-то столом, я дописывал корреспонденцию в «Правду», когда Пепе Солис сам позвал меня к телетайпам.

— Какого черта! Посмотрите, что они передают!

Телетайп Юнайтед Пресс отстукивал из Нью-Йорка на английском: «Майами. 15 апреля. Срочно. Кубинские пилоты, дезертировавшие из ВВС Фиделя Кастро на бомбардировщиках, приземлились во Флориде, после того как пролетели над кубинскими военными сооружениями... Летчик с усами заявил иммиграционным властям США...» Желтая бумажная лента короткими толчками ползла из аппарата.

«Летчик с усами» заявлял потрясающие вещи. Никакого налета не было. Он и его приятели только что на своих самолетах бежали с Кубы. Перед тем как улететь, обстреляли на земле машину лейтенанта Альваро Гало, выдавшего планы их бегства начальнику службы госбезопасности Рамиро Вальдесу. У «летчика с усами» не хватило бензина, поэтому он приземлился во Флориде. Остальные должны собраться в другом месте...

Короткая пауза. Телетайп задумчиво жужжит. Затем железные молоточки снова начинают яростно колотить по бумаге:

«Нью-Йорк. 15 апреля. Один из руководителей кубинской эмиграции, Миро Кардона, заявил, что сегодня офицерами военно-воздушных сил Кубы совершен героический подвиг во имя свободы. Прежде чем улететь на своих самолетах с Кубы, они постарались уничтожить возможно большее число военных самолетов Кастро. В то время как Кастро и его сторонники пытаются убедить мир, что Кубе угрожает вторжение извне, этот подвиг осуществлен кубинцами, проживающими на Кубе. По причинам безопасности подробности не будут опубликованы...»

Телетайп разошелся. Теперь он работает безостановочно. Спиной чувствую, как сгрудились вокруг аппарата люди.

«Нью-Йорк. 15 апреля. ООН. Делегат США Эдлай Стивенсон сказал, что, по сведениям американского правительства, бомбардировка произведена самолетами военно-воздушных сил Кастро, взлетевшими с кастровских аэродромов...»

Фарс может быть жалок. Смешон. Забавен. Разыгранный над кровью и трупами, он страшен.

У Пепе Солиса дрогнули губы:

— Что они врут, сволочи!

...Уже через несколько дней не только мы, те, кто находился на Кубе, весь мир узнает, что это ложь, что никто не дезертировал, что самолеты, принадлежавшие США и пилотируемые нанятыми ими пилотами, вылетели из Никарагуа и после бомбежки вернулись туда же, что «летчик с усами» даже не участвовал в налете, а его машину еще на аэродроме в Никарагуа картинно прошли по хвосту автоматной очередью и послали в Майами к журналистам, забыв расчехлить пулеметы. Через несколько дней мир узнает это точно, но сейчас телеграммы Юнайтед Пресс летят во все редакции — в Лондон и Токио, в Калькутту и Барселону, в Ла-Пас и Амстердам, в Каир, Гуаякиль, Париж, Оттаву... Их торопливо прочитывают, подчеркивают заглавные буквы, надписывают заголовки, посылают в набор. Их вручают директорам радиостанций. Кладут на столики перед комментаторами телевидения...

Пепе Солис, бледный, с ненавистью смотрит на ползущую из телетайпа желтую, в полосах черных строк бумажную ленту, как на змею, и, не выдержав, рвет ее с аппарата. Но она снова толчками лезет из узкой стеклянной щели.

Подошел заместитель редактора Вальдес Виво.

— Нужен материал из госпиталя. Триста строк. Разговор с врачами. Если можно — с ранеными. Кто поедет?

...Ночью я сидел в баре «Эль Роко» на набережной неподалеку от дома,

в котором поселился. В подвальчике было темно. Два официанта, светя карманными электрическими фонарями, носили к столикам ром, кока-колу и кастрюльки с искристыми кубиками льда. Иногда луч неосторожно выхватывал из темноты целующуюся парочку.

Нет, в Гаване не было объявлено затемнение. Просто в полутьме удобнее, интимней. Здесь такие бары называют «куэвас» — пещеры.

Сидя за стойкой, я наслаждался холодом, тишиной и одиночеством. Я зашел сюда с митинга.

— Мы не принимаем заказов по-английски. Мы не понимаем по-английски, — сказал парень в белой курточке, глядя на меня в упор злыми, царапающими глазами. Произношение у него действительно было скверное. Но английский он знал и даже не скрывал этого.

— Ладно, — сказал я по-русски. — Все равно дай чего-нибудь поесть и выпить. А то, пока выучу испанский, я ноги протяну.

— Уот? — Парень изумленно вскинул брови. Потом просиял, ткнул меня пальцем в галстук: — Чеко!

— Чех, — покорно согласился я. — Только дай что-нибудь бога ради...

Я чувствовал себя чертовски усталым.

Теперь я знал, что такое кубинский митинг.

Люди сначала идут молча. Кто-то запеваёт, кто-то начинает скандировать и смолкает без поддержки, заглушенный шарканьем ног, побежденный ритмом безмолвного движения.

Людей становится больше. Они сходят с тротуаров, заполняют узкие улицы. На перекрестках, если затормозилось движение, в те минуты, когда у нас играют в «тычок» или пляшут русского, здесь появляется оратор-доброволец. Он залезает на решетку, на каменный столбик, а то и на крышу машины и говорит, яростно жестикулируя, пока колонна не двинется дальше. Его тоже слушают молча.

Настроение меняется разом, когда на широкой улице или на площади несколько потоков сливается вместе. Превышение некоей «критической массы» рождает взрыв. Теперь сразу подхвачена любая песня. Стихотворный лозунг, брошенный одним, повторяют тысячи, и он удаляющимся раскатом летит к дальним переулкам.

За пять дней я еще не разобрался толком, как по-испански «спасибо» и «пожалуйста», путаю, но уже твердо знаю «Пим-пом фуэра, абахо Кайманера»<sup>1</sup>, «Патриа о муэрте», «Венсеремос»<sup>2</sup>.

Я сижу в темном баре, руку холодит стакан, а перед глазами лица, лица, лица... Мальчишки в форме, размахивая автоматами, заворачивают автобусы и машины. Такие же мальчишки без формы и автоматов карабкаются на фонари. Трибуна на верхней площадке гранитной лестницы перед рядом гробов, покрытых кубинскими флагами. Ораторы, поднимающие флаги Бразилии, Чили, Перу. Мексика...

Высокий бледный человек в темном костюме шагнул под лучами прожекторов к микрофону и развернул флаг США.

Людское море отозвалось свистом, криками, гуденьем. Человек закусил губу. Я видел, как напряглись скулы и побелели пальцы на коричневом древке знамени. Он поднял руку.

— Я рабочий. Из Соединенных Штатов. Я приехал, чтоб защищать кубинскую революцию. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ему аплодировали. Сдержанно.

Митинг начался в восемь и закончился во втором часу ночи. Ждали Фиделя. Он не приехал. По рядам шепотом передавали, что Фидель в войсках.

...Паренек в белой курточке забрал у меня пустой стакан и поставил другой.

— Это покрепче, — сказал он. — Пей, чеко!

<sup>1</sup> К а й м а н е р а — американская база на Кубе в Гуантанамо. «фуэра», «абахо» — ион, долой. А «пим-пом» — это для ритма.

<sup>2</sup> «Родина или смерть», «Мы победим» (испан.).

## V

В те дни меня не раз принимали за чеха.

— Раньше было просто,— сказал однажды Исла, разглядывая людей в холле отеля «Ривьера».— Раньше заметил иностранца — распахивай дверцу: «Такси, сэр?.. Да, у нас в Гаване жарко, сэр... О да, я знаю одно местечко, сэр... Вполне прилично, сэр!.. Слушаюсь, сэр!.. Нет, я не бывал в Нью-Йорке, сэр...» Американец! А теперь...

В нарядном холле бурлила разноязыкая толпа: французы, чехи, итальянцы, поляки, немцы, югославы...

— На днях я абиссинца возил,— сказал Исла.— Подумать только!

Он был горд.

За чеха меня принимали отчасти потому, что для кубинцев «Правда» легко превращалась в Прагу, а главное — советских людей в апреле 1961 года на Кубе было еще немного. Дипломатические отношения между нашими странами, разорванные после того, как Батиста захватил власть, были официально восстановлены 7 мая 1960 года. Советское посольство прибыло в Гавану позже, в августе.

Одним из первых приехал работать на Кубу корреспондент ТАСС Николай Чигирь. Теперь он чувствовал себя здесь старожилом. Чигирь встретил меня приветливо, помог поселиться в квартире своего товарища в том же доме, где жил сам, познакомил с несколькими кубинцами. Но, говоря по правде, за всем этим у него нет-нет да и проскальзывала не то затаенная ревность, не то озабоченность: вот приехал человек, ничего здесь не знает, напишет, напутает, разбейся потом...

Позже, когда я уже сам долго проработал на Кубе и в Гавану на короткий срок приезжали другие наши журналисты, подобное чувство возникало и у меня. Но тогда я этого еще не понимал и злился.

На следующий день после бомбежки я сидел в квартире Чигиря. Мы смотрели по телевизору, как от университета к кладбищу Колумб двигалась траурная процессия. За черными машинами шли родные погибших и все правительство. Неровным разомкнутым строем двигались подразделения Повстанческой армии. Толпы людей с цветами и знаменами стояли вдоль 23-й улицы — главной улицы Гаваны.

Возле серых каменных ворот процессия остановилась, и Фидель Кастро поднялся на трибуну.

Чигирь положил на стол запасную ручку.

— Учти,— сказал он,— ничего вслух переводить не буду. Некогда.

Потом я слушал Фиделя Кастро множество раз при самых различных обстоятельствах. Но, наверное, потому, что в этот первый я не понимал ни слова и все внимание было сосредоточено не на том, что он говорит, а как говорит, в память особенно отчетливо врезались детали: жест, ритм, пауза, интонация, выражение лица.

Он долго не начинает. Смолкли аплодисменты, крики, наступила тишина. Фидель Кастро выравнивает головки склонившихся к нему микрофонов, гладит их никелированные гнутые шейки, снова и снова поправляет их ранжировку.

Первые фразы неторопливы. Слова одно за другим по отдельности летят над площадью. Крещенные паузы подчеркивают значимость сказанного, призывают к размышлению. Но вот слушатели взяты, схвачены, никто не отстал. И тогда речь, как поезд под уклон, набирает ход. Фразы короче. Правая рука начинает рубить воздух. Ритмические повторы чаще, чаще, чаще... Пока в сотни тысяч ладоней не грохнет овация.

Поводя плечами и хмурясь, Фидель Кастро поправляет микрофоны, держит паузу...

Только часа через полтора я поймал себя на том, что слушаю с острым интересом, ничего не понимая. Я смотрел на сдвинутые брови Фиделя, на то, как ули-

цы оцетиниваются поднятым над головой оружием, и не понимал еще, что эта речь открывает новую страницу в истории, начавшейся почти десять лет назад.

...Первого марта 1952 года популярный гаванский журнал «Боемия» провел опрос общественного мнения по поводу президентских выборов, назначенных на июнь. Опрос показал, что из трех кандидатов самые малые шансы на избрание имеет отставной генерал Фульхенсио Батиста.

В ночь на десятое марта из финки (так на Кубе называются небольшие поместья) Кукине, неподалеку от Гаваны, выехало несколько автомобилей. Во второй машине находился невысокий скуластый человек с чуть раскосыми глазами, одетый по-спортивно: на белую с распахнутым воротом рубашку была накинута светлая габардиновая куртка. На поясе висел пистолет 38-го калибра.

По узким улицам предместья машины подъехали к посту № 6 крепости Колумбия. Часовой поднял винтовку. Но к нему уже бежал дежурный офицер капитан Сого.

— Пропустить! Немедленно пропустить! Дорогу генералу Батисте!

Через несколько минут в крепости прозвучал сигнал общего сбора. Заспанные солдаты строились на плацу. Взревели моторы танков. Маленький человек в габардиновой куртке взобрался на сиденье «джипа», поднял руку.

— Солдаты! — сказал он. — Вы — мои дети...

В Латинской Америке произошел очередной военный переворот.

А несколько недель спустя в гаванском суде рассматривалось необычное дело. Молодой адвокат настаивал на привлечении гражданина Фульхенсио Батисты к уголовной ответственности за совершение государственного переворота, что по кодексу Общественной защиты предусматривало суммарное наказание в шестьдесят четыре года тюремного заключения.

Он заявил:

— Логика подсказывает мне, что, если существует суд, Батиста должен понести наказание. И если Батиста не наказан, а продолжает оставаться хозяином государства, президентом, премьер-министром, сенатором, генералом, военным и гражданским начальником, исполнительной властью и законодательной властью, владельцем жизней и состояний, значит, правосудия не существует... Если же это так, заявите об этом сразу, повесьте ваши мантии, подайте в отставку, — потребовал адвокат от судей.

Судьи в отставку не подали и адвокату в иске отказали. Тогда адвокат повесил мантию сам. Это был Фидель Кастро.

Ему тогда исполнилось двадцать пять лет. Он происходил из богатой семьи испанского эмигранта Анхеля Кастро, владевшей в провинции Ориенте обширными плантациями сахарного тростника. Два года назад окончил Гаванский университет. Занимался адвокатской практикой. Примыкал к левому крылу партии «Ортодоксов» и должен был баллотироваться от этой партии в конгресс на выборах, которые так и не состоялись.

Теперь всю свою энергию Фидель Кастро бросил на подготовку вооруженной борьбы с Батистой. Это была необычайная энергия.

Фидель подбирал людей. Главным образом молодежь из прогрессивной интеллигенции. Подбирал только лично. Только сам. Строго следил, чтобы никто не находился под каким-либо посторонним влиянием. Когда узнал, что один — ревностный католик, немедленно исключил его. В другом случае отстранил девушку, о которой стало известно, что она принадлежит к одной из левых молодежных организаций.

Он по многу раз беседовал с каждым человеком. Не сообщал ничего конкретного. Говорил, что необходимо свергнуть Батисту, а для этого, возможно, придется пожертвовать жизнью. Ставил задачу: собирать деньги, скупать оружие, учиться владеть им. Его убежденность, его внутренняя сила были так велики, что ему верили безоговорочно.

Фармацевт Оскар Алькалде продал свою аптеку. Фернардо Ченрад продал оборудование фотолaborатории. Эллидио Соса за триста песо передал другому место своей работы. Хесус Монтане вручил деньги, скопленные за пять лет. Педро Моррене продал всю мебель из своей квартиры...

К июню 1953 года в организации было сто шестьдесят пять человек, вооруженных винтовками, автоматами, пистолетами. Пулемет был один. Ручных гранат достать не удалось. Приближался час действия.

В чем заключался план? Об этом знали Фидель Кастро и еще пять человек. Остальные узнали только 26 июля перед рассветом во дворе маленькой финки Сибоней в Chesкольких километрах от Сантьяго-де-Куба...

Я побывал на этой финке девять лет спустя. Где-то шумело море. Обрывистая зеленая Гран Пьедра нависала над дорогой. По аллее шла ватажка школьников-экскурсантов, и две девочки ссорились из-за букета.

Сидя на скамье под секвойей, я пытался представить себе этот двор, каким он был в ту ночь: легковым машинам тесно в ограде, часть людей переделалась в форму, некоторые еще в штатском, все молчаливы, пощелкивают затворы, Айдее Сантамария и Мельба Эрнандес варят кофе, издали доносится шум карнавала...

За час до начала операции Фидель объявил план. Точно в 5 часов 15 минут они атакуют казармы Монкада в центре Сантьяго-де-Куба. Обезоруживают гарнизон. Захватывают арсеналы. Затем обращаются по радио к народу с призывом начать восстание. В тот же час и в те же минуты другая группа — двадцать семь человек — атакует казарму в соседнем городе Байамо.

Тот, кто боится, кто не чувствует себя готовым или не согласен с планом, должен заявить об этом сразу. Так будет честнее и ничего позорного в этом нет.

Несколько человек положили винтовки.

Остальные быстро разбились на три отряда: девяносто пять человек с Фиделем Кастро — для нападения на Монкаду, двадцать один с Абелем Сантамарией — для занятия госпиталя, десять человек с Раулем Кастро — для захвата Дворца правосудия.

Переполненные машины начали выезжать на шоссе. Светало.

...Много лет спустя Рауль Кастро рассказал мне, что, когда, заперев в одной из комнат обезоруженную охрану, они поднялись на крышу Дворца правосудия, установили пулемет, чтоб поддержать огнем штурм крепости, он подумал: как трудно, наверное, будет сделать первый выстрел. Тот выстрел, который разом проложит грань между прошлой жизнью и будущей...

Первый выстрел грохнул неожиданно. Машины передового отряда Фиделя Кастро внезапно у самой казармы встретились с проезжавшим мимо мотопатрулем. Может, патруль и принял бы кортеж за поздних гуляк карнавала, но у одного из бойцов, сидевших в третьей машине, не выдержали нервы, он выстрелил.

Часовые подняли тревогу.

В казарме в этот час находилось семьсот человек. У Фиделя Кастро было сорок пять. Вторая группа отстала, заплутавшись в узких улицах незнакомого города.

Солдаты стреляли из окон, прикрытые толстыми стенами. Нападавшие прятались за деревьями и решеткой ограды. Сразу стало сказываться отсутствие ручных гранат — главного оружия штурма. Нападавшие стреляли точнее, действовали дерзко. Трое — Рамиро Вальдес, Хесус Монтанс и Хосе Суарес — ворвались в одну из казарм. Пятьдесят солдат подняли руки.

И все же вскоре стало очевидным, что внезапность нападения упущена и казармы Монкада захватить не удастся. Фидель Кастро передал по цепи: отходить группами к финке Сибоней. Было около 7 утра 26 июля 1953 года. Началась кровавая неделя.

Я не буду рассказывать о том, как по приказу Батисты и шефа СИМ — службы военной разведки — генерала Мартина Тамайо «во имя оскорбленной чести армии» убивали пленных, взятых на месте сражения, арестованных в пригородах Сантьяго-де-Куба и тех, кто добровольно отдал себя в руки полиции; о том, как

пытали людей, а затем бросали трупы на дорогах, как сержант Эухенио Гонсалес принес Айдее Сантамарии в окровавленных пальцах глаз ее брата, усмехнулся и сказал, что пошел за вторым...

Я немало прожил на Кубе, полюбил и, мне кажется, понял этот певучий, искристый народ, у которого шутка и патетика шагают в обнимку, ритм танца заложен с рождения, улыбка не гаснет и который — лишь подзадорь — может работать так, что не угнаться никому. Откуда же Батиста брал тех палачей, чьи страшные дела, запечатленные объективами фотоаппаратов, я видел сам?

А откуда брались палачи Освенцима и Дахау? Погромщики дореволюционной Одессы? Линчеватели Миссисипи?

Конечно, на свете не бывает плохих народов. Но бывают системы, при которых добрый, мягкий человек становится жалким трусом, веселый болтун — доносчиком, исполнительный чиновник — деловитым убийцей, любящий отец семейства — предателем, способным во имя своей семьи пожертвовать всем и вся. Бывают правители и правительства, хладнокровно развращающие людей, стремящиеся разбудить в душах самое низменное — страх, ненависть, зависть, жестокость — и опереться на это. Нет преступления страшнее!

Сведения о пытках и убийствах начали проникать в газеты. В Гаване, Сантьяго-де-Куба и других городах поднялся ропот, вмешался архиепископ, и когда неделя спустя, 1 августа, на рассвете несколько солдат под командованием лейтенанта Сарриа, прочесывая под Сантьяго-де-Куба склоны гор, наткнулись в зарослях на спящих Фиделя Кастро и двух его товарищей, убийства пленных уже прекратились.

Было объявлено, что состоится суд...

Речь Фиделя Кастро на суде я читал на «Лесозаводске», в океане. Фидель говорил пять часов — это была довольно объемистая брошюра, изданная после революции на английском языке отделом информации кубинского МИДа. Ни тогда, ни позже я так и не смог точно узнать, кто именно застенографировал речь. Уже через несколько дней после суда, который состоялся 16 октября 1953 года, отпечатанная на гектографе, она ходила в Гаване по рукам.

Батиста принял все меры, чтоб суд над Фиделем Кастро получил возможно меньшую огласку. Фиделя объявили «больным», отделили от товарищей, семьдесят шесть дней продержали инкоммуникадо<sup>1</sup> в одиночной камере, не давали ему ни бумаги, ни книг, а затем тайно перевезли из тюрьмы Бониато в одну из больниц Сантьяго-де-Куба и поместили в комнате сиделок.

Там находились три судьи, два прокурора, шесть специально подобранных репортеров, которым было запрещено записывать и передавать в газеты то, что говорил обвиняемый. Усиленная охрана заняла коридор.

Читая, я делал выписки. Они получались длинными.

«...По воле тех, кто правит, и из-за слабости тех, кто должен судить, я нахожусь здесь, в маленькой комнате больницы... Зачем нам в таком случае импозантный Дворец правосудия, где почтенные судьи, без сомнения, чувствовали бы себя гораздо удобнее? Уверю, это нерасчетливо — проводить суд в больнице, огороженной часовыми с примкнутыми штыками. Граждане могут подумать, что наше правосудие заболело...»

«...Здесь, в комнате, и в коридорах около ста солдат и офицеров... Я хотел бы видеть здесь всю армию! Я знаю, однажды эта армия страстно захочет смыть со своей формы позорные метки крови, которыми ее запятнала правящая клика...»

«...Пытаются распространить миф, будто современное вооружение не оставляет народу надежды на свержение тиранов. Военные парады используются, чтоб поддержать этот миф, внушить людям чувство беспомощности. Но нет такого оружия и такого насилия, которые смогли бы запугать народ, решивший вернуть свои права...»

<sup>1</sup> В изоляции, без права переписки и свиданий.

Время от времени я отрывался от брошюры, выходил на палубу, заглядывал в радиорубку. Мы приближались к Флоридскому проливу, и радист все чаще ловил станции Латинской Америки. Сан-Сальвадор слал в эфир протяжные, с гитарным рокотом песни, Киото — религиозные проповеди... На крыле ходового мостика капитан Таренков читал «Испанский дневник» Михаила Кольцова. Океан казался совершенно спокойным, без морщинки, но судно круто кренила невидимая отлогая зыбь.

Я возвращался к брошюре:

«...Право на восстание против тирании, почтенные судьи, признавалось с древнейших времен и по нынешнее время людьми самых различных вер, идей, убеждений... Еще в поднебесной империи отдаленнейшей древности в Китае действовал принцип, согласно которому, если император правит жестоко и деспотично, он должен быть заменен наследным принцем... В городах-государствах древней Греции и в республиканском Риме народ приговаривал к жестокой смерти тиранов... Мартин Лютер провозгласил, что, если правительство вырождается в тиранию, нарушает законы, подданные свободны от обязанности подчиняться... Французская декларация «Прав человека» установила для грядущих поколений: «Когда правительство нарушает права народа, восстание становится неизбежным из его прав и непеременимым из его обязанностей...»

— Ваши товарищи много читали? — спросил прокурор Фиделя.

— Они все любили и любят книги.

— Это было найдено у Абея Сантамари! — сказал прокурор, показывая книгу Ленина.

— Возможно... Тот, кто никогда не интересовался социалистической литературой, невежда, — ответил Фидель.

Он был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы. Рауль Кастро — к тринадцати годам. Остальные оставшиеся в живых участники штурма тоже были осуждены на длительные сроки тюремного заключения.

Тюрьма Моделио<sup>1</sup> на острове Пинос построена диктатором Мачадо. Стальные обручи решетчатых камер распирают изнутри многоэтажную кирпичную «бочку». Посередине «бочки» стоит каменная башня с пулеметом, к которой ведет подземный тоннель.

В тюрьме Фидель Кастро и его товарищи организовали школу и назвали ее «Академия имени Абея Сантамари». Они читали друг другу лекции по истории, философии, политэкономии. Спорили.

В те годы Фидель Кастро уже был знаком с некоторыми работами классиков марксизма-ленинизма. Еще в университете, как он сам рассказывал, прочитал, правда лишь до 370-й страницы, «Капитал» К. Маркса. Большое впечатление произвела на него книга В. И. Ленина «Государство и революция». В студенческих дискуссиях он испытал на себе силу марксистской аргументации, и некоторые идеи марксизма уже стали неотъемлемой частью его мировоззрения.

Он считал коммунистов честными, но узкими людьми, зараженными нетерпимостью и сектантством. Относился к ним с известным недоверием. Как многие на Кубе, был еще отчасти под гипнозом американской пропаганды, очень здесь активной.

Обо всем этом Фидель Кастро впоследствии говорил сам.

Настоящая академия — академия революции — еще была впереди.

Еще должно было произойти очень многое, о чем обязательно мне нужно будет дальше рассказать: экспедиция «Гранмы», двухлетняя война в Сьерра-Маэстра, спекуляции буржуазных «союзников», январский триумф 1959 года, первые коренные революционные реформы, шантаж США... Еще сам Фидель Кастро, и его соратники, и вся Куба должны были приобрести огромный опыт борьбы, чтоб 16 апреля 1961 года на похоронах жертв бомбардировки он произнес слова, которые сразу облетели мир.

<sup>1</sup> Образцовая.



...Мы сидели у телевизора. Николай Чигирь записывал речь Фиделя Кастро. Оператор телевидения нацелил камеру на толпу, выхватил лица, и я увидел старика в форменной рубашке, с тяжелой винтовкой в руке.

Фидель сделал паузу, потом раздельно и четко произнес несколько слов.

Чигирь встал. Он не выдержал. Он перевел мне эту фразу слово в слово:

«Товарищи рабочие и крестьяне, наша революция — это социалистическая, демократическая революция обездоленных, совершенная обездоленными для обездоленных. За нее мы готовы отдать жизни!»

— Социалистическая! Это впервые! — сказал Чигирь.

Мы повезли корреспонденции на телеграф вместе.

## VI

Я вернулся в первом часу ночи, а в четыре позвонил Чигирь и, нелестно отозвавшись о моей способности спать, сообщил, что на южном побережье провинции Лас-Вильяс начал высаживаться крупный десант, который поддерживают авиация и с моря — огонь корабельной артиллерии.

— Подробности неизвестны, — сказал Чигирь и повесил трубку.

Потом его телефон был занят. Когда наконец я дозвонился, жена сказала, что Николай только что ушел. Голос ее чуть дрожал.

«Конечно, — подумал я с раздражением, — ему хорошо. Сидит уже, наверное, где-то, разговаривает... Там люди, дело, информация... А я еще никого здесь не знаю. Теперь торчи как дурак в пустой квартире. Ну куда я ночью пойду?»

Я начал проверять связь.

— Патриа о муэрте, — сразу отозвалась международная телефонная станция Гаваны.

— Пожалуйста, Москву, редакцию «Правды», срочно.

— Невозможно, сеньор. Связь не работает.

— Тогда дайте Нью-Йорк. Корреспондента «Правды» Стрельникова.

— С Нью-Йорком нет связи, сеньор.

— В таком случае Мехико. Советское посольство.

— Невозможно, сеньор. Не работает ни одна линия. Патриа о муэрте!

Теперь телеграф. Листая толстый справочник, забитый рекламами, я разыскивал номера телефонов всех телеграфных компаний.

Все они, и «Вестерн юнион», и «Преви радио», и «Олл американ кейбл», как сговорившись, отвечали, что около двух часов назад связь прервана и когда будет восстановлена, еще неизвестно.

Что это? Распоряжение правительства с целью лишить врага информации и затруднить передачу инструкций контрреволюционному подполью? А может, США отрезали остров, хотя разделаться быстро и без лишнего шума?

Я вышел на балкон. Гавана спала. Справа вдоль берега тянулась цепочка голубых огней шоссе Виа Бланка, ведущего туда, к провинции Лас-Вильяс. На небоскребах вспыхивали и гасли рекламы. Изредка проезжала машина, и толстые доски, положенные на ночь поперек улиц, хлопали под колесами.

Возле крепости Моро загорелся красный огонек, исчез, на его месте возникли два белых — какое-то судно покидало гавань. «Может, «Лесозаводск»?» — подумал я. И вдруг почувствовал, как далеко, как отчаянно далеко Москва. Тысячи, тысячи километров... Знают ли там?

Я пошел на кухню, открыл холодильник, включил утюг, пустил в ванне горячую воду... Однако, что бы я ни делал, мысли снова и снова возвращались к неведомой мне провинции Лас-Вильяс, к южному ее побережью.

Какие там глубины у берега? Какой рельеф? Что за силы кубинской армии дислоцированы в том районе? Удалось ли противнику захватить плацдарм? И что это за противник? Началась ли прямая интервенция США или высаживается только армия наемников? И если последнее, то какую поддержку эта армия получит

от американской авиации и флота? Как далеко зайдет правительство США? В недавнем прошлом Соединенные Штаты не церемонились.

Как-то в Москве мне попала книжка «Комон Санс», изданная в США в ноябре 1935 года. Отставной генерал-майор Смедли Батлер писал: «Я провел 33 года и 4 месяца на военной службе в корпусе морской пехоты, самом мобильном роде войск США. Я охранял интересы наших нефтяных компаний в Мексике. Помогал сделать Кубу и Гаити подходящим местом для ребят из «Нэйшен сити банк» и Никарагуа — для ребят из банка «Браун Бразерс». Во имя интересов наших сахарных компаний вторгался в Доминиканскую Республику и во имя фруктовых — в Гондурас... Я всегда получал награды, повышения, отличия». С 1900 по 1934 год войска США совершили тридцать одну интервенцию в латиноамериканские страны. Затем политика «большой дубинки» была заменена политикой «доброе соседство».

Примером новой тактики был так называемый гватемальский эндшпиль, разыгранный Соединенными Штатами в 1954 году. В этой маленькой стране Центральной Америки правительство Хакобо Арбенса начало проводить некоторые демократические реформы и вместе с землями гватемальских помещиков национализировало часть земель «Юнайтед фрут компани», чтоб распределить их среди крестьян. Тогда США немедленно сформировали на территории соседнего Гондураса из эмигрантов, авантюристов, наемников «освободительную армию», вооружили ее и послали в Гватемалу.

Мануэль Галич, бывший министром просвещения в правительстве Арбенса, позднее рассказывал мне о том, как проходила эта интервенция, как самолеты США транспортировали наемников, как горели деревни... Сельский учитель в департаменте Коста-дель-Сур решил защитить свою новую школу. У него было два сына и на троих — ружье. «Если бы вы видели, что с ними сделали!»

Мануэль Галич подошел к окну и долго стоял, повернувшись ко мне спутывшейся спиной.

Так действовали США даже в Гватемале, где все их капиталовложения не слишком велики. А ведь Куба не Гватемала. Среди двадцати с лишним стран Латинской Америки Куба по сумме прямых капиталовложений США уступала только «гиганту южного континента» — Бразилии и нефтяной Венесуэле.

В докладе департамента торговли США 1956 года говорилось: «Единственным иностранным капиталом, имеющим значение на Кубе, является капитал Соединенных Штатов. Ему принадлежит 90 процентов электроэнергии и телефонной сети, 50 процентов железных дорог, 40 процентов продукции сахара. Кубинские отделения банков США владеют 25 процентами всех банковских депозитов страны...»

Доклад был опубликован в конце октября 1956 года. А через несколько недель, разумеется, без всякой связи с докладом, из устья мексиканской речки Тукспан вышел в море небольшой катер. Он двигался тихо, на одном моторе, с погашенными огнями, почти по плану осев в воду. Вместо полагавшихся десяти пассажиров на катере находилось восемьдесят два человека, оружие, боеприпасы, рации, медикаменты, продовольствие, бочки с запасом горючего для дальнего пути.

Дул сильный норд. На матче поста береговой стражи порта Тампико рассказывались черные конусы, обозначавшие, что выход в море малым судам запрещен.

Миновав пост, катер запустил второй мотор и лег на курс норд-ост. У штурвала рядом с бывшим лейтенантом кубинского военно-морского флота Роге стоял Фидель Кастро.

Полтора года назад вместе с другими участниками штурма казарм Монкада по амнистии, которую Батиста, боясь с непопулярностью своего режима, вынужден был подписать, Фидель Кастро вышел из тюрьмы и вскоре эмигрировал в Мексику. Перед отъездом направил в редакции газет письмо:

«Я покидаю Кубу, потому что для меня закрыты все возможности легальной борьбы...»

Считаю, что пришел час брать права, а не просить их, завоевывать, а не вымаливать.

Буду находиться в одном из мест Карриб.

Из таких путешествий не возвращаются или возвращаются, чтоб разрушить тиранию до основ.

Гавана. 7 июля 1955 года.

Фидель Кастро Рус».

Теперь Фидель возвращался. Штормовые волны перекатывались через палубу. За кормой плясали огни Тампико. Месяцы подготовки, тренировок на ранчо Чалико, где полковник испанской республиканской армии Байо учил будущих партизан стрелять, изготавливать бомбы, ориентироваться в джунглях, маскироваться, — все это осталось позади, на мексиканском берегу.

Была ночь 25 ноября 1956 года. Исхлестанный, перегруженный катер, карабаясь с волны на волну, шел на северо-восток, и Фидель Кастро слушал, как поскрипывают тросы, закрепившие груз по-штормовому. Чиновники Вашингтона спокойно спали в своих постелях — американская столица засыпает рано. Фульхенсио Батиста не спал. Он только что вернулся с приема, устроенного в его честь правлением принадлежащей США «Кубан телефон компани», и сидел в кресле, глядя на телефонный аппарат из червонного золота. Компания преподнесла этот презент в благодарность за разрешение повисить абонентную плату. «Где его поставить? — возможно, размышлял Батиста. — В кабинете? В спальне? А может, просто спрятать в сейф?..»

И, как все люди, никто из них не знал своего будущего.

Фидель Кастро не знал, что тщательно разработанный план захвата порта Никеро и города Мансанильо при поддержке восстания в Сантьяго-де-Куба сорвется и он после тысячи трудностей, боев, предательств, потеряв все снаряжение, окажется на пике Туркино в горах Сьерра-Маэстра только с одиннадцатью вооруженными людьми, а перед ним будет вся сорокатысячная армия Батисты.

Фульхенсио Батиста не знал, что эта вооруженная артиллерией, танками, самолетами, обучаемая военной миссией США армия будет разбита, деморализована и ему через два года с небольшим в такую же ночь придется тайно бежать к соседу — диктатору в Доминиканскую Республику, а золотой телефон он в спешке забудет в Гаване.

Вашингтонским чиновникам и не снилось, что пройдет три с лишним года, и от всей американской собственности на Кубе не останется и следа.

А между тем фраза, которая определяла ход событий, уже была произнесена.

— Куба нуждается в большем, чем просто смена правительств... Народ должен получить большее, чем свободу и равенство в абстрактном значении этих терминов, — сказал Фидель Кастро на митинге кубинских эмигрантов незадолго до того, как катер «Гранма» вышел в море.

Свобода и равенство не в абстрактном, а в конкретном кубинском смысле терминов значили, что нужно дать землю безземельным, работу — безработным, жилье — бездомным, образование — неграмотным, медицинскую помощь — больным, чувство собственного достоинства и веру в будущее — каждому кубинцу.

Сделать это, не проведя глубоких преобразований и не разрушив господство американского капитала, было невозможно.

Семнадцатого мая 1959 года, четыре с половиной месяца спустя после того, как победоносная Повстанческая армия вошла в Гавану, новое, революционное правительство Кубы принял закон об аграрной реформе. Закон был подписан в Ла-Плате, маленькой деревушке в горах Сьерра-Маэстра, куда все члены правительства отправились на самолете.

Поглядывая через иллюминатор на проплывавшие под самолетом огромные плантации Кэмагуэя, Фидель Кастро говорил о том, что в закон необходимо ввести пункт об организации сельхозкооперативов. Большинство министров соглаша-

лось. Некоторые — Луис Орlando Родригес, Умберто Сори Мартин, Роберто Аграмонте — отмалчивались.

Закон вступил в силу 3 июня 1959 года. Частное владение землей ограничивалось тридцатью кабалериями (четыреста гектаров). Остальная земля принудительно выкупалась государством с оплатой в течение двадцати лет в кубинской валюте.

Неделю спустя, 11 июня, американский посол в Гаване мистер Бонсал вручил новому правительству ноту, в которой США выражали протест по поводу этой реформы.

Еще недавно не только официальная нота США, но даже простое неудовольствие американского посла могло служить поводом для смены правительства в маленькой латиноамериканской стране. Эрл Смит, бывший при Батисте послом Соединенных Штатов, докладывал в Вашингтоне сенаторам: «До прихода Фиделя Кастро мы имели на Кубе такое подавляющее влияние, что американский посол был там второй по важности персоной, иногда даже более важной, чем сам кубинский президент. Теперь положение изменилось...»

На следующий день после американской ноты протеста пять министров кубинского правительства подали в отставку. Но правительство не пало, аграрная реформа продолжалась, Фидель Кастро остался премьером, и мистеру Бонсалу пришлось ждать следующего разговора с ним целых три месяца.

Встреча состоялась 4 сентября. Фидель Кастро заявил, что внутренняя экономическая политика его правительства в желательном для Вашингтона направлении изменена не будет. Госдепартамент немедленно отозвал мистера Бонсала из Гаваны.

Вскоре с аэродромов Флориды, находящейся в ста пятидесяти километрах от Гаваны, начали взлетать небольшие самолеты и, появляясь над Кубой, сбрасывать бомбы, стрелять из пулеметов, поджигать плантации.

В начале октября Куба договорилась с Великобританией о покупке нескольких истребителей. 17 октября американский посол в Лондоне попросил срочной аудиенции у министра иностранных дел. Правительство США обращало внимание правительства ее величества на необходимость соблюдать «атлантическую солидарность». 2 декабря Великобритания известила Кубу, что истребители проданы не будут.

Налеты продолжались. Но и аграрная реформа шла своим чередом.

В январе 1960 года были национализированы первые крупные плантации сахарного тростника, принадлежавшие американскому капиталу.

Соединенные Штаты направили Кубе новую ноту. Америка требовала «быстрой, равноценной и эффективной» компенсации. Это значило, что платить нужно наличными по ценам, назначенным США, и в долларах. Долларов на Кубе не было. За семь лет батистовского правления — с 10 марта 1952 года по 1 января 1959 года — национальный долг Кубы возрос в четыре раза, достигнув 300 миллионов песо.

Покидая Кубу, Батиста забыл золотой телефон, но не забыл заглянуть в бронированные кладовые государственного банка. Придя к власти, революционное правительство обнаружило там вместо полагавшихся по закону 120 миллионов песо в твердой валюте только 77 миллионов 400 тысяч.

1959 год — первый год победившей революции — был чрезвычайно трудным для кубинской экономики. Цены на сахар на мировом рынке упали до самого низкого за последние семнадцать лет уровня. Более одного миллиона двухсот тысяч тонн сахара урожая этого года осталось непроданным.

Все это Соединенные Штаты отлично знали. Цифры публиковались и в «Нью-Йорк гаймс», и в еженедельнике департамента торговли США «Форрин коммерс уикли». Требуя уплаты в долларах, отказываясь принять предложенные Кубой условия и даже начать переговоры на их основе, Соединенные Штаты стремились остановить аграрную реформу.

Остановить аграрную реформу — значило убить революцию. Куба решительно отклонила ноту.

Тогда в «Нью-Йорк таймс» появилась заметка: «Так как отношения с Кубой ухудшаются, администрация решила просить конгресс предоставить президенту право в срочных случаях увеличивать или уменьшать сахарную квоту<sup>1</sup>... Эта мера при необходимости сможет быть использована в качестве экономического оружия против д-ра Кастро».

Статистика показывает, что на Кубе с производством сахара связано примерно пятьсот тысяч человек. Практически же нет ни одного кубинца, чья жизнь так или иначе не зависела бы от густого сладкого сока, которым к январю набухают стебли тростника. Он превращается в хлеб, в рис, в соль, в свет, в рубашку, в мачете.

В США считали, что момент для отмены квоты выбран подходящий. Мировой рынок насыщен сахаром. Все контракты заключены. Если не взять те семьсот тысяч тонн, которые остались невыкупленными по квоте 1959 года, даже это будет для Кубы экономической катастрофой.

Именно в такую трудную минуту на помощь Кубе пришел Советский Союз. Тринадцатого февраля 1960 года в Гаване было подписано соглашение о покупке Советским Союзом в 1960 году четырехсот двадцати пяти тысяч тонн, а в течение последующих четырех лет по одному миллиону тонн сахара ежегодно. Двадцать процентов сахара СССР оплачивал валютой, восемьдесят — товарами, в частности нефтью.

В Вашингтоне решили, что пора дипломатических нот миновала. Седьмого июня 1960 года американские компании, которым принадлежали нефтеперегонные заводы Кубы, заявили, что советскую нефть для переработки они не примут. Одновременно США прекратили поставку своей нефти. Запасы топлива на Кубе снизились катастрофически.

Кроме древесного угля, который на полуострове Сапата в высоких, обсыпанных землей кучах выжигают крестьяне-углежогги, Куба не имела своих топливных ресурсов. Через несколько дней должны были остановиться все фабрики и заводы, все электростанции, все поезда и автомашины...

Двадцать девятого июня 1960 года правительство Кубы взяло на себя управление находящимися в Гаване и Сантьяго заводами «Стандард ойл», «Техас компани» и «Роялл шелл».

Шестого июля президент Дуайт Эйзенхауэр заявил на пресс-конференции: «Сегодня я утвердил принятый конгрессом законопроект, который уполномочивает президента установить сахарную квоту Кубе на оставшуюся часть 1960 года... С включением сахара, разрешенного к ввозу до 3 июля 1960 года, она составит тридцать девять тысяч тонн, то есть уменьшение от первоначальной квоты равно семистам тысячам тонн...»

В тот же день кубинское правительство приняло закон, разрешающий экспроприацию промышленных и торговых предприятий, а также банков, принадлежащих США. Господство американского капитала на Кубе окончилось.

Соединенные Штаты наложили эмбарго на торговлю с Кубой, разорвали дипломатические отношения и приступили к подготовке военной интервенции.

Ночь 17 апреля 1961 года интервенция началась...

Это была самая долгая ночь в моей жизни. Где-то в трехстах пятидесяти километрах от Гаваны шел бой, а я до утра должен был торчать один в огромной пустой квартире и гадать, что там происходит.

Я побрился, погладил брюки, поджарил яичницу — часы показывали только десять минут шестого. Заправил чернилами ручку, достал из чемодана запасные кассеты для «Киева» — время не двигалось.

<sup>1</sup> В данном случае — количество сахара, ежегодно закупавшегося на Кубе Соединенными Штатами.

Тогда я стал рассматривать фотографии в оставленных хозяином квартиры кубинских журналах: новостройки, улыбающиеся бородачи, А. И. Микоян и Фидель Кастро подписывают коммюнике... Бродил по квартире. Стены одной из комнат были оклеены обоями: индеец из лука стреляет в англичанина, англичанин стреляет в американца, американец стреляет в испанца, испанец стреляет в индейца. Веселенький рисуночек.

В кабинете книжный шкаф наполовину закрыл висящую на стене картину. Это мне напомнило что-то очень знакомое. И вдруг я вспомнил...

Мы жили в Москве на Ордынке в крошечной комнатке, где стояли впритык кровать, диванчик, шкаф и тумбочка, заменявшая обеденный и письменный стол. Мне было тогда лет пять.

Однажды отец подкатил к дому на извозчицкой пролетке. Вместе с извозчиком они втащили в комнату какую-то широкую, плоскую, завернутую в бумагу штуковину. Чтоб она пролезла в комнату, шкаф пришлось выдвинуть в коридор. Меня тоже выдворили в коридор.

Из комнаты доносился стук молотка. Потом на пороге появился отец. Широким жестом пригласил: «Прошу!» На стене, занимая ее от окна до двери, висел огромный портрет Буденного. Копыта его коня нависли над тумбочкой, острая сабля взметнулась над изголовьем кровати.

— Салют Красной Армии! — сказал отец. — Салют Красной Армии, Тимур!

— Салют, — согласился я, ошарашенный и смущенный.

Так потом мы и жили под взметенной саблей и нависшими копытами. Соседи начали сердиться из-за шкафа, и отец отдал его дворнику. Это было, кажется, в тридцать первом. Отец тогда только что перестал мучиться над продолжением «Школы», в один присест написал «Четвертый блиндаж», и жили мы весело...

Под утро усилился ветер. Он продувал квартиру упругими сквозняками, наполняя ее шорохом и свистом. Было слышно, как вдалеке по гаванской набережной бьют волны.

Хорошо бы и там, на южном побережье еще неведомой мне провинции Лас-Вильяс, сейчас был бы такой же накат!

Я нащупал в кармане документы, нашел ключи. Дальше оставаться одному было невыносимо. Рассвет уже заливал Гавану.

## VII

В 12 часов дня наша машина рванулась от Президентского дворца, вылетела на набережную, нырнула, обойдя длинную очередь, в тоннель под бухтой, беспрепятственно миновала контрольный военный пост и, набирая скорость, помчалась на восток по пустынной Виа Бланка, вдоль которой тянутся высокие и легкие, склонившиеся, как стебли ржи, золотистые фонари.

Я еду с военными корреспондентами гаванских газет, оружие путается с фотоаппаратурой, и потому в машине тесно.

Все получилось очень хорошо.

Утром, прослonyaвшись без толку в посольстве, где в этот ранний час, кроме дежурного коменданта, никого увидеть не удалось, я направился к Владимиру Масюкевичу, нашему пресс-атташе, редактору недавно начавшего выходить на Кубе журнала «СССР». Его квартира и редакция помещались неподалеку от посольства, на верхнем этаже высоченного, сухопарого, с торчащими ребрами балконов дома.

Масюкевич сидел за столом, роясь в грудe фотографий.

— Плохо дело, — сказал он. — Черт знает что там в Москве думают.. Статья о детских садах и яслях, а шлют фото сельских библиотек... Полюбуйся!

— Но, Володя, какие сады? Какие ясли? Ты что, не знаешь? Десант! Высадка в Лас-Вильяс.

— Зря волнуешься. Наверняка преувеличение.

Он позвонил в одно место, второе... Лицо становилось озобоченным.

— Похоже, в самом деле что-то есть. Говорят, сейчас передали по радио приказ всем милисиано срочно явиться в батальоны. Впрочем, это здесь часто. Подожди, поьем кофе. Будем звонить. Пока никто ничего конкретного не знает...

Мне не сиделось. Я решил поехать в редакцию «Нотисиас де Ой». Редакция работает с трех, но если началось вторжение, там, конечно, есть люди.

Город был спокоен. Ничто не говорило о тревоге, о мобилизации, о подготовке к отпору. В кофейнях шипели кофеварочные агрегаты. Мороженщики, бросая певучие призывы, катили тележки. Продавцы в белых рубашках с черными галстуками-бабочками поднимали шестами стальные шторы магазинов.

Только позже мне рассказали, какая огромная работа, обезвредившая контрреволюционное подполье, была проведена в эти утренние часы, до того, как Фидель Кастро объявил народу о нападении. Еще ночью был разослан приказ:

«Главкомандующий и премьер-министр Революционного Правительства объявляет страну на военном положении и приказывает:

Повстанческой армии, Милиции и всем Силам Безопасности повысить бдительность и действовать без промедления против тех, кто будет застигнут при попытке совершать акты саботажа, покушения, вести стрельбу.

Комитетам защиты Революции удвоить активность...»

На рассвете и утром были арестованы многие.

Несколько месяцев спустя после боев на Плайя-Хирон в Мексике в издательстве «Диана» вышла книжка контрреволюционного журналиста Хосе Луиса Массо «Куба, 17 апреля». Он приводит рассказы тех, кто был арестован в этот день.

Вот наугад отрывок: «С момента бомбардировки 15 апреля в нашей группе усилилась надежда. Последние диверсии прошли успешно. Правительство контролировало связь, но утром 17-го мы уже знали, что началось вторжение. Хоть я преподаватель, а правительство запретило по каким-либо поводам прекращать занятия, я в школу не пошел, остался дома, где меня и арестовали...»

Другой: «Я против революции, но не уехал с Кубы, чтоб поддерживать связь с подпольной группой, героически сражавшейся с красным режимом. В тот знаменитый день 17 апреля меня арестовали и без всяких улик противозаконно содержали в ужасной красной тюрьме целых 16 дней... У одного из арестованных заболело горло. Антибиотики были доставлены только на следующий день...»

Конечно, вместе с активными контрреволюционерами, вместе с платными диверсантами в то тревожное утро были арестованы и просто безвредные болтуны, и даже невинные люди. Фидель Кастро от имени правительства извинился перед ними.

Но мера эта, быстрая и жесткая, обеспечила армии во время боев спокойный тыл. Диверсии, так широко развернувшиеся накануне вторжения, прекратились. В рассветные часы 17 апреля 1961 года Центральное разведывательное управление США, долго и старательно создававшее шпионскую и диверсионную сеть на Кубе, проиграло одно из своих тайных сражений.

Читая книжку Луиса Массо, я снова вспомнил испанца на гibraltarском причале, его тревожные глаза и розоватый шрам — след предательского выстрела в спину.

...В 10 утра я пришел в редакцию, и последующие два часа, напряженных, суматошных, запомнились мне так.

Сотрудники «Нотисиас де Ой» у карты. Вальдес Виво с карандашом:

— ...Юг провинции Матансас и провинции Лас-Вильяс... Бухта Кочинос... Высадка где-то здесь... и здесь...

Обращение Фиделя Кастро к народу. Динамик включен на полную мощность. Лица наборщиков, верстальщиков, перемазанные типографской краской.

«Вперед, кубинцы! Ответим огнем и железом варварам, которые нас презирают и хотят вернуть нас в рабство. Они явились, чтоб отобрать земли, врученные крестьянам и кооперативам... Они явились, чтоб отобрать фабрики и са-

харные заводы, принадлежащие народу... Явились отобрать у наших детей, у крестьянских ребятишек школы... Явились лишить негра и негритянку человеческого достоинства, которые революция им вернула... Вперед, кубинцы, каждый на пост борьбы и труда!»

Карлос Рафаэль Родригес закончил передовую, вставил в пишущую машинку новый листок, печатает: «Дорогой компаньеро Лусардо! Это письмо тебе вручит компаньеро Тимур Гайдар, который вместе с нашим сотрудником Отто Вильче направляется в зону боевых действий. Прошу оказать...»

Отто Вильче, смущаясь, обнимает за колонной молодую жену.

На такси — в Президентский дворец.

В мраморном дворике милисиано вскрывает топором ящики с оружием. На третьем этаже возле кабинета Освальдо Дортикоса седые лакеи в крахмальных куртках раздают солдатам чашечки с кофе.

Пятеро журналистов Все в форме и при оружии. «Нотисиас де Ой», «Комбате», «Революсьон», Пренса Латина, «Радио Ребельде». Знакомимся, потихоньку, словно невзначай, осматриваем друг друга.

Нужно мое фото. Растерянно роюсь в карманах. Может, отодрать от шоферских прав? Как чудо, возникает старичок с лакированным ящиком на треноге: «Моментико, сеньор!»

В нарядном, с лепным потолком и картинами зале — стол, покрытый хрустящей, но уже закапанной скатертью. Завтракают чиновники, офицеры, медсестры, милисиано. Пришел еще один милисиано, высокий, худощавый, в очках с черными короткими усами. Ему тоже дают яичницу. Отто толкает меня в бок: «Дортикос, президент!»

Фотография готова, наклеена на плотную с гербом бумагу, прожата большой круглой печатью.

«Всем военным властям.

Предъявитель сего сеньор Гайдар Тимур, чья фотография находится на этом мандате, представитель газеты «Правда», Москва, аккредитован в качестве специального корреспондента.

Посему предписывается всем властям Республики оказывать ему всяческое содействие для наилучшего осуществления его миссии.

Дано в Президентском дворце в Гаване 17 апреля 1961 года.

Освальдо Дортикос Торрадо,  
Президент Республики».

Озабоченная девушка аккуратно сгибает лист, укладывает его в длинный узкий конверт, вручает мне. Журналисты нетерпеливо переминаются. Скорее! Скорее!

— Отто, может, заскочим на минутку в «Фоксу»? Нужно бы кое-что взять...

Огорченное лицо Отто. Огорченные лица других корреспондентов. «Ладно! Едем так!» Звонок по телефону в посольство...

И ровно в 12.00 наша машина, могучий «бьюик», рванулась от Президентского дворца.

Дорога идет вдоль моря. Ветер развел крупную волну, и временами брызги заливают переднее стекло. Шоссе пустынно. Движение гражданских машин приостановлено. Колонны военных где-то уже впереди. Мелькают дорожные знаки: «Осторожно!», «Медленнее!», «Максимальная скорость 45 км!», но шофер все жмет и жмет на акселератор. Сто километров, сто двадцать, сто тридцать пять!.. Только шины шуршат на поворотах.

Недалеко от города Матансас на бетоне зарябила полоска танкового следа. Едем молча. Изредка Отто бросает короткую фразу:

— Видите справа? Новая школа... Видите там, в ущелье? Новый поселок.

Я смотрю и направо и налево. По зеленым полям врассыпную разбежались высокие пальмы. Ветер треплет их темные мохнатые верхушки. Засыпанное жел-



тыми листьями поле, с которого убран сахарный тростник. Красивая, незнакомая земля.

После одноэтажного, желтого с голубым Матансаса, так непохожего по силуэту на Гавану, шоссе сворачивает вправо, на юг. Мы уже догнали и обходим военные машины.

Грузовики с пехотой. Тягачи. Мальчишки на обочине обступили мотоциклиста в кожаной куртке, перекрещенной белыми ремнями. Он высоко поднял кувшин, ловит, запрокинув голову, тоненькую водяную струйку.

Вдоль дороги крестьяне в серых рубашках, старики, женщины в черных платках, голупузые малыши. Машут, указывая на юг, на юг...

— Аделанте, кубанос! Аделанте!<sup>1</sup>

Отто включил приемник. С щелчком в машину ворвалась тугая, как взведенная пружина, мелодия марша «26 июля». Все сидящие в машине подобрались, расправили плечи, улыбнулись друг другу.

А на душе, что греха таить, немножко смутно. Главное — не знаю языка. Отто по-английски говорит слабо, да и не слишком-то разговорчив. И совсем, ну совсем неизвестно, что же происходит там, впереди.

Отто pokrутил рукоятку, смазал мелодию, проскочил через писк и треск нескольких станций, и вдруг в машине кто-то сказал громко, раздельно, четко на английском:

— ...в руках нападающих...

Я схватил Отто за плечо:

— Подожди!

— ...Из Гуантанамо поступило подтверждение, что группа вторжения высадилась в шестидесяти пяти километрах от Сантьяго-де-Куба, второго по величине города страны. Агентство ЮПИ сообщает, что силы вторжения заняли город Пинар-дель-Рио, столицу западной провинции. Руководители антикастровского движения Хосе Миро Кардона и Антонио де Варона находятся на пути на Кубу. Войска, высадившиеся на юге Лас-Вильяс, продвигаются вперед. Ими взят город Ховельянос...

Я развернул на коленях туристскую карту Кубы компании «Стандарт ойл», которую перед отъездом из Москвы выпросил в редакционной библиотеке. До города Ховельянос оставалось несколько километров.

Потом, когда с вторжением на Плайя-Хирон было покончено, я зашел в Гаване в Пренса Латина и, не пожалев времени, переписал сообщения, связанные с Кубой, которые в тот день передали американские агентства Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс Интернейшнл. Правда, мне не удалось восстановить последовательность, в какой они передавались. Но это в конце концов неважно.

«Вашингтон. 17 апреля. (АП). Антикастровские войска вторглись сегодня на Кубу в трех пунктах, и главный город крайнего востока Сантьяго-де-Куба, возможно, уже находится в руках нападающих. Кастровская милиция, так же как армия и флот, объединяется с силами вторжения».

«Майами. 17 апреля. (АП). Силы вторжения в своем продвижении по провинции Матансас достигли главного шоссе, которое пересекает Кубу с востока на запад. Цель операции — разрезать страну на две части».

«Майами. 17 апреля. (АП). Остров Пинос взят нападающими. 10 000 политических заключенных влились в силы вторжения».

«Майами. 17 апреля. (АП). Большая часть милиции из 400 000 человек, набранных Кастро, уже дезертировала, и конец сражения ожидается в течение ближайших часов».

«Нью-Йорк. 17 апреля. (АП). Тысяча солдат экс-президента Карлоса Прио Соккариса высадилась в провинции Ориенте».

«Майами. 17 апреля. (АП). Поступили сообщения о сражениях на улицах Гаваны».

<sup>1</sup> Вперед! (Испан.)

«Мехико. 17 апреля. (ЮПИ). Роскошный отель «Гавана либре» в кубинской столице полностью разрушен».

«Мехико. 17 апреля. (АП). Премьер-министр Фидель Кастро бежал. Его брат Рауль Кастро взят в плен. Генерал Ласердо Карденас обратился к мексиканским властям с просьбой предоставить Фиделю право политического убежища».

Смешно? Пожалуй... Но на шоссе неподалеку от города Ховельянос в 14 часов 17 апреля 1961 года мне было не до смеха.

Не сбавляя скорости — вперед. Возле моста тормозим — патруль:

— Стой! Документы!

Три солдата держат машину под прицелами автоматов. Послушно извлекаем конверты. Их собирает четвертый солдат, не раскрывая, складывает стопочкой на ладони. Стопочка ему нравится. Он выровнял края. Жестом показал, что нужно выходить из машины. Мои спутники выходить не хотят. Я, естественно, тоже.

И начинается спор. Чудесный, долгий кубинский спор, полный юмора и сарказма, иронии и великодушия, готовности понять собеседника, но настоять на своем, спор, на накале которого, как пироги в печи, поднимается взаимная благожелательность.

Три солдата опустили автоматы, и мои спутники, чтоб удобнее спорить, один за другим вылезли из машины на обочину. Все увлечены, мимо проскакивают «форды», «шевроле» — не до них.

Решение приходит разом, как открытие. В машину забираются вместе — и журналисты и патруль. Наш «бьюик» оседает и трогается по направлению к школе, в которой разместился штаб матансасской группы войск.

## VIII

Информация, полученная в городе Ховельянос от команданте<sup>1</sup> Родригеса Пуэрто, начальника штаба 4-го боевого района:

«Бои идут в районе сахарного завода «Австралия» и сахарного завода «Кавадонга». Это оставляет за противником плацдарм глубиной примерно в сорок километров...»

Еще не ясно — главная ли эта высадка или только отвлекающий удар. Протяженность береговой линии Кубы — три с половиной тысячи километров. Опасно двинуть к бухте Кочинос крупные силы, оголить другие направления...

Кубинские батальоны, ведущие бой, вооружены только легким стрелковым оружием. В течение дня противник бомбит и обстреливает дороги. Поэтому технику можно будет подтянуть, когда стемнеет...»

— Будьте осторожны, — говорит на прощание команданте. — Увидите самолет с нашим опознавательным знаком — красный треугольник, звезда и синие полосы, — можете радоваться, но руками не размахивайте, из машины вылезайте и укладывайтесь в канаву. Так будет лучше.

Родригес Пуэрто пожимает нам руки. Он высокий, широкоплечий, юношеская розоватость лица великолепно прикрыта черной окладистой бородой, кольт, берет, куртка, острые карандаши, торчащие из нагрудного кармана, — все так и просится в кадр, и мы дружно щелкаем аппаратами.

— Можно ли позвонить в Гавану?

— Да, пожалуйста.

Соединяюсь с международной Гаваной. Нет, связь с Москвой до сих пор не работает. На душе становится даже легче. А то мучило сознание, что после начала вторжения еще не передал ни строчки.

Отто Вильче, который давно с неодобрением посматривает на мои светлые брюки и запывлившуюся белую рубашку, шепчет:

— Попросите выдать форму. Это просто. Он распорядится.

Но я не решаюсь. Черт его знает, можно ли надеть кубинскую военную форму? Конечно, было бы удобнее. Но, может, не полагается?

<sup>1</sup> Вышнее воинское звание в революционных вооруженных силах Кубы.

Распрощались, сели в машину, проехали тридцать метров. Стоп. Нужно заправиться.

— Почему не заправились, пока были в штабе?

— Шофер тоже был в штабе. Что он, не кубинец, что ли?

Пока двое ребят в серых комбинезонах заливают бак бензином, моют ветровое стекло, проверяют уровень воды в аккумуляторной батарее, давление воздуха в шинах и делают все те мелочи, которые здесь обычно делаются при заправке, направляемся к маленькому ресторанчику.

Очень хочется пить, да и съел бы я что-нибудь, пожалуй, но иду не слишком охотно. Мы уже останавливались, и я знаю, что сейчас повторится та же история: напоят, накормят и не позволят заплатить ни сентаво.

— Ну, послушай, я же богатый парень, — убеждаю я Отто Вильче. — Я представитель богатой газеты. Знаешь, какой у «Правды» тираж? Меня просто необходимо облагать прогрессивным налогом, ну, хотя бы из революционного принципа...

Отто молча и решительно отстраняет мои песо.

Так будет продолжаться еще долго. В Гаване, или Пинар-дель-Рио, или на острове Пинос я буду заходить в ресторанчик, в кафе, заказывать «аррос конгри»<sup>1</sup> или просто стаканчик рома — и официант, отказавшись взять деньги, будет указывать на какого-нибудь незнакомого мне человека, который улыбнется, помашет рукой и сразу покинет ресторан. Я переоденусь во все кубинское, буду говорить по-испански — ничего не поможет. Потом я научусь платить вперед, еще только делая заказ.

Пока я подчиняюсь.

В ресторанчике оживленно. Гремит радиола-автомат. Бармен настругивает колбасу, сыр, взрезает булки, кладет бутерброды под электрический пресс. В стеклянном баке бурлит охлаждаемый апельсиновый сок.

Бармен спросил о чем-то Отто, с любопытством глянул в мою сторону, отложил нож, направился к радиоле, сунул в прорезь пятицентовую монету, нажал клавишу и —

Очи черные, очи страстные,  
Очи дивные и прекрасные...

Честное слово, я тронут. Мы с барменом жмем друг другу руки. «Очи черные, очи страстные» звучат сейчас прямо как боевая песня международной солидарности.

В Ховельяносе сворачиваем с шоссе и едем по проселочной дороге к городку Хагуэй-Гранде, от которого до сахарного завода «Австралия» уже только четыре километра. Дорога красной веревочкой вьется по зеленому полю.

С трудом, так, что по дверцам хлещут стебли сахарного тростника, обгоняем несколько грузовиков с пехотой. Грузовики старенькие, с тупыми открытыми радиаторами, разрисованы по бортам узорами: цветочки, пылающие сердца...

Положив блокнот на колено, пишу, ругая себя за то, что не догадался сделать это на шоссе, когда не трясло и не толкало.

Корреспонденции еще нет, она где-то там, впереди, за Хагуэй-Гранде, может, в 339-м батальоне, может, в другом. Но начало нужно уже набросать.

Пишу торопливо. Быстро темнеет. Вскоре букв не разобрать. Какое-то мгновение на блеклом горизонте четко, как наклеенные, отпечатываются тоненькие черные пальмы, затем их размывает темнота.

Машина остановилась. Идет обсуждение: можно ли зажечь фары? Решено, что нельзя. Но так как двигаться по проселку в кромешной тьме тоже нельзя, шофер их включает, и мы едем дальше.

Затемненный, притихший городок Хагуэй-Гранде. Заплутаться трудно — вдоль улиц, ведущих на шоссе, к заводу «Австралия», стоят люди, машут руками

<sup>1</sup> Рис с кусочками жареного мяса.

идушим к фронту машинам. Флаг санбата над двухэтажным домиком. Электрический фонарик последнего поста...

По шоссе едем уже без фар, почти на ощупь.

## IX

Теперь я буду рассказывать о сражении на Плайя-Хирон.

Хотя нет. Дело как раз в том, что я не расскажу о всем сражении. Когда я попытался множество фактов, событий, которые стали мне известны лишь впоследствии, втиснуть, как в оболочку, в свои личные наблюдения, они начали рваться на лоскутки, не выдерживая напора материала.

Пришлось сделать выбор между позицией человека, который знает, и человека, который видел.

Я решил рассказать только о том, что увидел своими глазами на Плайя-Хирон и услышал своими ушами на Плайя-Хирон.

Причем услышал я мало. Вокруг происходили интереснейшие вещи. Шли, ползли, пили воду, лежали под бомбежкой, стреляли, спорили интереснейшие люди. Отдавались важные, определяющие весь ход событий приказы.

А я их не понимал. Иногда, несмотря на грохот стодвадцатидвухмиллиметровых орудий, на трескотню автоматов, я чувствовал себя так же, как, наверное, чувствует себя глухой, которого привели на симфонический концерт: он озирается то с любопытством, то беспомощно и обиженно.

С Отто Вильче в сутолоке мы вскоре друг друга потеряли. Большую часть времени я зависел от случайной встречи с человеком, говорящим по-английски. Время от времени такие люди находились. Иногда в самую важную минуту — нет.

В Гаване после событий на Плайя-Хирон забавно было встретиться с одним кубинским офицером. В штабе завода «Австралия» мы трудно разговаривали с ним на английском — он так и не понял, кто я такой. В Гаване выяснилось, что этот офицер неплохо говорит по-русски.

Из-за английского языка меня несколько раз арестовывали как американского шпиона. Это было обидно. А главное, я чувствовал, что у конвоировавших меня ребят не так уж много опыта в обращении с огнестрельным оружием, и знал, какой у этих бельгийских автоматов легкий спуск: чуть нажми пальцем...

Зато если позже, во время карибского кризиса, я твердо усвоил слово «тринчера» — окоп, во время циклона «Флора» слово «гинча» — буксир, и во время судебного процесса в Гаване над провокатором Маркосом Родригесом Альфонсо слово «колумниа» — клевета, то на Плайя-Хирон я навсегда запомнил слово «эрmano» — брат.

Там же я понял, что если очень захочется, если мобилизовать все внимание, собрать в закоулках памяти и музыкальные термины, и всю случайную латынь, то в нужный момент вдруг поймешь, что «авансе де инфантериа акомпаниада кон лос танкес» означает, что вскоре начнется наступление пехоты в сопровождении танков и нужно проситься в тот район.

И еще я понял, что на маленькой войне, так же как на большой, гибнут люди.

## Карта

Штаб разместился в одной из комнат конторы сахарного завода «Австралия». Два канцелярских стола. На одном — облупленный телефон, на другом — эlegantная пишущая машинка. За столом трое: худощавый команданте с усталым нервным лицом, Отто Вильче и я.

Я расстелил на столе свою туристскую карту Кубы, пытаюсь перенести на ее крошечные масштабы с огромной, во всю стену, генштабовской карты полуострова Сапата позиции противника, дороги, поселки, тропинки.

Если даже завод «Австралия» на большой карте выглядит настоящим городом, можно себе представить, как малы эти Кайо Раймон, Хики, Соплиар — обозначенные квадратиком деревеньки углежогов.

Команданте иронически смотрит на мою несерьезную карту и на мои усилия. Зазвонил телефон. Команданте поднял трубку. Нахмурился. Скользнул взглядом по генштабовской карте, потянулся за моей маленькой, на которой изображена вся Куба.

Его карандаш обвел кружком город Мариэль. Это совсем рядом с Гаваной. Километров на пятьдесят от нее к западу.

— Кажется, здесь началась высадка второго десанта...

Вот это да! Стоило мчаться к бухте Кочинос за триста пятьдесят километров, если сейчас начнутся бои за Гавану!

Молчим. Очень тревожные мысли лезут в голову. Не выдержав молчания, иду в коридор к бойцам.

### Старик

Коридор забит бойцами 339-го батальона народной милиции. Здесь спят, едят рис, наполняют обоймы. Позвякивает оружие, консервные банки, кто-то бормочет во сне, негр милисиано, прикрыв глаза, выстукивает на кружке сложный синкопический ритм.

Этот батальон, сформированный из рабочих города Сьенфуэгос, был послан несколько дней назад на завод «Австралия» помочь на уборке сахарного тростника. Кроме того, его бойцы несли дежурство у коротковолнового передатчика в поселке Плайя-Хирон.

Батальон первым на рассвете вступил в бой. Теперь его сменили на позиции курсанты Матансасского училища. Несколько бойцов обступили меня.

— Когда началась высадка, там было пятеро наших. Запишите фамилии: Рикардо Гарсия, Рамон Гонсалес, Израэль Фернандес, Антонио Пинеира, Рафаэль Аюста. Они передали по радио...

— Мы сбросили с грузовиков тростник и по шоссе — туда. А у Плайя-Ларга — пулеметы!

— Ну да, пулеметы... Танки! Орудия!

— Вижу, летит самолет. Наши знаки. А он как ударит... Эти сволочи намащивали на хвостах своих машин кубинский флаг...

— Честное слово, пуля пролетела от меня совсем рядом. Как птичка!

— Парашютисты прыгнули уже за нашей спиной.

Ребята возбуждены. Они были в бою, видели разрывы снарядов, сами стреляли, они запыленны, горды, переполнены впечатлениями. Перебивают друг друга, и оператору гаванского телевидения милисиано Армандо Аскесу, который выждался быть переводчиком, приходится туго. Я торопливо записываю.

А старик милисиано молчит. Прислонился к стене. Глаза у него воспаленные, красноватые. Нервно потирает небритую щеку. И постепенно под его взглядом гаснет возбуждение. Бойцы один за другим отходят. Круг поредел.

— Армандо, попросите и этого товарища рассказать что-нибудь.

Старик молчит.

— Ну, какой-нибудь случай! — настаиваю я.

Старик расстегнул карман, достал фотографию.

— Это наш взвод. Посередине — я. А крайний слева — мой сын Хесус. Он погиб сегодня.

*(Окончание следует)*



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Полвека советской литературы

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

★

### ЧТО Я ПОМНЮ О БЛОКЕ

*В ноябре 1965 года скончался Николай Корнеевич Чуковский, известный советский писатель, поэт и переводчик, автор романа «Балтийское небо», повестей «Последняя командировка», «Варя», «Княжий Угол» и многих других произведений. До последнего дня он работал над книгой своих воспоминаний, собираясь назвать ее «Правда и поэзия». Предлагаемый очерк об Ал. Блоке должен был открывать книгу. Воспоминания Н. Чуковского, не претендуя на сколько-нибудь полную характеристику Блока, дают некоторые новые штрихи к биографии поэта и рисуют атмосферу самых первых лет развития советской поэзии.*

#### 1. Я ВИДЕЛ БЛОКА

**А**лександра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911—1912 годах мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда семь лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. У выхода папа купил журнальчик «Обозрение театров», памятный для меня тем, что в каждом его номере печаталось чрезвычайно мне нравившееся объявление, на котором был изображен маленький человечек с огромной головой; он прижимал палец ко лбу, а вокруг его просторной лысины были напечатаны слова: «Я знаю все!»

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановясь под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно — оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестящем при ярком свете электрических фонарей.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

— Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Вероятно, я и запомнил его только оттого, что папа назвал его пьяным. В нашей непьющей семье мне никогда не приходилось встречаться с пьяными, и пьяные очень волновали мое воображение.

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты — так он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он обрюзг, лицо стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но расплывшееся тело с грудом умещалось во френче, который он носил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался высоким только когда сидел: когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста.

Помню, как он читал «Соловьиный сад» в «Доме поэтов» — учреждении, существовавшем в Петрограде летом и осенью 1919 года. Этот «Дом поэтов» помещался на Литейном, в том здании, которое известно старым ленинградцам под названием «дома Мурузи». Дом Мурузи должен был быть хорошо знаком Блоку потому, что в нем продолжительное время жили Мережковский и Гиппиус. Впрочем, в годы революции их там уже не было — они переехали на Сергиевскую, к Таврическому саду. «Дом поэтов» занимал в доме Мурузи небольшой зал, отделанный в купеческо-мавританском стиле, и еще две-три комнаты, служившие фойе.

Чтение «Соловьиного сада» происходило почему-то днем, — я хорошо помню, что свет падал из окна и за окном было солнце. Мне было пятнадцать лет, я знал большинство стихотворений Блока наизусть и боготворил его. Ни одно явление искусства никогда не производило на меня такого впечатления, как в те времена стихи Блока; я все человечество делил на два разряда — на людей, знающих и любящих Блока, и на всех остальных. Эти остальные казались мне низшим разрядом.

Я уселся в первом ряду; никакой эстрады не было. Блок сидел прямо передо мной за маленьким столиком. Читал он негромко, хрипловатым голосом, без очень распространенного тогда завывания, с простыми и трогательными интонациями:

Как под утренним сумраком чарым  
Лик, прозрачный от страсти, красив...

Чтение длилось недолго. Когда он кончил, я, потрясенный, первым выскочил в фойе. Я так взволновался, что мне захотелось побыть одному.

Чтение Блока слышал я не раз, и всегда оно потрясало меня. Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи?» в так называемом «Доме искусств» (Мойка, 59). Было это несколько позже — в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на плафоне. Блок читал глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как будто с трудом находил слова и перебирал ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Помню в этом же зале и чтение блоковских «Двенадцати» — тоже в году двадцатом. Читал не Блок, а его жена Любовь Дмитриевна, Блок же только присутствовал на эстраде. На этот раз там стоял столик, ничем не покрытый, Любовь Дмитриевна находилась позади столика, а Блок сидел сбоку на стуле, печально опустив голову и обратив к публике свой профиль. Любовь Дмитриевна читала шумно, театрально, с завыванием, то садилась, то вскакивала. На эстраде она казалась громоздкой и даже неуклюжей. Ее обнаженные до плеч полные желтоватые руки металась из стороны в сторону. Блок молчал. Мне тогда казалось, что слушать ее ему было неприятно и стыдно.

В те времена Горький был председателем «Дома искусств», а членами правления были и Блок и мой отец. Отец мой был, по-видимому, очень деятельным членом правления и потому имел позади библиотеки комнатку для занятий — нечто вроде служебного кабинета. В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной, и меня, чтобы уберечь от заразы, родители переселили в «Дом искусств», в этот «папин кабинет». Но уже через несколько дней заболел и я. Не знаю, была ли это скарлатина, но проболел я довольно долго и, главное, долго провалялся, потому что и тогда, когда мне стало лучше, меня никуда не пускали, чтобы я не разносил заразы. В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца. Им удалось выпустить всего два номера журнала, но собирались они часто и трудов положили много.

Одно заседание редакции состоялось как раз в той камнате за библиотекой

«Дома искусств», где я, выздоравливая, лежал в кровати. Блок пришел первым и, кажется, удивился, увидев меня. Спросил, будет ли здесь Корней Иванович. Негромкий, словно затрудненный голос его звучал глухо. Я, заранее предупредивший, сказал ему, что отец просит подождать. Блок сел на кровать у моих ног, опустил голову и не сказал больше ни слова.

Так прошло по крайней мере минут сорок. Темнело. Я смотрел на него сбоку. От благоговения и робости я не осмеливался заговорить, не осмеливался двинуться. Сгорбленный, с неподвижным большим лицом, печально опущенным, он был похож в сумерках на огромную птицу. Не знаю, думал ли он или дремал. Отец и Горький очень запоздали, но наконец пришли — оба. Отец включил свет, громко заговорил. Блок поднялся и пересел к столу.

Примерно в это же время Блок однажды посетил студию «Дома искусств» и руководимый Николаем Степановичем Гумилевым семинар поэзии, в котором я тогда занимался в качестве «студиста». Стагья Блока «Без божества, без вдохновенья», в которой он выступил против всей поэтики Гумилева, не была еще написана. Но мы, «студисты», знали, что отношения между Блоком и Гумилевым неважные. Гумилев на занятиях иногда разговаривал с нами о стихах Блока, и в словах его, сдержанных, сквозила враждебность. В глазах молодежи, посещавшей «Дом искусств», Блок и Гумилев были соперники, боровшиеся за первое место в русской поэзии. Любители поэзии делились на сторонников Блока и сторонников Гумилева. Конечно, сторонников Блока в широких кругах молодежи было больше, чем сторонников Гумилева. Но в кругах, тяготевших к «Дому искусств», преобладали сторонники Гумилева. А уж в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторонниками — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете.

Блок явился к нам на семинар в сопровождении двух женщин. Помню, одна из них была его тетка Мария Андреевна Бекетова. Кто была вторая, я забыл; может быть, и не знал. Мы, «студисты», человек двенадцать — пятнадцать, сидели вокруг стола: перед нами лежали расчерченные таблицы, которыми, согласно учению Гумилева, следовало руководствоваться при писании стихов. Стол, стоявший посреди комнаты, был узкий и длинный, и возле узкого его края спиной к двери сидел Гумилев — в длинном сюртуке, в твердом накрахмаленном воротничке, задиравшем его голову кверху. Когда вошел Блок со своими спутницами, он повернулся и встал. Блок и его дамы уселись не за стол, а на стульях, стоявших у стены. Гумилев опять занял свое председательское место. Решено было, что «студисты» прочтут свои стихи.

Читали обе сестры Наппельбаум, Константин Вагинов, Даниил Горфинкель и, вероятно, еще кто-то. Я, к счастью, не читал. Блок слушал хмуро, с брезгливым вниманием. Он не сделал ни одного замечания, ничего не похвалил. Только время от времени просил:

— Еще.

Ему читали еще, а он слушал все так же хмуро.

Кое-кому из читавших задавал он вопросы, но вопросы эти к стихам непосредственного отношения не имели. Фредерику Наппельбаум, например, он спросил:

— Что вы больше всего любите?

И она ответила:

— Ветер.

Пробыв у нас около часа, он ушел с обеими дамами. Так как всем было ясно, что стихи ему не понравились, а между тем все ему прочитанное на семинаре признавалось самым лучшим, то, естественно, участники семинара пришли в недоумение. Глаза Николая Степановича, обычно торжественные, поблескивали насмешливо, и было решено, что Блок либо не понимает в стихах, либо просто относится к «студистам» недоброжелательно.

Потом я видел его только однажды — на посвященном ему вечере в Большом Драматическом театре на Фонтанке. Стояла мокрая, грязная весна. Театр был полон взволнованной толпой. Отец мой прочитал свою статью о Блоке. Потом



читал Блок. Я сидел в далекой ложе, и слабый голос его едва до меня доносился через огромный театральный зал. Блок показался мне на этот раз похudevшим и как бы уменьшившимся.

О смерти его я услышал в Псковской губернии, в-бывшем гагаринском имении Холонки. Я плакал весь день. Мой приятель и однолеток князь Петя Гагарин, никогда до тех пор не слыхавший о Блоке, спросил меня:

— А что, Блок твой родственник?

## 2. БЛОК И РУССКИЙ ДЭНДИ

Есть у Блока статья — «Русские дэнди», — написанная 2 мая 1918 года. В этой статье Блок рассказывает, как первой революционной зимой он принял участие в каком-то благотворительном вечере и как в артистической встретился с каким-то молодым человеком. Он пишет:

«...Барышня попросила молодого человека прочесть стихи в этой интимной обстановке.

Молодой человек, совершенно не жеманясь, стал читать что-то под названием «Танго». Слов гам не было, не было и звуков; если бы я не видел лица молодого человека, я не стал бы слушать его стихов, представляющих популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами. Но по простому и серьезному лицу читавшего я видел, что ему не надо никакой популярности и что есть, очевидно, десять—двадцать человек, которые ценят и знают его стихи. В нем не было ничего поддельного и кривляющегося, несмотря на то, что все слова стихов, которые он произносил, были поддельные и кривляющиеся».

Через страницу Блок продолжает:

«Нам с молодым человеком было не по пути, но он пошел провожать меня с тем, чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее:

— Все мы — дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии. Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.

Он продолжал равнодушно:

— Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но, если осуществится социализм, нам останется только умереть; пока мы не имеем понятия о деньгах; мы все обеспечены и совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь грудом. Все мы — наркоманы, опиисты; женщины чаши — нимфоманки. Нас — меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть — Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, Маяковского, но все это уже пресно: все это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга.

Молодой человек стал читать наизусть десятки стихов современных поэтов. Дул сильный ветер. был мороз, не было ни одного фонаря. Мне было холодно, я ускорию шаги, он также ускорил; на быстром шагу против ветра он все так же ровно читал стихи, ничем друг с другом не связанные, кроме той страшной, эпустошающей душу эпохи, в которую они были созданы.

— Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? — почти непронзвольно спросил наконец я.

Молодой человек откликнулся, как эхо:

— Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы — пустые, совершенно пустые.

Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за его словами была несомненная искренность и какая-то своя правда...»

В конце этого разговора молодой человек сказал Блоку:

« — Вы же ведь и виноваты в том, что мы — такие.

— Кто — мы?

— Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень.

Я не сумел защититься; и не хотел; и... не мог. Мы простились — чужие, как встретились...»

Я хорошо знал этого молодого человека, о котором Блок рассказывает в своей статье. В течение многих лет он был моим ближайшим другом. Звали его — Валентин Иосифович Стенич.

Впрочем, подружился я с ним лет через семь после его встречи с Блоком. Но, зная его, я хорошо представляю себе, каким он был тогда, в начале 1918 года, двадцатилетним юнцом. И он сам неоднократно рассказывал мне об этой встрече.

Он благоговел перед Блоком, знал все им написанное наизусть — все три тома стихотворений, и поэмы, и пьесы. Для него Блок был гений, и притом из всех гениев человечества — наиболее близкий ему душевно; когда он читал кому-нибудь стихи Блока, он поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Встреча с Блоком была для него грандиозным событием. Тем, что Блок написал об этой встрече целую статью, он гордился до последнего своего дня.

— Все-таки мне удалось его обмануть! — восклицал он восторженно.

Конечно, вначале он надеялся не обмануть Блока, а восхитить. И начал он с того, что стал читать Блоку свои стихи. Но сразу почувствовал, что совершил ложный шаг — стихи Блоку не понравились. Тут сказало, что Стеничу было всего двадцать лет — будь он постарше, он не сделал бы подобной ошибки. Но в двадцать лет считать свои стихи хорошими простительно даже очень умному человеку. Почувствовав, что восхитить Блока он не в состоянии, он решил его хотя бы поразить. И это ему удалось — но с помощью обмана.

Обман заключался в том, что он представил Блоку вместо себя вымышленный образ, не имевший ничего общего с реально существовавшим Стеничем. Он сказал: «Если осуществится социализм, нам останется только умереть». А между тем он был яростным сторонником социализма и через месяц после разговора с Блоком вступил в большевистскую партию и уехал на фронт на Украину, где провоевал всю гражданскую войну в Красной Армии. Он сказал: «Все мы — наркоманы, опиисты». А между тем он никогда в жизни не употреблял никаких наркотиков и даже к спиртным напиткам прибегал редко. Он страстно любил стихи, но вовсе не стихи Бальмонта. И неправда, что он любил только стихи, — он жадно и деятельно интересовался всем, что происходило вокруг него, и любил лишь такие стихи, в которых отражалась жизнь. Из старых поэтов он любил Пушкина — он мог прочесть наизусть всего «Евгения Онегина», ни разу не сбившись, — Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Полонского — то есть тех самых, которых любил Блок. Из поэтов начала XX века он выше всего ставил Блока и любил — впрочем, значительно меньше — Сологуба, Ахматову, Маяковского, Мандельштама. Впоследствии он влюблялся в стихи Александра Прокофьева, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Заболоцкого, раннего Твардовского, и когда он сказал Блоку, что «мы — пустые, совершенно пустые», и это «вы, современные поэты», сделали нас такими, — это был обман, чистейший вымысел.

Обман этот полностью удался. Он удался потому, что предложенный Блоку вымышленный образ чрезвычайно Блока взволновал и растревожил. Он до того его взволновал, что Блок о своей мимолетней встрече с двадцатилетним мальчишкой три месяца спустя написал целую статью, и не просто статью, а статью, полную мучительной полемики по самым болезненным для Блока вопросам. Блок, только что написавший «Двенадцать», ненавидевший буржуазию и проклинаемый всеми своими бывшими друзьями как отступник, терзался сомнениями и в том, правилен ли был весь его прежний путь, и в том, правилен ли путь новый и не кончится ли вместе с буржуазией культура. Февраль 1918 года был самый трудный момент его жизни. И Валя Стенич, мгновенно отгадав, что творится у него в душе, предстал пред ним, как демон-искуситель. Он ворвался в эту замкнутую, предельно сложную, для всех других неясную душу и рассчитанно, без промаха говорил именно то, что могло причинить этой душе боль. Он произносил вслух те самые мысли, которые Блок гнал от себя. Блок победил искушение. Но Стенича запомнил крепко.

Для такого искушения нужен был большой ум. И дар понимания чужой души, даже самой сложной.

### 3. БЛОК И ГУМИЛЕВ

В апреле 1921 года, за три месяца до смерти, тяжело больной Блок написал удивительную статью «Без божества, без вдохновенья», полную темперамента и злости. Эта резкая полемическая статья целиком направлена против Гумилева и его учения о сущности поэзии.

О стихах Гумилева в статье этой не говорится ничего. Только одна фраза свидетельствует, что стихи его Блоку не нравились. Блок пишет: «В стихах самого Гумилева было что-то холодное и иностранное, что мешало его слушать». Все острие статьи направлено против Гумилева — теоретика поэзии.

Вначале Блок с необыкновенной отчетливостью излагает свои собственные взгляды на русскую культуру и русскую поэзию.

«Поэзия и проза, — пишет он, — как в древней Руси, так и в новой, образовали единый поток, который нес на своих волнах, очень беспокойных, но очень мощных, драгоценную ношу русской культуры...

Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет в себе драгоценную ношу национальной культуры... Когда начинают говорить об «искусстве для искусства», а потом скоро — о литературных родах и видах, о «чисто литературных» задачах, об особенном месте, которое занимает поэзия, и т. д. и т. д., — это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и не жизненно. Мы привыкли к окрошке, ботвинье и блинам, и французская травка с уксусом в виде отдельного блюда может понравиться лишь гурманам. Так и «чистая поэзия» лишь на минуту возбуждает интерес и споры среди «специалистов»; споры эти потухают так же быстро, как и вспыхнули, и после них остается одна оскомина; а «большая публика», никакого участия в этом не принимающая и не обязанная принимать, а требующая только настоящих живых художественных произведений, верхним чутьем догадывается, что в литературе не все благополучно, и начинает относиться к литературе новейшей совсем иначе, чем к литературе старой...»

Изложив свои собственные взгляды на вопрос, Блок переходит к яростной полемике. Сначала он насмешливо разбирает дореволюционную статью Гумилева

о поэзии, напечатанную в журнале «Аполлон». Затем переходит к последней статье Гумилева, называвшейся «Анатомия стихотворения» и напечатанной в сборнике «Дракон», вышедшем в самом начале 1921 года:

«Н. Гумилев вещает: «Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком, а не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы».

Это жутко. До сих пор думали совершенно иначе: что в поэте непременно должно быть что-то праздничное, что для поэта потребно вдохновение; что поэт идет «дорогою свободной, куда влечет его свободный ум», и многое другое, разное, иногда прямо противоположное, но всегда — менее скучное и менее мрачное, чем приведенное определение Н. Гумилева.

Далее говорится, что каждое стихотворение следует подвергать рассмотрению с точки зрения фонетики, стилистики, композиции и «эйдолологии». Последнее слово для меня непонятно, как название четвертого кушанья для Труффальдино в комедии Гольдони «Слуга двух господ». Но и первых трех довольно, чтобы напугать. Из дальнейших слов Н. Гумилева следует, что «действительно великие произведения поэзии», как «поэмы Гомера и Божественная Комедия», «уделяют равное внимание всем четырем частям», «крупные» поэтические направления — обыкновенно только двум; меньше — лишь одному; один «акмеизм» выставляет основным требованием «равномерное внимание ко всем четырем отделам».

Сопоставляя старые и новые суждения Гумилева о поэзии, мы можем сделать такой вывод: поэт гораздо лучше прозаика, а тем более — литератора, ибо он умеет учитывать формальные законы, а те — не умеют; лучше же всех поэтов — акмеист; ибо он, находясь в расцвете физических и духовных сил, равномерно уделяет внимание фонетике, стилистике, композиции и «эйдолологии», что в пору только Гомеру и Данте, но не по силам даже «крупным» поэтическим направлениям.

Не знаю, как смотрит на это дело читатель; может быть, ему все равно; но мне-то — не все равно...

Когда отбросишь все эти горькие шутки, становится грустно; ибо Н. Гумилев и некоторые другие «акмеисты», несомненно даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют, не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают главное, единственно ценное: д у ш у.

Если бы они все развязали себе руки, стали хоть на минуту корявыми, неотесанными, даже уродливыми, и оттого больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют; они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими; во всяком случае говорить с каждым и о каждом из них серьезно можно будет лишь тогда, когда они оставят свои «цехи», отрекутся от формализма, проклянут все «эйдолологии» и станут самими собой».

Эйдолология!.. Когда сейчас, спустя столько десятилетий, я натываюсь на это удивительное, неуклюже громоздкое слово, я вспоминаю голос, который проносил его, голос торжественно важный, немного в нос, голос Николая Степановича Гумилева. Я вспоминаю его самого, сидящего во главе стола на стуле с высокою спинкой из резного дуба, прямого, важного, со слегка косыми, строгими,

но добрыми глазами, сквозь клубы папиросного дыма неторопливо и торжественно вещающего нам тайны поэзии. Вокруг стола на таких же высоких стульях сидят мои товарищи по семинару, юноши и девушки от пятнадцати до двадцати лет — две сестры Наппельбаум, Владимир Познер, Нина Берберова, Константин Вагинов, Даниил Горфинкель и еще человек десять, — и усердно записывают. Я уже рассказал о том, как Блок посетил наши занятия. Теперь мне ясна цель его посещения. Он готовился к статье против Гумилева.

Искусство поэзии Николай Степанович ставил чрезвычайно высоко. Он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия — самое главное и самое почетное из человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий. Слово «поэт» он произносил по-французски — *poète*, а не п а э т, как произносим мы, обыкновенные русские люди. Неоднократно слышал я от Гумилева утверждение, что поэт выше всех остальных людей, а акмеист выше всех прочих поэтов. А так как окружающим его было ясно, что он лучший из акмеистов, то нетрудно понять, откуда происходила у него уверенность в своем превосходстве над всеми.

В учебном заведении, которое вначале именовалось Студией издательства «Всемирная литература», а потом Студией «Дома искусств», Гумилев две зимы вел семинар по поэзии — зиму 1919/20 года и зиму 1920/21 года. Я был усердным посетителем этого семинара в течение обеих зим. Впоследствии, спустя десятилетия, многие любопытствующие спрашивали меня, что преподавал Гумилев на этом семинаре. О семинаре Гумилева в среде любителей поэзии сложилось немало легенд, и от меня хотели узнать, что в этих легендах правда, а что вымысел. Особенно упорным является предание, будто Гумилев заставлял своих учеников чертить таблицы и учил их писать стихи, бросая на эти таблицы шарик из хлебного мякиша. Так вот: таблицы были, шарика не было.

Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно-заданных, годных для всех времен и для всех поэтов, не зависящих ни от судьбы того или иного творца, ни от любых общественных процессов.

Стихи, по его мнению, мог писать каждый, для этого следовало только овладеть приемами. Кто овладеет всеми приемами, тот будет великолепным поэтом. Чтобы легче было овладевать приемами, он их систематизировал. Эта систематизация и была, по его мнению, теорией поэзии.

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдолологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха — ритмы, инструментовку, рифмы. Стилистика рассматривает впечатления, производимые словом в зависимости от его происхождения. По происхождению все слова русской речи Николай Степанович делил на четыре разряда: славянский, атлантический, византийский и монгольский. В славянский разряд входили все исконно русские слова, в атлантический — все слова, пришедшие к нам с Запада, в византийский — греческие, в монгольский — слова, пришедшие с Востока. Композиция тоже делилась на много разрядов, из которых главным было учение о строфике. Эйдолологией именовался отдел, исследующий образы (эйдол — идол — образ).

Так как каждый отдел и каждый разряд делились на ряд подразделов и подразрядов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом листе бумаги в виде наглядной таблицы, что мы, участники семинара, и обязаны были делать с помощью цветных карандашей. Подразделы и подразряды располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Гумилев утверждал, что чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов приведено в нем в столкновение и, следовательно, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик — сверху вниз или справа налево. Таким

образом, эта таблица, по мнению ее изобретателя, давала возможность не только безошибочно и объективно критиковать стихи, но и писать их, не рискуя написать плохо.

Мы, студисты, усердно сидели над своими таблицами и тем не менее писали на удивление скверные вирши. На семинарах мы читали их поочередно, по кругу, и Николай Степанович судил нас. Когда по кругу приходила его очередь, читал и он — новые стихи, написанные в промежутке между двумя семинарами.

Он много писал в те годы, то были годы расцвета его очень своеобразного дарования. Я тогда — единственный в семинаре — не любил его стихов, хотя вопреки логике знал их наизусть. Впоследствии я не раз менял к ним свое отношение, но помнил их всегда. И всегда я задавался вопросом — неужели он писал их по своим таблицам? Одно для меня несомненно — к таблицам он относился совершенно серьезно.

Вся эта «теория поэзии» была наивнейшая схоластика, педантская, анти-историчная, похожая на средневековые «риторики». И кажется удивительным, что подобной мертвечиной мог увлечься живой и страстный поэт в такие бурные годы, на таком крутом историческом переломе. В чем тут дело, спросите вы. А дело в том, что вся эта наивная схоластика была от начала до конца полемична. Она была направлена —

во-первых, против представления, что поэзия является выражением тайного тайных неповторимой человеческой личности, зеркалом подлинной отдельной человеческой души;

и, во-вторых, против представления, что поэзия отражает общественные события и сама влияет на них.

В те годы оба эти враждебных Гумилеву представления о поэзии с особой силой были выражены в творчестве Блока. Стихи Блока представляли собой лирический дневник, отражавший душевную жизнь одной отдельной человеческой личности. И именно Блок был оразителем жизни русского общества, написал гениальные стихи о России, написал поэму «Возмездие», полную раздумий о судьбе России, написал поэму «Двенадцать», в которой воспел Октябрьскую революцию. И все эти таблицы с анжамбеманами, пиррихиями и эйдолологиями были вызовом Блоку.

И мы, тогдашние свидетели их борьбы, понимали это, и таблицы не казались нам бесстрастными. Понимал это и Блок. Он принял вызов.

Большой предсмертной болезнью, он написал самую резкую из своих статей, в которой вступился за право поэзии отражать человеческую душу, служить своему народу, защищать его правду и мучиться его болью.



---

---

И. ТРАВКИНА

★

## РЕКЛАМА И КНИГА, ИЛИ «ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ»

1

**Д**еловой разговор удобно начать с цифр. В 1965 году вышло в свет одних только произведений художественной литературы 7257 названий, в первой половине 1966 года — 3122 названия. Иначе говоря, ежедневно на книжных прилавках появляется девятнадцать—двадцать романов, повестей, сборников пьес и стихов. Бесперывно растет число книжных магазинов и библиотек. Не пустой фразой будет сказать, что читателем сегодня стала вся страна.

Прошли те наивные времена, когда пушкинский книгопродавец соединял в своем лице и представителя публики, и издателя, и коммерсанта, и первого критика рукописи, которую поэт передавал ему прямо из рук в руки.

Ныне издательствам, планирующим свою деятельность, надо знать, какими тиражами издавать те или иные книги, какие книги следует переиздавать, от каких изданий можно отказаться. Издательства нуждаются в информации или хотя бы в предварительном прогнозе: как пойдет книга, будет ли она иметь успех у читателя и покупателя. На этот вопрос должны ответить книготорги и библиотеки.

В свою очередь библиотекари и книгопродавцы хотят знать, какие книги и сколько они смогут приобрести в текущем году. Потребность во взаимной информации вызвала к жизни такую форму заочного знакомства с книгой, как тематические планы издательства.

Планы рассылаются задолго до начала года в книжные магазины и библиотеки. Сотни тысяч продавцов книг и библиотекарей просматривают эти планы и заказывают по ним (так называемый предварительный заказ) книги. Затем собранные по всей стране цифры возвращаются в издательства: на основе этих цифр устанавливаются тиражи.

Аннотация в тематических планах издательств в чем-то отвечает естественной потребности книжного работника заранее знать, не зря ли он заказывает книгу в десяти, двадцати, ста экземплярах; купят ее покупатели, или она ляжет неподвижным грузом на складе; возмут ее читатели, или она будет пылиться на библиотечной полке, занимая место, которого и без того мало.

Но дело не ограничивается одними лишь тематическими планами; аннотации перекочевали в книги, стали как бы их «одежкой». по которой встречают книгу читатели (кстати, прикнижные аннотации — это обычно те же слегка отредактированные аннотации из тематических планов), перешли в аннотированные карточки Книжной палаты и в многочисленные библиографические указатели.

Таким образом, мы имеем дело со своеобразным «малым жанром» критики, причем жанром, находящимся в особом положении, поскольку здесь суждение о книге предшествует знакомству с ней самого читателя. Тем любопытнее разобраться в законах этого стихийно возникшего жанра, его причудах и странностях.

## 2

Прежде чем говорить об этих «странностях», я хотела бы задать читателю несколько вопросов. Мысленно представляю себе такой диалог:

— А для чего вообще нужна аннотация?

— Мы хотим получить кое-какие сведения о будущем романе, повести, стихах.

— Какие именно? Вас интересует, кто автор книги?

— Да, конечно!

— О чем в ней рассказывается?

— Наверное.

— Где происходит действие?

— Вероятно.

— Кто и каковы ее герои?

— Не зна-а-ю...

— Хорошая это книга или плохая?

— Да, да, да! Это обязательно! Ведь интересующие меня события в интересующем меня месте могут быть описаны и хорошо и плохо. И вообще при чем здесь события?.. Меня интересуют люди, характеры... И потом хотелось бы знать, чем отличается эта книга от всех других, в чем особенность именно этого художника, потому что, если это настоящий художник...

— И все это вы хотите узнать из аннотации? Узнать из крохотной рекламной заметочки то, что не всегда удастся выяснить критику в обширной статье?..

Да, прекрасно было бы, если бы «потребитель» книги, еще не прочитав ее, заранее узнавал, какую книгу он заказывает или покупает — хорошую или плохую, кто ее автор — зрелый мастер или беспомощный ремесленник... Но возможно ли это? Может ли аннотация ставить перед собой такие задачи? Может ли она давать качественную оценку книге?

— Так ведь дает, — ответят мне. — В любой аннотации есть эта качественная оценка. И всегда положительная: критический, негативный тон по отношению к аннотируемой книге заранее исключен.

Работая над этой статьей, я прочитала около тысячи аннотаций на художественную литературу в тематических планах 1967 года издательств «Советский писатель», «Молодая гвардия», Воениздат, «Московский рабочий», «Советская Россия» и хочу поделиться своими наблюдениями с читателями.

Авторов-прозаиков (о поэтах речь впе-

реди) аннотации представляют нам следующим образом:

«Молодой талантливый писатель... умеет создавать живые, обобщенные образы» (СП, 42)<sup>1</sup>, «талантливый мастер слова» (СП, 66), «автор талантливых романов о нашей современности» (В, 111), «мастер лирического пейзажа» (СП, 125), «прекрасный мастер прозы, оригинальный художник слова» (СП, 138), «мастер образа положительного героя» (СП, 174), «тонкий, наблюдательный художник, пытливый исследователь жизни» (СП, 38), «тонко чувствует русскую природу... великолепно рисует русский пейзаж, находит точные краски для обрисовки истинно русских характеров своих героев» (СР, 75), «обладая даром тонкого психологического анализа, автор рисует жизнь во всех ее аспектах» (МР, 64).

Все или почти все наши прозаики, согласно аннотациям, пишут:

«убедительно и зримо» (СП, 25), «взволнованно» (СП, 71), «заинтересованно и талантливо» (МГ, 152), «тепло, колоритно» (В, 116), «правдиво и ярко» (СП, 51, 64), «правдиво и увлекательно» (МГ, 129), «правдиво, тепло и лирично» (В, 104), «немногословно, правдиво и выразительно» (СР, 170), «глубоко и правдиво» (МР, 107), «психологически углубленно и ярко» (МГ, 147), «ярко, эмоционально» (МГ, 147), «эмоционально и поэтично» (МГ, 149), «увлеченно» (МГ, 104), «ненавязчиво, мягко» (СП, 47), «просто, душевно» (СР, 173), «с большой выразительностью» (СП, 31), «с присущим автору талантом и мастерством» (СП, 174), «с присущим ему чувством меры» (МГ, 129), «в яркой, живописной манере» (МГ, 116), «в увлекательной приключенческой форме» (МГ, 122), «лаконичным, выразительным языком» (СП, 52), «лиричным языком» (МГ, 154), «ярким,

<sup>1</sup> Ссылки на издательские тематические планы здесь и далее даны в сокращениях: СП — «Советский писатель», В — Воениздат, МГ — «Молодая гвардия», СР — «Советская Россия», МР — «Московский рабочий». Цифры обозначают страницы в соответствующих изданиях.



красочным языком» (СР, 70), «выразительным образным языком» (СР, 79), «простым и образным языком» (МР, 66), «ярким, образным языком» (МР, 107).

Произведения всех этих «правдиво и ярко» пишущих авторов обладают следующими достоинствами:

«Миниатюры богаты мыслью и чувством» (СП, 52), «роман... поднимает глубокий пласт жизни, открывает читателям богатые россыпи мыслей и чувств» (МР, 64), «роман... отличается подкупающей искренностью повествования» (СП, 55), «глубокой человечности и подлинного оптимизма исполнена повесть» (СП, 57), «приключенческая по форме повесть проникнута тонким лиризмом» (МГ, 106), «повести... согреты лирикой, юмором, любовью к человеку» (МГ, 149), «сюжетная динамичность романа сочетается с углубленностью даваемых в нем психологических портретов» (СП, 51), рассказы «привлекают глубиной психологического раскрытия образов» (МГ, 141), «повесть отличается острым сюжетом и глубокой психологической характеристикой действующих лиц» (В, 101), «рассказы... отличаются лиричностью и глубиной проникновения в сущность человеческих характеров» (СР, 75), «манеру повествования... отличают глубокий психологизм, подлинная лиричность и простота» (СР, 79), «художественная манера... характерна углублением в психологию героев, тщательным исследованием их мыслей и чувств в сложных обстоятельствах жизни» (СР, 83), «рассказам присущи лаконизм, красочность, глубина в изображении психологии героев» (МР, 108).

В конце аннотации обычно выражается уверенность в прекрасном будущем книги:

«Читатель с интересом прочтет» (СП, 62), «читатель с увлечением прочтет» (МР, 61), повесть, «несомненно, вызовет большой интерес у читателей» (МГ, 107), «книга... привлечет внимание самых широких кругов читателей» (МР, 66), «эти и многие другие люди надолго останутся в памяти и в сердце читателя» (СП, 20), «книга... с

интересом будет встречена читателями» (МР, 64).

В самых же «нетерпеливых» аннотациях заранее определяется, чему должна научить книга читателя, с кого он должен брать пример, к какому выводу, прочитав книгу, он должен неминуемо прийти:

«Роман... учит страстной борьбе с силами зла и мрака» (МР, 108), «рассказы учат благородству, мужеству, непримиримости ко всему низменному» (СР, 90), «жизнь и дела (героини.— И. Т.) могут служить вдохновляющим примером» (МГ, 104).

Как нетрудно убедиться, составители аннотаций не гонятся за новизной характеристик или хотя бы чисто словесным разнообразием. Можно даже рискнуть составить некую типовую модель, пригодную для любой аннотации в той ее части, где прославляются автор и его книга. Она будет выглядеть примерно так: «Талантливый писатель, мастер слова, тонкий, наблюдательный художник, пишет правдиво, ярко, эмоционально, поэтично, красочно. Его повести, романы, рассказы богаты мыслью и чувством, отличаются глубоким психологизмом, лиричностью, точностью и остротой художественного видения... Читатель с неслабевающим вниманием, волнением следит... Книга, несомненно, вызовет большой интерес».

Аннотация, таким образом, создается при помощи готовых словосочетаний-блоков, легко взаимозаменяемых и переставляемых. Все дело в степени мастерства редактора-составителя, способного создать видимость разнообразия посредством комбинаций и перестановок ограниченного числа слов-блоков.

Но, быть может, более дает читателю та часть аннотации, которая посвящена идейному содержанию и сюжету книги? Возьмем наугад такой пример:

«В центре романа — драматическая судьба молодой советской женщины Лили Кузнецовой. Жизнь Лили, ее детство, юность, зрелость, перипетии ее любви, увлечения и разочарования, горе и его преодоление даются писателем в ситуации сложных, часто суровых, но показанных всегда правдиво».

во и убедительно. Ничего не скрывая и не утаивая, писатель остро ставит вопрос о моральной ответственности человека за свои поступки. В романе изображены люди, сумевшие пронести через все невзгоды и испытания твердую веру в честь и достоинство советского человека.

Продедаем такой эксперимент. Исключим из аннотации всего несколько слов: определение «советская», собственное имя героини... А теперь вспомним... ну, хотя бы роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Право же, эта рекламная одежда так просторна, что кому хочешь придется впору.

Чаще всего по содержанию аннотации невозможно догадаться, о какой книге идет речь. Кто ее автор? Толстой? Тургенев? Шолохов? Фолкнер? Мориак? Анатолий Гладилин?

Воспроизведу несколько аннотаций на поэтические сборники. Здесь индивидуальность авторов становится особенно неразличимой, их лица обобщенно-непроницаемыми.

«Бессмертные идеи воинствующего гуманизма, большие и страстные мысли о внимании к человеку, о ценности человеческой жизни, остро и нервно написанные... экскурсии в родную историю — вот основные темы настоящего сборника» (СП, 83).

«Сердечная, проникновенная лирика... раскрывает богатство духовного мира советского человека, борется за утверждение высоких моральных устоев нашей жизни... Поэт размышляет о судьбах мира, о революционных традициях, делится своими раздумьями о творчестве. Это книга о нашем сегодняшнем дне, о наших буднях и праздниках, о счастье и любви» (СП, 109).

«Поэт вводит нас в мир «звездной техники», в мир огня и дерзких планов советских покорителей космоса... сумел передать в своих стихах поэзию труда и творческого поиска, поэзию веры в человека и глубокой любви к земной красоте, органически спаянной со всем тем, что творит наш современник» (СП, 109).

«Это книга о поисках человеческого доверия и теплоты. В центре ее — биография сердца, подробная летопись. Он умеет связывать свое сердце

со всем миром, с землей, с нежностью, с мужеством любви ко всему обычному. Именно она, эта любовь к простым людям, определяет направленность книги... Стихи его гражданственны, открывают доверчивую любовь к земле людей. Интонация книги ясная, распевающая» (МГ, 168).

«У книг... всегда особый... характер. Лиризм и публицистичность. Точность слова и объемность. Задушевность и прямота. Стремительность и плавность. Все эти качества присущи и новой его книге. Круг тем ее также широк и разнообразен. Природа среднерусской полосы, тихая красавица Десна, люди села — и — космос! Гром ракетодомов, межзвездная даль. Героическое прошлое нашего народа и созидющее сегодня. Человек — мужественный, мудрый и любящий» (СП, 84).

«В новых стихах... уже нет безмятежности, характерной для многих его ранних произведений. Но вместе с тем у него еще более окрепло одно из главных качеств подлинной поэзии — вера в нашего человека, жизнеутверждающий взгляд на мир. Стих... по-прежнему радуется отточенностью, метафоричностью, глубиной и силой сказавшихся в нем чувств. В художественном арсенале поэта необычайно богатый выбор изобразительных средств — от броского, меткого эпитета до паузы, где за недосказанностью кроется глубина переживаний» (СП, 159).

Выше были воспроизведены аннотации на сборники стихов поэтов Н. Грибачева, С. Щипачева, грузинского поэта М. Квлицидзе, А. Вознесенского, начинающего поэта А. Щербакова, В. Цыбина. Любителям и знатокам поэзии предлагается отгадать, к какому поэту какая аннотация относится...

Приводимые до сих пор аннотации — это, так сказать, описательно-рекламная их разновидность. Пересказ сюжета в них почти отсутствует. Однако и большинство «сюжетных» аннотаций построено таким образом, будто авторы книг, о которых идет речь, начисто лишены творческого воображения и достаточно прочтешь одну книгу, чтобы быть знакомым с десятками других, ей подобных. Легко представить себе типовой проект содержания книги согласно тому, как представляет ее изда-

тельство. Ее реальная модель выглядит примерно так:

«В многолинейном, широком по охвату произведении...» (СП, 28). Есть варианты: «в этом широком многоплановом произведении» (СП, 58), «в центре этого многопланового произведения» (В, 109), «герои многопланового романа» (СП, 44) и т. д.

«Автор раскрывает сложный путь становления» (СП, 143). Варианты: автора «интересует процесс становления характера» (МГ, 146), «обе повести посвящены проблемам нравственного и гражданского становления личности в нашем обществе» (СП, 67), «в центре внимания писателя — становление детских характеров» (СР, 73), «в первой повести показано становление молодого офицера в условиях мирного времени» (В, 96).

«Все это сложные характеры, люди с трудной судьбой» (СП, 121). Варианты: «славная и трудная судьба» (СП, 20), «драматично складывается судьба» (СП, 25), «трудная судьба выпала этим ребятам» (МГ, 110), «о сложной судьбе этих двух героев рассказано в повести» (СР, 116), «читателю запомнятся герои повести, их разные, порой драматические судьбы» (СР, 119).

«Писатель знакомит нас с судьбами людей очень разных... но всех их объединяет чувство товарищества, чувство ответственности за дело, которому они служат» (СП, 30). Варианты: «самых разных по характеру, возрасту и профессии героев объединяет общее стремление жить в полную меру своих сил» (СП, 51), «у каждого из них... своя судьба... Но всех их объединяет гуманность, деловая принципиальность и честность» (СР, 70), «герои рассказов... совсем не похожи друг на друга... Однако всех героев объединяет стремление осознать свой долг перед людьми» (МР, 108).

Героиня (герой) повести «самоотверженно преодолевает трудности, выпавшие на ее (его) долю... про-

ходит сквозь все испытания... сохранив внутреннюю чистоту и человеческое достоинство» (МГ, 136). Варианты: «автор смело говорит о тех трудностях, которые приходится преодолевать его героям» (СП, 132), «пройдя сквозь горнило тягчайших испытаний... выходят из этих испытаний еще более чистыми, закаленными, готовыми к новым делам на пользу людям» (СП, 61), «в повести показано, как друзья и единомышленники, преодолевая трудности, ищут и находят путь к решению общих задач, поставленных перед ними жизнью» (МР, 66), «герой сквозь все испытания, горести и мучения... сумел пронести честь и достоинство советского человека» (СП, 81).

Видимо, утомившись однообразием подобных характеристик, составители аннотаций стали прибегать порой, не мудрствуя лукаво, к краткому и вполне конкретному пересказу сюжета:

«Восемнадцатилетнюю Мотрю увезли в фашистскую Германию. Вернулась она в родное село позже других, с ребенком на руках, а здесь ее ждал Микола Головань. Они любили друг друга и поженились бы, если бы не война. Микола ушел на фронт, был ранен — ему оторвало руку. Вернувшись домой, Микола, продолжая любить Мотрю, ждал ее и, когда она приехала, не спрашивая ни о чем, женился на ней. О том, какие испытания выпали на долю Мотри в фашистской Германии, как сложилась жизнь Миколы и Мотри в селе после ее возвращения, и повествуется в этом романе» (СП, 128).

Такая конкретная «сюжетная» аннотация на первый взгляд кажется лучше «обобщенной». Она по крайней мере не может быть приложена к десятку, сотне разных книг. Но дает ли эта аннотация читателю возможность догадаться, знакомство с какой книгой ожидает его?..

### 3

Итак, пора сделать некоторые выводы.

Проработав много лет библиографом, я по долгу службы читала, да не просто читала — изучала аннотации (и даже, признаюсь, сама составляла их, и, возможно, не

лучше, чем те, которые только что приводились, — ведь такова установившаяся манера аннотирования). Очень скоро я научилась пропускать «мимо глаз» все содержащиеся в аннотациях хвалебные оды в честь авторов и их произведений и извлекать из аннотаций лишь так называемую полезную информацию.

Иначе нельзя было. Иначе легко было растеряться и оробеть. В самом деле, если бы библиотекари и книгопродавцы вместе со стоящими за ними миллионами читателей все эти оды принимали всерьез, они почувствовали бы себя в драматическом и безысходном положении. Каждый день, судя по рекомендациям издателей, в литературе появляются новые Пушкины, Толстые, Шекспир (вспомните все эти — «глубина психологического анализа», «вдохновенный показ», «широта и свобода художественных обобщений...»). Каждый день выходят в свет произведения исключительного достоинства и таланта, а библиотекари не в силах ни прочитать все эти творения, ни оценить их...

Однако причин для беспокойства нет, как нет и риска «захлебнуться» в потоке сверкающих талантов. Похоже, что сами составители аннотаций не принимают всерьез ими же сочиненные оды. Просто так принято писать. Надо помнить о коммерции, о рекламе...

К тому же есть старая и испытанная традиция — громко и неразборчиво хвалить книгу при выходе, пока читатель и критика не разобрались в ней получше. Вспомним, что писал об этом Гоголь более ста лет тому назад:

«Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и таком-то отношении, совсем нет. «Эта книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтера Скотта, Гумбольдта, Гете, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра». Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те, которые попали в первоклассные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только

через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение».

Не находите ли вы эту историю, рассказанную Гоголем, слишком знакомой? Можно возразить, правда, что жанр издательских аннотаций — особый жанр и его законы как бы заранее исключают возможность критического взгляда на издаваемую книгу. Реклама не терпит критики, и любой вид самокритики выглядел бы в издательском проспекте странно. Ведь книгу надо продать! Издательства не могут работать в убыток... Однако должен ли считаться «законом жанра» захваливающий, бесконтрольно апологетический тон? Нельзя ли говорить о новых книгах более спокойно и трезво?

Ведь все равно реклама книги при помощи хвалебных аннотаций не достигает цели, так как попросту отбрасывается, не берется в расчет теми, для кого предназначена. И это естественно. Нельзя такой специфический «товар», как книга, рекламировать так же, как шерсть или сапоги. Шерсть можно тут же, на месте, пощупать и тут же, на месте, убедиться, врет или не врет реклама. Сапоги, если они развалились раньше гарантийного срока, можно вернуть в магазин. А книгу? Ее ведь нельзя принести обратно на том основании, что в аннотации было сказано: «Автор пишет эмоционально и поэтично», — а мы не нашли в ней ни эмоциональности, ни поэтичности...

Для издательства, таким образом, пользы от расхваливания книг не много. Но и для читателя ее тоже нет. Читатель не может по аннотации определить достоинства книги. Читая аннотации, он знакомится по существу с маленькими льстивыми рецензиями. Приняв их на веру, читатель неизбежно должен прийти к выводу, что все на свете писатели одинаково хороши и пусть они не гении (единственное, кажется, «запретное» для аннотаций слово), но уж талантливы все без исключения, все достойны самой высшей оценки.

Но ведь и читатель не лыком шит, кое-что в литературе он понимает. Не найдя в купленной им книге обещанных ему достоинств, обманувшись в первый и разуверившись во второй раз, он в третий раз ни одного похвального слова по поводу книги всерьез не примет. И правильно сделает.

Должна ли вообще аннотация брать на себя функции рецензента, давать качествен-

ную оценку книге? Может ли она удовлетворить желание читателя наперед знать — соприкоснется он в новой книге с художником или встретится с заурядным ремесленником, настоящую книгу он покупает или литературную поделку? Я думаю, требовать всего этого от предварительной информационной заметки было бы неправомерно.

Часто бывает так, что настоящую, справедливую оценку книга получает далеко не сразу и лишь после знакомства с ней многих читателей и критиков, после публичного обсуждения новой работы писателя. А бывает даже и так, что ни критики, ни читатели сразу не разберутся в книге и нужно время, чтобы... Но тут уж я рискую вторгнуться в область социологии, психологии, истории литературы... Ясно одно. Три-четыре человека, прочитавших книгу до выхода ее в свет, — внутренний рецензент, редактор, корректор, как бы сведущи они ни были, каким бы точным художественным вкусом ни обладали, не могут заменить собой и социологов, и психологов, и литературоведов, и критиков, и просто любителей литературы — будущих читателей книги.

Да и не надо, чтобы они их заменяли. Книга выйдет, пройдет время — с ней познакомятся читатели, критики скажут свое слово, жизнь и время произведут точный отбор. «Оценочная» аннотация не только бесполезна — она вредна. Вредна еще и потому, что принцип «всем сестрам по серьгам», хвалебные оды всем без исключения выходящим в свет произведениям (если эти оды принимать всерьез, а если их не принимать всерьез, то зачем они?) создают совершенно искаженную, неправдоподобную, противоестественную картину общего состояния литературного дела. По-настоящему талантливые книги, в общем-то, появляются на свет реже, чем неталантливые. И это нормально. В аннотациях же утверждается, что талантливая книга — норма, а плохая... плохих вообще не бывает. Хвалебные аннотации выгодны лишь авторам плохих, ремесленных книг. Они служат им как бы щитом: в равномерном жужжании похвал им легче затеряться, «смешаться с толпой».

Не только сам принцип захваливания издаваемой книги помогает ремесленной литературе прятаться за спиной настоящей литературы — этому содействует и та часть аннотаций, которая состоит из стереотипных сообщений, что герои проходят слож-

ный путь становления, что у них трудные судьбы, что они преодолевают трудности, борются, трудятся, счастливо или несчастливо любят... В общем, все это так и есть. Действительно все живущие на свете так или иначе проходят путь становления, имеют трудные судьбы, преодолевают трудности, борются, трудятся, счастливо или несчастливо любят. Аннотации, таким образом, не противоречат содержанию книг, но и не несут никакой полезной информации о них. Плохая книга, герои которой тоже преодолевают трудности, борются и любят, спокойно прячется за этими общими определениями.

Вот, пожалуй, наиболее наглядный пример этому. Книга Вл. Федорова «Вечный огонь» («Советский писатель». М.) была представлена читателю в аннотации следующим образом:

«Книга эта посвящена поколению молодых фронтовиков, прошедших сквозь огонь войны, целым «десантом» едущих «на гражданку», но и там не демобилизующих себя. Виктор Брагин, его подруга Талка Кармелюк, их друзья проходят сквозь многие испытания времени, мужественно борются с нездоровыми явлениями в жизни и в искусстве, с влиянием буржуазной идеологии... Вл. Федорову присущи метафоричность языка, поэтическая символика, психологическая достоверность и юмор — то мягкий, то колючий».

Прошло некоторое время со дня выхода этой книги в свет, и мы можем соотнести эту «предварительную» рецензию-аннотацию с оценкой критиков. Уже названия критических рецензий — «Домыслы беллетриста» (Ф. Кузнецов, «Литературная газета», 15 сентября 1966 года), «Штурмя Парнас» (М. Рошин, «Новый мир», № 7, 1966), «С легкостью необыкновенной...» (Е. Сидоров, «Труд», 30 июля 1966 года) — говорят нам о том, что авторы их не столь одобрительно относятся к роману Федорова, как составители аннотации. И Ф. Кузнецов, и М. Рошин, и Е. Сидоров полагают: «роман, задуманный как обличение «нездоровых явлений в жизни и в искусстве», обернулся пасквилем на творческую интеллигенцию, дискредитацией партийного лозунга борьбы с буржуазной идеологией» (Ф. Кузнецов); «мужественная борьба с нездоровыми явлениями в жизни и в искусстве вдруг оборачивается апологией мещанского, приблизительного взгляда на очень серьезные вещи

и проблемы» (Е. Сидоров); «с очернительством по отношению к творческой интеллигенции мы уже встречались... в романе «Тля»... Вл. Федоров мало что добавил к тому, что уже бывало» (М. Рошин).

Обстоятельно цитируя книгу, рецензенты доказывают ее художественную несостоятельность, «поразительную для профессионального литератора фальшь» (Е. Сидоров).

Справедливости ради следует сказать, что на роман Федорова были и другие, одобрительные рецензии (А. Власенко, «Октябрь», № 9, 1966; А. Мигунов, «Красная звезда», 25 июня 1966 года), хотя убедительности в них, на мой взгляд, было куда как немного. Спор о книге Федорова тем более подтверждает мысль: хвалебная аннотация-рецензия на еще не прочитанную читателем книгу — вещь опасная.

«Обобщенные» характеристики не только не позволяют отличить хорошую книгу от плохой — они не дают возможности вообще отличить одну книгу от другой. Скажем, и А. Вознесенский и С. Шипачев раскрывают нам «богатство духовного мира советского человека», «размышляют о судьбах мира», но поэты они очень разные. Догадаться об этом по аннотациям невозможно.

«Сюжетная» аннотация на первый взгляд лучше «обобщенной». Но только на первый взгляд. В ее рамках тоже великолепно «чувствует себя» плохая книга.

Вот, к примеру, две повести почти на одну и ту же тему — В. Семина «Ласточка-Звездочка» («Советский писатель», 1965) и Л. Софронова «На войне я не был в сорок первом...» (Детгиз, 1965). И в той и в другой рассказывается о жизни четырнадцатилетних подростков в годы Великой Отечественной войны. О книге Л. Софронова в аннотации говорится:

«Суровая осень 1941 года... В ту пору распрощались с детством 14-летние мальчишки и надели черные шинели ремесленников. За станками в цехах оборонных заводов точили мальчишки мины и снаряды, собирали гранаты. Они мечтали о воинских подвигах, не подозревая, что их работа — тоже подвиг. В самые трудные для Родины дни не согнулись хрупкие плечи мальчишек и девчонок».

Аннотация на книгу В. Семина гласит:

«Героям этой повести к началу Великой Отечественной войны было всего по четырнадцать—пятнадцать лет. Они жили в своем бесечном мальчишеском мире, учились, дружили, читали книги, играли. Они были обыкновенными советскими ребятами, и война явилась первым испытанием, с которым столкнула их жизнь. Повесть рассказывает о том, какими мужественными, решительными, сильными оказались эти мальчики в тяжелую годину. Даже самые мечтательные из них, такие, как Сергей Рязанов, по прозвищу «Ласточка-Звездочка», находят свое место в строю. Друг Сергея Эдик, хрупкий мальчик с удивительно мягким характером, тоже становится воином, стойким защитником родины. Очень правдиво, убедительно показывает писатель путь своих юных героев к фронту, к оружию. Как бы этим ребятам ни было трудно, читатель твердо верит, что они никогда не отступят и будут до конца бороться за победу».

Судя по аннотациям, и та и другая книга достойна внимания и сочувствия. Но повесть Л. Софронова — это типичная литературная поделка: ее идейная и художественная слабость становится очевидной с первых же страниц, а ее персонажи, отрекомендованные в аннотации как герои, при близком знакомстве с ними оказываются вполне отрицательными персонажами. (Я пыталась доказать это в статье «Игра в поддавки». Журнал «Детская литература», № 5, 1966.)

Повесть же В. Семина кажется мне серьезным произведением, написанным писателем, обладающим собственным углом зрения на жизнь, индивидуальным стилем. Мысли и чувства, которые вызывает его книга, далеко выходят за рамки темы «война и подросток».

«Сюжетные» аннотации приводят порой к забавным курьезам. Так, роман Ю. Домбровского «Хранитель древностей» («Советская Россия», М. 1966) представлен читателям в аннотации как остросюжетное произведение, главными событиями которого являются появление около Алма-Аты огромного удава и действия археолога, стремящегося во что бы то ни стало раскрыть «тайну удава». Боюсь, что серьезный

читатель, прочтя такую рекомендацию, отложит книгу в сторону, а любитель приключенческой литературы в свою очередь будет разочарован, не найдя в ней того, что ему было обещано.

К сожалению, не только авторы аннотаций, но и критики и библиотекари зачастую приучают читателей выбирать книгу не по принципу «что в ней», а по принципу «о чем она». Конечно, у любого читателя всегда есть свои интересы — их невозможно игнорировать, — но если читатель выбирает книги только, так сказать, тематически («про войну», «про партизан», «про летчиков», «про строителей», «про любовь», «про школу») и если такой подход его удовлетворяет, то он рискует пройти мимо главного в художественной литературе. Очень точно сказал об этом С. Я. Маршак:

— О чем твои стихи? — Не знаю, брат.  
Ты их прочти, коли придет охота.  
Стихи живые сами говорят.  
И не о чем-то говорят, а что-то.

«Сюжетные» аннотации нехороши еще и тем, что, заранее рассказывая читателю, «как дело было и чем все это кончилось» (а такие аннотации пишутся и на приключенческие книги, где главный интерес читателей держится на слове «вдруг»), они, естественно, снижают его интерес к книге.

Но главное, в аннотации происходит ужасающая инфляция слов. Слова как бы размываются, утрачивают свой первоначальный смысл. Нам уже кажется естественным, что определение «писатель умеет глубоко проникать в сущность человеческих характеров» встречается чуть ли не в каждой аннотации. «Умение проникать в сущность» становится для нас уже не особенностью редкостного, толстовского дара, а обязательной принадлежностью любого автора.

Этот рекламный тон аннотаций переходит порой и в журнально-газетную критику, мало содействуя утверждению ее авторитета в глазах читателей.

## 4

— Если, на ваш взгляд, аннотации так нехороши, — спросят меня, — быть может, вы

скажете, какими, по-вашему, они должны быть? Или они совсем не нужны?

Думаю, что нужны. Даже этими весьма несовершенными аннотациями пользуются сотни тысяч библиотекарей, работников книжной торговли, просто читателей. Всем им нужна полезная информация, частично они и сейчас извлекают ее из этих самых аннотаций.

В аннотациях, вероятно, полезно было бы сообщать необходимые данные об авторе: молодой он или старый (год рождения), кто он по профессии, что он уже написал, какую — положительную или отрицательную — оценку в печати получили его прежние книги.

Читателю важно, наверное, узнать и о теме, времени и месте действия нового произведения (может быть, что-нибудь вроде театральной афиши или программы, в которой ведь не пересказывается заранее сюжет пьесы, а обозначается лишь время и место действия). Неплохо, быть может, в необходимых случаях указать и на особые приметы жанра: «повесть в письмах», «документальная повесть» и т. п.

Возможно, еще что-то будет нужно сообщить в аннотации к той или иной книге. Всего предусмотреть нельзя. Суть в том, что аннотация должна давать сжатую, но полезную информацию. Ни комментарий к книге, ни ее пересказа, ни характеристики героев, ни тем более анализа и оценки книги в аннотации, на мой взгляд, быть не должно.

Все равно любая попытка пересказать в десяти—пятнадцати строках сюжет произведения, а заодно раскрыть его идейное содержание, охарактеризовать героев, определить художественную неповторимость книги не может не оказаться наивной и безуспешной.

Пусть и эта малая разновидность критического жанра, напутственное слово издателей, с каким книга выходит в свет, не останется в стороне от поля действия основных норм и понятий, определяющих нашу литературную жизнь. Здесь все права на стороне скромного достоинства, отсутствия зазнайства и рекламной шумихи, никогда не способствовавшей росту литературы.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ариадна Громова.** Правда, только правда... — **Вл. Лифшиц.** Поэт-воин. — **Л. Волынский.** На карусели. — **Г. Павлова.** Путь мастера. — **Б. Герман.** Кузьмин — иллюстратор Тынянова. — **Ц. Кин.** Человек — вещь.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Е. Гнедин.** Закономерности движения. — **Г. Герасимов.** Демографические неожиданности. — **В. Ермаков.** История явная и тайная. — **Г. Федоров.** ...И сталь и камень... — **П. Трояновский.** Урок на Востоке.

## Литература и искусство

### ПРАВДА, ТОЛЬКО ПРАВДА...

**Анатолий Кузнецов.** **Бабий Яр.** Роман-документ. «Юность», №№ 8, 9, 10, 1966.

В начале мне было трудно, почти невозможно воспринимать «Бабий Яр» как литературное произведение — такой поток жестоких, ранивших воспоминаний хлынул на меня с журнальных страниц. Впрочем, так оно во многом и осталось, и то, что я пишу, вряд ли является рецензией в общепринятом смысле слова.

Воспоминания Толи Семерика, мальчика, от лица которого ведется повествование в романе А. Кузнецова, вовсе не полностью совпадают с моими собственными, и не только по восприятию событий, но и по самим фактам, по конкретным наблюдениям.

Наверное, это покажется странным, но одной из основных причин такого различия в фактической основе воспоминаний является то, что я жила в центре Киева, а Толя — на окраине, на Куреневке. А это и вправду определяло собой довольно многое.

С первых же дней оккупации Киев перестал быть городом, перестал быть цельным организмом, распался на отдельные, порой паразитично разобщенные районы. Исчезли все привычные, надежные средства информации и связи — газеты, почта, телефон,

радио; даже встречи стали крайне ограниченными: и ходить по городу было опасно, и люди менялись так неожиданно и зачастую так страшно, что со многими старыми знакомыми приходилось знакомиться заново, проявляя при этом максимальную осторожность. Заведомо лживые сообщения фашистских газет и радиопередач, сведения из агентства ОБС (Одна Баба Сказала) да изредка, случайно листовка, сброшенная с нашего самолета либо изготовленная тут, на оккупированной территории, — вот и все, чем могло располагать население Киева для ориентировки в совершенно непривычном, жестоком и опасном мире, кроме личного опыта, всегда ограниченного по самой сути.

«Мы жили, как в мертвом царстве: то и как происходило на свете — одни слухи, неизвестно, сколько в них правды», — пишет А. Кузнецов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что воспоминания героя «Бабьего Яра», вообще необычайно яркие и четкие, иной раз грешат неточностью, особенно когда дело касается событий, происходивших в центре города. Так, например, первый



взрыв произошел не в четвертом часу дня, а утром (наш дом, за квартал от места взрыва, как трянуло, что мы еле удержались на ногах); комендатура находилась не в том большом здании, которое взорвалось первым, а в двухэтажном доме на противоположном углу Прорезной, и взрывы следовали в несколько ином порядке. Думаю также, что никакой «герой-смертник» не взрывал гостиницу «Континенталь» — главным образом потому, что это было бессмысленно: зачем взрывать пустую гостиницу в пустых, горящих, обреченных на смерть кварталах? Ведь «Континенталь» был еще цел, когда жителей центра выгнали из домов, и мы шли под высоким навесом пламени, хлещущего через крыши, под градом пылающих головней...

Но эти и другие неточности не имеют существенного значения. Ведь Анатолий Кузнецов пишет не историю оккупированного Киева, а историю жизни простых советских людей, оказавшихся в сфере действия гитлеровского «нового порядка».

В главе «Сколько раз меня нужно расстрелять?» перечислены опасности, грозившие именно рядовому, обычному обитателю оккупированной территории — не коммунисту, не подпольщику, не еврею, не цыгану. Толя Семерик подсчитал, что его, подростка, должны были бы по фашистским установлениям расстрелять минимум шестьдесят раз за семьсот семьдесят восемь дней оккупации Киева. А впрочем, расстрел или душегубка были далеко не единственным, что грозило всем, всем, всем, — за то, что они делали простые человеческие дела или уклонялись от участия в делах нечеловеческих, предписанных «новым порядком». Просто за то, что они жили, хотя, по мнению фашистов, жить им было вовсе не обязательно.

Воспоминания Толи Семерика по преимуществу касаются именно таких людей, за которыми гитлеровцы специально не охотились (о евреях, о военнопленных речь идет в основном в главах, представляющих собой пересказ чужих воспоминаний), с кем просто не церемонились, кому на каждом шагу давали понять: мол, живете вы только по нашей доброте, а надолго ли хватит этой доброты, совершенно неизвестно — может, мы сейчас и передумаем.

Почти все киевляне вели именно такую жизнь, как обитатели Куревенки, описанные А. Кузнецовым: правдами и неправда-

ми старались вернуться от расстрелов и арестов, от облав и принудительной вербовки да хоть как-нибудь перебиться, не помереть с голоду и холоду. Кому это удавалось, а кому и нет. Многим, очень многим, большинству — нет. «Умер от голода старый математик нашей школы Балатюк, он последние дни пытался работать дворником. Открывались заводы, и рабочим платили зарплату 200 рублей в месяц. Буханка хлеба на базаре стоила 120 рублей, стакан пшена — 20 рублей, десяток картофелин — 35 рублей, фунт сала — 700 рублей», — говорится в «Бабьем Яре».

Между прочим, так жили и подпольщики — ведь у подполья тоже была своя «бытовая» сторона: надо было как-то кормиться и одеваться, надо было иметь работу или, на крайний случай, рабочую карточку с еженедельными отметками...

Семье Толи, в общем-то, повезло: умерла лишь одна бабка, и то «мирной» смертью, от воспаления легких, а все остальные, даже кот Тит, дожили до освобождения. Такая вот заурядная оккупационная судьба, все время балансирующая на грани гибели и все же очень в конечном счете удачливая. И это правда, только правда. Не вся правда, разумеется, — роман-документ А. Кузнецова и не претендует на то, чтобы рассказать «все об оккупации», — такая претензия вообще пагубна для искусства, а тем более когда речь идет о таком громадном, сложном пласте жизни.

Среди героев «Бабьего Яра» нет подпольщиков, нет и предателей, активных фашистских пособников: два крайних полюса оккупационной жизни сняты. Но именно об этом аспекте оккупации — о жизни рядовых людей — не говорилось толком почти нигде (одна из немногих книг, повествующих о такой «обыкновенной оккупации», — документальная, точнее, автобиографическая повесть «Регистраторша загса» киевлянки А. Шарандаченко, года два назад переведенная на русский язык).

На оккупированной полосе оставались преимущественно те семьи, которые не могли выехать потому, что мужчины ушли в армию, а заботы о малышах, стариках, больных свалились целиком на плечи женщин. И женщины эти знали, что путь на восток опасен и труден, да и в эшелон не так-то легко попасть, если ты не связан с каким-то крупным, организованно эвакуирующимся учреждением, а Киев не сдадут

фашистам и уж лучше здесь, на месте, все перетерпеть — и обстрел, и блокаду, и уличные бои (ведь именно к этому и готовились в Киеве: на улицах громоздились баррикады, торчали противотанковые ежи, населению раздавали продукты — в запас, на случай блокады). Недаром Толю Семерика так поражает трагическое шествие в Бабий Яр (он еще не знает, что туда идут на расстрел): «С ревушими детьми, со стариками и больными... выползло на улицу еврейское население... Перехваченные веревками узлы, ободренные фанерные чемоданы, заплатанные кошелки, ящички с плотницкими инструментами... Меня потрясло, как на свете много больных и несчастных людей». Но таким был основной состав не только еврейского населения, — таковы были и те, кто не погиб в первые же дни, кто пережил и первую страшную зиму оккупации, и последующие, такие бесконечно долгие месяцы.

Конечно, и при таких условиях люди вступали в борьбу. Вот хотя бы Ольга Светличная, связанная киевского подпольного горкома. Коммунистка, жена командира, мать двоих малышей, случайно оставшись на оккупированной территории, она подвергалась такой страшной опасности, которая вообще могла бы парализовать волю к действию. Однако Ольга проявляла чудеса храбрости. Но ведь это и надо расценивать как героизм, а не как общеобязательную норму поведения.

Конечно, и героев «Бабьего Яра» можно было бы показать иначе. Можно было бы изобразить, например, как Лена Гимпель и Толина мать находят связь с подпольем или партизанами. Можно было бы показать, конкретно и точно, что вот такого деда Семерика надо из элементарной осторожности обходить за версту: в этих условиях он опасен, корысть и страх могут толкнуть его на тайное или явное предательство. Но ведь Анатолий Кузнецов пишет о том, что было в действительности, и именно с теми людьми, которых он знал; и то, о чем он рассказывает, тоже никакое не исключение...

Я бы не смогла написать так, как написал Анатолий Кузнецов, — я прожила совсем иную жизнь, и оккупация для меня выглядела тоже иначе. Но тем более радуюсь я тому, что «Бабий Яр» вышел в свет: это вещь, насущно необходимая читателю и у нас, и за рубежом. Даже для

Польши с ее богатейшей и разнообразнейшей литературой и кинематографией о годах оккупации роман-документ Анатолия Кузнецова представит большой интерес, и вовсе не только из-за своих несомненных художественных достоинств.

Я принимаю в этой вещи все — все ее разнородные компоненты. Мне хорошо понятно, что сила, яркость, конкретность личных воспоминаний не давали автору возможности ни отделаться от них, ни трансформировать их настолько, чтобы они органически слились с «посторонним» материалом. Понятно и то, что картину оккупации (даже вот такой «обыкновенной» оккупации) нужно было дополнить чем-то, выходящим за пределы личного опыта подростка, и поэтому А. Кузнецов включил в повествование записи чужих воспоминаний и документы. А как вспомнишь обо всем этом, так и сейчас кричать хочется от боли и ярости, хочется спрашивать в недоумении и страхе: да неужели и вправду это было, неужели это грозит повториться? Поэтому мне вполне понятны и прямые обращения автора к читателям, особенно к молодежи, к тем, для кого война и оккупация являются лишь историей, далеким уже прошлым: «Представьте себя на моем месте... представьте, что все это происходит не со мной, а с вами лично. Сегодня. Сейчас». «Я еще раз хочу напомнить о бдительности... об ответственности за судьбу человечества... В мире неблагоприятно! Ц и в и л и з а ц и я в о п а с н о с т и !»

То, что описано в «Бабьем Яре», вовсе, повторяю, не исчерпывает собой темы оккупации (даже киевской!). Еще ждет своих поэтов и летописцев трагическая романтика киевского подполья с конфликтами и характерами шекспировского масштаба, еще не осмыслены искусством многие удивительные и глубоко поучительные судьбы людей, оказавшихся в сфере действия гитлеровских человеконенавистнических порядков. — назову для примера Героя Советского Союза Владимира Кудряшова, секретаря подпольного горкома К. Ивкина, отважную Таню Маркус: о каждом из этих погибших героев можно было бы написать роман, как и об оставшихся в живых Г. Мироничеве, Б. Петрушко, упомянутой уже О. Светличной и о других подпольщиках, живых и мертвых. Надо верить, что еще появятся и документальные, и художественно обобщенные повествования о

борьбе, о победах и поражениях, о героях и о предателях.

Но роман-документ А. Кузнецова, рассказывающий о жизни людей рядовых, ничем особо не примечательных, кроме того бесспорного факта, что они советские люди и имеют право на жизнь и свободу — право, в котором им безоговорочно отказывал фа-

шистский режим,— и тогда не потеряет своего значения.

Правда об этих людях, навсегда запечатлевшаяся в потрясенном сознании подростка, достойна того, чтобы о ней — пусть с опозданием на четверть века — узнал мир.

Ариадна ГРОВОВА.

★

## ПОЭТ-ВОИН

Александр Гитович. Зимние послания друзьям. «Советский писатель». М.—Л. 1965. 164 стр.

Александр Гитович. Стихотворения. «Художественная литература». М.—Л. 1966. 290 стр.

Я держу в руках книжку, последнюю, которую увидал при жизни поэт,— и весь путь Александра Гитовича от «Артполка», раннего сборника тридцатых годов, до «Зимних посланий друзьям», вышедших в 1965 году, встает передо мной — путь человека талантливого, отважного, воинственного, непримиримого ко всему, что мешало, по его мнению, делать настоящее литературное дело.

В сборнике «Артполк», исполненном тревожных предчувствий надвигающейся грозы и твердой веры в грядущую победу, поэт — молодой, в чем-то еще по-мальчишески неловкий и яростный — страстно прославлял людей революционного долга, людей подвига во имя великой идеи.

Не будем преувеличивать значения поэтического слова в формировании характера нашего современника, но не будем его и преуменьшать. Для меня несомненно, что в духовной основе, предопределившей, к примеру говоря, стойкость защитников Ленинграда — рабочих, студентов, врачей, инженеров,— можно было бы обнаружить и тихоновскую «Орду» и «Брагу», и корниловское «Триполье», и «Андрея Коробицына» и «Смерть Толмачева» Александра Гитовича.

...Я еще могу  
рассказать о той  
Дважды великой  
и дважды простой  
Смерти —  
когда от сосны к сосне  
Шел комиссар,  
протерев пенсне,  
Все понимающий в мире этом.  
(Какими путями. прорезав тьму,  
Это пониманье, идя по свету,

На школьной скамейке пришло к нему?  
Оно, отодвинув короткое детство,  
Распоряжалось, как военком.  
Оно приказывало:

— Действуй!  
Действуй!

Словом,  
отвагой,  
пером,  
штыком).

Это «Действуй! Действуй!» было девизом и самого Гитовича. В те годы он много писал, много выступал перед читателями, много ездил по стране (маршруты его пролегали от Средней Азии до Заполярья) и, будучи отличным полемистом, неустанно сражался в литературных битвах того времени, отстаивая поэзию от размывающих ее «стихийных потоков», когда законы высокого поэтического мастерства подменялись растрепанными, хаотическими эмоциями, нередко к тому же наигранными.

На этом хотелось бы остановиться подробней. И не только потому, что существует заблуждение относительно так называемой «ленинградской поэтической школы», но и потому, что тридцать лет спустя мы опять стали свидетелями все того же спора между поэтической «организованностью» и «стихийностью».

Трудно установить, кто и когда впервые употребил понятие «ленинградская школа». Недавно я снова встретился с ним в предисловии Л. Аннинского к «Стихотворениям и поэмам» Бориса Корнилова. Он пишет: «Ленинградские поэты, как правило, лучше владели стиховой техникой; их отличали большая поэтическая культура и большая книжность. Интуитивное стремление преодолеть книжность было постоян-

ной заботой ленинградской поэтической школы».

Все это весьма условно. Представление о высоко — и даже, может быть, излишне — техничной «ленинградской поэтической школе» возникло, видимо, потому, что в свое время акмеисты, говоря военным языком, «базировались» на Ленинград. В тридцатые же годы книжных поэтов предостаточно было и в Москве, в то время как в Ленинграде предостаточно было поэтов, заменявших поэтическую культуру псевдоэмоциональным «токованием».

...Помнишь ли, товарищ,  
Как в лихом бою  
Раздробила пуля разрывная  
Голову кудрявую твою?.. —

спрашивал один из таких «стихийников-глухарей», не задумываясь над тем, что навряд ли вопрошаемый товарищ вообще может что-либо помнить...

Это курьез. Были и менее курьезные, а стало быть, более опасные атаки на стихотворную форму, на поэтическую мысль, на классическое наследие, да и просто на здравый смысл. Со всем этим и вел войну Александр Гитович, собравший вокруг себя молодых ленинградских поэтов. Знаток русской поэзии, он многим из них впервые открыл глаза на ее безграничные богатства и красоту, многих впервые познакомил с Баратынским и Языковым, Бунинным и Иннокентием Анненским. Тогда-то и возникло литературное «Молодое объединение» при комсомольской газете «Смена», руководимое Гитовичем. На собраниях «Объединения» М. Лозинский рассказывал о своей работе над переводами Данте, читала стихи А. Ахматова, делился мыслями об искусстве А. Толстой... И если голоса большинства участников «Молодого объединения» не звучат сегодня — не будем за это винить «Объединение». Инкриминировавшаяся им, как нечто реакционное, любовь к стихам Бунина и Баратынского не помешала молодым поэтам в час грозной опасности, нависшей над родиной, до конца выполнить свой долг. Погиб на Невской Дубровке рядовой Иван Федоров, погиб разведчик Эрик Горлин, погиб штурман подводной лодки Алексей Лебедев, погиб санитар Виндерман, погиб командир взвода Михаил Троицкий — поэт более старшего поколения, по-молодому работавший в «Объединении». Многим был обязан Гито-

вичу как воспитателю и другу Анатолий Чивилихин — автор поэмы «Битва на Волхове»; многим обязан один из видных наших лирических поэтов — Вадим Шефнер.

Незадолго до войны Гитович опубликовал поэму «Город в горах» — сюжетное повествование о борьбе с басмачеством в Таджикистане, где в образе комиссара бригады изобразил верного солдата революции, человека, для которого слово «товарищ» не утеряло свой первоначальный смысл. Кончалась поэма пророчески:

Еще не раз ударит гул набата,  
На всех фронтах  
Не кончена борьба,  
И по барханам,  
Желтым и горбатым,  
Нас понесет  
Военная судьба.

Первым испытанием военной судьбы была война с белофиннами. Поход на легендарном «Ермаке» от острова Гогланд в Кронштадт среди льдов, по минным полям, под бомбежкой и обстрелами. Потом Карельский перешеек. Лютый мороз. Первый убитый на девственно-белом снегу — совсем молодой, в новеньком полушубке и круглых, еще не разношенных валенках — возле воронки, окаймленной гарью и источающей тоскливый запах тротила. Землянка командира батальона старшего лейтенанта Краснова — того самого Краснова, которому было суждено закончить «малую» войну Героем Советского Союза, а в сорок первом, уже в звании генерала, командовать дивизией на Ленинградском фронте... Надо было перебежками пересечь лесную полянку, простреливаемую снайперами. Гитович не перебежал, а неторопливо шел «от сосны к сосне». В этом не было бравады: перебежать ему было трудно, сердце уже тогда давало себя знать.

И хотя не барханы готовила военная судьба Гитовичу и многим его друзьям, а окопы приневской равнины и землянки Волховского фронта, и хотя впереди еще были четыре года невероятных испытаний и потерь, в главном поэт был прав: в том, что «и герои и не герои» каждый честно внес свой вклад — не только стихами, но и кровью — в дело нашей победы.

Александр Гитович был поэтом-воином. Предвоенные его стихи — это ожидание, а вернее, подготовка к неминуемой схватке с фашизмом... Поначалу в газете ленинград-

ского народного ополчения, затем в газете 55-й армии Ленинградского фронта «Боевая красноармейская» он начал путь военного журналиста, о котором впоследствии имел право сказать в стихах:

...И если уж газетчиками были  
И звали в бой на недругов лихих,—  
То с летчиками вместе их бомбили  
И с пехотинцами стреляли в них.

И, возвратясь в редакцию с рассветом,  
Мы спрашивали. живы ли друзья?..  
Пусть говорить не принято об этом,  
Но и в стихах не написать нельзя..

Не всегда ладя с газетным начальством, Гитович предпочитал блокадной зимой 1941/42 года находиться не в поселке Рыбачком, где располагалась редакция армейской газеты, а в ротах ижорского батальона за Колпином, или в трубе колпинского кирпичного завода у артиллеристов, или в противотанковом рву, в пятидесяти метрах от немцев, где оборудовал свой КП полковник Варюхин. Вместе с полковыми снайперами поэт уходил, вооружась снайперской винтовкой, бить фашистов так же, как год спустя летал с летчиками-волховчанами на бомбежки вражеских позиций. И однажды морозной ночью все в том же противотанковом рву не без гордости услышал он слова командира подразделения, сказанные по полевому телефону более высокому начальству: «Товарищ Седьмой, в данный момент у меня одиннадцать активных штыков и три писателя...»

Вот почему очерки и боевые корреспонденции Гитовича отличались достоверностью, а стихи военных лет трогали солдатские сердца. Он писал о беспримерной стойкости ленинградцев, о разведчиках и пехотинцах, о солдатах Волхова, познавших, может быть, самый тяжкий воинский труд:

На запад взгляни и на север взгляни —  
Болото. болото. болото.  
Кто ночи и дни выкорчевывал пни.  
Тот знает, что значит работа.

Пойми, чтобы помнить всегда и везде:  
Как надо поверить в победу,  
Чтоб месяц работать по пояс в воде.  
Не жалуясь даже соседу!..

Эти стихи пришли к нам под Ленинград уже с Волховского фронта. Помню, назначение туда Гитович получил внезапно, уез-

жать надо было спешно, и почему-то оказался он в ту пору без шинели. Я дал ему свою. Попрощались. Объяслись. Гитович уехал... Через год из письма я узнал о дальнейшей судьбе шинели. Александр Ильич отдал ее военному журналисту Юре Севруку, когда тот направлялся с редакционным заданием на передовую. С этого задания Юра не вернулся. В шинели, которая грела сперва меня, а потом Гитовича, Севрук и был похоронен в солдатской могиле... На Волховском фронте получил Гитович боевую награду, которую сам считал наиболее драгоценной среди других — медаль «За отвагу».

Из всего сказанного мною у читателя может сложиться представление о Гитовиче как о поэте только военной и гражданственной темы. Это не так. Гражданственность его поэзии органически сочеталась с глубоким лиризмом: Он писал о любви и о любимой с удивительной нежностью и благородством. Здесь не было космических образов, клятв и громких слов (к ним поэт вообще относился с недоверием), но была такая подлинность чувства, которая не могла оставить читателя равнодушным.

Напиши мне, дорогая,  
Что-то стало не до сна.  
Не хочу, чтобы другая,  
А хочу, чтоб ты одна...

...Напиши, чтоб хоть минуту  
Ты была передо мной.  
Не хочу сказать кому-то,  
А хочу тебе одной...

Для Гитовича война началась под Ленинградом, а окончилась в Корее. Эта страна поразила поэта. Он полюбил ее народ, пейзаж, древнюю культуру, увлекся ее поэзией. Отсюда началась замечательная деятельность Гитовича как переводчика стихов сначала поэтов Кореи, а затем древних китайских классиков. «Благодаря его поистине вдохновенной многолетней работе,— писал академик В. В. Струве о переводах Гитовича,— чудесные творения великих поэтов — Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэя, составляющие национальную гордость китайского народа... стали родными и близкими широким кругам советских читателей, прочно вошли в золотой фонд русской поэзии». Действительно, стихи, созданные в Китае более тысячи лет назад, волнуют нас сегодня в переводах А. Гитовича своей поразительной красотой, высокой духов-

ностью, горячей проповедью добра. Приведу лишь одно стихотворение Ду Фу в переводе Гитовича. Это стихи о больном коне:

Я седлал тебя часто  
На многих просторах земли,

Помнишь зимнюю пору  
У северных дальних застав?

Ты, состарившись в странствиях,  
Отдал все силы свои

И на старости лет  
Заболел, от работы устав.

Ты по сути ничем  
Не отличен от прочих коней.

Ты послушным и верным  
Остался до этого дня.

Тварь,— как принято думать  
Среди бессердечных людей,—

Ты болезнью своей  
Глубоко огорчаешь меня.

С большим уважением относились к поэтической работе и литературной позиции А. Гитовича и его личности многие видные поэты, в том числе Н. Заболоцкий и А. Ахматова. Для молодых поэтов он оставался учителем. И лишь редакции ленинградских газет и журналов проявляли к поэту в последние годы его жизни непонятное равнодушие. Дошло до того, что в статьях, посвященных участию ленинградских поэтов в обороне Ленинграда, перестали даже упоминать его имя!.. Так поступила газета «Смена» — та самая «Смена» где в предвоенные годы Гитович воспитывал литературную молодежь. «Чувство литературного самолюбия у меня давно атрофировано. Но вот офицерское самолюбие, к сожалению, осталось. Мне нанесен хорошо рассчитанный удар. А главное — своевременный», — с горечью писал уже тяжело больной человек, умевший драться за друзей, но беззащитный перед несправедливостью, когда дело касалось его самого.

Последние годы были для Гитовича годами большой внутренней работы, глубокого духовного созревания, результатом которого являются стихи-раздумья над

нравственными проблемами века. Поэт пишет о добре и зле, о величии и низости, об ответственности перед временем и перед искусством. Некоторые из этих стихов собраны в его последней прижизненной книге «Зимние послания друзьям». Многие еще не увидели света...

В войну он писал:

Мне снился пир поэтов. Вся в кострах.  
Вся в звездах, ночь забыла про невзгоды.  
Как будто лагерь Братства и Свободы  
Поэзия раскинула в горах.

И, отвергая боль, вражду и страх.  
Своих певцов собрали здесь природы,  
Чтобы сложить перед лицом Природы  
Единый гимн — на братских языках...

Это видение будущего братства никогда не покидало поэта.

В «Зимних посланиях друзьям» перед нами строгий мастер, презирающий суесловие, в какие бы наряды оно ни рядилось:

Пышность — невынослива: она  
Заморозка легкого боится,  
Зябнет, как тропическая птица,  
В нездоровый сон погружена.

Утреннее солнышко встречать  
Все цветы торопятся в долине.  
А в саду — на каждом георгине —  
Увяданья черная печать.

Как ни отличаются стихи последних лет от стихов, с которыми Александр Гитович вступал в советскую поэзию, можно без труда установить их единство. Оно в неизменности его пристрастий, в обостренном чувстве справедливости, в нетерпимости к фальши, в сознании ответственности художника за все и перед всеми. О верности избранному пути он сам написал так, что этими его стихами мне и хотелось бы закончить слово о поэте, войне и друге:

Если в самые разные сроки  
Ты ни разу не сдался в бою —  
То сойдутся в одно твои строки  
И составят поэму твою.

Пусть теперь, через многие лета,  
Ищешь ты отпущенья грехов —  
Лебединая песня поэта  
Начинается с первых стихов.

Вл. ЛИФШИЦ.

## НА КАРУСЕЛИ

Илья Глазунов. Дорога к тебе. Из записок художника. «Молодая гвардия», №№ 10, 12, 1965; №№ 2, 6, 1966.

«В памяти встают обрывки воспоминаний, грез, снов, ожиданий... Мучительно выстраданное познание...»

Так — в усталой интонации много прожившего и немало пережившего человека — начинается свои записки художник Илья Глазунов, еще недавно числившийся среди самых молодых (и даже «разгневаных») представителей нашей живописи.

Обрывки воспоминаний (а тем более снов или грез) есть всего лишь обрывки. Соединить их в нечто цельное нелегко; читая записки, чувствуешь себя словно на быстро вертящейся карусели.

Мелькают города и городки, села, реки, «могучие тела красавиц берез», иконы, античные статуи, церкви. Мелькают давно примелькавшиеся эпитеты. Мелькают в причудливых сочетаниях имена: Рублев, Пушкин, Достоевский, Данте, Толстой, Эль Греко, Мусоргский, Рембрандт, Врубель, Блок, Хемингуэй, Рафаэль, Гомер, Микеланджело, Брюллов, Рерих... Мелькают афоризмы и максимы: «Россия — это народ»... «Основной идеей греческого искусства был человек»... «Пушкин ясен, светоносен и прост, как линии Парфенона или главы могучих соборов»...

Закрыв последнюю страницу, испытываешь естественную после столь долгого мелькания нетвердость — нечто вроде головокружения. А затем поневоле задумываешься над таким вопросом, как ответственность пишущего перед читателем.

Вероятно, Илей Глазуновым руководили добрые побуждения. Наверное, ему показался недостаточным присущий художнику-живописцу способ выражения мыслей (или, как он говорит, «мыслеобразов»). И вот он взялся за перо, чтобы полнее поведать людям о себе и о своей любви к родине, к ее историческому наследию и культурным богатствам.

Судя по горячим признаниям, Глазунов без памяти влюблен во все русское, а особенно в русскую старину. В полноте чувств он даже «Владимирскую мать божию» причисляет к древнейшим памятникам русской живописи, хоть и сообщает несколькими строками ниже, что икона эта была привезена в двенадцатом веке на Русь из Византии. Странно было бы, скажем, числить

«Сикстинскую мадонну» шедевром немецкого искусства лишь по ее нынешнему месту пребывания. Но что поделаешь — влюбленность не всегда способствует ясности взгляда.

Однако, чтобы приступить к адресованной читателю лирической исповеди, одной влюбленности мало. Нужен еще некоторый запас значительных мыслей, пережитых и осознанных фактов, которыми стоило бы поделиться с человечеством. Необходимо то самое «мучительно выстраданное познание», о котором автор упомянул в начале своих записок.

Справедливость требует сочувственно отметить страницы, где Глазунов делится тем, что принадлежит лично ему. Я имею в виду воспоминания о ленинградской блокаде, голоде, а особенно о проводах на фронт парней в новгородской деревне Гребло. Тут все воспринято из жизни, передано читателю из первых рук.

Но, странное дело, как только Глазунов выходит на главную магистраль своих записок, едва только приближается к сфере, ему, казалось бы, наиболее близкой и свойственной, к сфере искусства, — невеста куда исчезает достоверность, «первичность» взгляда. Живой огонек повествования гаснет, и на его месте вспыхивает бенгальский огонь трескучих фраз.

«Волшебство сказки»... «Жемчужные переливы снегов»... «Лучезарные боги древней Эллады»... «Стремительная, как белоснежное облако», Ника.. «Неповторимая женственность» глаз Нефертити... «Несгорающий костер его бурлящего великой силой духа» (это о Сурикове), зрочки случайной знакомой, кажущиеся автору «началом бесконечного коридора катакомб», — можно было бы без конца множить образцы изысканного суесловия. Но не в одних красотах литературного стиля беда автора и читателя, хотя, надо сказать, редко где встретишь такой пышный букет цветов красноречия, цветов бумажных и мертвых.

Беда сушая в том, что, продираясь с трудом сквозь чашу подобных банальностей, то и дело оказываешься на пустом месте.

Вот описание Дворцовой площади в Ленинграде: «Зимний дворец, Нева, мост, ветер... Дух захватывает от удивительной

торжественности незабываемой минуты». Прочитав такое, надеешься, что автор все же, переведа дух, сообщит о знаменитой площади нечто более существенное. Напрасные надежды! Куда бы ни повлек вас за собой Илья Глазунов — в Углич ли, в Нижний ли Новгород, Старую Ладугу, Киев, Сибирь или еще куда-нибудь (а на месте ему не сидится), — повсюду вы останетесь как бы с завязанными глазами.

Если автор примется рассказывать о здании Академии художеств, непременно будет сказано: «прославленный храм русского искусства». Будет добавлено: «храм, покинутый жрецами». Далее странным образом смешаются античные колонны, лабиринты, своды готического собора, лестницы, чем-то напоминающие автору средневековый замок... И ни одного дельного слова об архитектуре здания, поставленного в начале целой эпохи русского зодчества, да и какой эпохи — классицизма.

Попав с автором в Углич, вы досыта наслушаетесь восторженных восклицаний, но, пожалуйста, не ждите толкового рассказа, чем именно покорила автора особенно полюбившаяся ему церковь Иоанна Предтечи. «Ее изящные формы дают оригинальный синтез московской и ярославской архитектуры». Вот и все, что вам суждено узнать.

Если речь пойдет о дворце угличских удельных князей, вам придется поверить, что «могучая, властная простота его образа покоряет с первого взгляда». И что «архитектурные формы дворца родственны величавым замыслам новгородских и псковских зодчих». Ну, а вдруг суть «величавых замыслов» не очень вам ясна, вдруг вы не вполне осведомлены о различиях между Новгородом и Псковом? Ничего не поделаешь, остается верить эпитетам.

Но коль уж зашла речь о доверии, хотелось бы предостеречь читателя. Пока И. Глазунов пользуется формулой «как известно» (а делает он это куда как часто), пока он ссылается на испытанные авторитеты («Замечательный русский искусствовед Ю. Шамурин называет...»), пока пересказывает разнокалиберные сведения из общедоступных источников — можете быть спокойны. Но как только автор пустится в свободные рассуждения — поостерегитесь! А то ведь ненароком поверишь, что «именно по Крещатику десять веков назад толпы киевлян шли принять крещение в днепровской воде». Ведь не каждый же, в самом

деле, обязан знать, что Крещатику от роду меньше двух сотен лет и что название этой улицы никак не связано с крещением Руси, а происходит от «крещатого яра», то есть находившегося тут глубокого крестовидного оврага. Можно, того и гляди, сгоряча поверить и в то, что «Россия каждый раз по-новому осмысляла свое великое назначение в мировой культуре — преемницы величайшего культурного наследия Византии, хранящей завоевания античного мира».

Великое, величайшее... Попытаемся все же освободиться от гипноза нарастающих степеней: действительно ли назначение России в мировой культуре было именно в этом — стать постоянной преемницей Византии? Не вернее ли будет сказать, что развитие русской национальной культуры происходило как раз в противоборстве с влияниями византийскими?

Тому есть свидетельства — памятники Владимира, Суздалья, а особенно черниговская «Пятница на торгу», самый ранний, домонгольский еще образец освобождения от византийских форм (а вместе с тем, быть может, и от нравственных оков византийства).

Задумывался ли когда-нибудь И. Глазунов над тем, почему именно в периоды реакции русское искусство ориентировали в сторону византийскую? Задумывался ли он над историко-социальными причинами возникновения «русско-византийской» (а точнее, псевдорусской) школы в нашем зодчестве?

Если уж вступать в спор с «концептуальными» высказываниями Глазунова, то нельзя обойти и его многословных рассуждений о Достоевском. Имя Достоевского чаще других имен мелькает на страницах записок. К Достоевскому автор испытывает влечение особое. Разумеется, ничего в этом зазорного нет. Худо лишь то, что из огромного наследия писателя Глазунов извлекает прежде всего «пловенничество», то есть реакционную, славянофильскую, давно по справедливости оцененную критикой часть его мировоззрения.

Но стоит ли придавать серьезное значение философско-теоретическим пассажам автора, коль скоро он сам чувствует себя «не подготовленным к анализу творчества Достоевского»? Правда, тут уместен вопрос: а зачем же тогда так часто поминать его имя всеу? Ведь о Достоевском существует обширная литература, и если нечего



прибавить к уже сказанному, то, может быть, лучше и не говорить.

Нечего, это верно, да вот беда: автор сызмальства настроен думать, видеть и выражаться с помощью литературно-художественных ассоциаций. И с этим ничего не поделаешь. Иначе как объяснить тот факт, что, будучи одиннадцатилетним подростком, сидя в доме дяди своего и ожидая машину, которая должна была перевезти его через Ладугу на Большую землю, — в страшный для детской души час войны, голода, бомб, смертей, в час последнего расставания с матерью, — Илюша Глазунов думает не о чем ином, как о картине Рериха «Гонец». Психологический этот феномен засвидетельствован автором в начале записок.

И дальше, куда б ни занесло И. Глазунова, всюду все видится ему как бы сквозь некие литературно-художественные очки. Приехал в Сибирь, пошел на берег Минусинки — перед глазами «Водоем» Борисова-Мусатова. На египетских кручах ему тотчас привиделся протопоп Аввакум. Поглядел на хохломскую роспись — «невольню вспоминаются Рафаэль и великие скульпторы древней Эллады». Старый дед в селе Гребло похож на стрелца с картины Сурикова, а самое село совмещается в сознании автора с картиной Рылова «Зеленый шум».

Даже перспектива женитьбы не освобождает И. Глазунова из плена ассоциаций, даже на любимую он не в силах взглянуть своими очами: «В ее очень юном лице меня сразу поразило сочетание нежной женственности, напоминавшей мне девушек Ренуара, и внутренней волевой силы, присущей женским образам Тургенева и Достоевского».

Ренуар, Тургенев и Достоевский в одном лице! Тут впору взмолиться; но не ждите пощады, автор будет до конца кружить вас на своей карусели, авось все как-нибудь да смешается.

Послушайте, как И. Глазунов готовился к дипломной своей картине: «Я снова и снова листал альбомы, в который раз поражаюсь энергии светотени, беспримерной фантазии ракурсов Тинторетто. Изумлялся праздничным рифмам Веронезе, одного из величайших поэтов классической композиции, героическому речитативу Рубенса, лирической ясности Рафаэля, гомучему творческому монологу Микеланджело...»

«Позвольте! — воскликнет тут осведомленный читатель. — Да ведь это не что иное,

как наспех перефразированное кредо болонских академистов! Да ведь это обыкновеннейшая, вульгарнейшая эклектика!»

Но И. Глазунов продолжает:

«Вобрав в себя неисчерпаемое богатство наследия мирового искусства от Рафаэля до открытий импрессионизма и новейших течений французской школы, Суриков сумел все это переплавить в неповторимый сплав своего самобытного языка...»

Суриков — и Рафаэль, Суриков — и открытия импрессионистов, Суриков — и «новейшие течения французской школы»... Вот уж поистине бумага все стерпит!

Стерпит знак равенства между Брюлловым и Бруни. Стерпит глубокомысленный анализ пастушеской профессии («Что требуется от пастуха? Основная его задача — обеспечить животным сытую жизнь, без которой не будет у людей ни молока, ни масла, ни мяса»). Стерпит и философические предположения о некоем «равнинном» чувстве, составляющем, как думает автор, «типическую черту в нашем народном сознании». Стерпит и сенсационное сообщение, что «еще жива старуха, которая пекла кексы Чехову и Кувшинниковой», и описания других, не менее значительных встреч и разговоров о великих людях: «Я вот грузчиком здесь на пристани работаю сызмальства. Помню, мальчишкой с отцом отсель на лодке Шалапина возил в евовное, значит, именье. Молчит он, сидит на корме. Помолчит, а сам здоровый такой, да вдруг запоем, запоем. Громко так, у меня в ушах дрожжанишь начинает...»

Все это, вместе взятое, может показаться злой пародией, но, увы, говорится-то все всерьез.

«Евовное», «дрожжанишь», «отсель», «учигелка» — вот как расцвечивает И. Глазунов речь собеседников «из народа». Из народа, в любви к которому он так шумно и пафосно объясняется.

Исключительность своих чувств ко всему отечественному Глазунов защищает испытанными приемами. Когда соученик по академии, «подчеркнуто небритый» и в неряшливом свитере, осмелился сказать: «Терпеть не могу твоего Достоевского!» — И. Глазунов не замешкался с ответом: «Это вполне естественно. Ты вообще русскую культуру не любишь».

Отсюда, понятное дело, недалеко до беспощадной расправы с Корбюзье («это, по моему, чисто функционально-инженерные

конструкции»), а заодно со зловредным Пикассо («свобода выдумки и пустое трюкачество») и, уж конечно, с Сезанном, с которого, оказывается, и началась обывательщина.

Не станем дольше испытывать терпение читателя. Пройдем мимо смелого утверждения автора, будто «нет и не может быть справедливости для всех». Опустим рассуждения об «Афинской школе» Рафаэля, «сочетающей необходимое количество персонажей с глубочайшим осмыслением всей античной философии». Не станем уличать автора, когда он назовет живопись киевского Владимирского собора «фресками» или же когда скажет, что нижегородская домовая резьба «сделана топором из дерева». Поверим на слово, что перед городецкими росписями на донцах прялок «меркнут Анри Руссо и Пироманишвили». Поверим, что «отдаленным прототипом» шатров на кремлевских башнях была казачья дозорная вышка.

Опустим также историю быстрого знакомства с загадочной, похожей то на заколдованную принцессу, то на оголтелую мешанку певицей Надей, в погоне за которой наш автор выскочил из автобуса «прямо в живот ослепленному пургой человеку», а затем устремился и дальше, сперва в Ригу, затем в Киев... Опустим среди многого другого и эту пикантную повесть, начавшуюся с худых, голенастых ног натурщицы, давно изученных автором и давно ему надоевших.

Пожалуй, хватит. Закроем страницы, украшенные фотографическим портретом Ильи Глазунова и его на диво посредственными рисунками. Отложим в сторону четыре книжки журнала и подумаем о прихотях моды и о причинах, способствующих появлению таких вот сочинений.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

★

## ПУТЬ МАСТЕРА

**Творчество Константина Федина. Статьи. Сообщения. Документальные материалы. Встречи с Фединым. Библиография. «Наука». М. 1966. 632 стр.**

Сборник «Творчество Константина Федина» вышел накануне семидесятипятилетия писателя. Естественно рассматривать эту книгу как юбилейное издание, посвященное нашему крупнейшему прозаику, который полвека своей жизни отдал служению родной литературе. Прекрасно изданная, разнообразная по материалу, снабженная интересными иллюстрациями — она вполне отвечает этому своему праздничному назначению.

Однако при близком ознакомлении с книгой видишь, что ее замысел далеко выходит за рамки юбилейного издания. Оригинальные статьи-исследования, новые сообщения о неизвестных или малоизученных сторонах деятельности писателя, документальные материалы, письма, воспоминания и наконец обширнейшая библиография делают этот сборник ценным с точки зрения и историко-литературной и научно-методической.

Да и само название книги — «Творчество Константина Федина» — не исчерпывает полностью ее содержания. Ибо в ней не только всесторонне и глубоко освещается творческий путь замечательного мастера слова, но и раскрывается личность Федина-гражданина, человека большого таланта

и высокой культуры. Вместе с тем творчество Федина естественно и органически связывается в книге со всей советской литературой, со всем литературным движением советской эпохи. Именно в единстве духовного развития автора «Городов и годов» и «Необыкновенного лета» с развитием основных тенденций литературы социалистического реализма и в первую очередь с горьковскими традициями и рассмотрена в сборнике деятельность К. Федина.

Известно, какую большую роль в становлении К. Федина сыграл Максим Горький. Вот что писал об этом сам Федин: «Горький был для меня учителем, другом, товарищем самым большим из всех, которые умерли и которые остались жить. Меня связывает с ним пятнадцатилетнее общение, в течение которого Горький много раз подавал мне руку участия, симпатии, помощи и дважды спасал мне жизнь». Помещенная в сборнике хроника «А. М. Горький и К. А. Федин» (составители Ф. Иоффе и Е. Коляда) дает достаточно полное представление о дружбе, творческом общении, взаимных симпатиях двух писателей.

Февраль 1920 года. Первая встреча, личное знакомство Федина с Горьким. Горький

протягивает молодому Федину руку дружбы, предлагает постоянно поддерживать товарищескую связь: «Мне не хотелось бы вообще прерывать ее. Не хотелось бы...» И дальше — много встреч, бесед, писем. В этих письмах — внимание и уважение писателей друг к другу, трогательная забота о здоровье, участие в делах житейских. «Но главная тема нашей переписки, — говорит К. Федин, — всегда была литература». Блок, «Серапионовы братья», Маяковский, вопросы пролетарской культуры и роли интеллигенции в революции, широкие замыслы создания «Истории гражданской войны» и «Библиотеки поэта» — вот далеко не полный круг тем, какие затрагивали в своих письмах и личных беседах Горький и Федин. Таким образом, фиксируя отдельные моменты истории отношений двух писателей, хроника одновременно рассказывает о целой эпохе в развитии советской литературы.

Такое же широкое звучание имеет и раздел «Из переписки прошлых лет» (публикация и примечания Л. Кувановой и А. Хайлова), куда вошли письма К. Фебина к Воронскому, Фадееву, Полонскому, Никитину, Эйхенбауму и другим литераторам. К. Федин делится со своими корреспондентами наблюдениями над современной литературой, поверяет им иной раз собственные радости и сомнения.

Естественно, что в сборнике напечатана лишь малая часть писем К. Фебина, но и она дает возможность представить широту эстетических интересов писателя, многогранность его деятельности, неразрывно связанной с общественной и литературной жизнью страны. Этому способствуют обстоятельные и содержательные комментарии.

К разделу «Из переписки прошлых лет» примыкают рассказы писателей о Константине Федине («Встречи с Фединым»). Здесь и воспоминания о совместной работе осенью 1919 года в петроградской газете «Боевая правда» (А. Лебеденко), и рассказ о жизни молодых литераторов в начале двадцатых годов в Ленинграде (М. Слонимский, Е. Полонская), и размышления о творчестве Фебина (Вс. Иванов, Н. Тихонов, М. Прилежаева), и лирические миниатюры, авторы которых стремятся передать свое эмоциональное ощущение от личности своего друга (И. Соколов-Микитов, К. Паустовский), и сообщение о тех творческих

советах, которыми щедро делится Федин со своим товарищем по перу (К. Симонов), и совсем уже свежие впечатления о встречах с Фединым и совместной работе в секретариате Союза писателей (Г. Марков).

Статья известного знатока и переводчика произведений К. Фебина на немецкий язык Вольфа Дювеля «Федин в Германии» хотя и напечатана в разделе «Сообщения», но, безусловно, относится к рассказам писателей о Федине, существенно дополняя их интересными подробностями. Вольф Дювель рассказал о новых, мало известных фактах из жизни Фебина в германском плену во время первой мировой войны. Жизнь писателя в Германии исследователь связывает с творческой историей романа «Города и годы» и повестью «Я был актером». Он прослеживает и более поздние связи Фебина с немецкой культурой. «Исследовать жизнь и творчество Фебина... — пишет Вольф Дювель, — в этом слависты Германской Демократической Республики видят не только свою научную задачу, — их обязывает к этому чувство благодарности по отношению к большому гуманисту, большому другу немецкого народа».

О международном авторитете Фебина-писателя свидетельствует и статья чешского критика Мирослава Заградки «Федин в Чехословакии», где мы находим разнообразный фактический материал, связанный с переводом книг писателя на чешский язык, с изучением его творчества чехословацкими литературоведами и критиками.

В сборнике напечатано девять статей советских критиков, рассматривающих творческую историю и особенности стиля наиболее значительных произведений Фебина, их место в общем литературном процессе.

М. Кузнецов в статье «Константин Федин и советский роман» исследует творчество Фебина в русле главных поисков и направлений развития советского романа. В центре работы М. Кузнецова — проблема гуманизма, столь важная для советского романа вообще и для творчества Фебина в частности.

Судьба гуманизма, судьба интеллигенции в новом обществе, при всем своеобразии каждого из романов Фебина, остается ведущей в его творчестве. «Города и годы», «Братья», «Похищение Европы», «Санаторий Арктур», «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер» — семь романов, и в каждом по-разному предстают перед

читателем напряженные поиски героями правды, тех нравственных критериев, без которых немислима жизнь человека нового общества.

Статья Шкловского «О Константине Федине» оригинальна самым ходом рассуждений. Это свободные по стилю размышления об эволюции романа, воспоминания о давних встречах в Доме искусств в Петрограде, мысли, навеянные чтением произведений Федина.

Е. Краснощекова в статье «От «Пустыря» к «Трансваалу» разрабатывает более узкую тему: новеллы Федина двадцатых годов. При внешней ограниченности задачи, статья интересна тем, что напоминает о мастерстве Федина-новеллиста. Тем самым существенно расширяется наше представление о творчестве писателя в целом, ибо индивидуальность Федина в новеллах двадцатых годов выявляется, по мнению автора работы, с не меньшей полнотой, чем в его романах.

Изучение прозы К. Федина — важнейшая часть работы исследователей. Однако для того, чтобы полнее уяснить все разнообразие литературной деятельности писателя, необходимо обратиться и к его размышлениям о путях и опыте совершенствования советского искусства. Эту задачу выполняет статья С. Машинского «Писатель в раздумьях о своем ремесле», посвященная в основном анализу книги К. Федина «Писатель Искусство. Время», и статья академика В. Виноградова «К. А. Федин как теоретик литературы», в которой автор рассматривает творческую программу Федина как продолжение и своеобразное творческое развитие литературно-эстетических воззрений Горького.

Б. Бялик написал о трудной судьбе одной книги К. Федина — о книге «Горький среди нас». Первая часть этой книги вышла в свет в 1943 году и получила самую высокую оценку в печати. Когда через год была издана вторая часть книги, она неожиданно вызвала совсем противоположные отклики. В результате замечательное произведение мемуарной литературы стало на долгие годы почти недоступным читателю, а третья часть книги так до сих пор и не написана. Как же это произошло? На этот вопрос и отвечает автор в своей работе. История поучительная, и думается, читателям будет полезно о ней напомнить.

В сборнике опубликована также статья Б. Брайниной «В литературном мире нет

смерти...» — о толстовских традициях в творчестве К. Федина, и исследование саратовского литературоведа П. Бугаенко «Изучая Федина», где приводятся любопытные сведения об изучении творчества писателя в нашей стране и за рубежом, анализируется критическая литература о нем и делается попытка по-новому осмыслить некоторые моменты творческой биографии Федина, в частности связанные с его участием в группе «Серапионовы братья».

В 1951 году К. Федин в статье «Илья Эренбург» писал: «В искусстве, в литературе, как и в жизни, ничто не может зародиться самопроизвольно — все растет из своей почвы, из своего корня. Если меня удивляет какое-нибудь полотно живописца, я хочу знать, что было сделано мастером раньше, как он писал, прежде чем создал удивительное полотно».

Книги самого К. Федина, как любого художника, будут поняты лучше, если обратиться к истокам его творчества. В статье З. Левинсона «Разыскания о К. А. Федине», напечатанной в разделе «Сообщения», рассматриваются первые литературные опыты Федина.

П. Ширмаков в статье «Публицистическая и литературно-критическая деятельность К. А. Федина 1919—1921 годов» продолжает тему З. Левинсона, раскрывая формирование мировоззрения писателя в непосредственном познании им революционной действительности.

Последний раздел сборника — обширная «Библиография» (составители Н. Захаренко и З. Левинсон), занимающая сто тридцать страниц и отразившая издания книг Федина и литературу о нем с 1913 по 1964 год включительно. Все произведения Федина, где бы они ни появились — в периодической печати, собрании сочинений, — отмечены здесь. Не оставлены без внимания и письма Федина, его беседы и выступления, напечатанные в газетах полностью или в изложении.

Столь же основательна библиография литературы о жизни и творчестве Федина. Сюда включены все критические работы о нем (причем не только специально посвященные Федину, но и общие работы, содержащие оценку творчества писателя), авторефераты диссертаций, произведения Федина в театре и кино, шаржи и эпиграммы на него, официальные материалы.

Книга о Федине — первый опыт сборника такого типа. Опыт безусловно удачный. Коллектив Института мировой литературы имени А. М. Горького, выпустивший книгу, И. С. Зильберштейн, непосредственно подготовивший издание, проделали большую работу, в результате которой читатели получили ценный труд о выдающемся художнике слова.

Первый опыт заслуживает того, чтобы он был продолжен. Надо надеяться, что Институт мировой литературы предусмотрит в своих планах дальнейший выпуск подобных изданий, посвященных крупнейшим советским писателям, таким, как М. Шолохов, А. Толстой, Л. Леонов, С. Маршак и другие.

Г. ПАВЛОВА.

★

## КУЗЬМИН — ИЛЛЮСТРАТОР ТЫНЯНОВА

Юрий Тынянов. Малолетный Витушишников (Рисунки Н. Кузьмина).  
«Художественная литература». М. 1966. 93 стр.

Есть такой специфический термин — подарочное издание. Этого определения нередко удостоиваются исполнинские, очень дорогие томища, сверх всякой меры заляпанные золотом снаружи, а внутри — виньетки, заставками и т. п. Такие книги издаются не для чтения, а для дарения. Дарителю, может быть, и удобно, для одаряемого же — нечто вроде чеховского подсвечника...

Истинный книголюб — прежде всего читатель, и потому он ценит другие книги, изданные со вкусом — скромно, некичливо.

Повесть Ю. Тынянова «Малолетный Витушишников», изданная с рисунками Николая Кузьмина, — подлинный подарок любителю хорошей книги. Внимание читателя будет привлечено и именем автора, и именем художника.

Тынянов переиздавался не часто, иллюстрировался и того реже. (Пожалуй, кроме своеобразных, острогротескных рисунков молодого Евгения Кибрика к изданному в 1930 году «Подпоручику Кижe», ничто здесь не приходит на память.) «Малолетный Витушишников» занимает достойное место в ряду небольших исторических повестей, написанных Ю. Тыняновым в начале тридцатых годов. В этой книге нет той глубины и силы обобщения, какие присущи «Подпоручику Кижe» — этому тыняновскому шедевру, однако вряд ли будет ошибкой предположить, что всеобщий успех первой повести в известной мере предопределил судьбу повестей, написанных несколько позже. Их недооценили именно потому, что сравнивали.

«Подпоручик Кижe» давно уже стал классикой. Нынешнее восприятие оставшегося словно бы в тени и гораздо менее знакомо-

го читателю «Малолетного Витушишникова» свободно от каких бы то ни было невыгодных сравнений. А сама по себе повесть очень хороша! Исторический анекдот из времен Николая I рассказан Тыняновым с холодной саркастической усмешкой, тон повествования — спокойный, как бы отстраненный. За каждой строкой — уверенное знание эпохи в ее мельчайших подробностях. Портреты выразительны и кратки, ничего лишнего — ни в сложных переплетениях сюжета, ни в стилистике. Каждое слово к месту, все отделано тщательно, рукой взыскательного мастера.

Новая работа Николая Кузьмина — одно из старейших наших книжных графиков, — несомненно, придется по душе и ценителям его таланта, и почитателям таланта Юрия Тынянова.

Искусство книжного иллюстратора в чем-то сродни искусству актера или музыканта-исполнителя, то есть любому искусству интерпретации. Скажем, Хлестаков Сергея Мартинсона и Хлестаков Игоря Ильинского отражали индивидуальные особенности таланта этих двух столь различных актеров, отвечая в то же время и известным гоголевским указаниям о том, как надлежит играть роли в «Ревизоре».

У рисунков Н. Кузьмина множество разнообразных достоинств. И все же на первое место хочется поставить умение художника прочитать текст. Прочитать правильно, хотя и по-своему. Ясное понимание авторского замысла, чуткость к малейшим оттенкам авторской интонации, к манере и стилю писателя свойственны работам Кузьмина-иллюстратора.

Любой рисунок Н. Кузьмина к «Малолетному Витушишникову», будучи сам по се-

бе законченным произведением книжной графики, неотделим от книжной страницы, от литературного текста, переведенного художником на язык зрительных образов. В быстрых, как бы летучих штрихах рисунков, исполненных пером и в разной степени подвеченных акварелью, сразу узнается почерк Кузьмина, на первый взгляд невольно рождающий мысль о легкости, импровизационности исполнения. Конечно, это не так, это кажется лишь на первый взгляд. Легкость тут мнимая. Чем больше вглядываешься в рисунки, тем яснее становится, что непосредственному исполнению предшествовали длительные творческие поиски, уйма эскизов, огромный труд по изучению творчества писателя, по изучению реалий (костюмов, обстановки, иконографии, ведь в данном случае большинство персонажей повести — исторические лица). И оттого у Кузьмина есть и эпоха со всей ее атмосферой, есть и Тьнянов с особенностями его манеры. Своеобразие художника слито воедино со своеобразием писателя.

Трудно выделить среди рисунков Н. Кузьмина какой-либо один, все они примечательны по-своему.

В центре тьняновского повествования император Николай I. Кузьминым он изображен в десятке иллюстраций, и всякий раз по-иному. (Как тут не улыбнуться, вспомнив, что у Тьнянова некий придворный уподобляет лицо царя эоловой арфе, отражающей все движения природы.) Ирония Кузьмина здесь зла, юмор отнюдь не добродушен.

Попробуем присмотреться попристальнее к некоторым иллюстрациям.

«Именно в это утро, более чем когда-либо, император ощущал потребность в государственной деятельности», — читаем мы в повести. Так возникает мысль поехать ревизовать Петербургскую таможенную. Далее Тьнянов пишет: «Он любил внезапное падение шума, чей-то отчаянный шепот и затем, сразу, тишину. И появляется он». Именно таким — грозным, замечающим все: как покачнулся толстый швейцар, как писец за столиком вдруг перекрестился, как бы шаря в пуговицы, — и изобразил нам художник царя.

И другой рисунок. Николай, «излучая гнев», ожидает вызванного им генерал-адъютанта Клейнмихеля.

«— Поди, поди сюда, голубчик, — сказал император.

Генерал-адъютант помедлил в дверях.

— Ну что же ты, подожди, — сказал тихонько император».

Как схожи и как различны эти два рисунка! Еще раз обратимся к тексту повести. О разгневанном царе в ней говорится, что «в чисто живописном отношении его лицо чем-то, своею быстрою игрою, напоминало в такие минуты молнию в «Гибели Помпеи» Брюллова и «Медном змий» Бруни». Вот эту самую «молнию» Кузьмин искусно дает нам почувствовать во втором рисунке, тонко передавая не только характер главного персонажа тьняновской повести, но и его настроение в изображаемый момент.

А вот кабагчица, упав в ноги императору, рыдает, «пытаясь лобызнуть лакированные сапоги с маленькой ступней». Право же, в облике Николая здесь есть нечто от частного пристава, за которого «вздорная баба все время принимала государя».

Еще на одном рисунке он играет в карты. Дело это не государственное, и отношение царя к «небольшому семейному висту по маленькой» ясно выражено художником.

На рисунке, вынесенном и на суперобложку, — сцена примирения с фрейлиной Нелидовой: «сильная натура императора не выдержала напряжения». Как мало тут осталось в облике Николая от громовержца, учинявшего разнос графу Клейнмихелю...

Сама же Варенька Нелидова особенно хороша на прогулке по Аполлоновой зале. Может быть, именно потому так хороша, что прогулка эта воображаемая, рожденная в помыслах царя, а значит, и Нелидова здесь воображаемая, не в точности та, что на самом деле, — художник показывает нам ее такой, какой она видится увлеченному взору императора.

И еще одну иллюстрацию нельзя не отметить. На ней — даже не сам Николай, а всего лишь его портрет, и даже не весь портрет, а только часть его — сапоги и низ пышной рамы с царским вензелем, окруженной пылающими сердцами. Буквального соотвещения этому в тексте нет. Но рисунок как бы вместил в себя все, что в повести говорится о «фрейлинской части», о необычайном волнении, вызванном там известием о ссоре с Нелидовой, когда почти все фрейлины перестали спать и почти всем им снился император. Получилось по-кузьмински изящно и целиком в духе Тьнянова.

Кроме царя и его любимицы, Кузьминым изображены также «негоциант» Родоканани, солдаты, малолетний Витушишников, отдельного корпуса жандармов шеф граф Орлов — «со всегдашней осанкою война», поручик Кошкуль 2-й, тайный советник Вронченко, ставший министром потому, что требовались именно такие министры, которые «пороха не выдумают». Изображен Фаддей Булгарин, когда он «с пером в руке стал думать», в кругу полицейских чинов, ждущих плодов булгаринского вдохновения... Всех не перечесть. И никого ни с кем не спутаешь, у всех свой нрав, свое лицо.

Кузьмин-иллюстратор не только побуждает внимательно прочесть тыняновскую повесть, но и помогает тому, кто ее уже чи-

тал, открыть в ней много нового, не замеченного прежде.

И еще одно. Книголюбы — это не только читатели. Книголюбы — это и издатели и полиграфисты, мастера своего дела, люди, хорошо разбирающиеся в книгах. Думается, работа над книгой Тынянова — Кузьмина была радостью для всех них — от редактора до наборщика, печатника, цинкографа. Поэтому в дополнение к тому, что книга выпущена издательством «Художественная литература», необходимо добавить: отпечатана в московской типографии «Красный пролетарий». Все в ней сделано любовно и, можно сказать, образцово.

**Б. ГЕРМАН.**

★

## ЧЕЛОВЕК — ВЕЩЬ

Гоффридо Паризе. Хозяин. Роман. Перевод с итальянского Ю. Добровольской. «Иностранная литература», № 8, 1966.

«Хозяин» — первый роман Гоффридо Паризе, выходящий на русском языке, и об авторе надо хотя бы бегло рассказать. Он родился в 1929 году и дебютировал в литературе в 1951 романом «Мертвый юноша и кометы». Роман этот не имел решительно никакого успеха, и только сейчас, после шумного успеха «Хозяина», издательство вспомнило о первом произведении писателя. Но в 1954 году Паризе написал роман «Красивый священник», вызвавший настоящую сенсацию. Это очень талантливо написанная история судьбы двух итальянских мальчишек. Они — герои и одновременно жертвы улицы, в них причудливо сочетается хорошее и дурное.

Время действия — годы фашизма, место действия — маленький провинциальный итальянский городок. «Красивый священник» — дон Гастоне — ярый фашист и поклонник Муссолини. Он пользуется в городе почти безграничной властью. Вокруг дона Гастоне — группа католических «активисток». Это сплошь старые девы, ханжи, которые кичатся своей высокой нравственностью, а на самом деле сплетничают, интригуют, шпионят друг за другом и за «красивым священником», в которого все они влюблены. В романе множество великолепных, остро сатирических зарисовок, хотя в своем сверхнатурализме Паризе пол-

час, пожалуй, несколько терял чувство меры. Но сделано все это было в самом деле превосходно. Книга была переведена на одиннадцать языков и выдержала много изданий в Италии. Более того, название «красивый священник» (по-итальянски оно звучит: *prete bello*) вошло в быт. Так называют священников, пользующихся своим личным обаянием, чтобы вершить всякие неблагоприятные делишки. Совсем недавно, весной этого года, один такой *prete bello* вздумал в своем приходе (в маленьком селении на Сицилии) сжечь все журналы, почему-либо казавшиеся ему аморальными. И — сделал это. Но я отвлеклась от темы, надо вернуться к Паризе.

Его литературная судьба не совсем обычна. Он то почти что проваливается, то делает резкий рывок вперед. Он далек от литературных группировок, не выступает в периодической печати, живет в Милане и работает в одном из издательств. Политикой он, по-видимому, мало интересуется, вообще держится особняком. Последние лет шесть-семь о нем ничего не было слышно, но после выхода в свет романа «Хозяин» Паризе выдвинулся в первый ряд. Его талант жестокий и умный. Его «Хозяин» — страшная, несомненно спорная, но интересная и значительная вещь.

Когда-то Александр Блок назвал цикл

своих стихотворений «Страшный мир». Тема страшного мира в различных вариациях настойчиво звучит в современной итальянской литературе. Может быть, она предстает особенно драматичной потому, что сами условия человеческого существования в странах развитого капитализма — а к ним теперь принадлежит и некогда отсталая Италия — тают в себе жестокую угрозу для мыслящих и тонко чувствующих людей. Достигнуты сравнительно высокие стандарты материальной культуры, изменилось соотношение между различными слоями населения. Это не значит, что снят вопрос о куске хлеба, отнюдь нет: в стране существуют и безработица, и нищета, и неграмотность, и социальное неравенство. Но определение «страшный мир» сложнее и шире, оно выходит за рамки нужды, каждодневных тягот, тщетных поисков работы. Многие люди, стоящие отнюдь не на самых низших ступенях социальной лестницы, также воспринимают окружающую действительность как нечто враждебное, чуждое, злобное и страшное.

Тема «страшного мира» — это, иначе говоря, тема «отчуждения». Человек одинок, человек беспомощен, ему не на кого и не на что рассчитывать, он обречен на подчинение и покорность. Если он попытается бунтовать — бунт окажется бесполезным, потому что человек — ничто. Есть грозные силы, обладающие реальной властью, уверенные в своем всемогуществе, располагающие громадным ассортиментом средств воздействия, циничные и безжалостные, страшные силы.

Вот та духовная атмосфера, которая с большим мастерством передана в романе «Хозяин». В романе есть два центральных персонажа, противостоящих друг другу. Одному из них, тому, от чьего имени ведется рассказ, автор совершенно сознательно не дал имени. Второй — молодой хозяин фирмы, доктор Макс.

Это не ординарный хищник и делец, не типичный капиталист, так сказать, старого стиля. У него есть своя философия, за которую он крепко держится. Философия эта сводится к тому, что он, хозяин, является абсолютным властелином всего, что ему принадлежит: машин, сырья, товаров, подчиненных ему людей. Он сильнее этих людей, он при желании легко мог бы, например, ломать своих служащих на части. Однако он этого не делает. Почему же?

Оказывается, что его удерживают «чисто моральные» соображения.

У доктора Макса есть идея. Она сводится к тому, что фирма должна превратиться в нечто вроде религиозной общины со своими мифами, со своим божеством. И — логическое завершение идеи: кто это божество? Ответ ясен: хозяин.

Для того, чтобы осуществить свою идею на практике, доктор Макс должен создать идеальный тип подчиненного. Вот ось, вокруг которой движется интрига романа. Сможет ли получиться из персонажа, которому автор не пожелал дать имени, идеальный образец «человека-вещи»? Он представляется хозяину подходящим человеческим материалом. Ошибется ли доктор Макс? Как поведет себя «вещь», подчинится или устоит? Что возьмет верх — привычная покорность или чувство человеческого достоинства? Может ли подчиненный, живущий в страшном мире, бороться или на его долю остается только бессильная ненависть?

В этом романе все, в сущности, построено на взаимоотношениях двух центральных персонажей. На протяжении всей книги между ними происходят напряженные, насыщенные внутренним драматизмом разговоры. Взаимоотношения хозяина и его «вещи» — разве этого достаточно для того, чтобы говорить о наличии сюжета? Паризе убедительно доказывает, что этого вполне достаточно.

Идеи доктора Макса самоочевидны: идеальный подчиненный должен полностью, безоговорочно, самозабвенно и при этом совершенно «добровольно» превратиться в собственность хозяина. Он должен вкладывать во все, что делает, любовь и веру — любовь к фирме, веру в то, что хозяин всегда прав. Мало того, идеальный подчиненный должен, обязан быть при этом безгранично счастливым, этого требуют правила игры: ведь хозяин — не какой-нибудь там жестокий эксплуататор, он некоторым образом даже философ.

Но «вещь» в романе Паризе мыслит, задумывается о том, что такое добро и что такое зло. Однажды, в период обострения отношений со своим почти идеальным подчиненным, доктор Макс решает объяснить с ним письменно. Второе письмо, принадлежащее перу доктора Макса, — квинтэссенция хозяйской философии и психологии.



Хотя — как уже сказано — роман построен на взаимоотношениях «хозяина» и «подчиненного», в нем есть фон, есть короткие, но выразительные вставные новеллы. Перед нами проходят различные персонажи — сотрудники фирмы, их жены, — все они тоже не более чем вещи, но вещи, по-разному думающие и чувствующие. Вы читаете роман Паризе — и у вас невольно возникают ассоциации: комедия масок. Только усложненная, обогащенная техникой экспериментального письма, — в общем, комедия масок шестидесятых годов двадцатого века.

Вот швейцар Лотар, удивительно похожий на орангутанга; он пытается улыбнуться, и именно при этом особенно ярко проявляется его обезьянья природа. Он робот, олицетворение тупой и грубой силы, слепое орудие в руках хозяина. Вот Орацио, «свободный художник», преисполненный вдохновения и связанный с фирмой сугубо деловыми взаимоотношениями (Орацио написан автором с особенным ядом и мастерством). Вот генеральный директор фирмы синьор Ребо, человек с удивительно «симметричной» внешностью. Это он в качестве специалиста по так называемым человеческим отношениям должен следить за тем, чтобы все служащие были не только послушными и преданными, но и веселыми, радостными и счастливыми.

Некоторые персонажи комедии масок сделаны крайне выразительно, нарисованы острым и тонким пером. Другие — бледнее, они скользят по роману, оставляя нас сравнительно равнодушными. Но авторский почерк, сильный и своеобразный, чувствуется даже в менее удавшихся Паризе второстепенных персонажах.

Роман нелегко классифицировать, прибегая к привычной в литературной критике терминологии. Паризе пишет как будто вполне реалистично. В самом начале кажется даже, что автор банален: сотни раз мы встречали таких героев в такой ситуации — деревенский юноша, приехавший в город искать свою судьбу. Но это первое впечатление обманчиво. К манере автора надо привыкнуть, в книгу надо вчитаться, чтобы уловить ее напряженный внутренний ритм. Конечно, это гротеск, это сатира. Но, на мой взгляд, здесь есть какой-то секрет мастерства, с трудом поддающийся определению.

Фабула как будто не очень замыслова-

тая, «интриги» как таковой не так уж много. А вот читаешь с напряженным интересом, который все более возрастает по мере того, как глубжеходишь в сумасшедший мир, куда вводит нас Паризе. А мир не только страшный, он и в самом деле какой-то сумасшедший. Надо сказать, что в романе — сильнейший акцент на биологию. Сам Паризе в одном интервью говорил о том, что он рассматривает человеческие отношения и проблему власти вне зависимости от классовой борьбы. Он изучал Дарвина и пришел к выводу, что историю человечества надо осознать и расценивать с биологических позиций: происходит борьба видов и побеждают сильнейшие. Поэтому два аллегорических центральных персонажа романа — «хозяин» и «вещь» — связаны такой сложной сетью отношений.

Но мне кажется, что художественный результат превзошел замысел автора, как это часто случается с талантливыми писателями. Независимо от увлечения Паризе биологией, его роман в новой и оригинальной форме ставит старый вопрос о положении «маленького человека» в капиталистическом обществе. И нельзя не признать, что у Паризе — настоящая мертвая хватка: читая роман, все время чувствуешь — дело не в докторе Максе, дело в любом хозяине. И в этом значительность романа.

В Италии «Хозяин» имел большой успех, получил одну из крупнейших литературных премий. Мысль передовых писателей Запада, и в частности итальянских, все время — мы уже говорили об этом — обращается к теме отчуждения. И всякий раз она вызывает горячие отклики читателей и критики. За последние несколько лет разговор о «страшном мире», о судьбах человека в так называемом обществе благоденствия то и дело возникает и в художественной литературе, и в публицистике. Недавно на русский язык переведен интересный роман Биджаретти «Конгресс». Имена многих писателей, в чьем творчестве звучат эти мотивы, к сожалению, у нас пока мало известны. Я назову только нескольких из них: Паоло Вольпони, Оттьери Оттьери, Лючано Бьянчарди, Инизеро Кремаски.

Ставить имена этих писателей в один ряд можно лишь условно: они подходят к окружающей действительности с различных позиций, у них разные взгляды, уровень таланта, разный почерк. Общее, пожалуй, только одно — боль, гнев, горечь, стремле-

ние осмыслить то, что происходит в жизни, занять активную гражданскую «линию обороны», а быть может, и наступления. Но сохранять самостоятельность мышления и чувство собственного достоинства, находясь на позициях индивидуального осуж-

дения и сопротивления, очень трудно. Нужен не «бунт», нужна борьба И еще Хемингуэй сказал когда-то: «Человек... один... не может... ни черта!»

Ц. КИИ.

★

### Политика и наука

## ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Я. А. Кронрод. *Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и теории.* «Мысль». М. 1966. 581 стр.

Автор этой книги — ученый, известный не только у нас в стране. Его перу принадлежат капитальные труды и проблемные статьи по основным вопросам политической экономии. Отличительная его черта — твердая, продуманная позиция во всех порой еще спорных проблемах политической экономии социализма.

Точка зрения автора на предмет и метод исследования сформулирована в предисловии. Он подчеркивает, что политическая экономия социализма не только охватывает все новые области производственных отношений, но и «углубляется в их взаимосвязи, закономерности движения». «Она во все большей степени становится всесторонне научно развитой диалектической системой строго логически взаимосвязанных, субординированных категорий и законов, охватывающих экономические отношения социализма в их единстве, движении и развитии».

Если бы политическая экономия социализма достигла таких высот, о каких говорит автор, то можно было бы в ней видеть универсальную и всеобъемлющую науку в области общественных отношений. И дело не в том, что она еще не стала такой наукой, а в том, что можно и должно выделить ее специфический предмет исследования. Автор стоит именно на такой позиции, стремясь в своем анализе не выходить за пределы «совокупности производственных отношений, изучаемых в неразрывной и определяющей их взаимосвязи с производительными силами на каждом данном исторически определенном этапе их развития».

Книга состоит из двух обширных разделов: первый — «Предмет и метод политиче-

ской экономии социализма и исследование ее законов» и второй — «Законы политической экономии социализма в их взаимосвязях. Объективный механизм их действия».

В первом разделе рассматриваются общие проблемы, связанные с предметом и методом политической экономии. Здесь автор вручает читателю начало аriadниной нити, с помощью которой тот может вместе с ним пробраться сквозь лабиринт противоречий и запутанных проблем. Я. А. Кронрод последовательно анализирует развитие противоречий в том смысле, в каком понимал это Маркс:

«Только в том случае, если вместо противоречащих друг другу догм рассматривать противоречащие друг другу факты и действительные противоречия, являющиеся скрытой подоплекой этих догм, только в этом случае политическую экономию можно превратить в положительную науку».

Из такого понимания подлинной диалектики вытекает необходимость применения в политической экономии присущего именно этой науке ее собственного метода анализа.

Перед нами — первая в экономической литературе попытка предложить продуманную, стройную систему сведенных воедино исторических и логических взаимосвязей экономических отношений, законов и категорий политической экономии социализма. Освещение этой — по выражению автора — общей, примерной схемы могло бы стать предметом целого нового исследования.

Конечно, задача, которую поставил перед собой Я. А. Кронрод, предполагает постановку ряда сложных проблем, в частно-

сти философских. И он не останавливается перед этой трудностью, причем в своем стремлении к точности и широте определений не избегает и весьма усложненных формулировок.

Строгая методология автора имеет двойное последствие. Автор уверен, что всесторонний анализ привел его к неоспоримым выводам, и потому его труд одновременно и дидактичен и полемичен. Поскольку речь идет не о формальном догматизировании, я готов обе черты признать достоинством книги.

Перечень авторов, с которыми Я. А. Кронрод спорит по отдельным вопросам, почти совпадает с именованным указателем в конце книги (если исключить классиков марксизма). Но полемика не привнесена в этот труд по каким-либо внешним соображениям, а заложена в самой научной разработке темы.

Черта, которую я — впрочем, несколько условно — назвал дидактичностью, вытекает из самой методологии: автор вводит читателя в мир строгого детерминизма, где все происходящее предопределено, не просто может, а должно случиться. При этом наблюдения и выводы не облекаются им в формулу вероятности, но имеют детерминированный и даже порой абсолютный смысл. На мой взгляд, нет никакого прегрешения против марксизма в том, что казавшаяся прежде привлекательной картина строго детерминированного мира ныне вызывает сомнения. Но в области экономики строгая причинность представляется основой основ. И в этом, я сказал бы, пафос книги Я. А. Кронрода.

Действительно, он настаивает на том, что «в материалистическом понимании закона вообще, следовательно, и экономического закона, решающим является не просто раскрытие закона как формы связи, а выявление существенной, необходимой, т. е. казуальной, причинной связи». Основоположники исторического материализма вовсе не обходили возможность вероятностного истолкования событий. Я. А. Кронрод приводит высказывание Маркса о том, что «вообще при капиталистическом производстве общие законы осуществляются весьма запутанным и приблизительным образом, лишь как господствующая тенденция, как некоторая никогда твердо не устанавливающаяся средняя постоянных колебаний»<sup>1</sup>. Надо заметить, что Маркс и Энгельс прида-

вали обобщенный философский смысл представлению о том, что господствующая тенденция есть средняя постоянных колебаний, то, что принято называть средней статистической величиной.

Я. А. Кронрод справедливо указывает, что при социализме в основном отпадают стихийные колебания и специфические для капиталистической формы промышленности противоречия. Но он констатирует, что не отпадает сложная противоречивость действий законов. С этой точки зрения интересен анализ автором связи между производственными отношениями и производительными силами, развитие которых «не сразу механически в каждом отдельном звене обуславливает развитие производственных отношений, а лишь в конечном счете».

Думается, что дальнейшее развитие этих мыслей могло бы показать, что некоторые экономические законы, формулирующие причинную связь, лишь отражают в абстракции хотя и объективный, но вероятностный и статистический характер самого процесса.

С этими общими теоретическими вопросами связаны другие существенные проблемы теории и практики — в частности оценка роли математического и статистического анализа в экономике. Я. А. Кронрод возражает против подмены качественного исследования количественным. Он не отрицает значения последнего, но настаивает на единстве обоих методов. К сожалению, когда речь идет о применении к экономическим процессам в условиях социализма математических и статистических методов, автор отходит от присущего ему всестороннего и скрупулезного исследования проблемы и не всегда убедителен.

Во втором разделе книги стержнем исследования является разработка, обоснование и формулирование основного закона движения (основного экономического закона) социализма. При этом автор подробно освещает не только взгляды идеологических противников и формулировки заведомо ошибочные, но и определения, принадлежащие другим крупным советским экономистам, от которых отличается его собственное определение. Очевидно, в специальной литературе аргументация Я. А. Кронрода будет еще подвергнута обсуждению. Задача этой рецензии — лишь ознакомить с позицией автора книги, представляющей несомненный интерес.

Я. А. Кронрод видит во всенародной собственности на средства производства исходный момент в анализе развития социализма. Автор вскрывает внутренние противоречия, заложенные и в понятии, и в самом определении. Всенародная общественная собственность на социалистической стадии ее развития означает существование отношений коллективности по поводу средств производства и единство всенародного распоряжения собственностью, когда все члены общества равны; но наряду с этим фактически существует социально различное (неравное) ее использование в процессе производства различными группами трудящихся. Продолжая этот ход мыслей, автор указывает, что исторический опыт обогатил положение марксистско-ленинской теории о том, что «социализм есть уничтожение классов»; социализм может победить еще до полного выравнивания уровней производительных сил деревни и города, и, следовательно, задача уничтожения классов не при всяких конкретно-исторических условиях решается вместе с победой социализма. Автор с научной прямотой и последовательностью приводит к выводу, что «противоречия экономического равенства и неравенства, заключенные в отношении всенародной социалистической собственности на средства производства и в непосредственно общественном производстве и присвоении общественного продукта», представляют собой «объективную движущую силу развития социалистической экономики», и вместе с тем они «в процессе своего движения необходимо изживаются». Таким образом, «фактическое неравен-

ство положения трудящихся в производстве. фактическое неравенство в использовании производительных сил, находится в противоречии с общественной их сущностью». Вытекающие из этого неантагонистические противоречия, если общество планомерно и своевременно создает формы их разрешения, не разлагают порождающих их отношений коллективности, но поднимают их на более высокую ступень развития.

Сформулированный в книге основной закон социализма — это закон движения социалистического строя.

В завершающей части книги Я. А. Кронрод, базируясь на результатах своего исследования и в его рамках, кратко касается значения последних мероприятий партии и правительства в области экономики. Определения и выводы, содержащиеся в работе Я. А. Кронрода, дают возможность доказать, что всестороннее внедрение хозяйственной реформы, которая учитывает фактическое неравенство положения трудящихся на производстве и в распределении общественного продукта и вместе с тем способствует повышению эффективности общественного производства, что именно такая экономическая политика, такое планирование и стимулирование находится в согласии с основным законом движения социалистического строя.

Заинтересованный читатель работы Я. А. Кронрода имеет возможность вместе с компетентным ученым продумать важнейшие проблемы теории и экономического развития стран социализма.

Е. ГНЕДИН.



## ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ НЕОЖИДАННОСТИ

Проблемы демографической статистики. «Наука». М. 1966. 354 стр.

«Если о чем-то не говорят,— острит автор «Многочисленных парадоксов Оскар Уайльд,— то, значит, этого и не существует».

Долгое время у нас не говорили о демографии. Многим казалось, что она и в самом деле не существует. Некоторым и сейчас это кажется, в том числе иногда и тем лицам, которые расположились у самого источника демографии — статистики.

Всякая наука имеет свой исходный материал. Медицина, например,— человеческий организм. Когда врачам запрещали его изучать, медицина хирела. Андрей Везалий вскрывал трупы тайком.

С демографической статистикой тайком не познакомишься. И когда она находилась за семью печатями, демографам оставалось лишь доказывать, что по крайней мере пять из них — лишние.

Разумеется, демография к демографической статистике не сводится. Больше того, успешное развитие демографии и особенно практические плоды такого развития для социалистического строительства зависят от сотрудничества этой науки со многими другими: экономической географией, социологией, общественной психологией, градостроительством, медициной... Но без статистики демографам просто нечем было дышать.

Сейчас им есть чем дышать. Но все же не полной грудью. Ограничения, целесообразность которых нуждается в доказательных обоснованиях, оказываются порою устойчивыми перед весомыми аргументами относительно вреда, приносимого этими ограничениями научному руководству народным хозяйством.

Нам, например, точно не известно, сколько людей будет проживать в нашей стране в 1970 году или как будут распределяться по возрастам вновь родившиеся. А ведь в плановом хозяйстве это должно знать, чтобы, скажем, рассчитать, сколько понадобится врачей или учителей, готовить которых надо загодя. Вообще это надо знать для наиболее рационального использования трудовых ресурсов и наилучшей организации обслуживания населения. В обществе, где все — для человека, такие прогнозы обязательны.

Не знаем мы также, какой прирост населения нашей страны следует считать наилучшим. Некоторые считают, что нынешний прирост на 1,1 процента в год низок. А какой прирост следует признать «нормальным», какой «оптимальным»?

Ответы на такого рода вопросы не лежат на поверхности, их не отыскать с помощью только здравого смысла. Ответы найдутся лишь после глубокого изучения демографических процессов. Тогда и откроются пути влияния на них в нужную сторону (предварительно придется уточнить, чего же мы, собственно, хотим). Худшим выходом была бы попытка «навести порядок» администрированием.

Ничуть не лучшим выходом представляются и априорные тенденциозные утверждения, поскольку они могут вести к игнорированию не согласующихся с ними фактов и искаженному видению демографической картины. Некоторые авторы, действуя, очевидно, из лучших побуждений, пишут в тоне «у нас только хорошо, а у них только плохо».

Замедление темпов роста народонаселения в западных странах часто преподносится в виде еще одной «язвы» загнивающего капитализма. Например: с переходом к империализму «все прежние противоречия капитализма обострились, возникли новые острейшие противоречия. Изменились и демографические закономерности. Переход к империализму послужил исходным пунктом падения рождаемости в странах капитала»<sup>1</sup>.

Одновременно часто утверждается, будто «рождаемость в условиях социализма много выше, чем на буржуазном Западе»<sup>2</sup>. Между тем по рождаемости и по темпам прироста населения Советский Союз давно уже находится в одной группе с большинством европейских стран, как социалистических, так и капиталистических, для которых характерны невысокие темпы прироста населения. Поиски причин такого положения заменяются оптимистическим, но бездоказательным прогнозом, что у нас «в дальнейшем рост населения будет по-прежнему (?) высоким»<sup>3</sup>. А он, кстати, ниже американского. В 1965 году на каждую тысячу жителей в СССР приходилось 18,5 родившихся, а в США — 19,4.

Такого рода вытекающая из лучших побуждений тенденциозность политически ничемна, а практически вредна, так как уводит от ждущих решения проблем. В данном конкретном случае нет оснований утверждать, что рост населения будет «по-прежнему высоким», а следует подумать, как обеспечить, чтобы он стал таким, какой желателен с точки зрения демографической целесообразности, постаравшись предварительно со всей возможной научностью определить эту целесообразность.

В общем, ни администрирование, ни априорные схемы не заменят кропотливой обработки демографических данных.

Некоторые итоги этой нужной будничной работы отражены в рецензируемом сборнике, выпущенном Центральным экономико-математическим институтом Академии наук СССР.

В предисловии указывается, что «демография как самостоятельная общественная наука была в сущности вычеркнута из списка общественных наук» (стр. 4). В самом

<sup>1</sup> И. Ю. Писарев. Население и труд в СССР. «Экономика». М. 1966, стр. 7.

<sup>2</sup> С. Струмилин. Наш мир через 20 лет. «Советская Россия». М. 1964, стр. 148.

<sup>3</sup> И. Ю. Писарев. Указ. соч., стр. 149.

деле, враждебное отношение к ней демонстрируют и «Энциклопедический словарь» (1953), и второе издание Большой Советской Энциклопедии, где букве «Д» не повезло близостью к началу алфавита: она прошла в 1952 году. Поскорее бы уж третье, исправленное! Сейчас самые трудные для демографии времена позади, но зеленый свет горит еще не на всех ее путях. Кое-где желтый свет предупреждает: погодите, еще не пришло время! А кое-где ее развитие еще блокирует красный. Нет еще у демографов до сих пор ни объединяющего их научно-исследовательского центра, ни своего журнала. Между прочим, демографические журналы выходят и в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии.

«Проблемы демографической статистики» явно заметны на скудном фоне специальной литературы. На страницах сборника выступает более двух десятков авторов. Многие статьи носят частный характер, но читателю, не являющемуся специалистом, они должны понравиться своей научной деловитостью. Кроме того, частные выводы, к которым приходят авторы, нередко ставят под сомнение до сих пор сохранившиеся априрорные обобщения.

Одним из них является убеждение, будто с ростом благосостояния советского народа будет расти и рождаемость. Оказывается, дело обстоит как раз наоборот.

Н. А. Таубер рассказывает в сборнике об обследовании, проведенном в городе Жуковском Московской области. Его итоги опровергают распространенное мнение о том, будто достаточно дать семье квартиру и хороший заработок, как в ней появятся новые дети. Эти итоги показывают, что «частота рождений как первых, так и вторых детей в менее обеспеченных семьях выше, чем в семьях с большим доходом». Больше того, «в семьях, находящихся в лучших жилищных условиях, уровень плодovitости женщин ниже» (стр. 144).

Если предположить, что эти выводы правильны не только для одного города, но и для всей страны, то тогда можно перестать удивляться, почему размах жилищного строительства совпадает у нас с падением рождаемости. Из этого, разумеется, не следует, что широкое жилищное строительство было демографической ошибкой. Из этого следует лишь, что, строго говоря, падение рождаемости можно было предвидеть. В то же время возможно, что падение рождае-

мости было бы более резким, если бы жилищное строительство не развивалось.

В статье сборника, написанной Л. М. Давтяном, читателю преподносится новая неожиданность. В ней указывается, что обратно пропорциональная зависимость величины семей от высоты заработной платы, обнаруженная еще в середине прошлого века, в некоторых наиболее развитых капиталистических странах уже не действует. В Швеции, например, «между уровнем жизни и рождаемостью существует уже не обратная, а прямая связь» (стр. 146). В то же время «в социалистической стране, где ликвидированы частная собственность на средства производства и капиталистические отношения распределения, так называемый закон обратной связи сохраняет тем не менее свою силу» (стр. 150—151).

Эти наблюдения не укладываются в рамки декларативных рассуждений по принципу: у нас все лучше — значит, и рождаемость выше, а если она ниже, то должна стать выше. В то же время эти наблюдения относительно постоянного падения рождаемости в нашей стране подтверждают прогноз Августа Бебеля о том, что «в социалистическом обществе размножение населения будет совершаться медленнее, чем в буржуазном»<sup>1</sup>. Бебель пояснял: социализм открыл перед женщиной многие пути в жизни, и она уже не ограничивает свой выбор одним.

Активное участие советских женщин в трудовой деятельности неизбежно отвлекает их от воспитания детей. В то же время их заработок, играющий отнюдь не дополнительную роль в семейном бюджете, увеличивает общий доход семьи. Когда жена оставляет работу из-за детей, доход семьи неизбежно падает.

Причина культурного характера, то есть включение женщины в общественную жизнь, наверняка будет действовать и в будущем.

Очевидно, в будущем отпадет причина экономического характера, делающая ребенка семейной финансовой проблемой. В Соединенных Штатах ребенок стоит 14 500 долларов — в такую сумму он обойдется родителям до момента совершеннолетия. Насколько известно, ни один наш родитель, даже работающий статистиком, не высчитал советского эквивалента, что похвально с эмоциональной точки зрения, но затрудняет

<sup>1</sup> Август Бебель. Женщины и социализм. Госполитиздат. М. 1959, стр. 579.

оценку влияния экономического фактора на рождаемость. Во всяком случае, как пишет А. И. Тамре, «до тех пор, пока женщина по сравнению с мужчиной более загружена домашней работой, она в известной мере будет пытаться избежать детей как дополнительной нагрузки» (стр. 172).

В перспективе, с дальнейшим ростом жизненного уровня в нашей стране, возможна замена обратной зависимости на прямую. Л. М. Давтян считает, что «закон обратной зависимости принадлежит к числу угасающих закономерностей социалистического общества» (стр. 159).

Этот важный прогноз не получает в сборнике достаточного обоснования. Главная надежда — на то, что люди любят своих детей. Сейчас влияние этой любви на их демографическое поведение модифицируется тем обстоятельством, что люди любят не только своих детей. Когда люди вынуждены выбирать между любимой работой (или получением высшего образования, или комфортом, или автомобилем и т. д.) и ребенком (особенно если не первым), часть из них неизбежно сделает выбор против ребенка, и демографическая статистика отразит дальнейшее сокращение рождаемости.

Вполне вероятно, как это и предсказывается в сборнике, что при более высоком жизненном уровне уровень рождаемости вновь повысится. Произойдет это, очевидно, тогда, когда отпадет необходимость выбора: или ребенок, или... и появится возможность сочетания: и ребенок, и... Однако «вопрос этот нуждается в дальнейшем глубоком и многостороннем исследовании с тем, чтобы обнаружить не только факторы, влияющие на изменение уровня рождаемости в их многообразии, но и измерить силу воздействия каждого из них» (стр. 159).

Итоги такого исследования могут потрясти немало нынешних гипотез, преподносимых обычно в форме аксиом.

В обратной зависимости числа детей в семье от материального и культурного уровня родителей часто усматривают почти автоматический ответ на проблему роста населения земного шара. До поры до времени экономическое развитие действительно ведет к сокращению рождаемости.

Однако в Соединенных Штатах, где достигнут относительно высокий жизненный уровень, кривая рождаемости ведет себя своеобразно, каждым зигзагом ставя новую задачу перед специалистами-демографами

В 1936 году, когда США выползали из кризиса и люди смотрели в будущее с опаской, на каждую тысячу женщин так называемого детородного возраста приходилось 75,8 детей. В 1957 году сравнительного благополучия дети стали «модой», третий и четвертый ребенок — вопросами общественного престижа; число детей на тысячу женщин зрелого возраста поднялось до 122,9.

Хотя в 1966 году экономическое положение Соединенных Штатов радикальным образом не изменилось, соответствующий показатель упал до 97,7. Все эти цифры привел американский журнал «Юнайтед Стейтс энд Уорлд рипорт» в статье «Не слишком ли далеко зашел в США контроль над рождаемостью?». Журнал «Тайм» пишет, что теперь «мода склоняет женщин к тому, чтобы иметь меньше детей».

Американский опыт предсказывает демографам много интересных неожиданностей. Если, например, влияние материального положения родителей на рождаемость изучается, то проблема влияния «моды», а точнее общественного мнения, нами даже не ставилась.

Другой гипотезой являются расчеты, предсказывающие конечную стабилизацию населения земного шара по причине увеличения доли старческих возрастов с ростом продолжительности жизни, которое приведет к сокращению доли лиц зрелого возраста, могущих давать потомство, — в результате сократится число рождений и в один прекрасный момент оно сравняется с числом смертей; наступит стабилизация.

Знакомство с материалами сборника породит у читателя сомнения в этой гипотезе. Если, скажем, каждая пара родителей оставит после себя четверых, поскольку вероятно возвращение к многодетности на базе высокого жизненного уровня, то как же получится стабилизация?

Сборник учит конкретному подходу, который является единственно правильным. Очень многие споры между демографами проистекают из распространения национальных тенденций на весь глобус. Между тем проблема народонаселения сама расселена по «государственным квартирам» с существенными различиями и по «национальным комнатам». Не только экономика, не только общая культура являются факторами, влияющими на динамику населения. Таковыми выступают и особенности национальной культуры, включающие в себя традиции,

обычай, влияние исторического наследия, черточки национального характера. Обычно эти компоненты не имеют в виду, когда говорят о зависимости уровня рождаемости от экономического и культурного уровня населения. Однако, как убеждают статьи сборника, демография должна иметь их в виду. Именно они могут объяснить, почему «уровень рождаемости в разных частях Советского Союза в настоящее время сильно различается. Вскрыть причины этих различий, существующих у нас в условиях единой социально-экономической системы,— серьезная

задача советской демографии» (стр. 176). Например, Грузия и Азербайджан расположены, так сказать, «в прочих равных условиях», а уровни рождаемости у них различны. Уровни рождаемости часто различны и у различных национальностей, проживающих на одной территории.

Сборник убеждает, что у наших демографов непочатый край очень нужной нашей стране работы. То, что ими сделано в книге,— трудоемкий, важный, но лишь первый шаг.

**Г. ГЕРАСИМОВ.**

★

## ИСТОРИЯ ЯВНАЯ И ТАЙНАЯ

**И. Я. Эйдедьман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». «Мысль». М. 1966. 309 стр.**

Однажды директор канцелярии III отделения фон Фок так оценил общественное мнение: «...Талейран выразился очень верно: «Я знаю кого-то, кто умнее Наполеона, Вольтера с компанией, умнее всех министров настоящих и будущих, и этот кто-то — общественное мнение». Общественное мнение не навязывается; за ним надо следовать, так как оно никогда не останавливается. Можно уменьшить, ослабить свет озаряющего его пламени, но погасить это пламя — не во власти правительства».

Под гнетом полицейской власти передовые люди России только «на ухо», в частных разговорах или через шифр подцензурной печати могли распространять свои идеи. Лишь изредка дерзкое выступление Радищева или крамольные «Философические письма», чудом пропущенные цензурными аргументами, нарушали рабье молчание. Но свободное слово существовало. Оно требовало выхода, искало печатного станка.

Летом 1853 года «отставной надворный советник» Герцен объявил о создании в Лондоне Вольной русской типографии.

Это было неслыханное предприятие. В России продолжалось «мрачное семилетие». Начинаясь Крымская кампания, а с ней и патриотический угар. Испуганные друзья уговаривали Герцена отказаться от своих планов. М. С. Щепкин говорил ему: «Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а III отделение будет все читать да пометать. Вы сгубите бездну народа, сгубите ваших друзей...»

Ню Герцен продолжает работать. Вновь и вновь обращается он к своим соотечественникам с просьбой присылать корреспонденции. В 1855 году он выпускает первую книгу «Полярной звезды». Она завершается послесловием «К нашим», в котором говорится: «Без статей из России, без читателей в России «Полярная звезда» не будет иметь достаточной причины существования <...> Вопрос о том, поддержите ли вы нас или нет, чрезвычайно важен. По ответу можно будет судить о степени зрелости русской мысли, о силе того, что сгнетено теперь».

Замечательно точно это было сказано: «степень зрелости мысли». После восстания на Сенатской площади в 1825 году прошло уже тридцать лет. С тех пор Россия не знала открытого политического протеста. Надо было стряхнуть с себя апатию бездействия, рабскую привычку к молчанию, боязнь, неверие в свои и чужие силы. Приходилось покидать спокойную позицию иронического наблюдателя, превращать слово в дело. Наконец надо было протянуть руку эмигранту, противопоставившему себя власти и осыпанному официальными обвинениями в том, что он, как человек, «огрекшийся ныне от своего отечества», «стал чужд России» и т. д. Кроме внешней цензуры, требовалось преодолеть и цензуру внутреннюю.

Тем временем события в России шли навстречу Герцену. Умер Николай I. В обществе усиливалось брожение. Герценовские издания проникли в Россию, а навстречу им прорвался и рос с каждым месяцем поток писем.



Яркую страницу в истории русского освободительного движения — вольную печать за границей — создали вместе с Герценом и Огаревым десятки и сотни самоотверженных людей — корреспондентов «Полярной звезды», «Колокола» и других вольных изданий. Об этих-то людях и рассказывает в своей книге Н. Я. Эйдельман.

Это благодарная тема для исследования. Советская историческая наука много сделала, чтобы раскрыть имена добровольных помощников «лондонских изгнанников». Список известных нам авторов и сотрудников Вольной типографии насчитывает более ста человек. Между тем только в одном «Колоколе» было использовано полторы тысячи корреспонденций. Перед нами еще целый исторический пласт, нераспутанный клубок фактов и событий, нити от которого ведут к революционным кружкам шестидесятых годов, к тайному обществу «Земля и воля».

Н. Я. Эйдельман ограничил свою задачу «Полярной звездой». Но и в рамках этой темы ему удалось показать огромную организаторскую работу Герцена по созданию корреспондентской сети. Тайным авторам и помощникам Вольной типографии приходилось работать под бдительным надзором властей, быть предельно осторожными. Восемь конспиративных адресов, явочные квартиры, почтовые хитрости и различные способы обхода таможенных рогок... Страстный публицист, Герцен предстает перед нами как хладнокровный и расчетливый организатор. Вывод автора, что «в сети корреспондентов и распространителей уже угадывались контуры будущей организации», представляется достаточно обоснованным. В этом смысле можно считать Вольную печать предшественницей, пролагавшей пути для ленинской «Искры».

Книга Н. Я. Эйдельмана состоит из ряда рассказов о корреспондентах «Полярной звезды» — С. Д. Полторацком, П. И. Барте-неве, Е. И. Якушкине и других. Хронологический порядок изложения фактов дополняется постановкой исторических проблем, общих вопросов герценоведения.

Знаменитый альманах Герцена возрождает традиции декабристов. Н. Я. Эйдельману удалось раскрыть «Полярную звезду» как воплощение сложной герценовской формулы «Былое и думы». В былом — в истории — находится ключ к современности, и обратно — прошлое проясняется с высоты достигнутого

общественного развития. Историк — одновременно гражданин своего времени. Так думы о былом становились публицистикой, публицистика поднималась до уровня науки.

Перед Герценом стояла задача восстановления прошлого. Надо было вместо истории явной, официальной дать историю тайную и действительную. Тридцать лет замалчивало правительство правду о декабристах и других представителях освободительного движения. «При Александре II, — пишет Н. Я. Эйдельман, — когда литература и общество почувствовали, что власть со «слабинкой», началась длительная, упорная война за рассекречивание прошлого. Подвижную, зыбкую грань между «нельзя» и «можно» колебали десятки оппозиционно настроенных историков и литераторов, а пытались удержать десятки цензоров. В этот период правительство все больше понимает, что кроме сдерживания надо выработать и по мере возможности опубликовать свою версию ряда событий российской истории...»

Так появилась на свет книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I». Корф даже гордился тем, что крайние реакционеры бросали в его сторону косые взгляды. Но николаевский дух оставался в его книге. Фальсифицируя или замалчивая факты, Корф по-прежнему навешивал на героев Сенатской площади ярлыки «злодеев» и «врагов». Тем более весомо прозвучали опровержения Герцена. На страницах «Полярной звезды» и в специально подготовленной контркниге «14 декабря 1825 г. и император Николай» он беспощадно заклеил рабские и охранительные старания официальной науки.

Восстановить былое Герцену помогали сами декабристы. Ни расправы, ни унижительная комедия суда, ни тридцать лет заключения не сломили этих людей. Вернувшись из ссылки, несмотря на надзор и преследования, они нашли в себе силы включиться в общественную борьбу пятидесятых годов. Через своих близких и друзей И. Д. Якушкин, М. А. Бестужев, В. И. Штейнгель и другие сумели преправить Герцену свои воспоминания и записки. Одно поколение освободительного движения протянуло руку другому. И хотя Н. Я. Эйдельману не всегда удается определить, кто именно написал гот или иной материал (М. И. Муравьев-Апостол или Е. И. Якушкин, например), общая картина, нарисованная им, не вызывает сомнений. Декабристы не только разбудили

Герцена, но через тридцать лет помогли ему развернуть революционную агитацию.

Н. Я. Эйдельман показывает, как при содействии корреспондентов из России Герцену удалось рассекретить многие события русской истории. Мемуары Екатерины II, потаенная литература XIX века, наконец обширная Пушкиниана. Но главной заслугой Герцена-историка, отмечает исследователь, является отстаивание принципа преемственности, живой связи поколений русского революционного движения. Эту идею восприняла и разработала советская наука.

Сейчас мысль о преемственности представляется элементарной аксиомой. Но тогда, в конце сороковых—начале пятидесятых годов, чтобы принять эстафету декабристов, от Герцена требовались мужество и прозорливость. Поражение декабристов убило революционность дворянства. Под гнетом абсолютизма и реакции многие вольнолюбцы ушли в философию, в религию. Выступление на Сенатской площади казалось беспочвенным романтизмом, попытки активной борьбы — детской утопией. Наконец время изменилось, выдвинуло новые задачи. Сам Герцен становился уже в какой-то мере деятелем разночинского этапа освободительного движения. И тем не менее он отсчитывал свой календарь от 14 декабря, настойчиво призывал продолжать дело отцов.

В истории революционного движения есть свой аспект извечной проблемы «отцов и детей». Он заключается не только в развитии идейных традиций прошлого, но и в сохранении их. Переломы, спады общественной борьбы болезненно отражаются на передовой интеллигенции. Вызванное практическими неудачами или опошлением революционной теории, наступает известное разочарование в прежних идеалах. От этого не застрахованы многие искренние и честные люди, ищущие «новых путей». Поэтому защита «отцов» далеко не всегда бывает простой. И заслугу Герцена, отстоявшего декабристов для истории и своего времени, надо оценить в должной мере.

Н. Я. Эйдельман пишет и о либеральных корреспондентах Герцена. Первые шаги Вольной типографии совпали с пробуждением либеральной мысли в России. Смерть Николая I развязала языки в гостиных. Обещания нового царя вселяли радужные надежды. «Кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь», — вспоминал Л. Н. Толстой. Это

было время, когда К. Д. Кавелин произносил пылкие речи, Б. Н. Чичерин распространял рукописи своих программных статей, Н. А. Мельгунов «влюблялся в Фейербаха». В общем порыве вольномыслия иные шли дальше своих умеренных взглядов (за проект освобождения крестьян К. Д. Кавелин лишился карьеры). Многие либеральные деятели охотно сотрудничали с Герценом и снабжали его ценными сведениями.

Так продолжалось недолго 1861 год резко обострил общественную борьбу и чувствительно умерил у либералов «души прекрасные порывы». И тогда Кавелин — гуманный, свобододобивый и всепонимающий Кавелин — хладнокровно повторяет демагогическое официальное обвинение «нигилистов» в поджогах и бросает свою ставшую хрестоматийной фразу: «Аресты... не кажутся мне возмутительными». В ответ Герцен, в котором при всех колебаниях демократический инстинкт брал верх, порывает с этим, по выражению Ленина, «подлым либералом», так же как и со многими бывшими друзьями.

Первые пореформенные годы были тяжелым испытанием для передовых русских людей. Воочию убедились они в том, что новое правительство недалеко ушло от старого, и в том, сколь наивна вера в радикальные перемены путем реформ сверху. При старом режиме было даже проще — по крайней мере все было ясно. А теперь вчерашние держиморды надевают белые перчатки, бывшие либеральные вольнодумцы выводят государственно-интимные рулады «Жить стало так тяжело, что в каторге было бы, право, легче», — пишет в письме 1862 года Е. И. Якушкин, сын декабриста и активный сотрудник Герцена. Этот замечательный документ демократической мысли приводит в своей книге Н. Я. Эйдельман.

Говоря о работе в целом, хочется отметить обширный научный аппарат, тщательность аргументации, строгий подход к фактам. Интересны главы о корреспондентах-славянофилах, историке М. И. Семевском, потаенных произведениях Пушкина. Важный вклад в историческую науку представляют собранные сведения о демократических соотрудниках «Полярной звезды» Е. И. Якушкине, П. А. Ефремове, А. Н. Афанасьеве и других литераторах, группировавшихся вокруг журнала «Библиографические записки».

Обилие материалов составляет несомненное достоинство книги. Здесь же стоит, на наш взгляд, сделать автору и некоторый

упрек. За богатством «былого» иногда теряются «думы». Неискушенный читатель может потеряться в ворохе ссылок, фамилий, цитат. Так, в третьей главе автор на двадцати страницах проводит целое следствие по установлению авторства корреспонденции «Семеновская история» — сопоставляет источники, выдвигает гипотезы, отвергает их.

Не менее обширен экскурс, касающийся рукописей М. С. Лунина. В интересах цельности изложения и его осмысления, наверное, было бы целесообразнее перенести некоторые подробности в дополнения к книге или примечания к «Полярной звезде».

В. ЕРМАКОВ.



### ...И СТАЛЬ И КАМЕНЬ...

**П. И. Борисковский. Первобытное прошлое Вьетнама. «Наука». М.—Л. 1966. 184 стр.**

Автор этой книги — известный археолог Павел Иосифович Борисковский. Он изучил обширную научную литературу и музейные коллекции, читал лекции по археологии в Ханойском университете, принимал самое активное участие в полевых археологических работах во Вьетнаме.

Экспедиция, состоявшая из учеников и сотрудников П. И. Борисковского — вьетнамских археологов, — вместе с ним, консультантом, произвела интереснейшие раскопки различных древних поселений и могильников на севере страны и сделала открытие поистине мирового значения на горе До в провинции Тхань-хоа, в ста семидесяти километрах от Ханоя. Здесь было обнаружено единственное пока местонахождение эпохи древнего палеолита (древнекаменного века) на территории Вьетнама. До этого древнейшие памятники во Вьетнаме относились к эпохе неолита (новокаменного века) и имели возраст около десяти тысяч лет. Открытие на горе До удлинит историю Вьетнама на сотни тысяч лет.

Книга начинается с гордой фразы: «Вьетнам — страна древней и самобытной культуры, заселенная первобытными людьми уже много сотен тысяч лет назад, в самом начале древнего каменного века». Еще несколько лет назад, до открытия, сделанного автором книги, его учениками и сотрудниками, это не могло быть написано. Однако, при всей важности открытия на горе До, отлично описанного автором, книга интересна далеко не только этим. Впервые в науке в ней рассказана с учетом самых последних открытий древнейшая история Вьетнама — от начала каменного века и до наступления эпохи бронзы. И описание это сделано так, что книга интересна и понятна не только профессионалам археологам, но и самым широким кругам читателей,

интересующихся древней историей. Нет нужды подробно говорить о том, что тесные дружеские связи с вьетнамским народом, которые существуют у нас, вызывают у советского читателя особый интерес к книге.

Археологическая наука во Вьетнаме очень молода. После ухода колонизаторов в 1954 году во Вьетнаме не было ни одного археолога. В настоящее время их более тридцати. Археологические раскопки ведутся рядом учреждений, периодически публикуются статьи по археологии. Даже в самые последние годы, в суровых условиях навязанной вьетнамскому народу войны, продолжают археологические исследования и публикации. В 1965 году производились большие раскопки могильника эпохи бронзы Тхиеу-зыонг. В этом же году вышла обобщающая статья о мезолите (среднекаменном веке) Вьетнама археолога Ти Ван Тана. В 1966 году Ханойский университет (работающий сейчас в джунглях) принял на исторический факультет пятьдесят студентов. В феврале 1966 года состоялась конференция вьетнамских историков. Тогда же образована Академия общественных наук ДРВ и в ее составе — Институт археологии. В самый разгар ожесточенных боев публикуются работы по археологии.

Одно из неоспоримых достоинств книги — изложение первобытного прошлого Вьетнама на обширном фоне каменного века всей Юго-Восточной Азии. В книге много интересных наблюдений. Показано, например, что люди каменного века жили обычно под неглубокими скальными навесами и в небольших гротах, хорошо защищавших от дождя, ветра и сравнительно светлых, теплых и сухих. В глубине же карстовых пещер, привлекающих туристов, люди не жили. Даже обитавшие там пе-

щерные медведи, как показывает изучение их костей, жестоко страдали от ревматизма.

Интересны и страницы книги, посвященные первобытному искусству Вьетнама. Автор анализирует первые произведения искусства, появившиеся в мезолите,—гравированные изображения веточки с листьями на костяном острье и человеческих лиц на стене одного из гротов. Отсутствие в мезолитическом и неолитическом искусстве Вьетнама животных и птиц автор связывает с тем, что у первобытных жителей страны охота и рыболовство играли второстепенную роль по сравнению с собиранием моллюсков и растительной пищи. Интересно рассказано и о появлении в неолите глиняной посуды во Вьетнаме. Плетенные из прутьев корзины для водонепроницаемости обмазывали глиной. Когда такая корзина случайно попадала в костер, прутья сгорали, а глиняная основа с отпечатками прутьев затвердевала. А позже посуду из глины стали делать уже специально, причем вначале покрывали ее рисунком, имитирующим отпечатки прутьев.

Важен сделанный автором вывод о том, что появление неолитической культуры во Вьетнаме вопреки распространенному мнению связано не с приходом с севера более развитых чужеземцев, а с длительным совершенствованием производства и хозяйства. Население в неолите было неоднородным. Одни племена жили в горах в пещерах, другие — по берегам рек и моря и оставили огромные кучи раковин съедобных моллюсков, подобные тем, которые открыты в Дании, Португалии и у нас на Дальнем Востоке возле неолитических стоянок. Убедительно показано в книге и появление в позднем неолите (2000—1000 лет до н. э.), кроме охоты, также рыболовства и земледелия, которое, как и обработка металла, возникло прежде всего в результате развития местных племен, а не северных влияний.

Автор уделяет внимание и отдельным, подчас загадочным находкам. Таковы, например, вьетнамские литофоны (каменные музыкальные инструменты) — тонкие и длинные (до ста сантиметров и более) каменные пластины шириной в десять—шестнадцать сантиметров, отретушированные по краям. Достаточно легкого прикосновения к такой пластине, чтобы она зазвучала, причем звук у всех пластин разный.

Эти литофоны — нечто вроде цимбал или ксилофона — найдены в трех пунктах страны и, видимо, относятся к эпохе неолита. Любопытно, что подобного рода ксилофоны, только сделанные из бамбука, а не из камня, существуют во Вьетнаме и в настоящее время и используются местными жителями как музыкальный инструмент во время жертвоприношений.

Очень интересно описано в книге самое богатое и выразительное неолитическое поселение в Индокитае и одно из важнейших в мире — Сомрон-Сен (Камбоджа). Культурный слой его толщиной до четырех с половиной метров насыщен различными орудиями труда, великолепной керамикой, изящными каменными украшениями и содержит несколько предметов из бронзы.

Автор прослеживает преемственность в развитии материальной культуры населения Вьетнама на протяжении всего каменного века, местную основу этой культуры и ее «метизацию» с культурой пришельцев. Любопытен и вывод о едином облике культуры каменного века всего Индокитайского полуострова наряду с наличием отдельных локальных особенностей. В книге впервые дана надежная, научно обоснованная хронологическая и культурная периодизация каменного века во Вьетнаме.

Показывая методы обработки материала, полученного во время раскопок, например статистический метод обработки коллекций, автор сообщает своим выводам особую наглядность и убедительность. И все-таки некоторые из них представляются спорными. Например, П. И. Борисковский утверждает, что длительное существование в палеолите и мезолите Вьетнама массивных рубящих орудий (макролитов) и отсутствие мелких орудий или орудий с деревянной или костяной рукояткой и каменными вкладышами (микролитов) объясняется жизнью в тропических лесах, необходимостью прорубаться сквозь лесную чащу. Однако тропические леса есть, скажем, и в Африке, однако там широко применялись и микролиты.

Вопрос о том, было ли повсеместное распространение легенды о «громовом» происхождении каменных топоров результатом миграций и заимствований или универсально распространенным представлением о божестве Громовике и его каменных молотах, все же нельзя считать окончательно решенным.

Однако отдельные спорные места книги никак не снижают ее большого научного значения. Многие из выводов важны не только для изучения первобытной истории Вьетнама, но и для понимания сущности и характера процесса мирового исторического развития. Одним из самых важных и хорошо аргументированных представляется вывод об отсутствии вопреки мнению некоторых ученых в каменном веке двух больших обособленных культур: культуры, распространенной в Европе, Африке и Юго-Западной Азии, и культуры, распространенной в Юго-Восточной Азии. Используя ошибочные представления о существовании якобы двух этих обособленных культур, некоторые политические деятели делают из этого далеко идущие ложные выводы. Пытаются, в частности, противопоставить Восток и Запад китайские правящие круги, утверждая, например, будто с глубочайшей древности между Востоком и Западом существовали коренные различия во всем, что пути их развития были всегда разными, находились в непримиримом противоречии. Теория не новая. В свое время ее высказывали, да и сейчас высказывают некоторые буржуазные деятели Запада. Однако от этого «теория» эта вовсе не становится убедительнее.

П. И. Борисковский показал на примере изучения каменного века Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии, что не было принципиально различных путей развития Запада и Востока. Тем самым еще одно подтверждение получил марксистский тезис о единстве многообразного процесса развития всего человечества. Автор очень убедительно показал, что как в Азии, так и в Европе существовал один этап развития первобытной техники, характеризуемый сходными, хотя и не всегда идентичными формами и видами орудий труда, с различиями, зависевшими от природных условий, источников сырья, образа жизни и производственных традиций. Эти различия, однако, не были кардинальными. Сходства неизмеримо больше, чем различий.

Время от времени описание далекого прошлого Вьетнама и путей его изучения прерывается в книге разделами «Из путевого дневника», которые не только очень оживляют изложение, но и содержат много интересных и ярких фактов.

Вместе с автором и вьетнамскими археологами входим мы в пещеру, служив-

шую обиталищем древним людям и только что покинутую вполне современным тигром, совершаем увлекательные путешествия к различным народам, населяющим Вьетнам (мыонг, ман, мео, тхай, нунг и другие), знакомимся с их обликом, образом жизни, жилищами, утварью, одеждой и т. д. Очень хороши сдержанные, но запоминающиеся зарисовки природы: тропического леса, высоких скал, поднимающихся почти отвесно и образующих фантастический узор. С большой теплотой описана мирная работа рыбаков, земледельцев, гончаров и других трудовых людей Вьетнама, которые с энтузиазмом помогали археологам.

Зоркий глаз ученого подметил своеобразное сочетание многовековых традиций с совершенно новыми явлениями. Так, например, в провинции Тхань-хоа на полях находилось большое количество женщин, которые прекрасно управлялись с тяжелыми плугами, запряженными буйволами. Оказалось, что эта провинция была родиной ряда вьетнамских королевских династий. Короли набирали свою гвардию из земляков, а оставшимся дома женщинам волей-неволей приходилось заниматься пахотой и другим мужским трудом. Эта традиция у женщин сохранилась и поныне. В то же время именно Тхань-хоа была одной из первых провинций Вьетнама, где полностью ликвидирована неграмотность. При колонизаторах тут учился один из полутора тысяч жителей, а в 1960 году — один из девяти.

Особое внимание в книге уделено детям, которые во Вьетнаме, как и везде в мире, становятся верными помощниками археологов. Один из моих учителей говорил, что археологией, как и музыкой, надо начинать заниматься с детства. Может быть, поэтому мы, археологи, так привязаны к детям. С глубокой любовью и нежностью рассказывает П. И. Борисковский о своих маленьких вьетнамских помощниках и друзьях. А с фотографии глядят на читателя их веселые, улыбающиеся лица. Сердце сжимается, когда подумаешь, что, может быть, некоторые из них уже погибли...

Многовековая история мирных тружеников Вьетнама, как и его настоящее, вопиет о мире, о прекращении братоубийственной бойни, в которую ввергли Вьетнам американские империалисты.

**Г. ФЕДОРОВ,**

*доктор исторических наук.*

## УРОК НА ВОСТОКЕ

**Ф и н а л.** Историко-мемуарный очерк о разгроме империалистической Японии в 1945 г. Под редакцией Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. «Наука». М. 1966. 349 стр.

За последнее время советская военно-историческая литература пополнилась многими серьезными и интересными работами. Вышел однотомник «Великая Отечественная война Советского Союза», в котором кратко изложены все главные события незабываемых огненных лет. Несколько книг посвящено обороне Москвы и разгрому немецко-фашистских войск у ее стен. Отдельными книгами выпущены мемуары адмирала Н. Г. Кузнецова «Накануне» и Маршала Советского Союза И. С. Конева «Сорок пятый». Большой интерес представляют отрывки из воспоминаний Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, опубликованные в последних номерах «Военно-исторического журнала» за 1966 год.

Но всех, кого увлекает военно-патриотическая тематика и кто следит за книжными новинками, посвященными этим темам, удивляло отсутствие на книжных полках специальных, оригинальных трудов о заключительном периоде Великой Отечественной войны — о разгроме империалистической Японии в 1945 году. Недавно издательство «Наука» восполнило этот пробел, выпустив историко-мемуарный очерк под редакцией Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского «Финал».

Долгие годы советские люди вели счет обидам, нанесенным им самурайской Японией. Оккупация Дальнего Востока и Забайкалья в трудные времена становления новой власти. Сожжение в паровозной топке Сергея Лазо. Провокация у озера Хасан в 1938 году. Нападение на нашего союзника — Монгольскую Народную Республику в 1939 году у реки Халхин-Гол. Военный и политический союз с фашистской Германией. Резкое увеличение Квантунской армии в Маньчжурии в 1941 году, когда фашистские полки пробивались к Москве. И новое наращивание сил этой же армии в дни битвы у Сталинграда. Эти военные акции Японии были прямой помощью гитлеровской Германии. Затем следовало потопление советских судов в дальневосточных водах. Передача германскому генеральному штабу стратегических секретов Советского Союза.

Мы помним, что в знаменитом меморандуме генерала Танака, положенном в основу политики милитаристской Японии, в частности, говорилось: «В программу нашего национального развития входит, по видимому, необходимость вновь скрестить мечи с Россией...»

Проникнутая классовой ненавистью к Стране Советов, отравленная расистским ядом и подогреваемая бредовыми планами господства на Востоке, японская военщина ждала удобного момента для отторжения Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири.

И то, что Япония сначала напала на США и азиатские колонии Англии, не меняло антисветские планы ее правящих кругов.

Кроме собственных счетов к воинственному соседу на Востоке, Советский Союз имел еще и союзнический долг. По договоренности с правительствами США и Англии наше правительство в ответ на открытие второго фронта в Европе, а также стремясь укрепить антигитлеровскую коалицию и ликвидировать очаг войны на Дальнем Востоке, уже в 1943 году на Тегеранской конференции дало принципиальное согласие вступить в войну против Японии после того, как завершится разгром гитлеровской Германии.

Ранним утром 9 августа 1945 года советские войска начали военные действия против сил милитаристской Японии. Эти силы были велики и включали в себя лучшую кадровую японскую армию — Квантунскую, которая дислоцировалась в Маньчжурии. Всего же нашим воинам противостояло на Дальнем Востоке свыше одного миллиона двухсот тысяч солдат и офицеров противника, около 5 тысяч орудий, 1115 танков и 1900 самолетов.

Авторский коллектив книги «Финал» (Маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновский и М. В. Захаров, генералы А. Н. Грылев и И. Е. Крупченко, полковники Н. В. Еронин, И. Е. Зайцев и М. М. Малахов) ярко, профессионально и вместе с тем глубоко и живо описал ход сражений, длившихся всего двадцать четыре дня.

Удары советских войск по Японии оказали решающее влияние на ход войны

на Дальнем Востоке. Тогдашний японский премьер-министр Судзуки говорил: «После того, как Советский Союз объявил войну Японии, правительство рассудило, что наступил момент, когда нужно принять окончательное решение, следует ли продолжать войну». Еще определеннее и точнее пишут об этом авторы многотомной японской «Истории войны на Тихом океане». Они указывают, что известие о вступлении Советского Союза в войну против Японии «явилось ошеломляющим ударом для руководителей японского правительства... Даже при появлении атомной бомбы государственная политика, определенная Высшим советом по руководству войной, не претерпела никаких изменений... Но вступление в войну Советского Союза развеяло все надежды на продолжение войны. Лишь теперь у императора, министра хранителя печати Кидо, премьер-министра Судзуки, министра иностранных дел Того, морского министра Ионай, а также у других дзюсинов и руководящих деятелей правительства появилось твердое намерение прекратить войну».

Генерал К. Ченнолт, командовавший американскими военно-воздушными силами в Китае, заявил в те дни корреспонденту «Нью-Йорк таймс»: «Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не были применены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесенный Красной Армией по Японии, завершил окружение, приведшее к тому, что Япония оказалась поставленной на колени».

Не атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, не поражения японских войск на Филиппинах и небольших тихоокеанских островах, а сокрушительный разгром Советской Армией Квантунской армии и других японских сил решил исход войны на Востоке в пользу союзников. Такова правда истории. И она хорошо показана в рецензируемой книге. Американская разведка считала, что, если русские не помогут американцам, японцы будут способны продолжать войну на континенте даже после оккупации союзниками основных японских островов. Главные сражения, по мнению этой разведки, не могли окончиться ранее конца 1946 года. Летом 1945 года американско-английская разведка снова докладывала

Объединенному комитету начальников штабов, что ни блокадой, ни бомбардировками нельзя добиться капитуляции Японии, что для успешного вторжения союзных сил в Японию крайне желательны операции советских войск, направленные против японской империи.

Операции наших войск были решительны и молниеносны. Соединения Советской Армии показали отличное воинское мастерство, а советские полководцы — зрелый талант.

Книга читается с большим интересом. И дело тут не только в относительной новизне темы, хотя это, конечно, тоже существенно. Авторы привлекли и творчески переработали большой исторический материал. Очень кстати дано краткое описание зарождения и расширения японской агрессии в Китае, поощрения и поддержки ее правящими кругами США и Англии. Обстоятельно показана в связи с этим политика Советского государства. Советский Союз, как известно, активно помогал братскому китайскому народу в его борьбе за национальную независимость — помогал политически и материально вплоть до поставки в Китай оружия и своих добровольцев. Ярко показана в книге двурушническая, а часто и прямо предательская роль продажной клики Чан Кай-ши.

История нападения милитаристской Японии на Пирл-Харбор более или менее известна советскому читателю. Однако в главах, посвященных началу войны на Тихом океане, можно найти новые детали и моменты, заимствованные авторами из японских и американских источников. Это, конечно, ценно.

Но наиболее широко и глубоко авторы книги «Финал» показали подготовку и ход боевых операций советских армий против Японии. Пересказать события, хотя они по времени заняли немногим более двадцати дней, в рецензии просто невозможно. В главах, посвященных тем дням, все интересно: и директивы Ставки Верховного Главнокомандующего, и решения командующих фронтами, и театр военных действий, и политическая работа в войсках, и подготовка ударов, и первый день боев, и стремительное продвижение частей Советской Армии в глубь Маньчжурии, и десанты в Корею и на Курильские острова, и капитуляция разбитых японских дивизий, и пленение штаба Квантунской армии, а вместе

с ним — марионеточного императора Маньчжоу-Го Пу-и.

Рассказывая о громадной работе штабов фронтов, армий, флотилий и эскадр, авторы вместе с тем приводят многочисленные примеры беззаветного героизма славных тружеников войны — младших офицеров, сержантов, рядовых солдат.

Как бы ни пытались теперь фальсификаторы всех мастей на Западе и Востоке умалить решающий вклад Советской Армии в борьбу за мир на Дальнем Востоке — историю не поправишь.

Мы знаем, что последний и сокрушительный удар советских войск по Японии спас тысячи, сотни тысяч жизней американских, английских, австралийских, индийских, китайских и других солдат. Мы знаем, что победа советского оружия принесла

окончательную свободу Китаю, Бирме и другим азиатским странам.

Читая книгу «Финал», невольно думаешь и о сегодняшних событиях на Востоке. Под сапогом оккупантов до сих пор добрая половина Кореи. Сидят оккупанты на японских островах. Стреляют пушки и рвутся бомбы во Вьетнаме, Лаосе. Словно воскрешаются прошедшие времена. И когда думаешь об этом, все более и более убеждаешься, что новоявленные претенденты на мировое господство — американские империалисты — берут на свое вооружение самое варварское, самое дикое, что породили германский фашизм и самурайская Япония. История, свободолюбивые народы мира этого не потерпят, не простят.

**П. ТРОЯНОВСКИЙ.**





## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**А. С. БАХОВ.** На заре советской дипломатии. Органы советской дипломатии в 1917—1922 гг. «Международные отношения». М. 1966. 173 стр.

Через несколько дней после окончания работы Второго Всероссийского съезда Советов, провозгласившего переход всей власти в стране в руки Советов, отряды революционных рабочих, солдат и матросов заняли здание бывшего царского министерства иностранных дел.

За саботаж и невыполнение предписаний советской власти старые дипломатические чиновники, послы и посланники были уволены. Для проведения в жизнь ленинского Декрета о мире и осуществления внешнеполитических задач Советского государства нужно было создать совершенно новый аппарат внешних сношений.

Первыми наиболее выдающимися советскими дипломатами были такие известные революционеры, как В. В. Воровский, Г. В. Чичерин, М. М. Литвинов, Л. М. Карахан, Л. Б. Красин, Н. Н. Нариманов, Г. И. Петровский, Я. С. Ганецкий и другие. А сотрудниками аппарата Наркоминдела стали многие рабочие петроградских заводов, солдаты и балтийские моряки. Важную роль в формировании аппарата НКВД и в опубликовании тайных договоров прежних правительств сыграл балтийский моряк, большевик, член ВЦИК I созыва Н. Г. Маркин.

На большом фактическом материале в книжке А. С. Бахова показан тот крупный вклад, который внесли в работу органов советской дипломатии выдающиеся деятели Коммунистической партии и Советского государства — С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, Я. Э. Рудзутак, М. В. Фрунзе, С. Г. Шаумян.

Создатель Советского государства, В. И. Ленин не только осуществлял общее руководство работой НКВД, но и активно участвовал в его повседневной оперативной деятельности, оказывал этому важнейшему наркомату постоянную содействие и помощь.

В книге подробно освещена структура и организация советских органов внешних сношений, взаимоотношения ведомств иностранных дел советских республик с Наркоминделом РСФСР.

Используя архивные материалы, доку-

ментальные публикации и мемуары, автор живо и интересно рассказывает о первых шагах молодой советской дипломатии.

Написанная с большим знанием дела, книжка А. С. Бахова напоминает о том, что советская внешняя политика всегда была и остается важнейшим фактором в борьбе против сил международной реакции и войны, за утверждение на земле мира и счастья для всех народов.

**М. Шафир.**

★

**Л. КОТОВ.** Смоленское подполье. «Московский рабочий». М. 1966. 238 стр.

В начале 1942 года к зондерфюреру — коменданту лагеря военнопленных в Смоленске явился немецкий офицер и, предъявив документы, вывел из лагеря двадцать специалистов: автомехаников, электриков, шоферов «для работы в ремонтных мастерских». В другой раз тот же офицер пришел в окружную военную комендатуру с документами отпускника, потерявшего свою часть. Слонялся из кабинета в кабинет, приставал с расспросами к работникам. А ночью из могильного склепа на кладбище вел передачу радист, и вслед за тем советские бомбардировщики разнесли в щепы два вражеских военных эшелона и взорвали склад с горючим.

Офицер этот, известный под кличкой Фредди, был советским разведчиком. В Рачевке, восточном предместье Смоленска, где он создал подпольную организацию, до сих пор ходят легенды о его подвигах.

В Красном Бору (другом смоленском предместье), где обосновался штаб группы армий «Центр» и куда дважды приезжал сам фюрер, была создана и активно действовала антифашистская подпольная организация. В том же Красном Бору подпольщикам удалось устроить своего человека в немецкую разведывательную школу. После окончания курса этот «шпион» был сброшен на парашюте в район Москвы и... тут же явился в советские органы безопасности.

Патриоты проникали в военные штабы, в полицию, в городское управление, на электростанции, железные дороги. Они совершали диверсии, сеяли панику среди немцев и вселяли надежду в сердца советских граждан. Они помогали партизанам оружием, боеприпасами, продовольствием, пе-

реправляли к ним людей. Провалилась одна подпольная группа — и тут же возникла новая. Погибали одни герои — и на смену вставали другие...

В этой книге все правда. Автор собирал архивные материалы, искал и опрашивал свидетелей. Он назвал много людей, стремясь, чтобы ни один подвиг не остался безмянным.

Ценность этой книги — в ее летописной последовательности и скрупулезности. Факты говорят сами за себя.

Е. Городецкая.

★

**В. БОЯРСКИЙ, М. ЧЕРТОК.** Недра, открытые солнцу. «Недра». М. 1966. 152 стр.

У нас выходит немало книг о лазерах, атомной и космической технике... Но редко книги об угле или, например, об обыденной технике. Будто не она хребет современной экономики!.. Так остаются без своих летописцев самые могучие отрасли промышленности, а ведь они сейчас — в бурном, стремительном развитии. А хорошие книги об основных отраслях промышленности сейчас просто необходимы.

И вот одна из таких книг перед нами — «Недра, открытые солнцу», книга об открытых горных разработках, карьерах. Эта книга о Карьере с большой буквы, об огромных ущельях, соперничающих своими размерами с величайшими естественными каньонами, о людях, которые сумели победить самую природу.

Карьер — шахта будущего. Современная мощная техника умеет добираться до подземных сокровищ, удаляя прикрывающую их землю. Ступенчатое ущелье карьера достигает иногда семисотметровой глубины — не далеко от хорошей шахты. Объем вынудой породы исчисляется сотнями миллионов кубических метров. Такая титаническая работа доступна только мощным машинам. Мало сказать, что открытый способ добычи ископаемых дешевле шахтного способа. Он гуманней. Человек уже не должен работать в мокрой тьме шахты. Карьерам принадлежит будущее. Через двенадцать—пятнадцать лет в нашей стране они будут давать три четверти всех полезных ископаемых!

В. Боярский и М. Черток приводят немало цифр: емкость вагонов и ковшей, грузоподъемность, скорость, тонны и кубометры. Но за цифрами не пропадает романтика. Новелла о соляном карьере соседствует с рассказом о «звездах недр» — алмазах, а попутно читатель узнает, что слово «ювелир» происходит от итальянского слова «радость». Книга заглядывает в будущее Большого Карьера, где человеку отводится роль диспетчера гигантского автоматизированного предприятия, а всю работу делают машины.

А. Мирер.

★

**Н. ЖИВЕЙНОВ.** Операция Р. В. «Психологическая война» американских империалистов. Политиздат. М. 1966. 296 стр.

В идеологическом арсенале борцов за мир новая работа Н. И. Живейнова займет видное место. Под интригующим «детективным» названием «Операция Р. В.» скрывается серьезное исследование о «психологической войне» американского империализма (РВ — начальные буквы английских слов psychological warfare, то есть «психологическая война»).

Автор отмечает двойную задачу империалистической пропаганды: «во-первых, изобразить коммунизм и советский строй в неприглядном свете, прибегая к самым грязным приемам; во-вторых, наделить капитализм чертами «беспорочного» общественного строя, где царит «всеобщее благоденствие».

В своих захватнических планах империалисты США возлагают на «психологическую войну» не меньшие надежды, чем на войну в буквальном смысле слова. «Коль скоро бомбы не несут преобразований, — писал американский журнал «Атлантик», — Америка должна надеяться на доллары и идеи». Однако позитивных идей, которыми можно было бы увлечь массы, у американской пропаганды, как известно, нет.

Н. Живейнов показывает в своей книге сложную и гигантскую машину невидимой и непрерывной войны, возглавляемой монополистами и генералами. Одно из мощных средств ведения этой войны — американская печатная пропаганда, а также радиостанция «Голос Америки» и РИАС, Информационное агентство США (ЮСИА). Штат этого агентства превышает одиннадцать тысяч человек. Около трехсот его представительств разбросано в ста пяти странах на всех континентах. Деятельность ЮСИА подкрепляется солидной финансовой базой: на 1965/66 бюджетный год его ассигнования составили сто шестьдесят миллионов долларов.

В специальном разделе книги говорится о главном идейно-политическом оружии империализма — антикоммунизме, — оружии, которое все чаще дает осечки.

С тех пор как Вьетнам стал жертвой вооруженной агрессии США, машина пропаганды решает тут сложную задачу: «психологически обеспечивать» бандитские действия американской военщины и их сайгонских марионеток.

Однако количество затрат на «психологическую войну» находится в обратной пропорции с ее результатами. И это закономерно: она не отражает интересов широких народных масс, противоречит их стремлению к миру, к прогрессу и демократии. Это убедительно показано в книге «Операция Р. В.».

В. Молчанов.

**Е. НИЛОВ.** Боткин. «Молодая гвардия». М. 1966. 159 стр.

Задача, которую поставил перед собой Е. Нилов,—показать духовное развитие С. П. Боткина на фоне современной ему эпохи, а также дать понятие о том громадном следе в развитии как практической медицины в России, так и медицинского образования и науки,—не из легких. Тем приятней констатировать, что автор справился с ней. В книге показан жизненный путь Боткина — условия его формирования, роста и деятельности. С. П. Боткин родился в купеческой семье, но в доме своего отца он встречался с такими людьми, как Грановский, Герцен, Огарев, Некрасов, Белинский, и другими, что не могло не наложить отпечатка на его мировоззрение.

Рассказывая об учении Боткина в Московском университете, о его работе в Медико-хирургической академии в Петербурге, а также о позднейшей его жизни и деятельности, автор умело использовал переписку Боткина с его лучшим другом доктором Белоголовым, а также с женой, сыном и другими. Это помогает лучше раскрыть его внутренний мир, переживания. С большим интересом читаются страницы, показывающие Боткина — военного медика, участника Крымской войны.

Готовность С. П. Боткина облегчить жизнь людей малоимущих не оставляла его и в последний период его жизни, когда он работал в городской управе Петербурга.

Боткин был человеком, который не относился отрицательно к тем, кто добросовестно отстаивал свои взгляды, хотя они и не совпадали с его собственными. Он считал, что спор в науке не должен перерасти в личную антипатию. Это Е. Нилову удалось хорошо показать на отношении Боткина к Вирхову.

Личность Боткина как человека, его роль как основоположника клинической медицины и его общественная деятельность — все это изложено правдиво и потому убедительно. Обстоятельно отображена среда, в которой жил и работал Боткин. Молодой автор знакомился с ней по документам. И я, переживший царствование двух последних царей, могу подтвердить, что среда и обстановка жизни того времени изображены правильно и объективно.

Думаю, что книгу эту с интересом прочтут не только специалисты, изучающие историю русской культуры и, в частности, медицину, но и психологи, педагоги... Очень полезна будет она студенту и начинающему научному работнику.

*Проф. Д. Лебедев.*

★

**В. В. СТРОКОВ. Ю. Д. ДМИТРИЕВ.** Леса и их обитатели. «Лесная промышленность». М. 1966. 327 стр.

Трудно написать произведение о лесе, о живой природе без того, чтобы не воспользоваться советом мудрого человека,

которому была «книга природы ясна», — М. М. Пришвина.

«Если будет вода и в ней ни одной рыбки — я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка — я не поверю и воздуху. И лес без зверей с одними людьми — не лес». Эти слова из пришевинских «Раздумий» приведены во введении к книге.

Автор этой книги ученый-натуралист Вячеслав Всеволодович Строков (лишь введение и небольшой раздел о земноводных и пресмыкающихся написаны в соавторстве с Ю. Д. Дмитриевым) представляет читателю своих хороших знакомых: здесь и птицы, с которыми он подружился в старом парке Ленинградской лесотехнической академии еще в студенческие годы, и рысь, бродившая вблизи позиций артиллерийской батареи на Карельском перешейке, которой командовал капитан Строков, и другие обитатели леса. А забавный эпизод о том, как серые жуки-усачи навели панику на служащих министерства, разбиравших архив, навеян тем временем, когда автор работал в центральном аппарате.

Все, о чем рассказано в книге, взято, что называется, из первых рук. Оттого в ней нет ничего приблизительного или недостоверного. Что ни страница, то какое-нибудь открытие для читателя: так, он узнает, что мурманские вороны зимуют в Ленинграде, а ленинградские улетают на зиму в Париж; что бражник — бабочка с толстым брюшком — летит, не отставая от скорого поезда...

Значительное место в книге отведено опровержению ходячих мнений и кривотолков о лесном «населении». Оказывается, заяц вовсе не трус, лиса не так хитра, как нам внушали с детства, а потревоженный медведь идет на охотника на всех четырех лапах, а не встает на дыбы и не разевает пасть, как принято изображать на картинках, а иногда и в кинофильмах.

Написана книга сдержанным, несколько сухим языком, который — увы! — присущ многим произведениям научно-популярной литературы. И все-таки читается книга легко, с увлечением. Вероятно, движущую пружину занимательного сюжета заменяет глубоко заинтересованное отношение автора к нашим лесным богатствам, стремление помочь читателям лучше узнать и полюбить добрых и злых (последних очень немного, да и они приносят пользу человеку и народному хозяйству) обитателей леса.

*Ол. Рисс.*

★

**Д. СЛАВЕНТАНТОР.** На пороге атомного века. Лениздат. 1966. 328 стр.

В одном из рассказов, вошедших в книгу «Черные сухари», Е. Драбкина приводит такой факт: в перерыве заседаний Восьмого Всероссийского съезда Советов на сцене Большого театра идет беседа... об атомной энергии. Участники ее — В. И. Ленин, И. И. Скворцов-Степанов, Ш. М. Дволайцкий,

С. И. Гусев и другие. Владимир Ильич сидит в обитом алым шелком кресле, и в руках у него номер английского журнала «Нэйшн» от 20 ноября 1920 года. Там говорилось: «Радиотелеграф принес нам известие, что один из русских ученых полностью овладел тайной атомной энергии».

Сообщение журнала, разумеется, было неточным. Но ведь из чего-то оно исходило! И нам, людям, на глазах которых была построена первая в мире советская атомная электростанция, очень интересно узнать, из чего же исходил автор сообщения в журнале, которое заинтересовало В. И. Ленина. Кто послышал радиogramму, что в ней говорилось?

Выяснить этот вопрос взялся ленинградский писатель Д. Славентантор. Кропотливый поиск позволил утверждать: основанием для сообщения в «Нэйшн» послужила деятельность ученых из Оптического института, основанного в Петрограде в 1918 году, труды руководителя института замечательного советского физика академика Д. С. Рождественского, прославившего нашу науку работами по аномальной дисперсии, теории и систематике спектров атомов. О своих разысканиях, о трудной и романтической атмосфере работы физиков в послереволюционные годы, о том, как устанавливались первые контакты наших ученых с их зарубежными коллегами, Д. Славентантор рассказал в очерке «На пороге атомного века», давшем название книге о людях советской науки.

К сожалению, «атомная» тема в книге исчерпывается первым и еще одним очерком — о А. Б. Вериге, исследователе космических лучей. Автор ведет рассказ о знаменитом русском металлурге М. А. Павлове, о раскопках на месте усть-рудицкой фабрики, созданной Ломоносовым «для делания цветных стекол», о многотрудных исследованиях советских востоковедов. И хотя все это интересно, написано страстно, со знанием предмета, нельзя не сожалеть о том, что автор свернул с им же самим намеченного пути. Взяв в руки книгу, названную «На пороге атомного века», мы вправе ждать если не исчерпывающего раскрытия темы, то хотя бы более глубокого внедрения в нее.

Пестрота материала лишает книгу Д. Славентантора цельности. И все же читатель останется благодарен автору за проникновенные рассказы о рыцарях науки, двигавших время вперед. Лучший в книге, несомненно, очерк «В поисках живой воды». Во весь рост встает здесь фигура Г. О. Графтио, активного участника составления плана ГОЭЛРО, человека, возглавлявшего строительство первенца советской электрификации — Волховской ГЭС. Этот очерк — еще одно свидетельство богатейших возможностей научно-художественной литературы, способной не только зримо передать перипетии научного подвига, но и позвать молодых искателей на штурм непознанного.

**В. Жуков.**

★

**ТАХАВИ АХТАНОВ. Исповедь степи. Повести и рассказы. Перевод с казахского. «Советский писатель». М. 1966. 276 стр.**

Лучшие страницы книги Тахави Ахтанова представляют собою неторопливый, достоверный и серьезный по своему тону рассказ о том, что писатель хорошо знает и чувствует: о жизни степняков-скотоводов, об их своеобразном быте, о красоте родной природы. Писатель тяготеет к драматическому, напряженному повествованию. В лучших своих вещах он не боится касаться подлинных жизненных сложностей и конфликтов. Такова, бесспорно, самая большая удача сборника — повесть «Исповедь степи» (она была напечатана в «Новом мире» под названием «Буран» и удостоена недавно премии имени Абая).

Чабан со своей отарой попадает в беду: буран, гололедица, отсутствие корма, наконец волки... Коспан не погиб. Он остался жив. Но все его поистине героические попытки спасти отару, многосуточная борьба со стихией, стоившая ему невероятных усилий и великого напряжения духа, оказались напрасными — овцы погибли почти все. Люди нашли чабана в степи по необычным следам: «Как зерно из дырявого мешка, Коспан-ага рассыпал по пути мертвых овец...» Но писатель — и в этом основная его заслуга — не ограничился констатацией этого безрадостного факта. Его Коспан много и напряженно думает в эти страшные для него дни и ночи. И он понял в конце концов, что в гибели его отары (а он любил ее как единое живое существо и знал «в лицо» каждую овцу) виноваты не только буран и волки. Он понял и осудил в своей душе равнодушие, нерадивость и граничащую с предательством недальновидность иных людей, — в частности, своего бывшего друга Касбулата, одного из тех, от кого во многом зависело предотвращение трагического происшествия.

Много интересных жизненных наблюдений рассыпано и в таких рассказах, как «Серый аист» и «Потерянный друг». Но в целом рассказы сборника, как и включенная в него киноповесть «Морская быль» (соавтор А. Нурпенсов), много слабее «Исповеди степи». Как часто в них писатель изменяет художественный вкус, как прямолинейно делятся его герои на злодеев и праведников, сколько здесь сентиментальности, мелодраматизма (особенно в «Морской были»), «облегченности» и приближенности в обрисовке характеров, разрешении нравственных конфликтов.

Вот, к примеру, два рассказа — «Портрет» и «Ее песня». Оба они — о людях искусства: первый о молодом художнике, второй — о молодом композиторе, «оторвавшемся» от родной почвы и растерявшем свой талант в сутолоке городской жизни. Возражение в данном случае, впрочем, вызывает даже не то, что тема их слишком знакома. Беда здесь в другом — в том, что нет индивидуальных человеческих характе-

ров, глубокой разработки особого и значительного творческого состояния человека и т. п. А если этого нет, то правильные мысли о недопустимости отрыва от родной почвы не в состоянии зажечь читателя.

Очень важно для писателя самому твердо знать сильные и слабые стороны своего дарования. Будем надеяться, что контрасты сборника «Исповедь степи» помогут одаренному писателю глубже познать самого себя и в дальнейшем равняться на лучшие свои вещи.

И. Питляр.

★

**герман Абрамов.** Высокая вода. Стихи. «Советский писатель». М. 1966. 120 стр.

Как гласит аннотация, предпосланная этому поэтическому сборнику: «Высокая вода» — первая книжка стихотворений человека уже немолодого, но по-юношески влюбленного в красоту русской природы». В этих словах — точная характеристика поэтической книги Германа Абрамова. Поэт рассказывает о лесных чащах, о шелесте листвы, о зыбучих кочках болот, о поляне «раскинувшихся табором» ромашек, о неспешно текущих речушках и о застывших в неподвижности озерах. По первому впечатлению может показаться, что тематический диапазон автора узок и ограничен. Но это — не узость, не ограниченность, а последовательность человека, по опыту знающего, какие сокровища таятся рядом с нами, какие богатства открываются в общении с природой, и искренне желающего разделить эти богатства со всеми своими читателями.

Прочитав стихи Г. Абрамова, хочется взять удочку и пойти на рыбалку, бродить по лесам, всмотреться в то, мимо чего ты машинально проходил раньше. Заразить таким желанием может лишь тот, кто поэтически чувствует природу, кто видит ее, говоря словами поэта,

...Каждый раз — неповторимо  
И как впервые — каждый раз!

Л. Л.

★

**Юрий Гончаров.** Дезертир. Повести. «Советская Россия». М. 1966. 285 стр.

В сборник «Дезертир» включены три повести воронежского писателя Юрия Гончарова. Они разнятся по сюжетам, но объединяет их одно — стремление автора к психологическому анализу характеров и поступков героев.

Сборник открывается повестью «Дезертир» — рассказом о человеке, не сумевшем преодолеть страха смерти на полях войны и укrywшемся в лесу, дабы переждать тяжелые военные годы, тяготы солдатской судьбы и выжить любой ценой. Затаившись в глухой лесной землянке, «Игнат погру-

зился в холодную пустоту, в бездумность, в равнодушие, тупое оцепенение. Прежняя человеческая сложность и множественность чувств и ощущений покинули его, осталось лишь самое основное, примитивно-животное».

Судьба Игната Полудина, полная драматизма история его жизни в лесу, выливается в повесть в трагедию бесконечно одинокого человека, который сам вычеркнул себя из жизни. А «одинокому весь мир пустыня». Смерть Игната, дожившего-таки до конца войны, но умершего, как умирает затравленный волк, закономерна. Он не мог выжить, он был обречен с того самого момента, когда, повернувшись спиной к уходящему на фронт эшелону, зашагал в лес. Сбылись слова односельчанина Игната — Ивана Мешкова, которому Игнат предлагал вместе скрываться от войны: «С фронта-то ить, может, возвратишься... А уж из ямки живым не вылезть». Автор беспощаден в изображении Игната, и образ этого полувека оказался сильным и зловещим.

С «Дезертиром» перекликается другая повесть Гончарова — «Неудача». Это тоже произведение о военном времени, но война предстает в ней в ином обличье. В «Неудаче» рассказывается о Воронежской операции летом 1942 года. Повесть во многом документальна. Для воссоздания обстановки, сложившейся под Воронежем, автор много работал в архивах, прошел все те леса, овраги и дороги, где развертывались события, описанные в повести.

В «Неудаче» Юрию Гончарову удалось достоверно показать, какой ценой досталась победа нашему народу. Солдат, начавший войну восемнадцатилетним юношей, Ю. Гончаров сумел передать в повести подлинное дыхание войны с трагической романтикой боев и обыденной тяжестью солдатской жизни. Два крупных военачальника показаны в повести. Один — командарм Мартынюк, слепой, недалекий и покорный исполнитель приказов, и другой — полковник Остроухов, творчески и трезво мыслящий человек, твердо знающий основную заповедь командира, что любой просчет командования — это напрасно потерянные солдатские жизни. Конфликт между ними дает писателю возможность вскрыть причину той трагедии, что произошла летним днем 1942 года под Воронежем.

Заключает сборник повесть «На тихом плесе». События, описанные в повести, разворачиваются в мирные дни на фоне идиллически безмятежной природы. Но по драматизму событий и трагедийности ситуации она не уступает военным повестям Гончарова.

Сборник «Дезертир» знакомит широкого читателя с писателем, пытающимся глубоко вникать в жизнь, ставить и решать серьезные общественные проблемы.

Вл. Енишерлов.

**ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ.** Спасибо, земля. Вторая книга стихов. «Советский писатель». М.—Л. 1964. 115 стр.

**ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ.** Косые сучья. Третья книга стихов. «Советский писатель». М.—Л. 1966. 108 стр.

Две книги стихов ленинградского поэта Глеба Горбовского кажутся двумя разделами одного поэтического сборника: они позволяют читателям судить не только о стихах, но и о поэте.

Г. Горбовский по преимуществу пейзажист. Но его лирические пейзажи дают представление о его отношении к миру. Природа для поэта понятие не только широкое, но прежде всего емкое. Это отечество, родина, это то, чего нельзя забывать. «Причисляю к своим родным провода в окне уносящемся, провода, прошившие лес, провода, как звуки, висящие меж землей и толщью небес...»

Можно — и с большим основанием — говорить о связи стихов Горбовского с поэзией Сергея Есенина. Прямая перекличка с ним сказывается и в тематике, и в интонациях, и в образном строе стихов Глеба Горбовского («Ночью с неба месяц выпал, закачался на суку...», «Дорога каменной грядой вдоль рассекла страну берез»). Но связь эта не только в похожести, скажем, «страны берез» на «страну березового ситца», а прежде всего в родственности душевной настроенности, в характере русского пейзажа, где не одни деревья, травы и цветы, но и деревни, но и люди с их трудной судьбой («Мой горький, кровный и соленый проселок русских деревень...»). В стихотворении «Деревня» Горбовский находит точные и динамичные эпитеты — и для трагедии, которая произошла с исчезнувшей во время войны с лица земли деревней, и для своего чувства:

Но помню я живые раны,  
мелкие струпья черных сел,  
где одичавший, злой и странный  
стоит на улице козел.  
И кот на дереве, как ворон,  
и тишина — как бы испуг.  
И косо мелом на заборе  
два тихих слова: «Ваня-Друг»...

Родственное внимание к природе, слитность с ней подсказывают Горбовскому повышенные требования к себе и к людям. Его тревожит всякое несовершенство общественных и личных связей человека. Он мечтает о гармоническом «созвучии» с людьми.

Однако в стихах Горбовского как бы сражаются два взгляда: один — на меняющийся, драматический и прекрасный мир, другой — на себя со стороны. В последнем случае побеждает искушение принять эффектную позу этакого независимого и противопоставленного всему и вся человека, порисоваться перед читателем. Это особенно сказывается в больших отрывках из поэмы «Право на себя», написанной в 1956 году. Можно пожалеть, что они включены в сборник, но произошло это, видимо, не случайно, так как эти настроения не изжи-

ты до конца и сейчас. В стихотворении «В гостях», например, читателю как бы предлагается дилемма — или оказаться в ряду мешан, которых шокирует поведение поэта, или рукоплескать ему, удивляться и радоваться, хотя, по правде говоря, радоваться тут нечему:

Заткните уши. нервные,  
закройте рот на нет.  
Шокирую манерами  
и пачкаю паркет.  
Потей за обедами,  
разденусь донага.  
Поиграваю бедами  
своими — и врага.  
Прабабушку, здороваясь,  
ударю по плечу.  
Руками пишу трогаю,  
когда ее хочу.

Если некоторые недостатки стихов Горбовского рождены небрежностью, неточностью словоупотребления (что тоже досадно), то другие укоренены в его творчестве глубже и лишний раз доказывают несомненность истинности поэзии и псевдоромантической поэмы.

Впрочем, у Глеба Горбовского есть такие хорошие стихи, что можно быть уверенным: в других книгах он избежит того, что вызывает сейчас досаду.

Владимир Соловьев.

★

**И. П. ЕРЕМИН.** Литература Древней Руси (Этюды и характеристики). «Наука». М.—Л. 1966. 264 стр.

В словах «Древняя Русь» эпитет «древняя» не значит «дряхлая», «старая». Древняя — значит ранняя, молодая, начинающаяся, набирающая силы. Такой вот молодой и живой была Древняя Русь для Игоря Петровича Еремина, в котором талант исследователя соединился с незаурядным литературным мастерством. Вышедшая посмертно книга его «этюд» и характеристик — замечательный подарок читателям, интересующимся родной историей. В этой книге история государства неразрывно слита с историей литературы.

И. Еремин дает блестящий анализ «Повести временных лет», Киевской и Волынской летописей. В частности, Киевская летопись впервые рассматривается как литературное (и притом весьма замечательное) произведение. Интересны взятые из этой летописи примеры живой речи древнерусских людей. И. Еремин убедительно доказывает их документальность. В статье о первой русской летописи мы видим древнего летописца родственным пушкинскому Пимену, далеким от преходящих страстей, писавшим неукоснительно только правду. И. Еремин показывает, что у летописца была своя «философия истории», что «в центре внимания летописца — проблема зла». Для летописца «человек — субъект и объект исторического процесса». В нем и конечная цель исторического процесса: «Даваясь яко злато искусено в горну...» Была у летописца и конкретная мораль: «Добро для него — только то, что несет в его понимании благо Русской земле; зло — все,

что угрожает ее благополучию и процветанию»

Книга невелика, но круг тем, рассматриваемых в ней, широк. Открывается она последней из написанных И. Ереминым статей: «О византийском влиянии в болгарской и древнерусской литературах IX—XII вв.». В следующей статье анализируется одно из самых замечательных произведений домонгольского периода—«Сказание о Борисе и Глебе». Другие статьи — об ораторском искусстве Кирилла Туровского, о двух писателях — Несторе и Иосифе Волоцком, о языке русской литературы времен Аввакума, о поэтическом стиле Симеона Полоцкого, о жанровой природе «Слова о полку Игореве», о проблемах изучения памятников древнерусской литературы. И это далеко не все.

Научная, предназначенная для специалистов книга читается и будет читаться достаточно широким кругом людей с большим интересом, так как написана она талантливо, живо. Хорошо сказал о талантливости И. Еремина Д. С. Лихачев в своем предисловии к книге: «История литературы стоит на грани науки и искусства. Муза истории Клио, провозвестница славы,— есть и муза истории литературы. Это самая строгая из муз. Она редко кого удостоивает вниманием. Муза эта поцеловала Игоря Петровича».

**Вик. Афанасьев.**

★

**И. СОЛОВЬЕВА.** Спектакль идет сегодня. «Искусство». М. 1966. 184 стр.

Вышел в свет сборник статей И. Соловьевой — небольшая книга в обложке, похожей на театральную афишу. Вроде бы знакомые, сохранившиеся в памяти статьи о «Кремлевских курантах» в Художественном театре, о пьесах Розова, о «Гамлете» и «Медее» в постановке Охлопкова, о «Современнике». Но вот что интересно: вместе, в соседстве друг с другом, они составили цельную, завершённую книгу о приметах театра последнего десятилетия. Это оттого, что в книге есть главный герой — время. Есть в ней и лирическое начало — доверительная интонация умного, чуткого к искусству литератора.

Чувство времени сказалось уже в том, о чем писала И. Соловьева и как ее статьи расположились в книге. Совсем не случайно сборник открывается статьями о «Кремлевских курантах» и «Деле» в ленинградской постановке Н. Акимова: пьесы, далекие от людей и событий 1956 года, в театре и в зрительском восприятии были тогда явлениями остро современными. Не прибегая ни к каким прямолинейным сопоставлениям, И. Соловьева — в проблематике этих столь разительно не похожих друг на друга спектаклей, в их художественной

сути — показала, что они явились не только порождением, но и выражением поры XX съезда партии.

Неспроста, наверное, из современных драматургов главенствующее место в книге занял Виктор Розов. И. Соловьевой дорожке всего историзм пьес Розова, тонкий слух писателя к переменам в духовной жизни общества. И. Соловьева показывает, что В. Розов не окружает ореолом своих даже самых любимых героев, не развенчивает тех, кто ему несимпатичен, а исследует характер в условиях времени и быта. Эта мысль важна для всей нашей драматургии.

Чувство времени, которым наделена И. Соловьева, сказывается и в том, как наблюдает она жизнь спектакля, перемены, происходящие в нем с годами. В этом смысле показательна одна из лучших статей сборника «Бороздины и люди напротив» — с сценической истории «Вечно живых» в «Современнике». Статья эта выходит за пределы своей темы: она рассказывает не только о том, как изменился, стал глубже и богаче один спектакль, но позволяет понять сложный путь молодого театра от юности к зрелости.

Название книги «Спектакль идет сегодня» — это и название статьи о «Гамлете» в театре имени Маяковского. И. Соловьева привела нас на три точно датированных представления шекспировской трагедии: 13 января 1955 года, 25 ноября 1956 года и 12 августа 1961 года. Не надо усматривать здесь изощренного литературного приема — даты отсчитывают время, а кроме того, в каждом из спектаклей был новый Гамлет — Самойлов, Козаков, Марцевич.

Превосходен сравнительный анализ трех Гамлетов, выяснение их сути, хотя при появлении статьи мне казалось, что здесь была бы уместна большая публицистическая прямота, более определенные ответы на вопросы, почему «Гамлет — Самойлов органически не может поверить в открывшееся ему злодейство», а «Гамлет — Козаков верит вполне» и «язвит себя самого за остатки прекраснородной доверчивости» при первом чтении статьи. Но вот я — по прошествии лет — читаю эту статью в книге, и связь искусства и времени совершенно очевидна даже без более конкретной аргументации жизненными фактами.

Повторяю: сборник получился цельным, необычным, содержательным по мысли, точным и богатым по слову. Вспоминая начало литературной работы И. Соловьевой, чувствуешь, насколько строже, мужественнее она стала писать, как — наверное, не без труда — освободилась от присущего ей прежде некоторого кокетства словом. И особенно дорого то, что критик много, постоянно, энергично работает.

**А. Анастасьев.**

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**А. Бирман.** Учись хозяйствовать. Рассказы об экономике предприятия. 368 стр. Цена 63 к.

**Л. Иванов.** Молдинские были. 112 стр. Цена 16 к.

**Их простота и человечность.** Книга о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 368 стр. Цена 62 к.

**Коммунист.** Календарь-справочник. 1967. 432 стр. Цена 62 к.

**Мир социализма в цифрах и фактах. 1965 год.** Справочник. 160 стр. Цена 21 к.

**А. Пельше.** Сорок девятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов 6 ноября 1966 года. 32 стр. Цена 3 к.

**Страны социализма и капитализма в цифрах.** Краткий статистический справочник. 224 стр. Цена 24 к.

**Экономика социалистической промышленности.** Популярное пособие. 288 стр. Цена 48 к.

**Эстетика.** 256 стр. Цена 27 к.

### «МЫСЛЬ»

**Борьба В. И. Ленина против мелкобуржуазной революционности и авантюризма.** 317 стр. Цена 99 к.

**П. Жилин.** Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз (Расчеты и просчеты). 296 стр. Цена 45 к.

**Некоторые актуальные вопросы марксистско-ленинской теории.** 192 стр. Цена 69 к.

**Они — участники великой войны.** 271 стр. Цена 70 к.

**Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма.** Учебное пособие. 639 стр. Цена 96 к.

**И. Помелов.** Революционный курс КПСС. 176 стр. Цена 21 к.

### «ЭКОНОМИКА»

**Международные экономические и научно-технические организации социалистических стран.** Справочник. 142 стр. Цена 52 к.

**Современные проблемы внутризаводского хозрасчета.** 224 стр. Цена 77 к.

**Экономика стран социализма. 1965 г.** 263 стр. Цена 64 к.

**Электрификация СССР.** Сборник документов и материалов. 1926—1932 гг. 477 стр. Цена 1 р. 24 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Абай.** Стихотворения и поэмы. 292 стр. («Библиотечка поэта»). Цена 36 к.

**М. Алигер.** Возвращение в Чили. Два путешествия. Очерки. 320 стр. Цена 55 к.

**И. Виноградов.** В ответе у времени. Заметки о деревенском очерке пятидесятых годов. 192 стр. Цена 38 к.

**П. Громов.** А. Блок, его предшественники и современники. 572 стр. Цена 1 р. 40 к.

**День поэзии. 1966.** Ленинград. 136 стр. Цена 49 к.

**Д. Джюев.** Непобедимая сила. Роман. Перевод с осетинского. 544 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Х.-М. Мугуев.** Господин из Стамбула. Повести. 260 стр. Цена 51 к.

**Х. Тапалцян.** Айренашэн. Роман. Перевод с армянского. 464 стр. Цена 91 к.

**А. Тарасенков.** Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография. 488 стр. Цена 2 р. 13 к.

**Х. Теунов.** Подари красоту души. Роман. Повесть. Рассказы. Перевод с кабардинского. 304 стр. Цена 58 к.

**П. Тобуроков.** Цветы на снегу. Стихи. Перевод с якутского. 68 стр. Цена 13 к.

**В. Ухли.** Шургельцы. Роман. Перевод с чувашского. 352 стр. Цена 69 к.

**И. Юсупов.** Меридианы сердца. Стихи и поэма. Перевод с каракалпакского. 92 стр. Цена 21 к.

**А. Янсон.** Расплата. Роман. Перевод с латышского. 392 стр. Цена 68 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Р. Альберти.** Стихи. Перевод с испанского. 238 стр. Цена 50 к.

**И. Бабель.** Избранное. 495 стр. Цена 92 к.

**М. Булгаков.** Избранная проза. 644 стр. Цена 1 р. 33 к.

**А. Вознесенский.** Ахиллесово сердце. Стихи. 280 стр. Цена 59 к.

**А. Гитович.** Стихотворения. 291 стр. Цена 49 к.

**Э. Капиев.** Избранное. 535 стр. Цена 1 р.

**М. Карим.** Берега остаются. Стихи. Перевод с башкирского. 192 стр. Цена 46 к.

**И. Кашкин.** Эрнест Хемингуэй. Критико-биографический очерк. 297 стр. Цена 75 к.

**Б. Кун.** Статьи о литературе. Перевод с венгерского. 132 стр. Цена 27 к.

**Ю. Ли.** Хутор Гилье. Майса Юнс. Романы. Перевод с норвежского. 347 стр. Цена 68 к.

**Ю. Манн.** Комедия Гоголя «Ревизор». 112 стр. Цена 22 к.

**Проделки праздного дракона.** Шестнадцать повестей из сборников XVII в. Перевод с китайского. 492 стр. Цена 98 к.

**Рассказы писателей Судана.** Перевод с арабского. 140 стр. Цена 28 к.

**А. Сафи.** Занимательные рассказы о разных людях. Перевод с персидского. 344 стр. Цена 53 к.

**А. Твардовский.** Собрание сочинений. В пяти томах. Том 1. 616 стр. Цена 90 к.

**Д. Хирн.** Голоса под окном. Роман. Перевод с английского. 144 стр. Цена 37 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Н. Атаров.** Жар-птица. Повести. 416 стр. Цена 1 р. 6 к.

**В. Берестов.** Два огня. Рассказы и повесть. 144 стр. Цена 20 к.

**А. Блон.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

**Е. Васильева, И. Халифман.** Фабр. 240 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 74 к.

**И. Зыков.** Три аксоны (о лесах СССР). 352 стр. Цена 82 к.



**О. Игнатъев.** Тирадентис. 174 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 51 к.

**В. Казин.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

**Б. Корнилов.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

**Костры.** Сборник стихов молодых советских поэтов. 320 стр. Цена 60 к.

**В. Овчинников.** Пятьдесят три станции Токайдо. Очерки. 160 стр. Цена 42 к.

**А. Сахнин.** Смерть — не сон до зари. Повесть. 224 стр. Цена 52 к.

**Р. Эскарпи.** Литератрон. Плутовской роман. Перевод с французского. 160 стр. Цена 48 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Дубов.** У отдельно стоящего дерева. Повесть. 159 стр. Цена 35 к.

**В. Келер.** Возвращение чародея. 221 стр. Цена 43 к.

**Д. Кобяков.** Приключения слов (об истории русского языка). 144 стр. Цена 24 к.

**Л. Пантелеев.** Наша Маша. Книга для родителей. 351 стр. Цена 90 к.

**А. Слонимский.** Юность Пушкина. Повести. 136 стр. Цена 33 к.

**В. Шкловский.** Старое и новое. Книга статей о детской литературе. 159 стр. Цена 42 к.

#### «НАУКА»

**Д. Гарibaldi.** Мемуары. Перевод с итальянского. 468 стр. («Литературные памятники»). Цена 2 р. 21 к.

**Ю. Карякин, Е. Плимак.** Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева. 304 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Н. Пирумова.** Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность. 159 стр. Цена 25 к.

**М. Планк.** Единство физической картины мира. 287 стр. Цена 95 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**К. Ататюрк.** Избранные речи и выступления. Перевод с турецкого. 439 стр. Цена 1 р. 48 к.

**А. Веркеши.** Перстень с печаткой. Роман. Перевод с венгерского. 639 стр. Цена 1 р. 97 к.

**Р. Гароди.** О реализме без берегов. Пикассо. Сен-Джон Перс. Кафка. Перевод с французского. 203 стр. Цена 78 к.

**А. Курелла.** Димитров против Геринга. По материалам Г. Димитрова о Лейпцигском процессе 1933 г. Перевод с немецкого. 324 стр. Цена 90 к.

**А. Филип.** Одно мгновение (о Жераре Филипе). Перевод с французского. 103 стр. Цена 15 к.

**Хэ Сяннин.** Воспоминания о Сунь Ят-сене. Перевод с китайского. 114 стр. Цена 16 к.

**Р. Чолакович.** Рассказ об одном поколении. Перевод с сербохорватского. 336 стр. Цена 1 р. 28 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**С. Алексеев.** Сто рассказов из русской истории. 288 стр. Цена 67 к.

**М. Васильев.** От нейтринно до Вселенной. Материя и человек. 336 стр. Цена 89 к.

**И. Гусев.** Записки агронома. 236 стр. Цена 56 к.

**В. Замятин.** Избранное. Стихи. 216 стр. Цена 47 к.

**Исполин на Енисее.** Сборник. 304 стр. Цена 1 р. 9 к.

**Н. Михайлов.** Моя Россия. Книга 1. Российские просторы. 424 стр. Цена 1 р. 81 к. Книга 2. Путь русского народа. 256 стр. Цена 1 р. 67 к.

**Ю. Нагибин.** На тихом озере и другие рассказы. 376 стр. Цена 96 к.

**К. Паустовский.** Повесть о жизни. Том 1. 888 стр. Цена 1 р. 23 к.

**А. Пахомов.** Рисунки кровью. Воспоминания бывшего узника гитлеровского лагеря смерти. 128 стр. Цена 17 к.

**М. Рудерман.** Ты лежи с дороги, птица... Стихи и песни. 120 стр. Цена 16 к.

**В. Тендряков.** Находка. 280 стр. Цена 57 к.

#### ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ

##### ИЗДАТЕЛЬСТВО

(ЯРОСЛАВЛЬ)

**Верховье.** Стихи, рассказы, очерки, новеллы, басни, сатира, юмор, путешествия и встречи писателей Верхней Волги. 161 стр. Цена 57 к.

**Любитель природы.** Статьи, рассказы, очерки, стихи, фото. 168 стр. Цена 35 к.

**А. Севастьянов.** Дикий Урман. Повесть. 147 стр. Цена 47 к.

#### СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ

##### ИЗДАТЕЛЬСТВО

(АРХАНГЕЛЬСК)

**Г. Богуславский.** Острова Соловецкие. Очерки. 163 стр. Цена 82 к.

**А. Петухов.** Лешак. Повесть. 141 стр. Цена 33 к.

**В. Страхов.** Пинежские встречи. Записки журналиста. 208 стр. Цена 25 к.

#### ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ КНИЖНОЕ

##### ИЗДАТЕЛЬСТВО

(ВОРОНЕЖ)

**Н. Краснов.** Рус Марья. Повесть. 134 стр. Цена 35 к.

**О. Ласунский.** Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках. 303 стр. Цена 82 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 11/1 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/III 1967 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л. (24.66 усл. п. л.)  
А 02516. Зак. 190. Тираж 150 000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636